# ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ



# САДЫ И ПУСТОШИ

новая книга

ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ

# САДЫ И ПУСТОШИ

## новая книга

2021

**УДК** 821.161.1 **ISBN 978-5-00189-799-6**
**ББК** 84(2 Рос=Рус)6-44
**Д40**

**ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ**
Д40 **САДЫ И ПУСТОШИ:** НОВАЯ КНИГА/текст
Магомедов А. — М. Издательство Перо, 2021.
4 Мб. [Электронное издание]

Подготовка текста и комментарии — *Ахмед Магомедов*
При участии *Али Магомедова*
Автор фотопортрета — *Адиль Астемиров*

Перед вами вторая попытка реализации незавершенного при жизни автобиографического проекта Гейдара Джемаля. Каждый рассказ в книге представляет собой компиляцию фрагментов из оставленных Джемалем нескольких десятков видеозаписей монологов, диалогов, многосторонних бесед. Этим данный вариант проекта принципиально отличается от ранее изданной книги, которая представляют собой просто сумбурную подборку распечаток, выданных составителями за авторскую «диктовку».

В "Садах и пустошах" картины жизни мальчика из семьи послевоенной московской номенклатуры (дед Джемаля — «сталинский баскак» Леонид Шаповалов, директор Малого театра) сменяются колоритными зарисовками о центральных фигурах московского интеллектуального андеграунда 60–80-х гг. Далее Москва неожиданно, но вполне органично сменяется Таджикистаном, — и нам открываются истоки исламского возрождения в постсоветской России. Размышления, вплетенные в воспоминания, раскрывают перед нами динамику интеллектуального роста от стихийного ницшеанства к гегельянству и далее через французский традиционализм к финальной точке духовных поисков — к авраамическому монотеизму.

В книгу добавлены свыше двухсот комментариев, в том числе от упомянутых в тексте А. В. Юрасовского, В. Козловского, И. Дудинского. Очевидная незавершенность проекта автором не мешает наслаждаться словом Джемаля — пронзительным, шокирующим, порой просто выбивающим почву из-под ног нынешних знатоков «объективного мира».

На обложке использован фрагмент работы из проекта Адиля Астемирова "The Diary Of Transitions", 1998 г.

new.blackbooks@gmail.com 

# Оглавление

# Вместо предисловия, или Почему эта книга — новая?

*«…Если муж дал пустошь другому человеку, чтобы тот насадил фруктовый сад, и последний не посадил сад на всей пустоши, то он должен отдать часть неосвоенной им пустоши человеку, который сажает сад...»*
Правовой свод Липит-Иштара, царя Шумера. 4000 лет тому назад

Эта книга — не переиздание и не новое, «исправленное и дополненное», издание ранее вышедшей книги «Сады и пустоши». Это — ***другая*** книга с тем же названием на основе того же материала, который изначально представляет собой несколько десятков видеозаписей монологов, диалогов и многосторонних бесед Джемаля. Весь этот набор видеоматериалов нельзя назвать последовательным изложением Гейдаром событий своей жизни и его комментариев к ним. Связать рассказы, фрагменты, отдельные комментарии и реплики автора в определенную последовательность — задача тех, кто взялся перевести эти устные рассказы в приемлемый, читаемый текст.

Но кто-то очень поспешил соорудить себе памятник за счет имени Гейдара Джемаля. И бездумная компиляция распечаток большей части рассказов была выдана за «диктовку книги» и издана.

Читатели — не все, конечно, но самые внимательные из них, — сразу обвинили автора в «разорванности сознания», а текст сравнили с «салями». Закономерный вывод. Тем более что читателям даже предлагают воочию убедиться в том, что Джемаль книгу «надиктовал». Но это не только очевидная ложь, но и перекладывание на покойного ответственности за аляповатое качество текста. И не только за качество: после внимательного просмотра и прослушивания всего массива видеозаписей возникают серьезные вопросы к самому

содержанию ранее изданного текста «Садов и пустошей». Уже аннотация была настроена сумрачно: нам обещали ни много ни мало «детальное описание системы удушения мысли и пошаговой методики устранения удушья». Пошаговое удушение с последующим его устранением в книге, как и в известной нам биографии Джемаля, найти так же трудно, как зеленый росток на её обложке, — готовившие книгу к печати или не читали её, или забыли содержание, или… или ничего не поняли.

Подозрение, что «составитель» то ли успел уже забыть содержание, то ли просматривал текст по диагонали, усиливается, когда знакомишься с своеобразным оглавлением. Название каждой главы представляет собой перечень основных тем. Такой способ — абреже — используется, чтоб заинтриговать читателя и подготовить его восприятие. Но, к примеру, в главке «Дом на Мансуровском. Дом в Баку. Азербайджанский язык» про дом в Баку почти ни слова — о доме в Баку в другой главе. Зато есть важные, но не отмеченные в перечне заголовков эпизоды про дядю, бабушку, деда, которые могли бы удачно вписаться в посвященные им подразделы других глав. Или, например, есть запись очень мощного монолога Гейдара — центрального в понимании сути интеллектуальной работы всего южинского содружества. «Составитель», судя по всему, ничего не понял, ибо монолог никак не выделен и заголовки-подзаголовки совсем о другом. Вообще, по всей книге эти «внутренние» подзаголовки часто нелепы, плохо стыкуются с основными темами соответствующей главы и зачастую просто выдают желаемый «редактору» контекст за действительный.

При этом первая книга совсем не является «канонической», в которой слово Джемаля преподнесено в неизменённом виде. «Составитель» вольно монтирует текст на свой вкус.

Что касается качества — вот достаточно типичный пример. Джемаль говорит в записи о Головине: «… его интонации, его тембр голоса — они были для меня символичны. Как бы детали такой феноменологии

человеческой, в которой каждый из элементов был ключом к своему замку, открывавшему дверь в какую-то другую реальность. Как золотые ключики…» А в книге: «… его интонации, его тембр голоса были для меня *символическими*. *Такие детали человеческой феноменологии, каждый из элементов — ключ к своему замку, открывавшему дверь в другую реальность, золотые лучи*.» Лучи, да. И так — по всей книге.

Далее. Что можно вынести из текста, в котором частица «не» регулярно то пропадает, то появляется не на своем месте?! Вот Джемаль высказывает мысли — а вот они напечатаны: и вместо слова «совершенство» стоит «несовершенство», в другом месте вместо «является» напечатано «не является», а в третьем и вовсе вместо «христианский» поставлено слово «мусульманский». Вишенкой на торте является заявление Гейдара, что он был членом Комитета «Карабах» — того самого, армянского. И понимайте автора как хотите!

И данные примеры просто взяты, что называется, наугад из вороха подобных.

В первой книге это всё, после небольшого внешнего редактирования, просто вываливается перед читателем. И отсюда выводы читателей о «разорванности сознания» автора и «эффекте салями». Но Джемаль не писал той книги и даже не видел предварительного текста! Не смотрел он и собственных видеозаписей, содержания которых не всегда мог даже вспомнить. Всё вышесказанное, безусловно, надо было иметь в виду, прежде чем браться формировать текст на основе нескольких десятков устных рассказов человека, которого уже нет в живых, и отдавать это в печать под его именем.

Да, всё это можно было бы просто исправить и подготовить второе издание. Но ведь проблема не только в этом.

Главная проблема: никто не знает, что из сказанного в записях Джемаль допустил бы к печати! Ведь кураж рассказчика заведомо предполагает выход за некие границы

— именно это называется «не для печати». В публичном пространстве (а книга к таковому относится) Джемаль был довольно сдержан в переходах на личности и в персональных оценках предпочитал самые деликатные формулировки. Но в приватной обстановке — а видеозаписи носят очень «домашний» характер — Джемаль позволял себе весьма нелицеприятные зарисовки.

Поэтому при компиляции текста требовалась особая осторожность в тех случаях, когда Джемаль отзывается о ком-то не самым лестным образом или вспоминает неприглядные для кого-то эпизоды.

Правда, надо признать, что люди и события периода зрелого и «позднего» Джемаля достаточно «подсвечены и засвечены» в многочисленных устных и письменных описаниях, перекрестных воспоминаниях и даже солидных исследованиях. И там волки такие битые, что переживут любые эскапады чьей бы то ни было памяти. Ведь Гейдар и сам бывал «под обстрелом».

Сложнее с воспоминаниями о людях его школьной юности и ранней молодости. И здесь неоценимую помощь оказал нам Алексей Владимирович Юрасовский, который проучился с Джемалем десять лет в одном классе и поддерживал близкие отношения еще лет тридцать после школы. Мы не просто положились на память Юрасовского: он, в свою очередь, сверялся с одноклассниками и однокурсниками — теми, кто жив. Правда, надо признать, что Джемаль в воспоминаниях неожиданно язвителен и порой просто несправедлив и по отношению к самому Алексею Владимировичу. Что довольно странно: кто общался с Гейдаром последние десятилетия, помнит, что он всегда тепло и даже с некоторым почтением вспоминал Юрасовского (всегда по фамилии, кстати). Впрочем, к чести Алексея Владимировича, его больше заботило не это, а то, как представлены остальные спутники и спутницы их юности. Как мы и предполагали, в своих воспоминаниях о юности Гейдара не раз подводит память, порой подставляя своими причудливыми кульбитами. Неточности в деталях быта,

биографий и именах неизбежны, но встретились эпизоды, которые имели место просто в другой жизни и с другими героями. Надо ещё добавить, что последние годы Джемаль был вынужден принимать сильные обезболивающие средства, что никак не способствует релевантности автобиографической памяти.

Поэтому детали рассказов о школе и годе обучения в университете выглядят здесь несколько иначе, чем в той, первой книге. Но я здесь ничего не писал *за* Джемаля: позволялись только мелкие исправления в рамках редакторских полномочий, комментарии в сносках или пассаж из устного рассказа просто не попадал в итоговый текст. Этого требовала ответственность не только перед автором, но и перед теми, кто упомянут в издаваемой книге, — многих из них уже нет в живых и у многих растёт уже четвертое поколение потомков.

Теперь в целом о создании этой книги — ***новой***.

При работе над текстом пришлось исходить из того, что лишь единицы роликов представляют собой цельный монолог. А ведь Джемаля в абсолютном большинстве видеосюжетов перебивают вопросами, репликами, а порой его рассказ просто трансформируется в беседу. Но в первой книге вопросы и реплики исчезли вместе с собеседниками и при этом остались ответы, которые порой выглядят бессвязными нелогичными вставками. Да и сам Гейдар позволяет себе по ходу рассказа вольную смену темы, «перебивки» и «флешбэки», — то, про что сам Гейдар говорил: «мысль скачет, как блоха». Добавим еще неизбежные для затянувшегося проекта повторы: автор порой просто не помнит, что уже говорил то или это, и повторяется — и эти повторы, кстати, присутствуют в первой книге. Поэтому нельзя было расшифровку одной видеозаписи рассматривать как неделимую единицу текста или «главу», и выкладывать её как есть.

При компиляции текста ***новой книги*** за основу уже не брались видеозаписи целиком. Каждая новелла в данном проекте представляет собой «монтаж» фрагментов из

различных бесед, объединенных общим контекстом, — так, собственно и получался целостный рассказ. При таком подходе перемещенные пассажи парадоксальным образом оказывались не вырванными из некоего контекста, а, наоборот, обретали его — порой самым неожиданным образом. Напомню, что исчезновение из текста «интервьюера» или собеседников Джемаля способствовало невнятности прежнего контекста, в котором пребывала та или иная часть текста. Отсюда, кстати, и странноватые пассажи и фразы, которые на самом деле были просто ответными репликами скрытому визави. В ***новой книге*** многие отрывки, а порой и отдельные предложения и даже фразы, перемешаны и вплетены в ткань повествования так, чтоб по возможности не виднелись «лоскуты» и не торчали «клочья», коими пестрят распечатки записей.

Конечно, в повествовании есть шероховатости — иногда просто неустранимые: автора нет с нами. Бросается в глаза местами неполнота, незавершенность рассказов. Выше я писал, что автора порой подводит память в деталях: помним, что Джемаль уже был смертельно болен во время записей. И, увы, мы так и не узнали, что он всё же говорил «для печати», а что нет. Но очевидная незавершенность проекта автором не мешает наслаждаться словом Джемаля — пронзительным, шокирующим, порой просто выбивающим почву из-под ног нынешних знатоков «объективного мира».

**И вместо Post Scriptum**:

Первая книга озадачила читателя постапокалиптической пустошью на обложке: а как же «сады» в названии?! Понимая, что выбор обложки дело не простое, обратился к любимому художнику Джемаля — к Адилю Астемирову. Впечатляющий ответ содержит то, чего так не хватает в моём «предисловии»: там есть слово о самом Джемале. Поэтому приведу часть письма, сохраняя своеобразный эпистолярный стиль художника и его пунктуацию.

*[…]давать какие-то советы, объяснять на пальцах возникающие образы будет очень странно и сложно… всё очень сложно… я знаком с несколькими неотредактированными фрагментами текста… кроме самого текста, там существует ещё и ситуативный контекст… некоторая сумеречная зона… зона, где главный герой переступает последний порог… незримую полосу–границу… такая зона, где уже нет суши, но ещё не океан … знаешь, в тех небольших фрагментах, которые я читал… вся текстура текста насыщена бесценными самородками, россыпями бесценных отражений Гейдара… я не раз говорил, что сама фигура Джемаля — это материализованная невозможность в окружающем нас мире, нереальная реальность…*

*сам Гейдар, к сожалению, не видел текста… не редактировал его… что бы он сохранил, что бы изменил, что бы вообще удалил — нам уже не дано знать… всё очень сложно… как не повредить, вынося на поверхность все эти бесценные самородки, как экспонировать их, как задать нужную проекцию исходящему из них свечению… в этом я вижу сверхсложность вашей задачи…*

*ладно, теперь про обложку… главное — не дай художнику(кам) идти по простому пути «дубовых» ассоциаций типа „пустошь — это пустыня, сад — это липкий фруктовый дастархан"… также, если вдруг будешь работать с художником — „запредельным интеллектуалом", по возможности удержи его от визионерских репрезентаций в стиле „пустоши — это жуткие картинки постиндустриального апокалипсиса или инфернальные лавкрафтовские ландшафты а ля плато Ленг (ну как же без него!), а сады — это, конечно, сады рая, джаннат аль-фирдаус, не меньше"… мне кажется, все эти изобразительные ходы приведут в уже давно заезженный, битый-перебитый визуальный штамп, примитив… как сказал бы сам Гейдар, „в посюстороннюю пошлость"…*

*и что делать? как нам быть с Гейдаром? с его нереально реальной личностью?...сложная задача…*

*…я попытался набросать какой-то возможный вариант… „ориентировку”…как примерно я вижу обложку „садов и пустошей”… переработал фрагмент своей работы из дневника переходов-перемещений, из проекта "The diary of transitions" 1998 года… в посланном тебе наброске всё построено на полустёртых образах, мерцании цвета и т.д…*

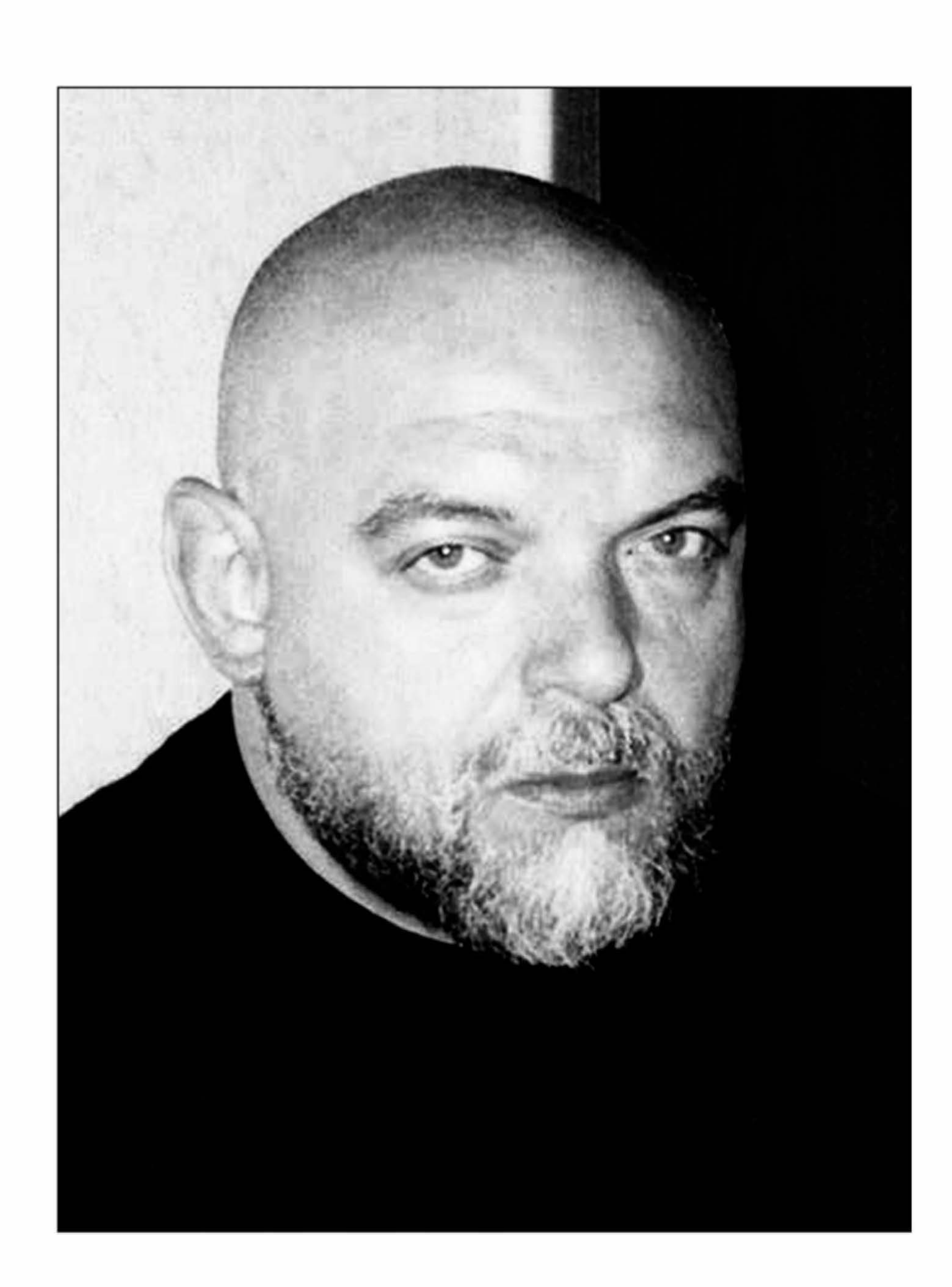
*да, я понимаю, для печати такие изображения слишком сложные в воспроизведении... но и, возможно, более точные для визуального образа растворяющихся во времени узоров-паттернов человеческой памяти...*

*в общем, будешь делать обложку, моё мнение — лучше двигаться в эту сторону… сам смотри […] Адиль*

Предложенный Астемировым «возможный вариант» я отправил как есть на обложку. Джемаль бы одобрил.

*Ахмед Магомедов*

# САДЫ И ПУСТОШИ



# «Ни одна душа не понесет чужого бремени»

Во имя Господа Милостивого и Милосердного!

Люди умирают не потому, что они заболели, состарились или просто устали жить, а уходят потому, что кончается их эпоха. Они уходят целыми парадигмами, блоками, пластами носителей определенной матрицы.

Впервые эта идея пришла мне в голову, когда мне позвонили на Народную, — в коммуналку, где телефон нахальнейшим образом висел в тупичке, в коридоре напротив входной двери, и где местная фауна исписала штукатурку телефонными номерами, — и сказали, что умер Высоцкий.

У меня возникло острое ощущение, что Высоцкий умер не потому, что он употреблял наркотики или его затравили, а потому что ушло его время — сколько бы ему ни было лет. Начиналась особая эпоха 80-х с новой ментальностью, в которой его романтике, образам, метафорическим ходам, его искреннему, в общем-то, пафосу не было места.

Его матрица кончилась.

Речь идёт о людях, обладающих особой чувствительностью, встроенных во время, и для них время имеет значение.

Размышляя над своей биографией, отчетливо вижу, что я — не человек времени.

Я человек, который выражает сюжет, — человек, который появляется в конце пьесы, подводя итог. Как у Шекспира появляется некто и говорит, что четыре капитана несут Гамлета.

Я как раз тот человек, который говорит, что Гамлета уносят.

Я участник сюжета, но я вне сюжета.

Куча народу существует просто как ботва. Они живут из 70-х в 80-е, из 80-х в 90-е, но ничего с ними не делается. И в зоопарке десятилетиями живут пингвины и страусы.

Но Высоцкий не мог жить в 80-е годы, а после 1991 его и представить трудно, — в постмодернистскую эпоху фальшивых бандитов и фальшивых ментов. Он создал галерею образов советского народа. У него есть и пожарники, и полярники. Каждому он посвятил песни. Но всё это исчезло, растворилось. Что ему еще делать? И он ушёл.

Люди уходят не когда угодно.

В феврале 1987 умер мой отчим, светлейший князь Амилахвари, который не воспринял бы ничего из последующего. Для него оскорблением был бы весь 1987 — он ушел в самом начале года. Он ушел, когда у него еще оставались иллюзии, спровоцированные 1986 годом.

Когда Горбачев только пришел к власти, Теймураз сказал фразу, показавшуюся мне в его устах совершенно удивительной. Он, который был не «абстрактным» сталинистом, а лично знавший Василия Сталина и сидевший за него, сказал в 1986 году по поводу Горбачева: «Ну какая тут, черт возьми, демократия!?»

Он не мог стать свидетелем того, что развивалось дальше, — он воевал за эту империю с 1939 в Финляндии и закончил войну в Праге, уже после взятия Берлина. Потом он сидел во имя этой империи. Увидеть безобразие с родимым пятном на башке, видеть, как это все превращается в кучу мусора, было бы выше его сил.

И тут я окончательно укоренился в идее, что люди живут эпохами, которые соответствуют их матрицам.

Нечего Амилахвари было делать в 90-е годы.

Как и Высоцкому в 80-е.

Да, люди уходят не когда угодно.

Люди не переживают смены парадигмы, если они стали активными выразителями предыдущей матрицы.

Но в моем случае нет никакого временного порога, который должен меня оставить за бортом ввиду моей неспособности перешагнуть через девяностые или нулевые.

Я человек не отсюда.

Я человек будущего.

Мой менталитет — это менталитет человека, существующего после того, как это человечество обнулилось и всё началось с чистого листа. Никакие здешние трансформации, преображения, уход одной модели глобального общества и начало другой, или «кластеризация глобального общества», как говорит один экономист, исследователь кризиса, — это всё меня не «пробивает» просто по той причине, что буря в стакане воды *здесь*, в этом человечестве, не оказывает на меня влияния.

Я не был связан с какой-либо эпохой.

Я — не шестидесятник, не «семидесятник», не кто-либо еще…

Я участник, и не более того, «шизоидного подполья» Москвы. Участник Южинского, хотя и в самом позднем его варианте. Но всё же застал его, в отличие от некоторых людей, которые сегодня активно строят себя под идеи Южинского.

Я застал живого Юрия Витальевича Мамлеева[1] до его отъезда в Америку, был с ним дружен шесть лет как с самым близким для меня человеком. Не я один. Но люди, разделявшие со мной радость знать Юрия Витальевича, уже ушли.

Мы не можем привязать шизоидное подполье к 60-м, хотя номинально оно располагается в тот период, — 70-е были

---

[1] Юрий Витальевич Мамлеев (1931—2015) — русский писатель, драматург, поэт, философ. Лауреат премии Андрея Белого. Член американского, французского и российского Пен-клубов, Союза писателей России. Основатель литературного течения «метафизический реализм». Произведения Мамлеева переведены на многие европейские языки.

На его квартире в Южинском переулке собирались в 1960-е годы многие деятели «неофициальной культуры» того времени. Среди них такие поэты и художники, как Евгений Головин, Леонид Губанов, Генрих Сапгир, Лев Кропивницкий, Александр Харитонов, позднее Венедикт Ерофеев, и многие другие известные сейчас представители творческой интеллигенции, проявившие себя в искусстве, философии, литературе.

уже эпохой постмамлеевской, постюжинской. Это была эпоха Головина[2].

Прекрасная, великая эпоха.

Но и Головин ушел не потому, что что-то изменилось. Головин ушел потому, что он устал. Я видел его на похоронах Лены, когда его вели под руки, и он уже был как вьющийся седой стеклянный есенинский дымок над осенней землей.

Он устал.

Он не привязан ни к какой эпохе. В отличие от Высоцкого и в отличие от моего отчима Амилахвари, прожившего яркую, большую, но, на мой взгляд, неудачную жизнь.

Я долго размышлял, существует ли наша уникальная идентификация «здесь-присутствия», как сказал бы Хайдеггер.

Есть ли внутри меня уникальная идентификация?

Если, к примеру, оставить меня как свидетеля, но все мои внутренние ощущения поменять с ощущениями Ивана Ивановича, — можно ли заметить разницу? Покойный Степанов[3] говорил, что если поместить кого-нибудь в шкуру Головина, то он взорвется как арбуз, внутри которого граната, — разлетится на тысячу кусков, не выдержав чудовищного давления.

Так это или нет?

---

[2] Евгений Всеволодович Головин (1938—2010) — русский писатель, поэт, переводчик и литературовед, герметический философ, автор и исполнитель песен. Лидер «московского мистического подполья». Благодаря Головину такие имена, как Рене Генон, Юлиус Эвола, Титус Буркхардт, Фритьоф Шуон, а также Фулканелли и Канселье стали известны среди московских групп, интересующихся эзотеризмом. Был одним из популяризаторов творчества Говарда Лавкрафта.

[3] Владимир Григорьевич Степанов (1941–2011) – русский философ и эзотерик. В 60-70 годы Степанов был центральной фигурой в московских околоэзотерических кругах. Был лично знаком с поэтом-символистом Робертом Грейвсом, гурджиевским учеником Джоном Беннеттом и знаменитым специалистом по суфизму Идрисом Шахом.

Когда мне было лет двенадцать, я шел с друзьями по Валентиновке и пытался им выразить эту проблему. Я им говорил: «Мы смотрим на небо — оно голубое, но ведь каждый его видит немного иначе: для кого-то оно голубее, для кого-то серее. Или мы видим его совершенно одинаково? Изменится ли что-то, если мы поменяемся нашими глазными нервами, или нет?» Они раздражались, а для меня это была важная тема, — проблема уникальности «здесь-присутствия».

Физическая уникальность — вещь не реальная и не существенная.

Уникальна только смерть, потому что в смерти умираешь только ты.

«Каждый умирает в одиночку», как озаглавил один свой роман Ганс Фаллада.

Умирает только вот *это* существо, и никто не может его заменить.

В Коране есть аят, который гласит, что душа не может понести бремя другой души[4], как женщина не может понести чужое бремя, быть беременной вместо кого-то. Правда, в сатанинском мире существуют суррогатные матери — сейчас это уже проблематичный вопрос.

Но умереть вместо кого-то нельзя, и вместо тебя никто не умрет — в буквальном смысле, а не в переносном. Конечно, подставить кого-то вместо себя можно, но конец постигает только твою длительность.

И это единственное уникальное.

Ни цвет неба, ни фон ощущений, ни внутренний тонус — ничто не уникально. Всё можно заменить. Особо изысканные личности типа художников или какие-нибудь поэты заметят здесь подмену, но если Иван Иваныч и Петр Петрович поменяются местами — они ничего не заметят. А вот когда умирает даже самый последний Иван Иваныч, он понимает, что только *он* умирает, — лично.

Моя уникальная смерть абсолютно отвязана от смены эпох, от смены ситуации, от смены времени.

---

[4] Сура 35, аят 18.

Ни моя победа, ни мой проигрыш, ни тот факт — сбудется ли то, во что я верил всю жизнь, или не сбудется, — всё это не влияет никоим образом.

То есть я не уйду из-за того, что мои мысли, моя ставка на некую идеологию, на политический ислам, не дай Аллах, пролетела.

Представим, что 2020-е годы — это торжество чавкающего скотоподобия, что человечество проиграло.

Но и до нас проигрывало много человечеств.

Сколько человечеств ушло, не оставив и шороха, — как говорит Коран[5].

У нас как у человечества в целом очень маленький шанс выиграть — и я готов к этому.

Я готов к проигрышу, готов к тому, что всё человечество проиграет, — и это не меняет мою ситуацию.

Я уйду не потому, что человечество проиграет.

Я уйду по лично своим причинам, по своей внутренней мотивации. Потому что моя внутренняя сюжетность не связана с сюжетностью внешней истории.

Есть смена эпох. Люди, которые живут и уходят в зависимости от эпохи, не могут о них свидетельствовать.

Представим, что мы подняли сейчас из могилы Высоцкого и попросили его рассказать, что он пережил, охарактеризовать свою эпоху, увязать себя с ней. Мы бы ничего интересного не услышали. Всё, что он мог рассказать, он уже рассказал в своей известной песне «На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики…». Там он изложил все свое видение эпохи: войну, послевоенное время, «страна лимония, сплошная чемодания». Песня хорошая, спору нет, но это не свидетельство эпохи — это ничто. Несколько красивых штрихов типа «Где мой черный пистолет?» — это не свидетельство.

Свидетельствовать об эпохах могут только люди, которые от них не зависят, которые проходят сквозь них, как игла сквозь материю.

---

[5] Сура 19, аят 98.

Я думаю, что могу свидетельствовать свою эпоху. Причем не только времена, в которых жил, но и те, которые мне предшествовали, и даже те, которые будут после меня, — в некоторым смысле.

Потому что я жил очень концентрированно, вобрав в себя все признаки, эмоциональные штрихи, экзистенциальные привкусы тридцатых, двадцатых даже и дореволюционных годов. Я знал людей, начинавших жизнь до революции, непростых людей. Впитывал качество их экзистенций, любил их время и остро чувствовал жизнь после 1900 года. До 1900 — уже туман, врать не буду: люди, до которых я дотягивался рукой, были ровесниками века или родились позже.

Я остро чувствовал тридцатые годы и войну, хотя всё это было до моего рождения.

Когда я пошел в школу, был Сталин. Я рассматривал еще до школы детские книжки типа «Родной речи» с его портретом. Берия был живой реальностью, дед при мне звонил Маленкову. С первого класса до последнего я учился при Хрущеве. Сняли Хрущева, и я закончил школу. Это время мне изнутри понятно. Могу его свидетельствовать, потому что я не принадлежал этому времени.

Поэтому начать разговор нужно с определения особенностей, в результате которых на свет появилась моя экзистенция.

Две прямые пересеклись и дали эту уникальную точку — они не должны были никак пересекаться, потому что они в разных пространствах.

Уникальность этой точки вынесена за пределы любого существования, потому что она будет реализована только когда перестанет существовать.

Но нужно понять, откуда эта точка взялась, почему она такая странная.

Сошлись два очень странных, радикально чуждых друг другу, несовместимых потока. Совсем чуждых. Пусть это будет преамбулой к нашему разговору.

# Я — азербайджанец

Когда я узнал, что я азербайджанец, счастью не было предела. Пока мне внушали, что я русский, чувствовал, что живу в Мордоре, где солнце не светит, вокруг серо-кисельная слякоть, перманентная зима, ходят уроды, к которым я какое-то имею отношение, но очень этого не хочу. Когда мне сказали, что я — азербайджанец, понял, что я сказочный принц, случайно попавший в чужую страну.

Мой отец — человек, убежавший от своей семьи. Его семья — азербайджанская номенклатура. Причем и в царские времена она принадлежала к определенному «руководящему» слою.

Мой азербайджанский дед Шамиль Мирзоев[6] родился задолго до начала XX века.  Умер в 1968 году, когда ему было около 80 лет. В 1917 ему было тридцать. Когда я с ним реально стал общаться, ему было 74. Но он не был похож на 74-летнего.  Когда мы уже гуляли по набережной в Баку, он был на шесть лет старше меня нынешнего.  Дед и выглядел старше.

Это был очень реальный, энергетический человек. Хотя он был выброшен отовсюду, отсечен, изолирован, к нему на улице подходили люди. Руку не целовали, как Эрдогану, но курбеты делали. А он просто шел с палочкой, в шляпе, и с разных сторон к нему подходили и говорили что-то приветственное. Он даже не особо обращал внимание.

Он принадлежал к близкому окружению Багирова, которого расстреляли. Деду повезло: он не состоял в партии, и его просто выгнали без пенсии. Если бы был членом партии, то расстреляли бы. До 1917 года дед — один из руководителей Карабахского уезда, в последующем он входил вместе со своим отцом в состав карабахского совета — «Карабах шурасы». Короче говоря, он заправлял этим делом.

В мусаватское время дед — один из молодых руководителей Карабаха, принадлежавший к старой

---

[6] Фамилию Джемаль взял отец Гейдара — Джахид Шамильевич.

карабахской семье, которая всегда Карабахом если не правила, то была в верхнем слое, определяла его судьбу.

Дед — мусаватист, а его брат — офицер мусаватской армии.  Такие люди — что называется «дворянство» — непотопляемые персонажи. Когда кончился Мусават, его брат, не последний офицер, оказался на комиссарских курсах и стал красным командиром.

В мусаватское время дед хорошо знал Багирова. А Багиров, как известно, был сотрудником мусаватской разведки, как и Берия. Их обоих расстреляли. Берию дед тоже знал хорошо, а Багиров у него бывал дома при Мусавате. После окончания Мусавата как-то так оказалось, что «товарищ Тарелкин пошел впереди прогресса» [7]: Багиров якобы всю дорогу создавал большевистские организации в Закавказье. Первым, кого он привлек в свой аппарат, был мой дед.

Дед прошел большой интересный путь в этом направлении. В 30-е годы он возглавлял борьбу с бандитизмом в НКВД Закавказской республики. Тогда это все сидело в Тифлисе — столице Закавказской республики. Мой отец учился в тбилисской школе. У него сохранились тбилисские воспоминания из детства.

Во время войны деда назначили военным комиссаром Карабаха. После войны пошел по линии Верховного суда. Он занимал пост председателя Верховного суда республики.

И вдруг — раз! — переворот, расстрел Берии, расстрел Багирова. На этом все кончилось.  Хорошо, что деда не расстреляли.

Дед Шамиль плохо говорил по-русски. И писал по-русски тоже не очень хорошо. Он учился еще арабской каллиграфии, поэтому русские буквы напоминали у него электрокардиограмму.  Правда, арабского языка не знал. Но знал немецкий. Он учился еще при царе в школе, где

---

[7] Из пьесы Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», 1869 год. Точная цитата: «…когда объявили прогресс, то он стал и пошел перед прогрессом — так, что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади!»

преподавали немецкий язык, — учился в светской школе почему-то в Грузии. В его библиотеке в Баку преобладали немецкие книги. Потом азербайджанский язык перевели на латиницу, и мой отец уже учился на латинице. А для следующего поколения ввели кириллицу. Три поколения писали разными шрифтами. Поэтому я деду иногда помогал составлять и писать письма.

Я активно учил азербайджанский с его помощью и помощью отца. Изучал азербайджанский язык и в Москве, где у меня была большая библиотека. Все книжки, которые были у отца, типа «Родной речи» и «Хрестоматии» на азербайджанском языке, я вывез в Москву еще в 12 лет. Читал азербайджанских авторов. Дед меня поправлял, отстраивал мне произношение. Сестренка Гюлѝ, внучка деда, меня ругала, говорила, что у меня все плывет, как тесто. Сама Гюли, кстати, поступила в персидскую школу и изучала фарси.

Пока дед был наверху, его дочь Шукюфа успела стать первым доктором философии в Азербайджане.

Будучи юной девушкой, ходила в любимых ученицах Гейдара Гусейнова, знаменитого азербайджанского философа советской эпохи. Он был ее научным руководителем. Гейдар Гусейнов, академик, президент Азербайджанской Академии наук — автор концепции, согласно которой наш дагестанский имам Шамиль считался героем национально-освободительной войны против царизма. Великая кавказская война 1817–1864 годов трактовалась как национально-освободительная, и имам Шамиль выражал борьбу народов Кавказа против царизма.

Но случилось так, что в конце 30-х и особенно после войны концепция Шамиля изменилась. Товарищ Сталин решил, что имам Шамиль не герой национально-освободительной борьбы, а английский агент и шпион Османской Турции. Изменилась концепция, и Гейдар Гусейнов повис в воздухе, потому что его идея сделалась «суперреакционной». И, как говорят, он застрелился в своём кабинете. Это было в 1950 году.

Никто, конечно, не верил в его самоубийство: все понимали, что к нему зашли «вежливые люди», застрелили его и ушли. Потом белые как снег секретарши и секретари сказали, что он сидел за закрытыми дверями, когда они услышали выстрел. Но все знают, что он не застрелился[8].

Тетя моя, не будь дурой, поменяла свою позицию. Снявши голову, по волосам не плачут. Научный руководитель ушел из жизни.

Она пошла дальше в рост. Вышла замуж за Фуада Абдурахманова[9], знаменитого скульптора, основоположника азербайджанской монументалистки — ученика то ли Шадра, то ли Коненкова, то ли всех их вместе, — автора знаменитого гигантского изображения Низами в центре Баку. Все исполинское, что есть в Баку, сделал Фуад Абдурахманов. Это был человек под два метра ростом, огромный, похожий на тюленя, очень темный, черноволосый.

Фуад был центральной фигурой среди скульпторов. Они с моей тетушкой, по мнению свободного диссидентско-богемного пространства, наложили страшную тоталитарную печать на всю республику. Я слышал, что этот тандем

---

[8] Гусейнов Гейдар Наджаф оглы, ожидая ареста со дня на день, в 1950 году покончил жизнь самоубийством, — возможно. В течение двух десятилетий Гусейнов Г.Н. писал монографию о герое народов Кавказа Шамиле. Когда работа была готова и даже представлена на соискание Сталинской премии – грянул гром среди ясного неба. М.Д.Багиров в газетах «Правда» и «Бакинский рабочий» опубликовал «разоблачительную» статью о мюридизме на Кавказе, где представил Шамиля агентом Англии и Турции, который вел не борьбу за свободу народов Кавказа, а хотел присоединить Кавказ к Турции. И началась травля крупнейшего азербайджанского ученого.

[9] Фуад Гасан оглы Абдурахманов (1915—1971) — видный советский азербайджанский скульптор-монументалист, народный художник Азербайджанской ССР. Автор многих памятников и монументальных композиций в Азербайджане и за его пределами (Душанбе, Улан-Батор). Учился в Академии Художеств в Ленинграде (1935—1940) у Матвея Генриховича Манизера.

напоминал что-то вроде пары академика Юдина с академиком Митиным в философии плюс Минц. Страшные ребята[10].

Правда, в бумагах другого деда, по материнской линии, я находил документы, говорящие о том, что мой отец и тетушка Шукюфа, будучи молодыми людьми, издевались над советской властью и над советскими руководителями. Но одно другому не мешает.

Фуад спас мне жизнь.

Как-то мы с ним и его дочкой от первого брака пошли гулять и купаться в Каспийском море. А я плавать совсем не умел, но очень дочка его мне нравилась. И я возьми да и прыгни в воду со скалы. Тут же пошел ко дну. Сначала он не хотел верить в то, что это происходит. Я тоже долго сопротивлялся чтобы позвать на помощь: она-то сидела наверху. Когда уже третий раз ушел вниз, крикнул: «На помощь!» А он не понимал, что всё по-настоящему. Но когда я снова позвал на помощь, он прыгнул в море, как огромный морж, и вытащил меня. Мы возвращались на дачу, я чувствовал горячий стыд, что повел себя так по-дурацки. Мне было 14 лет. На даче был бассейн, и вокруг него низкая стенка. Когда мы пришли, на парапете лежала дохлая птица. Дочка Фуада подошла и сказала: «Ой, птичка мертвенькая лежит». И я с облегчением подумал: «Боже, какая дура». И тут же потерял к ней интерес.

Шукюфа вышла за Фуада, родила дочку Гюлѝ. Сама доросла до заместителя президента академии наук и при странных обстоятельствах умерла очень рано, в начале 80-х. Но Гюли считает, что ее убили. Фуад Абдурахманов умер еще раньше.

Тетушка Шукюфа-ханум была очень яркая. Она как бы «будила чувства». Не красавица, рыжеволосая, сероглазая, скуластая, с твердым лицом, твердо очерченными губами, с

---

[10] Академики Юдин П. Ф. (1899 – 1968), Митин М.Б. (1901 – 1987), Минц И.И. (1896 – 1991) — руководители советской философской и исторической науки, весьма преуспевшие в отстаивании марксистко-ленинского характера всякой гуманитарной научной мысли в СССР.

властным жестким характером. Такая монгольская ханша. Её в семье звали «монголкой». Любопытная женщина. Моя мать тоже была скуластой, но лицо ее более деликатное, более женственное, чем у Шукюфы.

Я был на её защите докторской степени в Москве. Подумал тогда, глядя на нее: какая интересная женщина. И не высокая, и фигура у нее такая монгольская, коренастая. Но что-то было в ее густых темно-рыжих волосах, в ее серых глазах, высоких скулах... Какая-то «правильная» жилка. Женщина из той породы, для которой государственная власть — она же личная — важнее родственников и детей. Которая живет не интересами женщины, а интересами истории, интересами власти. По своей сути Шукюфа была ханшей — из тех, кто выбирает, кого из своих трёх-четырёх сыновей оставить в живых, а каких убить, чтобы пресечь борьбу за власть. У нее не случилось в жизни такого выбора, но по своей закваске она могла бы стать «решалой» женского рода в шатре в кочевом роду.

То, что она находилась в институте философии, ей самой было странно. Но другого варианта у нее не случилось. Она добралась до заместителя президента академии наук в Азербайджане, будучи женщиной. Наверняка затоптала и съела кучу народа на своем пути. И я не удивлюсь, если ее дочка Гюлѝ права, что мать убили. Но Гюли неуравновешенная особа — доверять ей нельзя.

Отец мой был моложе своей сестры, моей тетки, и совершенно другой человек. Он вообще не хотел связываться со всей этой ерундой — властью, политикой, государством. Но он вполне реализовал себя и свою карьеру.

Человеком он был очень мудрым в плане эскапизма, прирожденным аутсайдером. И он не хотел иметь ничего общего с историей семьи.

В 16-17 лет отец убежал в Москву и поступил в Суриковский институт — он тогда назывался как-то иначе. Когда учился в Суриковском, он на какой-то молодежной вечеринке встретился с моей матерью.

Отец обладал необычайно красивой внешностью. Точеное лицо, вьющиеся темные волосы, голубые глаза. У всех моих родственников в нашей семье по отцовской линии глаза голубые или серые. Я никогда не видел таких странных голубых глаз, как у моей бабушки с отцовской стороны, — его матери Гюлѝ (мою двоюродную сестру назвали в ее честь). Она уже сильно болела, когда я ее узнал поближе. Говорила только шепотом. И держалась очень тихо, старалась быть в тени. У нее сохранился удивительно пронзительный взгляд. У моего отца и у его сестры — светлые глаза. А у дочери тети черные глаза, потому что тетка вышла замуж за Фуада Абдурахманова, брутального смуглого человека невероятных размеров, невероятного роста, — он внешне соответствовал своим идеям скульптора–фундаменталиста.

В Баку я приезжал на дачу деда в Мардакане. Хороший дом, но ничего общего с Валентиновкой. Минималистская сакля, сложена из дикого камня, — сакля в буквальном смысле слова. Два прохладных помещения. Вокруг огромный участок, песок с дюнами, инжир, какие-то кусты. Метрах в пятидесяти от веранды валялся деревянный столб с белыми фарфоровыми изоляторами. А у нас была гора оружия, множество винтовок, в основном малокалиберных. Как-то отец выбрал одну. Сначала он долго ее чистил от ржавчины, приводил в порядок. Приезжая из города, привозил с собой коробку патронов, — в те времена их можно было купить свободно.

И мы с ним лежали в сделанном нами из бархана огневом рубеже и стреляли по этим изоляторам. И время от времени был слышен звон, напоминающий звук лопнувшей струны, когда пуля попадала точно в изолятор. Она его не разбивала, конечно: фарфор был толстый. Кайфовое развлечение — одно из наших любимых на даче.

На даче и в бакинской квартире было много неожиданного. Квартира деда в дореволюционном доме вообще напоминала напоминала пещеру Али-Бабы. Три комнаты и большой холл: улица Лейтенанта Шмидта, дом 8.

Лестница снаружи. Гигантские комнаты с толстыми стенами, окна закрывались тяжелыми ставнями. Огромное количество пылящихся книг — найти среди можно было все что угодно…

Однажды я залез за сундуки, и на меня свалилась настоящая кривая сабля. Не то, что сейчас делают, а боевая, мощная и очень тяжелая, с рассохшейся ручкой. Я начал ей махать и чуть люстру не разбил.

Кинжалы кавказские — признаться, и дома в Москве, на Мансуровском[11], подобного добра хватало, поэтому ничего особо удивительного для меня среди тамошних сокровищ не было. Но оружие я любил с детства.

Мне был один год, когда меня привезли в Карабах, — но ничего не помню. Знаю, что мать там наслаждалась верховой ездой: у нас были конюшни, мать седлала и выезжала.

Там были карабахи[12], привезенные то ли братом деда, то ли приемным сыном деда. Все — военные, участвовали в оккупации Северного Ирана во время войны: когда в 1941 году туда вошли советские войска, Азербайджан был активно задействован, поскольку оккупировался Иранский Азербайджан. Оттуда кто-то из них вывез шахских карабахов, попросту «империалистически» ограбив конюшни. Лошадей держали в нашей семейной конюшне. Мама брала лошадь и утром уезжала в карабахские холмы. Отец рассказывал, что местный народ пожимал плечами. В 1948 году было немного непривычно видеть молодую девушку в галифе и сапогах, которая седлает лошадь, выводит ее и галопом мчится в холмы.

Потом налетела московская бабушка и утащила меня из Карабаха. Наверняка она потом думала, что именно там я

[11] «На Мансуровском» — имеется в виду квартира в Мансуровском переулке, где родился и вырос Гейдар Джемаль.

[12] Карабахская лошадь — старинная порода горных верховых лошадей, выведенная на территории Нагорного Карабаха, тип азербайджанской лошади. Формировалась под влиянием древних иранских, туркменских, а затем арабских лошадей. Признавалась одной из лучших пород восточного типа.

подхватил полиомиелитный вирус. Хотя полиомиелит свирепствовал как раз в Москве.

А Карабах для меня свелся к этюду моего отца, который в свои 16 лет нарисовал руины нашего старого дома, существовавшего до 1918 года. Нарисовал в пастозной густой передвижнической манере. Сейчас в голове только сине-серое пятно. Рисунок висел у нас на даче, напротив моей кровати. Засыпая, на него всегда смотрел. Поэтому связь с Карабахом у меня была постоянная — виртуальное напоминание всегда крепче, глубже проникает в сердце.

# Бабушка Мария Андреевна

Моя бабушка, урожденная Шепелева, не любила восточных людей. Имперская русская националистка старого закала. Хоть и кабардинка по матери — это хуже всего.

У бабушки были сестра и младший брат. Сестра Анна, брат Владимир. По семейному преданию, все обстояло так.

Они родились в семье Андрея Львовича, который по какой-то линии был потомком Дмитрия Дмитриевича Шепелева — генерала наполеоновских войн, портрет которого висит в Питере[13]. Андрей пошел в гусары, а брат его тем временем прибрал к рукам все, что оставалось от отцовского наследства. Вышел Андрей из гусар в небольшом звании — даже ротмистром, кажется, не стал. Вышел в отставку, смотрит — а ничего нет.

Тогда он уехал в Ростов и женился там на девушке, которую взял из монастыря. Она была кабардинка, русские убили всю ее семью, а ее сдали в монастырь. Сам он стал управляющим на заводах Терещенко. Терещенко — мультимиллионер в конце XIX века. Ему, как маркизу Барабасу, принадлежало всё. Едешь, к примеру, и спрашиваешь у местных: «Чьи это поля?» Они отвечают, что Терещенко. «А чьи эти виноградники?» Терещенко. А мой прадед был у него управляющим. Жили в Ростове, бабушка училась в гимназии.

У Марии Андреевны была тяжелая и крутая жизнь. Она закончила гимназию с началом новой эры, а свой «институт» в 1918 году, — скорее, это были учительские курсы. После чего она преподавала арифметику и русский язык в казачьих станицах в 1919 – 1921 годах. Я видел справку с печатью, что

---

[13] В период наполеоновских войн в русской армии было пять (!) генералов Шепелевых. Гейдар вспоминал, что бабушка как-то упоминала портрет в Петербурге. В Военной галерее Зимнего дворца (Государственный Эрмитаж) висит портрет генерала Шепелева Д.Д. кисти Дж. Доу (1828 г.). Отсюда был сделан вывод, что предком был именно Дмитрий Дмитриевич. Но надо добавить, что это всё же предположение.

совет казачьей станицы должен ей два мешка муки за учебный год.

Мария Андреевна видела всех.

Моя любимая книжка в детстве — «Хождение по мукам». И вот что я там читал, — все было для нее реальной жизнью. Командарм Сорокин[14], кирпично-красный от кокаина и спирта, бледная Маруся-смерть[15] , — всех, кто прошли через эти станицы, она видела.

Бабушка говорила по-французски, великолепно говорила на старом русском языке, но когда хотела, могла сказать и на остром ядреном казачьем языке. От нее я узнал много казачьих поговорок — не всякую можно озвучить в приличном обществе. Отличаются они циничным, разочарованно-холодным взглядом на жизнь. Самое приличное из того, что я запомнил: «Пока солнце взойдет, роса очи выест». Это хорошо описывает «тренд» того мировоззрения.

У Марии Андреевны не было никаких иллюзий. Она не делала секрета из того, что деда она не любила. Мне, маленькому, она рассказывала, что у нее была большая любовь. И она говорила:

- Какое счастье, что я не дала волю чувствам и не вышла за него замуж. Через несколько лет его расстреляли как врага народа. И куда бы я пошла, вдова врага народа, с детьми врага народа? Как хорошо, что не поддалась чувствам.

---

[14] Иван Лукич Сорокин (1884–1918) — красный военачальник, участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Главнокомандующий Красной армией Северного Кавказа. Командующий 11-й красной армией. Попал в плен и расстрелян белыми. А. И. Деникин отзывался о Сорокине так: «…в лице фельдшера-самородка Советская Россия потеряла крупного военачальника».

[15] Мария Никифорова (1885—1919) — предводительница анархистов на территории юга России, соратница Нестора Махно. Примкнула к анархическому движению в 16 лет. Известна под именем Маруся. В годы Гражданской войны становится одним из самых заметных и авторитетных командиров анархистских отрядов Екатеринославской и Таврической губерний России.

Конечно, она не могла знать, что его расстреляют, но, видимо, инстинкт у нее сработал. А может, она его и любила потому, что его расстреляют в перспективе как врага народа.

Её мать, моя прабабушка, умерла в Пятигорске в 108 лет. Простая тихая женщина, прожившая очень много лет, воспитывалась с двух лет в женском монастыре и была весьма условной кабардинкой. Она умерла уже в 80-е годы, пережив своих дочерей.

Один раз я видел свою двоюродную бабку Анну — сестру бабушки. Роскошная светская львица — в формате Пятигорска — с потрясающей шевелюрой, мощным бюстом. Бабушка же была гораздо более рафинированная.

Кстати говоря, брат моей бабушки убежал из дому четырнадцати лет отроду в Баку. В гражданскую войну занимался разведкой и шарился по тылам деникинцев. При этом он был очень талантливый художник с детства и постоянно делал наброски местности, пушек, телег.

Вернулся сумасшедшим неуправляемым парнем. И воспитал соответственно своего сына, гиганта выше двух метров. Он заикался, потому что отец его сильно бил. Такая печальная история.

Идея у бабушки была такая: непрерывные занятия, непрерывная учеба, — причем читать мне тоже мешали. Я не любил заниматься, но любил читать книги. Любые. Философию чуть позже, конечно же художественные книги, причем разные. Ну, например, Майн Рид — я всего его прочел очень быстро.

Типичный наезд бабушки на меня начинался так: «Что, книжечки читаем? А как насчет уроков? Почитываем все книжечки, а потом что будем делать? Пойдем в рабочие?» Одним из важных террористических методов воздействия на меня было сравнивание с простыми людьми.

У нас во дворе на Мансуровском, где сейчас мастерские Церетели, располагался гараж. Этот гараж я очень любил. Туда заезжали большие грузовики, их там ремонтировали, стояли лужи бензина, особый запах гаража, очень

специфический, действовал на меня опьяняюще. Запах смазки, мазута, бензина, машин. И ходили там звероподобные работяги, шоферюги в негнущихся комбинезонах. Вот они постоянно служили для бабушки иллюстрацией: вот, мол, посмотри на судьбу этих людей, — хочешь быть одним из них, тоже хочешь быть шофером? Это была её постоянная линия. В классовом смысле бабушка являла крайнюю неполиткорректность. К простым людям, которых она вызывала, чтобы что-то сделали, она обращалась только «Иван» независимо от того, как их звали, — она вообще не интересовалась, как их звали. «Иван, надо сделать то-то и то-то». Когда «Иван» пытался сказать, что зовут его Василий Петрович, она это игнорировала. Ее поведение было чудовищным по отношению к этим людям. Иногда было за нее стыдно.

Однажды на даче летом печник долго делал печку в летней кухне. Мне нравилось за ним следить, как он затейливо выкладывает по кирпичику внутренность печки. Мы с ним обсуждали сравнительные достоинства ТТ и нагана. Пробьет эту березку ТТ и пробьет ли ее наган. Я с ним говорил, стоя рядом и наблюдая за его работой. Он клал кирпичики, и внутри очень мастеровито появлялись разные переходы. Я считал, что работу он делает чудесно.

В этот момент хлопнула калитка — до летней кухни в глубине сада метров 70-80. На аллее появилась бабушка из гостей. Куда-то она ходила поблизости. Когда она ходила в гости, то всегда надевала платье из черного муарового шелка с белым брюссельским кружевом, закалывала его здоровенной гранатовой брошью сантиметров семи из почти черного граната. Бабушка быстрым жестким шагом прошла по аллее прямо к нам в кухню. Этот «Иван» едва успел отскочить в сторону. Прямо в черном муаровом платье она опустилась на колени на заляпанный глиной и кирпичной пылью пол, засунула обе руки по локоть в печку, уже почти законченную, и мощным движением просто разворотила ее, кирпичи полетели в разные стороны по всей кухне. Я такого не ожидал. Она говорит: «Халтура, переделать». Встала и ушла.

Иван стоял белый как мел: «Да, бабушка у вас ничего... Бабушка хорошая». Он молча опустился и стал собирать кирпичики, класть их назад. Второй раз его работа мне уже не казалась такой хорошей, мне было его жаль, и я не мог уже с ним говорить про пистолеты и про наганы. Что-то ушло, какой-то кайф, какой-то свет всего дня и наблюдения за его работой. Эйфория погасла.

В этом эпизоде содержится формула, парадигма ее восприятия, ее присутствия. Бабушка была очень ригидная особа, ориентированная на то, чтобы любой ценой оставаться наверху социума: «Мы через гражданскую войну, расстрелы, через шашки, виселицы вырвались наверх, где мы были до этого. Мы вернулись опять сюда, и мы не должны ни на секунду сползать ни на полступеньки, а только подниматься, топить всех, кто посягнет на нас. Потому что если ты сходишь с этого круга на самом верху, то ты уничтожен. Твой путь — к этим убогим Иванам в стоящих колом, пропитанных мазутом комбинезонах, где тебе остается только пить и дохнуть в безвестности».

У нее была такая школа, которой у меня-то не было. Она-то прошла ужасы. Представьте девушку 18 лет, которая окончила гимназию с «Боже царя храни...» по утрам перед занятиями, и потом какие-то педагогические курсы, и потом оказалась учителем в казачьей станице во время Гражданской войны, где она видела каждый день то, что сегодня подается под названием «исламское государство». Вот эти ролики, которые мы видим в виртуальном мире, она наблюдала в реальности каждый день. Не один десяток Подтелковых[16] на ее глазах порубали шашками.

Человек с таким бэкграундом и с таким багажом, бабушка воспринимала общество вокруг себя как зверинец, как джунгли, где надо выживать. Это же она мне говорила, что какое счастье, что не вышла за любимого человека: его

[16] В конце второго тома романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» описывается казнь казаками Федора Подтёлкова, руководителя т.н. Донской Советской республики.

через несколько лет расстреляли. Деда она уважала, но не любила, может быть, даже презирала, но он был для нее ступенькой наверх. Она презирала его как человека ниже себя, но уважала как человека, который понимал, что такое «политика», — в особенности, что такое политика дома. Если убрать в сторону стилистику, то она бы очень хорошо понимала «Игру престолов». Борьба феодальных домов вписана в ее психику. «Оставаться наверху» — вот был ее императив.

Бабушка испытывала сильный негатив к моему отцу. Его полностью поглощала живопись, но у Марии Андреевны постоянно были какие-то претензии. Когда отец уже с матерью развелся, бабушка все равно продолжала меня грузить, что вот-де твой отец такой-сякой.

Она говорила, что он не умеет рисовать руки, что он не усидчив. Что его сверстники, соученики, сделали уже невероятную карьеру, — вот Годына[17], например. Оказывается, отец учился с автором картины «Опять двойка»[18]. И бабушка повторяла, что вот, человек нарисовал «Опять двойка» и вошел в историю, обессмертил свое имя, а ведь был никто рядом с твоим отцом. Где же шедевр твоего отца, где его «Опять двойка»?! Даже руки не может нарисовать! Надо сказать, такого усидчивого и работоспособного художника, как мой отец, найти непросто. Он оставил после своей смерти более 1200 картин, не говоря уже об огромном количестве рисунков, набросков, графики.

Мария Андреевна Шаповалова умерла на Мансуровском в 1974, когда мне было 27 лет, ей «формально» было 72, а неформально, наверное, 74. Она себе убавила возраст, чтобы

---

[17] Сергей Митрофанович Годына (1921-2012) – советский и российский художник-график и живописец, профессор искусства, Заслуженный художник РСФСР. Работы художника находятся в музеях России и частных коллекциях по всей Европе. После войны учился в институте имени В.И.Сурикова – закончил его в 1950 году.

[18] Автор картины «Опять двойка» Фёдор Павлович Решетников (1906 —1988) — советский, российский художник-живописец, график. Народный художник СССР.

не быть старше деда. Может быть, она была даже 1898 года, а писала везде, что 1902. Если она была 1898 года, то все сходится: в 1918 году ей было 20 лет, и она к этому времени закончила гимназию, учительские курсы и дальше преподавала. Юон[19] написал ее портрет, он где-то у нас хранится. Там видно всё.

[19] Юон Константин Федорович (1875—1958) — народный художник СССР, академик, русский и советский живописец

# Дед Леонид Емельянович

Дед же мой Леонид Емельянович Шаповалов — один из самых загадочных людей.

Вот честное слово, я до сих пор думаю над загадкой этого человека, которого я не видел после своих семи лет: он умер, когда я заканчивал первый класс. Я смутно его помню. Но чем дальше, тем более загадочным становится его фигура.

Дед никогда не проявлял особо, что с его происхождением что-то не так. Он говорил на тюркском языке — я это знаю независимо от документов, потому что он общался с другим дедом, пел астраханские татарские песни. А что было не так с дедом? Его происхождение. Шаповалов русской крови не имел ни капли — был усыновлен русским.

Насколько мне удалось выяснить, его отец и мать — карачаевские или иные тюркоязычные уздени, спасаясь от кровной мести, в начале века переехали в Астрахань. И когда мой дед с сестрой были совсем маленькими, их отца нашли и убили. Мать, чтобы спасти детей, вышла замуж за русского, который их усыновил. То есть она резко «поменяла формат».

Этот покровитель, купец-рыботорговец, держал в Астрахани рыболовецкие суда. Достаточно богатый человек, звали его Емельян. Он, естественно, переименовал усыновленных деда и его сестру: дед стал Леонид Емельянович, а сестра его — Агриппина Емельяновна Шаповаловы.

После смерти деда бабушке выдали его партийный архив — 10 кг бумаг, его касающихся. Там несколько его биографий, и они все разные. Несколько его справок лично о себе — и они тоже все разные. Ну не так чтобы капитально.

Я знаю, чьим дед был сыном, чьим он был пасынком, кто был его отчим. В архиве же фальсифицировано все. В одном случае он из рабочей семьи, в другом — из рыбацкой, в третьем — еще из какой-то. В одном случае он знает немецкий язык, в другом — не знает немецкий, но знает татарский. Все разное. Единственная неизменная часть — это повторяющаяся с 1925 года запись «Партийную чистку прошел». Все чистки

прошел. То есть очень правильно бухаринско-зиновьевских ублюдков сдал, троцкистов замочил.

Не из страха. Его называли «Наповаловым» — такую кличку зря не дадут.

На его могильной плите написано, что он родился в 1902. Мне кажется, здесь нестыковка, потому что не в пятнадцать же лет он пошел воевать в гражданскую войну — в семнадцать-восемнадцать, наверное.

Мне бабушка рассказывала такую историю в качестве семейного предания.

В 1918 или в начале 1919, после Ледового похода, когда вместо Корнилова оказался Деникин, дед был ранен. И красные, отступая, оставили его в какой-то станице. Пришли деникинцы, которые его как бы не заметили. А дед отлежался, отошел от ран и стал начальником водокачки. А было ему 18 лет или около того.

Восемнадцать лет, только что ранен, воевал за красных, остался на занятой белыми территории. И он при деникинцах работал начальником водокачки. Когда деникинцы ушли, пришли красные, и дед как ни в чем ни бывало вернулся в свой полк, в котором он служил до ранения, — без всяких вопросов по поводу того, что он шесть месяцев сидел начальником чего-то в тылу у деникинцев. Людей-то и за меньшее берут.

Эта история, как всегда видоизмененная и переделанная, должна содержать «зерно». «Зерно» заключалось в том, что он якобы не был никаким начальником водокачки, а выполнял разведзадания в тылу у деникинцев. Может быть, с измененной личностью.

В 1925 году дед уже стал, будучи 1902 года рождения, кем-то вроде комиссара где-то на Северном Кавказе. Потом он поступил в институт красной профессуры, или университет Свердлова. Там он проучился большую часть курса, но ему не дали его закончить и отправили на какие-то спецпоручения. Дальше он всё время их выполнял.

Это были очень странные спецпоручения. Например, в годы войны деду поручили выяснить, почему в Кузбассе упала

выработка угля. Как гласит семейная легенда, он поехал и выяснил: не было лампочек на касках у шахтеров. Завезли лампочки — и сразу поднялась выработка.

В октябре 1941 года дед вывозил архив ЦК из осажденной немцами Москвы[20]. В конце войны он входил в состав комиссии по контролю за вывозом трофеев из Германии. Шаповалов был одним из тех, кто устроил скандал, который стоил карьеры Жукову.

Жуков эшелонами вывозил трофеи вместе с генералом Крюковым, мужем певицы Руслановой. Сталину доложили, что Жуков позорит и дискредитирует советскую армию. Другие себе вагон везут, а этот эшелоны. В Совке же все подчинялось коллективизму. Видимо, генералу положено было вывезти не больше вагона, офицеру — пять чемоданов, солдату — один чемодан. Дед непосредственно взаимодействовал со Сталиным. После этого Сталин сделал Жукову «а-та-та».

В 1944 Сталин поручил ему очистить от евреев Малый Театр. Вызвал их с Храпченко[21] и сказал что-то вроде «Нужно делать русское искусство и русский театр, потому что то, что сейчас происходит, — чушь, не русское. Ваша задача — сделать Малый театр русским». И Шаповалов очищал беспощадно.

Одну актрису — вроде, любовницу Берии, — нельзя было выгнать. Он ее вызвал и сказал: «Вы можете работать. Фамилию поменяйте». И она стала Иванова или Петрова.

---

[20] В окружении Леонида Емельяновича говорили, что «Шаповалова спас Гитлер». Перед самой войной Шаповалов сделал доклад, в котором разделил всех больших музыкантов тех лет на «механицистов» и «меньшевиствующих идеалистов». Музыканты пожаловались Сталину. Сталин наложил резолюцию: «Тов. Щербакову: разобраться и примерно наказать». Щербаков перенаправил Гринину, секретарю по пропаганде: «Разобраться и примерно наказать». Гринин — Зуевой, зам. зав. отд. пропаганды: «Разобраться и примерно наказать». Зуева — Пановой: «Разобраться и примерно наказать». Но тут началась война.

[21] Михаил Борисович Храпченко (1904 – 1986) — советский государственный и общественный деятель, председатель Комитета по делам искусств (1939—1948).

После войны Леонид Емельянович стал заместителем председателя Комитета по делам искусств, дружил с Храпченко, дружил с Суриным[22], директором Мосфильма. В известной книге «Укрощение искусств», изданной в 1952 в Нью-Йорке[23], некий музыкант упоминает этого Сурина как гонителя и давителя всего. Вот этот Сурин, давитель и гонитель, был самым близким другом моего деда. Они каждую субботу отправлялись на охоту. Дед держал егеря и собак.

У нас хранилась громаднейшая коллекция ружей — 15-20 самых известных марок. У меня в шесть лет имелось собственное ружье — Зауэр «Три кольца» 16 калибра. Мне было доверено разбирать его и чистить, когда каждую неделю перед поездкой на охоту проводился смотр оружия.

Они уезжали и возвращались к понедельнику с невероятным грузом битых уток. Один раз привезли зайца. Утром в маленькой своей детской я открываю глаза — надо мной стоит дед в комбинезоне и огромных сапогах-ботфортах, покрытый инеем и дышащий морозом. И он мне, маленькому, ставит на грудь замерзшего зайца величиной с меня самого. Я до сих пор помню интересный шок, который я тогда испытал.

Дед постоянно ходил на охоту с этим Суриным. У Сурина было два сына. Один стал хирургом, а другой, Александр, известным режиссером. Он выпустил 1986 году очень неплохой, знаменитый в свое время, фильм «Мы веселы, счастливы, талантливы». Я смотрел этот фильм еще с Дугиным и Гюльнар. Потрясающее издевательство над безумной совковой жизнью того времени — над интеллигенцией,

---

[22] Владимир Николаевич Сурин стал директором Мосфильма в 1959 году. А во времена Шаповалова он был зам. председателя Комитета по делам искусств при СМ СССР и самое интересное — председателем Суда чести этого комитета. В 1948 году после знаменитого постановления ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели» Сурин был освобожден от занимаемой должности с формулировкой «За допущенные ошибки в области музыки». В дальнейшем стал руководителем советского кинематографа.

[23] Книга Юрия Елагина «Укрощение искусств» активно издается в нынешней России.

поисками снежного человека, над женами, увлекающимися йогой и аэробикой.

Дед был обязательным к людям, имевшим к нему отношение. Всем помогал, кто оказывался его родственником.

Женился на бабушке и помогал её брату Володе, который сошел с ума и в 14 лет убежал на гражданскую войну. Устроил его во ВХУТЕМАС, где тот перестал учится после двух курсов.

Леонид Емельянович всех устраивал, но в соответствующие им места. Бедных дальних родственников попроще — в суворовское или нахимовское.

Своего приемного отца дед везде возил с собой. Прадед, мрачный рыжебородый персонаж, умер, когда мои родители поженились. Мне достаточно много рассказывала о нем бабушка, хотя доверять ей тоже нельзя. В основном она вспоминала его как нелюдимого и грубого человека. У Емельяна от первого брака осталась дочка Клавдия. Мой дед о ней заботился. Он даже дал ей дачный участок за нашим домом. Это была дылда со светло-русыми волосами и бледно-водянистыми голубыми глазами, полная идиотка. В какой-то момент ей купили швейную машинку, чтобы она могла как-то зарабатывать на жизнь. У нее тоже была приемная дочь.

Со своей сводной сестрой дед не имел ничего общего. А вот его родная сестра, Агриппина, моя двоюродная бабка, была потрясающей красавицей. У нее до самой смерти была точеная фигура, белые ноги, белые руки. Стройная, с огромными черными глазами, она напоминала персонаж из «Бахчисарайского фонтана». Ослепительная. Но она тоже была немного заторможенная, жила как будто во сне, в серале.

Ей пришлось тяжело. В 30-е годы у нее был любимый муж Феликс. Он был НКВДшник. Как-то они возвращались из ресторана большой компанией, и он, приотстав, шутя и играя, достал из кармана пистолет и со словами «а спорим, что не заряжен», выстрелил себе в голову на глазах у всех.

Это случилось, насколько я понимаю, когда Ягоду разбирали на части. Красиво поступил. Объявил перед свидетелями, что это не самоубийство, а что он просто валяет дурака: ну идиот, ну патрон оказался в патроннике, ну не повезло. Понятно, что если бы он застрелился, то — «враг народа». И соответствующее заключение приняли бы и по жене. А так — ну дурак, с кем не бывает.

Этот случай подействовал на тетю так, что она уже никогда не смогла оправиться. Вышла потом замуж за инвалида войны намного ниже себя по уровню. А сын от брака с Феликсом погиб на фронте.

Меня дед обожал. Легко брал и сажал себе на шею. А если был не в духе, то пальцем отводил меня в сторону. Я к нему подбегаю, кричу «Дедушка!», а он меня пальцем отводит, говоря при этом «Я зол», — и идёт в свой кабинет. Когда я Джаиду[24] это рассказал, он отметил, что это типично тюркский ход, даже сам оборот «Я зол». Впрочем, внешность деда не оставляет в этом никаких сомнений.

Он был компактный, плотный, коренастый, — ростом, наверное, сантиметров 175, — с густыми черными волосами и черными же, почти сросшимися, очень густыми бровями, красным лицом и очень темными карими глазами. В волосах у него не было ни единого седого волоса — во всяком случае так мне казалось, — и твердый подбородок калошей. Странным образом он напоминал известный бюст Бетховена. У нас на рояле стоял этот бюст, и домработница была уверена, что это портрет моего деда. Я и сам, когда был маленький, так думал: они действительно были похожи. Но потом я прочел имя латинскими буквами: Beethoven. Я говорю домработнице:

- Смотри, Маша, это Бетховен!

А она отвечает:

- Да ну вас, вечно вы придумываете! Это ваш дедушка!

Действительно был похож: волнистые черные волосы, подбородок, брови сведенные.

---

[24] Отец Гейдара — о нём позже.

Отец мой считал, что дед больше напоминает злую версию Минтимера Шаймиева. Но я не согласен, потому что Шаймиев похож скорее на орангутанга, а у деда другой тип лица. Просто мой отец деда не любил и заклеймил его Шаймиевым.

Некоторый свет на историю моего деда проливает происхождение нашей дачи.

Став в 1944 году директором Малого театра, дед вступил в дачный кооператив. И обнаружил, что председатель в этом дачном кооперативе не имеет никакого отношения к Малому театру. Некий ловкий менеджер, проходимец, — ниоткуда пришел, все организовал, начал рулить, стал председателем. И все спокойно кивали, и вопрос «Кто такой?» никто не задавал.

Дед посмотрел на ситуацию как директор Малого театра и недолго думая взял да и посадил председателя. А у того уже был огромный участок от одной улицы до другой. Одна улица выходила на кооператив МХАТа, он назывался «Чайка», а другая выходила в лес. Председатель с 1938 года заложил фундамент и сруб будущей дачи. Дед забрал все себе и сам стал председателем.

Году в 1946 из какой-то Жмеринки или Конотопа приезжает сестра посаженного председателя и начинает качать права: «Где мой брат? Где его дача?» Она тоже исчезает в темных недрах ГУЛАГа...

Это я все читал в документах, хранившихся у нас на чердаке.

Меня это поразило в свое время, потому что всегда считал, что дача — моя феодальная первозданная собственность. Родовая. Я не мог себе представить, что у нее была какая-то предыстория, относившаяся не к моей семье.

Надо сказать, когда я познакомился с реальной историей дачи, — что в основе был некто, кого взяли за шкирку и посадили, и это был отъем собственности, — меня царапнуло. Не в том смысле, что жаль бывшего председателя, а в том, что миф первозданной родовой собственности испорчен. Но, с другой стороны, сама история помогла мне лучше понять

деда: по своей натуре брутальный баскак из тех, кого до сих пор с ужасом вспоминают.

Ордынский баскак. Брал, отбирал, сажал, присваивал.

Сегодня рейдеры не воспринимаются как «право имеющие». А мой дед действовал как «право имеющий».

О Шаповалове на редкость мало упоминаний в интернете. Если набрать в поиске его данные, что он был директором Малого театра, то сразу выплывает красивая яркая фотография мраморной доски с Новодевичьего кладбища.

Можно найти список директоров Малого театра от даты его основания, где он фигурирует. Можно найти упоминание его диссертации, но самой диссертации нет, есть ссылка на архив. Диссертация у него по истории Малого театра. Там, на минуточку, 10 томов формата А4, напечатанных на машинке. Я, правда, этот труд никогда не читал. Но у нас было очень много книг по театру. Софоклы, еврипиды, эсхилы. Многое было ему подарено. Например, книгу «2000 лет армянского театра» ему подарил автор-армянин со своим автографом. «Батый» Яна тоже с автографом деду.

Как-то я целый год прожил, продавая через Шварцера автографы Сталина. Один автограф у меня сохранился, но не Сталина, а Михоэлса[25]. Михоэлс писал моему деду с просьбой содействовать открытию театра униженно и со множеством расшаркиваний. Дед считался одним из главных антисемитов в большом культурном пространстве, и вот Михоэлс ему писал. В Израиле специалисты, занимающиеся историей Малого театра, Шаповалова хорошо знают.

---

[25] Соломон Михайлович Михоэлс (1890 — 1948) — актёр и режиссёр еврейского советского театра на идише, общественный деятель. Народный артист СССР. В феврале 1942 года, когда по инициативе советского руководства для «вовлечения в борьбу с фашизмом еврейских народных масс во всём мире» был создан Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), стал первым председателем этого комитета. В феврале 1944 совместно с И. Фефером и Ш. Эпштейном написал письмо Сталину с просьбой об организации еврейской автономии в Крыму. В 1948 году был убит сотрудниками Министерства госбезопасности СССР.

Однажды у меня приключился забавный эпизод. Мы продавали дачу и покупали квартиру. Ходили по разным предложениям, и вот зашли в район Нового Арбата, Кутузовского — перед мостом, где старые сталинские дома, может даже и досталинские. В двух шагах от английского посольства. Угловое здание, через арку во двор. Большая квартира с трещиной в стене и, насколько я помню, камином. И хозяйка, которая приехала из Израиля продать квартиру умершей сестры.

Оказалось, что она занималась театральной культурой, написала книгу о Чехове как об антисемите. Насколько я понял, она вообще специализировалась на антисемитизме в русской культуре. И заговорила о Малом театре, о том, какой Чехов антисемит. А я возьми да и скажи, что моя семья тоже имеет отношение к Малому театру. Она на меня очень внимательно посмотрела и спросила, кто это у меня имеет отношение. Я говорю, что дедушка директором был одно время. «А как его зовут?» — и у нее взгляд сразу стал колючий. Я понял, что у нее в голове вертится правильная фамилия: прикинула мой возраст и время, когда мой дед мог быть там. А все фамилии-то наперечет: после деда был Царев. И ясно, что я не родственник Царева. Я понял, что если хочу продолжать разговор о покупке квартиры, то надо от этого как-то уйти. Предложил ей сменить тему, стал книжки смотреть.

…Незадолго до смерти дед отвел меня в школу. И вот прошло полгода, наступили зимние каникулы. В зимние каникулы меня ждало два колоссальных удовольствия.

Первое — кремлевская елка. Я спросил деда:

- А как быть с елкой?

- Сейчас решим, — сказал он и позвонил Маленкову: «Внуку бы на ёлку…»

Елку я не помню совершенно — помню мешочек с конфетами и орехами.

И второе — ТЮЗ. «Синяя птица» Метерлинка. ТЮЗ, Сахар, Хлеб[26] — для меня это было как в тумане, я сидел с дедом, плохо все понимал. Кстати, много лет спустя я попытался читать «Синюю птицу» в оригинале, но мне не пошло. Совершенно безумный и бездарный автор — не понял я его известности.

И еще помню какой-то кремлевский концерт, на который мы с дедом тоже пошли. Это последнее, что я помню о деде. Трудно было предположить, что этот человек скоро умрет. Дед постоянно упражнялся с гирями и гантелями, обливался холодной водой; за обедом обязательно выпивал 50 граммов дорогого коньяка — «для здоровья»; проводил все уикэнды на охоте. И вдруг умер от инфаркта.

Инфаркт у него был «политический»: Леонид Емельянович входил в ближний круг Маленкова[27], а Маленков проиграл в 1955 году.

Как ни странно, дед хотел быть профессором — именно профессором, а не доцентом с кандидатской диссертацией. Он решил защитить докторскую, и она была посвящена истории Малого театра. Он очень много писал. Огромные тома — всё это в архиве есть: переплетенные тома, напечатанные на машинке. Когда дед уже собрался ее защищать, то позвонил своему другу, а точнее «личарде»[28], который всегда «под локотком». Был такой актер Малого театра Зубов — наш сосед по даче. Старая дворянская семья, но абсолютный блюдолиз, похожий на Алексея Николаевича Толстого: с подгорликом,

---

[26] Сахар, Хлеб, Вода, Души Света, Кошки с Собакой и так далее — герои пьесы Метерлинка.

[27] Георгий Максимилианович Маленков (1901—1988) — советский государственный и партийный деятель, соратник И. В. Сталина, председатель Совета Министров СССР (1953—1955). Полгода, с марта по сентябрь 1953 года, Маленков, заняв пост, принадлежавший Сталину, воспринимался как его непосредственный наследник.

[28] Личарда — верный слуга короля Гвидона в старинной русской сказке о Бове-королевиче. Имя его стало синонимом верного слуги. Однако в первой половине XIX века «личардами» иронически называли бестолковых слуг — камердинеров и лакеев.

ожерелком, с длинным лицом, щеки, прядь набок — дворянские лица все под копирку. Дочка у него неплохая была — совершенно безумная Татьяна, математичка. Очень симпатичная.

Позвонил Леонид Емельянович ему и говорит:

-Приходи (скажем, послезавтра) на мою защиту.

Тот ему отвечает:

-Не смогу, извини.

-Что?

-Да я болен — видимо, буду болен и послезавтра.

Дед положил трубку и понял, что это конец. Поехал к своему другу генералу Кривошеину Семену[29], и за обедом вдруг схватился за сердце. Его перенесли в комнату, из которой он вышел уже мертвый через месяц. Месяц он там лежал. Говорят, в наши дни бы спасли: теперь с таким инфарктом перемещают, спокойно выхаживают. Но на тот момент это было выше сил 4-го управления.

Меня приводили проведать дедушку. Он вполне общался, улыбался.

Помню, что сильно прокололся, потому что меня каким-то вещам, связанным — о ужас! — с христианской верой, научила наша домработница Анна Тимофеевна, — по-моему, что-то про ангелов и архангелов. Ну и проговорился: в беседе с дедом что-то упомянул про архангелов. Он меня спрашивает:

- Это откуда?

- Да вот — Анна Тимофеевна рассказала.

- Ааа… — И посмотрел на бабушку: «Ну, разберись с этим.»

Она:

- Хорошо.

Ничего особенного потом не было. Но дед не шутил с такими вещами — не даром же ушел воевать, как только

---

[29] Семён Моисеевич Кривошеин — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. Кстати, командовал совместным парадом немецких и советских частей в Бресте 22 сентября 1939 года.

появилась такая возможность. Очень серьезно относился к «очередным задачам советской власти».

Любопытный был человек — Леонид Емельянович Шаповалов. Мрачный, жесткий, темный и очень конкретный человек — от Кузбасса и вывоза архива ЦК до очистки от евреев Малого театра.

В нем смешивалась воля к власти и абсолютный сатраповский карьеризм. Комплекс власти, готовность мочить. И он ничего не боялся. В нем сочетались абсолютная безжалостность и решимость, отсутствие страха и одновременно конформизм. Такое сочетание бывает только в тюркских нукерах наподобие нойона при Бату или Джучи: он ангажирован в службу, он реально выполняет приказы хана. Но он не из страха это делает, в нем нет либерализма, никаких идей свободы — ни своей, ни чьей бы то ни было. Просто чистая власть. Сатанизм чистой воды. Мой дед был забран в этот луч — луч диктата, луч тоталитарности.

Леонид Емельянович умер в 1955 году. Директором Малого он был с 1944 по 1951[30]. Перед тем как он умер планировалась его отправка послом в Венгрию — на то место, которое потом занял Андропов. И бабушка несколько лет говорила: «Какое счастье, что мы не поехали в Венгрию, мы бы оттуда живыми не выбрались». То есть, читай, какое счастье, что он умер раньше, чем мы бы поехали. Хотя, собственно говоря, почему она так считала — непонятно.

---

[30] В истории Малого театра сказано, что с Шаповалов был директором с 1 марта 1943 года по 1 апреля 1950 года.

Это при нем в Малом театре был поставлен спектакль «Орел и орлица» об Иване Грозном, вызвавший возмущение Сталина: царь был показан страдающим от любви к кабардинской девушке. По мнению Сталина, личное не должно быть присуще образу царя. А один из спектаклей вызвал гнев Ворошилова: «Пьесу снять — у нас таких офицеров нет!». Шаповалов: «Жалко — хорошие артисты играют». И устроил закрытый просмотр, на котором присутствовал Сталин. В итоге спектакль был выдвинут на Сталинскую премию.

Андропов же остался жив. Я думаю, что дед в этом плане тоже бы не оплошал.

Чистый сатрап. Леонид Емельянович Шаповалов по прозвищу Наповалов.

Два мира моих дедов слишком разные. Мой азербайджанский дед со стороны отца — из конформистской старой аристократии. При Мусавате возглавлял Совет Карабаха. Кончился Мусават, пошла советская власть, — и он возглавил отдел по борьбе с бандитизмом, оставаясь беспартийным. Настоящий барин, занимал огромную бакинскую квартиру на улице лейтенанта Шмидта, с горой старинного азербайджанского оружия, фамильных сабель и кинжалов, с огромной библиотекой, — тенистое, прохладное пространство за толстыми ставнями, и комнаты, как пещеры Али-Бабы.

А с другой стороны — столичная номенклатурная жизнь жесткого человека, бывшего начальника деникинской водокачки, русифицировавшего искусство в непосредственном контакте со Сталиным. И бабушка, дочь Андрея Львовича Шепелева, — человек, получивший заряд страшного впечатления о мире. Гимназистка вдруг оказывается учительницей в казацкой станице во время Гражданской войны. Потом встречает деда, и дальше они поднимаются вверх, перебираются с Кавказа в Россию.

В Ельце в 1929 году родилась моя мать.

В 1946 моя мать встречается с моим отцом, убежавшим от номенклатурной — даже *традиционно* номенклатурной — семьи, чтобы быть художником и ничего не знать о политике.

# Мама

Судя по рассказам моей матери, молодежь ее круга жила весело.

Постоянные встречи, рауты в домах с такими именами, которые сегодня многих людей заставили бы вздрогнуть и побледнеть. Чаще всего они собирались и веселились в доме Людвигова[31], секретаря Берии.

Мама рассказывала, что иногда поздно ночью, среди смеха и веселья, когда они кружились в бальных танцах в большой зале, в особняке (по-моему, это особняк по Остоженке, 49[32] — там жил либо Людвигов, либо Кабулов) внезапно появлялся хозяин дома. Всегда необычайно бледный, белый как мел. И говорил он с вежливой улыбкой, медленно пробираясь среди танцующих молодых людей: «Веселитесь, веселитесь. Не обращайте на меня внимание», и следовал к себе в кабинет. Но на него и так никто особо не обращал внимания, хотя то, что он всегда был белый, как мел, появляясь посреди ночи, мама запомнила.

Много времени спустя она стала сопоставлять разные моменты и предполагать, с какой такой работы он мог появляться во втором часу ночи и в таком вот странном бледном состоянии.

На одной из таких вечеринок она и встретилась с моим отцом.

Как огонь и вода — при их встрече с шипением поднялся странный пар. Вода тут же куда-то впиталась, а оставшийся огонёк снова раздулся, и поднялось новое пламя, но уже иное. Они были несовместимы. Но они встретились: мой отец, голубоглазый бравый элегантный денди с черными вьющимися волосами, и мать — темная шатенка с серыми и

---

[31] Людвигов Борис Александрович (1907 – ?) — помощник Берии с 1947 по апрель 1953 года. В 1954 году приговорен к 15 годам лишения свободы.

[32] Интересно, что в этом доме в наши дни располагаются, среди прочих, Координационный центр мусульман Северного Кавказа и Международная исламская миссия.

очень холодными глазами. Они понравились друг другу и решили пожениться.

Деды были против — и тот и другой. Один дед — верховный судья в Баку, а другой — зампредседателя Комитета по делам искусств, директор Малого театра и преподаватель философии в ГИТИСе. Один из Мусавата — «перекрасился» за счет личной дружбы с Багировым. Второй — прямой участник Гражданской войны, ушел на фронт в семнадцать лет воевать с Деникиным, застал формирование первых полков Красной армии, там познакомился с будущими большими людьми.

Деды мои были совершенно из разных пространств, психологически разных. И мои отец и мать тоже оказались совершенно противоположными. Говорить им было не о чем.

Мама, своевольная, привыкшая к независимости, бросила среднюю школу и ушла из девятого класса на ипподром, и дальше училась в вечерней школе. Ей надоело учиться, а лошади были ее страстью. Она могла сделать любую карьеру — театр, университет, МИД, все что угодно.

Было что-то неуловимое в её серых глазах, высоких скулах. Внутренняя жесткость, наверное. Моя мать была жесткой женщиной, хотя жесткость и скрывалась под светскостью, беззаботным смехом, стильностью и манерами. Но очень жесткая была женщина.

Она к людям относилась хуже, чем к животным. Лошади составляли объект ее абсолютной страсти. Она кое-как получила аттестат, для нее остававшийся чем-то внешним и ненужным.

Я с матерью не жил. Очень скоро после того, как она развелась с моим отцом, она вышла замуж за морского офицера-подводника и уехала в Питер. Конечно, я бывал в Питере у матери — в Поварском переулке на Невском, где она жила очень неприятной для себя жизнью, потому что в Питере нет ипподрома. Видимо, по этой причине мать потом и развелась. На некоторое время этот брак продлился, потому что они года два жили в Таллинне. Бывал я и в Таллинне. Но ни Питер, ни Таллинн не запомнились мне никак. Я много

посвятил Таллинну уже в зрелые годы, в 80-е, —тогда он мне уже очень нравился. Но в 12 лет совершенно ничего не осталось.

В Талинне ипподром был. Это чуть-чуть притормозило распад семьи. Но они вернулись опять в Питер, и тут уже она не выдержала.

Не понимаю, почему не было ипподрома в таком замечательном городе, как Питер, где когда-то жизнь протекала между парадами, манежем и выездами. В городе, где Зимний дворец, где обитала аристократия, где все завязано на лошадь — традиционную имперскую вещь — не было ипподрома. Оказывается, такой факт мог повлиять на семью, её судьбу.

Лет до 14 я и сам занимался верховой ездой в обществе «Труд», бывший «Пищевик». У моей матери, отца и у меня, с разрывом в 13-14 лет, был общий тренер — Александр Таманов[33], в мое время уже старик. Сухой красивый армянин старого закала. Он носил бриджи и великолепные сапоги с подкладкой. Офицерские сапоги белогвардейского фасона, вокруг которых он застегивал насапожники — специальные чехлы, чтобы хром сапог не страдал от конского пота. У меня были обычные яловые сапоги, купленные в военторге.

Первую подготовку я получил у матери и Теймураза, моего отчима. Они меня обучили начальным навыкам как держаться в седле. Овладел рядом хитростей, тоже подсказанных матерью. Например, когда седлаешь коня и затягиваешь подпругу, лошадь надувает брюхо, потому что ей не интересно, когда перехватываешь очень туго. И вот ты затягиваешь насколько есть силы, она брюхо надувает. Ты должен дать ей снизу коленом в брюхо с размаху. Она выдыхает, и в этот момент можно еще немного затянуть. И

---

[33] Александр Таманов (1911 – 1983) — легендарный основатель советского конного спорта. В 1937 году Таманов организовал конноспортивную школу при ДСО «Пищевик», воспитанники которой тренировались под его чутким руководством вплоть до 1969 года. Интересно, что Джемаль называет его «стариком», но ему не было и 50 в указанный период.

тогда уже действительно ты затянул прочно. А если так не сделать, то потом лошадь выдыхает, и оказывается, что еще две дырки свободные, седло болтается, и можно улететь в кусты.

Много мелких хитростей знал. Как лихо садиться в седло, как плавно спрыгивать, эффектно перебрасывая ногу через луку по-кавказски. Я любил верховую езду и гордился, что я этим занимаюсь. Иногда приходил в школу чуть ли не со стеком, в бриджах из синей кожи и сапогах, чтобы после уроков сразу ехать на ипподром.

Когда я бывал с мамой в Тбилиси, мы с ней седлали коней. У нее был Снежок, белый арапчонок, у меня — огромная буденовской породы кобыла со спиной шириной с рундук. Бывают такие рундуки в тёмных прихожих. Мне она нравилась. Мы седлали наших лошадей и отправлялись с ипподрома вдоль речки Вере, мимо еврейского кладбища, вверх по горной дороге. И пускали в галоп.

Это, пожалуй, наиболее счастливые дни, которые я провел с моей матерью уже в сознательном возрасте.

Я не считаю моменты самого раннего детства, когда она приезжала меня проведать. Мама наведывалась из Питера в Москву раза два в год. На Новый год и еще какой-нибудь праздник, когда у нее выдавалась возможность. Она приезжала, и для меня это означало появление феи. Она всегда была сказочно молода, красива, в сиянии и духах. Всегда от нее исходил свет. Привозила потрясающие подарки. Я не задавался вопросом, почему мама со мной не живёт. Меня вполне устраивало, что я знал, что она есть, что она очень красива, и что она появляется, как фея, два раза в год. Не понимаю, когда люди жалуются, что вот-де они жили в неполной семье. Я жил без отца, без матери и без отчима. Около меня было два человека: бабушка, которая меня строила, и дядя, который меня ненавидел. Моё детство проходило под диким прессингом этих двух существ: одно меня своеобразно любило — так, что я этого никак не мог понять и заметить, а другое меня откровенно преследовало. И я считал это все само собой разумеющимся: я живу хорошо —

главное, быть начеку, стараться поменьше попадаться на глаза дяде, да и вообще поменьше попадаться на глаза.

Что у меня нет отца, матери — мне даже в голову не приходило, что какие-то проблемы с этим бывают. Но потом я очень обрадовался, когда обнаружилось, что у меня есть отец и родственники по отцовской линии.

# Теймураз Амилахвари

После того как мама развелась с подводником, она встретила любовь своей жизни — Теймураза Николаевича Амилахвари. Этот потрясающий человек оказал громадное влияние на меня, что странно: я с юных лет избирателен в том, чтобы допустить какое-то влияние. Но тут обнаружилось родство душ

Теймураз Николаевич родился в 1919 году в семье светлейшего князя, которого расстреляли красные в Грузии. И дальше жизнь Теймураза оказалась мрачной. Ему не позволили поступить в институт как «бывшему». Он был поражен в правах. Некоторое время учился, кажется, в театральном училище, потом в художественной школе, — но могу ошибаться.

Большую войну он закончил в Праге после разгрома группировки Шрёдера, командовал на выходе кавалерийским разведывательным полком корпуса.

Теймураз Амилахвари лично был знаком с Василием Сталиным. Василий был фанат конного дела, занимался подбором лошадей и даже имел конный завод. Поскольку Теймураз был кавалерист, он принимал во всем этом участие. Когда Хрущев развернул кампанию против Василия Сталина — вроде как его заподозрили в каких-то махинациях с лошадьми, — Теймураз взял на себя все проблемы и получил срок. Его лишили орденов. Он сел, вышел году в 1960, а в 1961 я с ним познакомился.

Моя мать знала его еще юной, до его посадки, когда он был близким к Василию Сталину бравым офицером. Теймураз, кстати, был огромного роста — 190 см или чуть выше, с армейской выправкой, с длинным костистым барским лицом. Когда я его впервые увидел, он всегда был в галифе и сапогах, но выглядел очень стильно.

Мать и до посадки была в него влюблена.

Они встретились снова, когда Теймураз уже вернулся из лагеря. Мать, расставшись с подводником, вернулась на ипподром. Они с Теймуразом наконец-то соединились. Это

была любовь её жизни, она нашла окончательно себя в другом человеке. Они поженились и уехали в Тбилиси. Туда я к матери приезжал, и мы там скакали по горным дорогам.

Теймураз некоторое время был поражен в правах при Хрущеве. Ему все восстановили, когда Хрущева сняли, вернули ордена. Орденов у него было много. В 1967 году они вернулись в Москву, стали жить на Мансуровском. А я в это время уже перебрался к своей жене Лене, матери моего сына Орхана. Я постоянно приходил на Мансуровский, общался с Теймуразом.

Теймураз стал для меня знаковой и значимой фигурой, я к нему очень хорошо относился. Задним числом я даже удивляюсь, насколько он оказал на меня влияние, при том, что он был не интеллектуал, и если и творческий человек, то закопавший свой талант.

Он начинал свою жизненную карьеру с театрального и художественного училища, но потом стал кавалеристом, офицером, как и его отец. Только отец был в свите Его Императорского Величества, а он был разведчиком в Красной Армии. У него творческое начало претворилось во что-то другое. В нем было настоящее старорежимное грузинство. «Дорогие тосты продолжаются!».

Теймураз всегда был очень хлебосольный, у него был открытый дом. Всякий конец недели у него собирались по 25-30 гостей за огромным раскладным столом, который ломился от яств. Когда Совок отштамповал кальку «застойно-застольные времена», мне было понятно, о чем речь, потому что двенадцать лет тянулись в таких вполне застойных продолжениях «дорогих тостов». Но ничего лицемерного в этом не было. Приходили старые друзья дома по линии матери и по линии ипподрома. Бывал Толя Ржанов, который с матерью вместе учился в школе, сын актера Ржанова из Малого театра. Юрий Назаров, киноактер, тоже старый друг матери, Юрий Соломин — друзья дома по линии матери, не по

линии дяди. По линии ипподрома — Эфрос[34], директор московского ипподрома.

Мама после того как ушла из профессионального спорта стала дрессировщицей. У меня до сих пор сохранились ее корочки из министерства культуры, где она была официально обозначена как дрессировщица крупных хищников. Но с этой работы она никого не приглашала. С Дуровой у нее были довольно натянутые отношения, хотя домами мы знали друг друга — дуровская династия и наш дом. Поэтому она туда и пошла.

Серьезных разговоров не было. Но тосты никогда не были адресными, не были льстивыми. Все гости близко друг друга знали. Потоком шли истории из артистичного прошлого. И конечно главным рассказчиком был Теймураз, но и другие какой-то вклад вносили.

Теймураз был человек большого стиля, с особой аурой. Все-таки непросто находится в присутствии настоящего светлейшего князя. Реально — это как работающая батарейка.

Вот Юрасовский все время искал, откуда взялись его шляхтичи, переселившиеся при Алексее Михайловиче, и хотел еще дальше корни найти: мало ему было времен Алексея Михайловича, он их в Балканы желал вывести. Но когда он появлялся в присутствии Теймураза, он знал свое место. Он отдавал честь и прятался. Он понимал разницу между Юрасовскими из Орловской губернии и Амилахвари. Держался тихо[35].

Но, конечно, Теймуразу доставалось на Мансуровском. Одна только Таня Друцкая-Соколинская[36] чего стоила…

[34] Михаил Эфрос был директором ипподрома с 1973 по 1987 год. Именно он внедрил на ипподроме тотализатор. Его сын возглавлял ипподром уже в наши дни.

[35] Впрочем, сам Юрасовский считает, что просто вёл себя как положено в присутствии родителей товарища.

[36] О ней дальше в тексте.

С матерью они прожили 27 лет — большая яркая жизнь. Теймураз был главной любовью моей матери. Главной и единственной настоящей.

Много позже совершенно случайно я узнал, что Теймураз ко мне очень хорошо относился. Это не было особенно видно. Он всегда выдерживал дистанцированное отношение. Корректное, но холодновато-ироничное. После его смерти мать мне как-то сказала, что он был высокого мнения обо мне и верил, что у меня большое будущее. Это меня сильно удивило: ведь он умер еще при советской власти, и в то, что она кончится, он не верил. Какое, собственно говоря, у меня могло быть будущее при советской власти?

Яркий человек. Амилахвари был настоящий князь. Внушал почтение даже Юрасовскому, моему школьному другу, воспринимавшему только титулованное дворянство.

Когда Тенгиз Абуладзе делал свой фильм «Покаяние», он там изобразил, что все Амилахвари расстреляны и уничтожены, и упустил из виду Теймураза. Потом он звонил ему и извинялся. Оставались еще Амилахвари в эмиграции — во Франции. Один из них воевал в Иностранном легионе, был в хороших отношениях с Де Голлем. Так что ситуация с Амилахвари сложнее, чем показано у Абуладзе.

У самого Теймураза Амилахвари был сын Малхаз, который умер уже после смерти отца от рака крови. Он руководил спортом в Грузии в 80-е годы. Женат был на осетинке, и у него остались три дочери[37].

Теймураз мне очень много дал.

Человек оказался в страшном Совке. Вокруг всё отыгрывалось от максимума, от оптимума, от высокого накала. Всё отыгрывалось вниз, в грязь, в негатив. Он был маргинализован, пошел в кавалерийское училище, прошел войну, лагеря. Коннозаводческая жизнь, общение с конюхами, наездниками. Этот человек по своему стилю,

[37] Нина, дочь Малхаза, дала своим детям фамилию Амилахвари, так что в роду есть мужчина — Лаша Амилахвари.

субстрату, презентации, рафинированности соответствовал самой продвинутой части европейской аристократии.

Папа его всё же немного отличался. Я видел его фотографии в лейб-гвардейском мундире. Длинная шея, воротник в шитье. Но такая высокомерная, холодная и надменная физиономия, что достаточно раз глянуть, чтобы захотелось устроить революцию. Видно, что для этого человека люди — комары. Без всякого понта, без всякого насилия, а просто естественно — комары и ничего больше[38]. Теймураз внешне «демократизировался», но от этого он только выигрывал. Внутри, я думаю, он был такой же, как его отец. Он был очень крутой.

Я бы не сказал, что он был глубоким человеком — аристократу не надо быть глубоким. Аристократ другим берет — ты понимаешь, что это выше, чем человеческое. Другая порода. Аристократ просто существует — и в этом его великая миссия. Не хочу сказать, что я сторонник аристократизма — тема во многом мне враждебна. Но мне на пути встретились ряд фигур, включая Теймураза Амилахвари, которые открыли мне глаза на то, как было устроено общество сто и более лет назад.

---

[38] Николая Амилахвари расстреляли в 26 лет.

# Дядя Лёня

Мы идем по Мансуровскому с дедом. Я маленький, мне пять лет, дед ведёт меня за руку. Дед движется по Мансуровскому, как кусок Кремля. А навстречу шагает его сын. Рука в гипсе на перевязи, перебинтована голова, на ней фуражка, шинель с лейтенантскими погонами наброшена на плечи. Дядя, похожий на Щорса, приближается. Они останавливаются, смотрят друг на друга. И дед ему говорит что-то вроде «Всё панкуешь?» Не помню точно, какое слово он использовал, — тогда панков конечно не было, — но посыл был примерно такой. «Да, отец» — отвечает дядя. «Ну иди», — говорит дед. Расходятся.

Дядя был человек неуправляемый, полный безумия и темной злой энергии. 1931 года, на два года моложе матери. Абсолютный хулиган, находящийся в перманентном большом конфликте с семьей. Из морского училища, куда устроил дед, его выгнали. И тогда его отдали в летное. С легкой руки Василия Сталина в летных кругах очень ценились такие отморозки. Дядя был классическим отморозком. И там он нашел себе место. Но произошел скандал, после чего дед снял трубку, позвонил командующему московского военного округа и сказал: «Лейтенанта Шаповалова убрать из Москвы». И дядю убрали.

Бабушка потом всю жизнь вспоминала: «Когда дед твой умер я, думая, что я одинокая слабая женщина, опять позвонила этому начальнику и попросила вернуть сына. Какая я дура!». Действительно, ошибочку сделала, сильную ошибочку… Потому что дальше уже жизнь на Мансуровском с появлением дяди стала серьезно походить на чернушный фильм.

Он был очень злой.

Мне лет 9 или 10. У меня был деревянный меч. Дядя вошел пьяный в портупее, в сапогах и говорит: «Давай дневник». А я взял меч и выставил его вперед. Тогда дядя пошел на меня, но в этот момент появилась бабушка и сказала:

- Пошел вон.

- Но я же только дневник хочу проверить.

- Пошел вон.

И он мрачно ушел.

Зоологически ненавидел меня из-за моего отца. Ему было 15 лет, когда появился мой отец. Отца он тоже терпеть не мог. Это черное пятно моего детства.

Да, меня очень любила бабушка, его мать. Его, своего сына, не любила, а меня любила. Поэтому он был таким сгустком негатива по отношению ко мне.

И всё же дядя Лёня был интересный человек. По прошествии времени мне проще о нем говорить непредвзято, потому что острота противостояния между нами уже стерлась. Он был социальным психопатом, но в такой, может быть, немного «приглаженной» форме, — тем, что он прошел армейскую школу. Но там он тоже себя вел достаточно вызывающе. Много и жестоко дрался, будучи офицером.

Разошелся скандальный эпизод его службы, когда в часть, где служил дядя, приехал высокопоставленный генерал. Он стал обходить офицеров, построенных на плацу. Ветер, снег. Генерал шел и пожимал руки офицерам — те конечно же без перчаток, а он, генерал, конечно же в перчатке. Он свою руку в перчатке подавал офицерам, пожимавшим ее голой рукой. Он этого даже не замечал — нечто само собой разумеющееся.

Генерал дошел до моего дяди, который стоял с голыми руками, — тот демонстративно долго и очень тщательно надевал перчатку, застегнул ее и только после этого пожал руку генералу. Сцена без слов, пауза. Но что можно сделать Шаповалову? Дядя мог хамить сколько угодно — он был за каменной стеной своей фамилии, своего родства, — но отомстил за товарищей–офицеров.

Непростой был человек. У него установились плохие отношения с отцом и отвратительные отношения с матерью. Его мать, моя бабушка, сына не любила и откровенно ему в свое время сказала, что она его не хотела. Он вырос под

влиянием этой травмы. Человек в прямом смысле нес травмы в себе с самого рождения.

Я видел фотографию его с дедом из дома отдыха Малого театра в Щелыково — год, наверное, 1947, дяде лет 15-16. Они завтракают в столовой. Фотография бледная и нечеткая, но видно, что подросток сильно озлоблен на мир, на свою вброшенность в это пространство.

Он стал более психопатичной, более женственной версией своего отца. Нос немножко уточкой, чуть-чуть вздернутый. Волосы не волнистые, как у моего деда, а кудрявые. Глаза карие. Подбородок не такой как у деда, выступающий твердой калошей, а более безвольный. Губы более женственные. Можно было бы сказать, что это лицо актера.

Дядя Лёня был социальным психопатом, потому что был деклассированным элементом. Он родился как деклассированный элемент, хотя и отец его, и мать были породистыми: каждый из них — по-своему ограненные камни. Не брильянты, но с огранкой. Получилось же в итоге что-то такое нервное и агрессивное.

Помню, как дядя пытался покончить с собой. Я тогда учился во втором классе — соответственно, примерно в 1955 году.

Это было так.

Я остался один дома с домработницей Машей. У нас в доме до этого эпизода было два больших встроенных стенных шкафа, забитых оружием. Среди прочего великолепная немецкая винтовка, малокалиберная, но сделанная очень качественно. Холодного оружия тоже хватало.

И вот я остался с Машей, и дядя появился. У нас был красивый бабушкин фамильный буфет красного дерева, и к нему золотой ключик с плетенной головкой. Бабушка любила фарфор, у нас была огромная коллекция. Ко всему прочему у нас стояли саксовские вазы. В одной из этих ваз на дне лежала горсть малокалиберных винтовочных патронов 5/56.

И вот он появился, волоча за собой винтовку за ствол, и спрашивает:

-Где ключ?

Маша достаёт ключ — Маша была верная старая домработница, состоявшая при моей бабушке еще с довоенных времен. У нее сын погиб на фронте, бабушка ее утешала, когда пришла похоронка. Она из деревни попала к бабушке и стала ее доверенной homemate, — морщинистая старушка, сохранившая свой ситцевый крестьянский облик.

Грозный голос дяди:

- Где ключ, старая?

Она говорит:

- Зачем тебе ключ? — а сама дрожащей рукой даёт его.

Он его берет у нее из рук. Маша пытается стать перед буфетом, на страшном своем инстинкте понимая, что что-то ужасное происходит.

- Уйди, старая.

Почему-то он к ней так обращался: «старая». Всё напоминало пьесу Островского.

- Не уйду, — ответила Маша и попыталась в него вцепится. Но он ее оттолкнул.

Хотя мне было лет семь-восемь, я сразу понял, что ему нужны патроны и что он будет стреляться. И думаю: «Ну и стреляйся, гад! Давно тебе пора уже освободить меня от своего присутствия!».

Дядя открывает буфет, берет патроны и возвращается через холл в свою комнату, которая раньше была моей детской, но он ее занял, когда вернулся из Новосибирска.

А Маша мне:

-Беги, зови на помощь!

Когда я уже выходил, раздался выстрел. На выходе я увидел, как распахнулась дверь, и он лежа, как ящерица, оставляя за собой широкий кровавый след, в галифе и босой прополз по полу, приподнялся и вырвал телефонный шнур. Телефон стоял в холле на столике.

Я в этот момент выбежал вприпрыжку по Мансуровскому в сторону Остоженки. Мне навстречу идет знакомая, часто бывавшая у нас в доме, — из тогдашнего дядиного женского окружения.

У дяди тогда была жена Нина, которую бабушка очень не любила, — просто копия Мэрилин Монро. Тот же бюст, блондинистые волосы, американская манера мазать себе помадой губы. Стилистика трофейных кинофильмов — не та, что в 40-е годы, а чуть попозже. И все девки строились под нее — здоровые бюсты, губы намазанные. По-моему, они все были его любовницы.

И вот идет одна такая, помахивая сумочкой и бюстом, идет к нам. Я подбегаю к ней и говорю: «Дядя застрелился!» У нее мгновенная реакция. Только что она вальяжно шла, и взгляд у нее блуждал по верхним этажам домов. Шла в таком кайфе. А тут она подхватилась и пулей понеслась в сторону дома с диким свистом. Сбросила туфли и босиком помчалась.

Я был потрясен. Думаю, вот надо же — девка просто кобыла кобылой, но реакция потрясающая. Я-то понял, что мне там делать нечего, и пошел дальше гулять. Пришел домой, когда его уже увезли. Оказалось, что он промахнулся: выстрелил мимо сердца, и пуля ушла в потолок. Дядя два месяца провалялся в госпитале. Тогда он был еще в армии. Его выгнали из партии за попытку самоубийства. И еще были какие-то формулировки — что-то вроде «за моральное разложение». Надо сказать, дядя всегда сильно пил.

Но, отлежавшись, вернулся, сразу развелся с этой Ниной, начал учиться, взялся за ум, трансформировал свою жизнь и, собственно говоря, умер ни много ни мало как одним из руководителей вертолетной промышленности страны. Он сделал быструю карьеру. Восстановился в партии. Но до самого конца оставался социопатом, человеком в буйных неладах с собой.

Дядя был острым, очень жестким антисемитом — и вообще ксенофобом. Он и меня ненавидел, кстати, как азербайджанца. Как все антисемиты, любил еврейские дебюты. Он мог с невероятным мастерством исполнять еврейские песни. Многие подозревали, что он и сам еврей. Он был кудрявый, черный, кареглазый, брюнетистый парень, распространявший вокруг себя странное темное обаяние,

которое так нравится женщинам. При этом евреев он ненавидел, но евреи были в его окружении.

Дядя мог предстать приятным и обаятельным. Конечно все искупало то, как он пел и как он шутил. Великолепно играл на рояле. Он всему учился, говорил по-немецки. Играл на баяне и на гитаре, владел ею виртуозно. У него был замечательный голос. Рассказывал анекдоты, пел романсы дуэтом, мог аккомпанировать профессиональным певицам. Вокруг него постоянно вилась научно-артистическая молодежь, он водил дружбу с самыми громкими именами своего времени, дружил он с Высоцким. Но, к сожалению, не всегда был выбор качественный. Его сопровождала толпа прихлебателей.

Например, Паша Пашков. Потомок знаменитого владельца дома Пашкова, ядерный физик, человек холеный, но проходимец, ограбивший дочь Шаляпина. После смерти моего дяди, он и его дочку ограбил. Увез всё дядино наследство, включая «Жигули», которые после него остались. Машина в советское время была большой ценностью, а он дочке своего только что умершего друга сказал: «Ну зачем она тебе, что ты с ней будешь делать?», — и забрал.

Но были и очень красивые и яркие фигуры. Его окружали труппы лучших театров — в основном МХАТа. Актрисы МХАТа составляли его гарем. Причем, актрисы, задействованные в «Живом трупе», — цыганки Тани. Все «цыганки Тани» из разных трупп были его.

Три дядины женщины врезались мне в память и сформировали на раннем этапе мои представления о женственности и о том, что нужно любить и чего нужно избегать.

Вера Донская — «Жалобно стонет ветер осенний»[39]. Потрясающая. Постоянно курила, правда. Бабушка всё ей

---

[39] Вера Донская (1929-1984) — известная актриса театра (Малый театр, ГАБТ) и кино. Романс «Жалобно стонет ветер осенний» исполняли упомянутые далее Изабелла Юрьева и Варя Панина. Именно они вошли в музыкальную

говорила: «Ну что же ты, Вера, куришь? Зачем — с твоим голосом?» Пела Вера так, что Изабелла Юрьева могла тихо пойти и залезть в конуру собачью. Круче женщины в романсе, в абсолютной самозабвенности не найти. Есть грубая Кибела[40], мать-земля цыганская. А есть рафинированная версия. Есть Варя Панина[41], дочь цыган-конокрадов, а есть Ляля Черная, дочь дворянина Киселева и цыганки. Вот Вера — это Ляля Черная. Очень красивая женщина.

Кибела, согласно мифу, идет в сопровождении корибантов — процессия из музыкантов, певцов и танцоров сопровождает великую мать богов. Цыгане — это как раз корибанты, сопровождающие Кибелу. Это хтонический культ, связанный с культом Великой Матери. Совершенно понятно, что есть хтоническое посвящение, и я это очень рано в детстве воспринял.

Почему герои в «Живом трупе» так плакали, не могли оторваться от цыганщины? Потому что они были служителями, рабами хтонического культа. Очень энергетическая вещь.

Вера Донская была рафинированным вариантом. Но за ней, за ее протюканной художественной фигурой, артистической и стильной, открываются такие бездны хтонизма, как Ляля или Соня Димитриевичи[42]. Я все это

---

историю с этим романсом. Джемаль, видимо, хотел подчеркнуть, что Донская их превосходила, — по его мнению.

[40] Кибéла — богиня в древнегреческой мифологии, имеющая фригийские корни. Корибанты — её спутники.

[41] Варвара Панина (1872 —1911) — известная исполнительница цыганских песен и романсов. Родилась в семье цыганских конеторговцев.

Ляля Черная (1909 – 1982) — советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР, артистка театра «Ромэн», танцовщица, исполнительница цыганских песен и романсов.

Изабелла Юрьева (1899 – 2000) — советская и российская эстрадная певица, исполнительница песен и романсов, народная артистка РФ.

[42] Соня Димитриевич — выдающаяся цыганская певица и танцовщица. Ляля — цыганская певица и хореограф, жена брата Сони Димитриевич.

Димитриевичи — клан цыганских певцов, танцоров, музыкантов и хореографов 20 века (Франция – Южная Америка).

хорошо понял. Считаю, что в детские годы, благодаря дядиным музыкальным вечерам, получил хтоническое посвящение в «бессознанке», что дало мне потом возможность оперативного маневра уже совершенно в других регионах.

Катя Врубель, внучка художника[43], невероятно влюбленная в дядю, помогла ему, когда он ушел из армии.

Он же фактически стал инвалидом после ранения. Потом он перешел в гражданскую авиацию, но очень скоро оттуда ушел. И решил получить гражданское образование, так как у него было только военно-летное училище. Он поступил в институт на вечернее отделение и пошел на завод, настоящий механический завод, освоил там специальность токаря. Он сделал великолепную, затейливую медную рамку для фотографий — копию дореволюционной. Подарил ее своей матери, с которой у него были отвратительные отношения.

По вечерам дядя учился, институт был крутой — какой-то физико-технический, и там было полно математики. Катя Врубель с ним сидела, потому что была математиком. Она с ним занималась, приложила огромные усилия и потратила невероятно много времени, чтобы помочь ему закончить институт, — очевидно, надеясь, что он на ней женится. Очень красивая, эстетская девушка. Ходила в черном бархатном платье с хрустальными брошками. Вся в легкой дымке, но немного в ней крови не хватало. Буйства в ней не было, не было Катерины Ивановны, выходящей с шалью плясать перед вице-губернатором. А была в ней внучка знаменитого художника, — математик с родинкой на щеке, что называется «родинкой красоты».

Катя была очень белая, со светло-русыми волосами, но очень аристократическая. Бабушка мечтала, чтобы Лёня на ней женился. Это бы для нее искупило уродство ее сына, которого она ненавидела. Вот девушка по сердцу, соответствующая. Врубель — это же имя, черт побери.

[43] Внучатая племянница.

Врубель — это же ее современник. Но нет — использовал, гулял, учился математике. Выучился и женился на другой.

Женился на еще одной «цыганке Тане» из «Живого трупа», и звали ее так же Таней. Играла она во МХАТе. Зычная, громогласная, бестактная.

Смешно, но фамилия ее — Друцкая-Соколинская. Ее папа, князь Друцкой-Соколинский, в ссылке, будучи алкоголиком и слабым человеком, сошелся с буфетчицей — не то карелкой, не то мордовкой. И от этого «мезальянса» родилась, на минуточку, княжна Друцкая-Соколинская. У нее еще был брат, рано умерший от белокровия, и сестра — абсолютно невнятное существо. Сама Татьяна — стройная высокая девка с шикарным бюстом и совершенно потрясающим сильным, резким, мощным, но немножко, я бы сказал, стеклянным голосом.

Она училась у профессора, брала частные уроки, пела во МХАТе. У нее было слабовато по части воспитания: князь Друцкой-Соколинский присутствовал в ней весьма условно. Просто алкаш, сосланный по какому-то антисоветскому делу.

На одну квартиру моего деда приходилось пусть не два князя, но два персонажа с княжескими фамилиями. Такое нечасто встречалось в советское время. С одной стороны Амилахвари, а с другой — Друцкая-Соколинская. Я уже не говорю о Шепелевых и Джемалях.

Таня подходила к Теймуразу и говорила: «Тёмчик, мы с тобой князья!», — и его перекашивало. Как-то Таня запела на даче. Бабушка только умерла, а Таня распелась. Мы были внизу, Теймураз возле колодца. Он говорит матери:

- Что это за безобразие. Человек умер только что, а она так открыто позволяет себе выражение радости. Надо пойти и сказать ей немедленно.

Мама пошла туда, и распевки прекратились.

Вскоре Таня покончила с собой — за год до смерти мужа. Поняла, что он ее не любит, и покончила с собой. Написала прощальную записку на тему какого-то разговора между ними о том, появится ли из гусеницы бабочка, «из хризалиды

вылупится ли бабочка…» [44] . Таня написала: «Прощай, гусеница!». И выпила таблеток — как женщины любят. Причем сделала все очень аккуратно. Застелила кровать резиновой медицинской простыней. Одежду аккуратно сняла, оставив на себе ночную рубашку, чтобы не шокировать людей, которые ее найдут. «Прощай, гусеница!» — было обращение к дяде Лёне. Почему гусеница?

Но моего дядю как-то не впечатлило. Пришел, увидел труп, сказал: «Ну что же ты наделала…».

Эти три женщины в дядином ближайшем окружении — Вера Донская, Катя Врубель и Таня Друцкая, — три грации, определившие мое отношение к феномену женственности. Мне трудно было оценить в том возрасте, но что-то было в них во всех непростое.

…Я узнал о том, что дядя умер, когда находился в путешествии по Прибалтике. Мне позвонила мать и известила об этом. А умер дядя так.

Он в очередной раз на своих «Жигулях» отвозил маму, когда она работала в театре зверей Дурова, и выехал со двора в Мансуровский. Там у него случился то ли инфаркт, то ли инсульт. Он успел затормозить и припарковаться у тротуара и умер прямо рядом с ней на соседнем сидении.

Когда я приехал в Москву, его уже похоронили. Ему было 45 или 46 лет. Странная жизнь не любимого никем человека. Мама моя его любила, но маму он сильно обидел.

Такая семья из классической пьесы то ли Горького, то ли Островского, где все связаны фрейдистскими комплексами негатива по отношению друг к другу. Бабушка не любила деда, не любила сына. Сын имел комплексы по поводу сестры, ненавидел своего племянника. Племянник ненавидел дядю. Дымящееся поле.

Квартира странная была, заряженная жуткими энергиями.

---

[44] Вероятно, отсылка к фильму 1901 года «Хризалида и бабочка». Хризалида — куколки или коконы бабочек.

В 1974 умерла бабушка, в 1975 Таня покончила с собой, а в 1977 умер дядя. Они дали возможность Теймуразу с мамой лет десять пожить спокойно без этого ужаса. Хоть какой-то светлый период остался после ухода их всех. Я жил отдельно и просто приходил регулярно в гости.

# Чубаровы

Мой дядя, двоюродный брат моей мамы, генерал Александр Чубаров[45] — сын нквдшника черкеса Сергея Чубарова. Чубаров до сих пор поддерживает отношения с родственниками отца в адыгском селе.

У него было два брата — Гоша и Вадик. Вадик уехал в Пятигорск к матери и давным-давно умер. А Гоша умер недавно. Он был генерал-лейтенант пограничных войск. Мало того что гбшник — политработник пограничных войск.

Вадик был попроще, учился в офицерском училище внутренних войск и потом сломался. Пожелал уйти и дослуживал срочную. Ту часть, которую он пожелал сократить, дослуживал просто в качестве «куска»[46], по-моему. Вышел на гражданку, как нормальный человек, поступил в МАДИ в Москве. Он писал романтичные провинциальные стихи, пытался всё время изобрести двигатель Ванкеля, давно изобретенный, но он его хотел усовершенствовать и приставал с этим к дяде.

Я его ненавидел, но больше всего я ненавидел Гошу.

Гоша был классический «супер-рашен». Еще курсантом приходил к нам на Мансуровский. Очень скромно садился за стол с диким почтением к бабушке. Курсанты ходили в белой полотняной гимнастёрке, с твердыми погонами с курсантской окантовкой галуном. Гимнастёрка белая и плотная — как на картине Верещагина «Взятие Шипки».

---

[45] Александр Сергеевич Чубаров — советский и российский офицер военной разведки, генерал-майор спецназа ГРУ в отставке, участник 39 боевых операций во время военных действий в республике Афганистан и вооруженного конфликта на территории Таджикистана. На момент увольнения из вооруженных сил выполнял обязанности начальника группы миротворческой и антитеррористической деятельности штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ.
Владеет несколькими восточными языками, в том числе таджикским. В 2019 вышел фильм о нём «Сергеич — боевой Генерал».

[46] Прапорщик (сленг)

Он сидит за большим квадратным столом, за которым сиживали Алексей Толстой, Остужев, Гоголева, Царёв, Фадеев. Сидит за нашим столом и пытается вести со мной разговор. Мне 12 лет. И он говорит:

-Ну как ты живёшь? Чем живёшь?

-Я, знаешь, увлекаюсь философией.

-Это правильно. Только знаешь, что я тебе хочу сказать, братан. Вот ты никогда не забывай истину марксизма-ленинизма, потому что марксизм-ленинизм — это святое. Держись этого, братан, потому что социализм — это надежда народов.

Я готов был взять вилку и всадить ему в глаз. Но я вынужден был всё это выслушивать с каменным лицом.

-Ну а чем ты хочешь потом заняться?

-Ну я, наверное, пойду на востоковедение.

-Это правильно. Нужно помогать народам третьего мира сбрасывать колониальное ярмо. Только держись марксизма-ленинизма. Это самое святое.

У Гоши было не просто училище погранвойск, а политическое училище, готовившее политработников, комиссаров для погранвойск, — такая потусторонняя промывка мозгов! Внешне он был монстр.

Но он спас мне жизнь.

Дело было на даче. В 15 лет у меня произошел срыв — по-моему, меня оскорбили. И я решил повеситься.

Когда дядя стрелялся, мне было 9 лет. После этого менты вычистили весь дом, унесли все, включая холодное оружие. Так что стреляться мне было нечем.

И вот Гоша увидел, что я вишу, и начал орать, забегал, начал подхватывать, поддерживать, кто-то прибежал и перерезал веревку. Потом меня откачали.

Позвонки целые остались, потому что я не прыгал в яму, не пролетел необходимую для слома позвонков дистанцию.

Причину эксцесса не помню, зато помню свои ощущения. Я испытал дикий ужас, что совершил фатальную ошибку, что надо назад, но назад уже поздно. Было дискомфортно, очень-очень плохо.

На Гоше лежала печать кондовой военщины, «ватной» непробиваемости. Он служил в погранвойсках на Дальнем Востоке, потом в Мозамбике, всё прошел и получил на звезду больше, чем Чубаров. А жену, бледную, бесцветную, затюканную, но при этом с каким-то кукишем в кармане, он взял из учительниц во Владивостоке. И она настолько была в него влюблена, что ради него прыгала с парашютом, ходила в атаки, высаживалась с десантных катеров, штурмуя берег. Делала невероятные вещи.

И вот они сидят в гостях у Теймураза. Гоша уже заложил за воротник, он пьянствовал от безысходности. Позже, когда Совок развалился и марксизм-ленинизм оказался не у дел, вся его жизнь улетела на свалку, и он совсем спился. Но тогда еще был Совок. Теймураз был еще жив.

Разговор зашел то ли о Высоцком, то ли о Марине Влади.

Гоша говорит:

- Эх, какая девка, если бы я её встретил, я бы ей сказал: Мариночка, ну что ты делаешь в этой Франции? Давай к нам! Здесь мы тебя так ценим.

И это при жене. Жену его, бесцветную училку, было жаль, она сидела как оплеванная. А парень похотливо рассуждал, как он пригласил бы Марину Влади изучать марксизм-ленинизм.

Это выглядело, как если бы из кухни явился мужик из прислуги и пукнул за барским столом — а не выгнать: 17-й год!

А Саша Чубаров не такой. Саша Чубаров же красавец, усы — видно, что у него кавказская кровь, кавказская удаль, кавказский юмор. Саша — аристократ.

# Валентиновка

Говоря о ранних годах — да, собственно говоря, о большей части моей биографии — невозможно обойти стороной дачу в Валентиновке, потому что это один из наиболее важных моментов моей жизни. В Валентиновке я провел самые ранние месяцы и годы моего существования. Она присутствует в моих самих ранних воспоминаниях.

Дача была потрясающая. Она стояла посреди леса, и ее окружали ели и сосны. Снега, заснеженные ели, чистый морозный воздух, скромный электрический свет, приглушенный желтыми обоями спальни. Посмотреть на дачу, сфотографировать ее приезжали люди из далеких мест, потому что архитектура была необычной для Подмосковья, — и в те времена, и потом. Потом особенно, потому что появилась банальная архитектура новых русских с их тупыми коттеджами, а то был уникальный образец, напоминающий пароход Марка Твена на Миссисипи, — с колоннами и кружевами. Ее спроектировала бабушка, а у бабушки были идеи кавказской архитектуры. Основу дачи составляла круговая веранда вокруг всего второго этажа, размеренная белыми колоннами. Колонны соединялись белым деревянным кружевом.

Валентиновка располагается сбоку от Ярославского шоссе, за Королевым, — в то время это было пустынное место. Зимой там не было ни души. Кругом снега.

У меня есть пятна касательно двух-трехлетнего возраста, но на даче себя помню лет с трех-четырех: я часто оставался там зимой с бабушкой. Мы там были вдвоем.

Чтобы понять, что это такое...

Дача выходила не на улицу, а в лес. И там бродили лихие люди. Когда пришла бериевская амнистия 1953 года, из лагерей вышла куча народу, и я видел этих людей у нас на Мансуровском.

Но бабушка ничего не боялась. У нее была двухстволка, и она каждый вечер выходила на балкон и стреляла в темнеющий зимний воздух, чтобы дать понять, что она

вооружена и очень опасна. От бабушки «специфическое» излучение шло очень далеко: не помню ни одного инцидента, когда кому-нибудь захотелось с ней связаться.

Время мы проводили, читая — я на своей кровати, бабушка на своей, — каждый под своей лампой. Как правило, сидели наверху: голландская печь, одна на два этажа, протапливала верх. Тепло печи-голландки, которую перенесли с первого этажа, полутемная комната, снаружи опоясанная верандой, съедавшей много света.

Дача моего детства, еще внутри не отделанная, с большой спальней на втором этаже, была обклеена фанерой, напоминающей материал для изготовления ящиков. На стенах мой отец углем сделал большие рисунки, наброски —сидящие восточные женщины в шароварах на коврах. Меня все это интересовало.

Мне было 4-5 лет, и уже тогда бабушка отпускала неодобрительные замечания по поводу этих рисунков, — что руки, мол, плохо прорисованы. Она была человеком целенаправленным, и если у нее появлялась идея, что этот человек со знаком минус, то она уже просто патологически не могла себя заставить сказать о нем хорошее. Если Мария Андреевна говорила что-нибудь доброе, то при этом должна была сопроводить тремя-четырьмя негативными комментариями. Да, он талантлив, но при этом лентяй, не способный работать, сосредоточиться, для него нужно создавать условия и прочее, и прочее, и прочее.

Одна работа отца всегда была перед моими глазами в моей спальне на даче, а дачная спальня сыграла большую роль в моем детстве, я провел там очень много времени и запомнил ее лучше, чем какую-либо иную спальню.

Картина, пастозный этюд. Не сразу можно было понять, что изображено. А это были развалины нашего родового имения в Шуше, — наш родовой дом, разбитый во время войны 1918-1920 года. Мама бывала в Шуше. Она ездила туда, когда я был маленький. И я там тоже был, хотя этого совершенно не помню.

К двенадцати годам моя жизнь делилась на две половины: зимой школа, летом — Валентиновка.

К этому возрасту сложился определенный дачный круг, там я встретил свою будущую жену Лену — она жила на соседней даче. История моей первой жены Лены тесно связана с дачей, но с дачей связано и ощущения свободы и тайны.

Огромный двор с садом — при бабушке он был ухожен, там росли плодовые деревья, крыжовник, малина, грядки с анютиными глазками. Но выходишь за ворота — и начинается бурелом, дикий парк и ощущение четвертого измерения. Как будто ты попал в пространство Стивена Кинга. Этот вкус с того момента всегда оставался со мной — постоянная близость четвертого измерения, выход куда-то, где наступает тишина и только взлетают птицы. Мгновенное ощущение, что ты не в обычной реальности.

Но я не люблю подмосковную природу, да и вообще русскую природу. Могу только силой воображения превратить её в выход в четвертое измерение, в параллельную реальность. Но эстетически вся эта зелень, влажность, чириканье, гроздья рябины кажутся мне унылыми. А вот что по-настоящему цепляет — песок, поросший кустарником, барханы... В Мардакане же камыш. Сейчас все это уничтожено, испорчено, а тогда были барханы, камыш и ракушки. Песок и скудная зелень на нем как символ аскезы, тщеты. Есть такое хорошее слово «факр» — беднота, нищета, лишенность.

Две мои реперные точки в жизни — горы и песок. Люблю оказаться среди сухих песчаных пространств…

Я считал подмосковную дачу своей фамильной собственностью — оказалось, что она зачата каким-то евреем, которого пришлось посадить. Дача-то была реальной, но в основе ее лежала ложь. А Карабах хоть и был виртуальным, но он был подлинным, моим Карабахом, моей собственностью, — никаких евреев не пришлось сажать. Это был мой лен[47].

---

[47] Земельный надел, поместье.

Да, вот так: думаешь, вот она, реальность, а оказывается, что живёшь во вранье, а тут-то все виртуально, но это — истина.

Дача в Валентиновке оставалась для меня на протяжении многих лет местом притяжения — точкой, куда я всегда возвращался. Но последние годы ее существования дача стала действовать на меня расслабляюще. Я уезжал туда с намерением думать и писать, но погружался там в сомнамбулическую эйфорию. Особая влажность и чистый воздух: хотелось просто спать, пить чай и раскачиваться в гамаке, — не хотелось возвращаться в Москву, звонить и принимать звонки. Дача действовала деструктивно в итоге. И, наверное, правильно, что от нее пришлось избавиться, — впрочем, и обстоятельства были объективные.

Но она мне снилась и снится до сих пор, и это мучительный ностальгический сон. Сон о навечно утерянном.

# Первое воспоминание

Опытным путем было установлено, что самое раннее мое воспоминание относится к моему девятимесячному возрасту.

Меня принесли в зоопарк. Помню, что оказался в огромном помещении, и там были полки, а по полкам ходили звери. Полки были забраны решетками.

В какой-то момент звери начали одновременно рычать с такой невероятной силой: оказывается, наступил их час кормления. Я был на руках у няньки — кажется, ее звали Маруся, — и чуть не сошел с ума от ужаса. Она говорила, что я «затрясся, как осиновый лист».

Мне никто не верил, когда я рассказывал об этом воспоминании. Его все знали, помнили, но, когда я рассказывал, мне говорили: «Ты не можешь этого помнить, тебе было девять месяцев, ты был слишком мал». Странно. Почему это человек в девять месяцев не может помнить, что с ним было?!

Тут я должен рассказать об одном факте моей биографии, который является теневым «микроаспектом», но важен на бессознательном плане. Когда мне был примерно год, я заболел полиомиелитом.

Внезапно на даче у меня поднялась температура, начался жар. Никто в тот момент, конечно, не думал, что это полиомиелит. Актриса Гоголева приехала в гости, и когда она меня увидела, сказала, что нужно срочно везти в больницу и не рассчитывать, что это простуда. И меня срочно доставили в Морозовскую детскую больницу. Болезнь захватили в первый день. У деда имелся доступ к американскому пенициллину — его тогда можно было получить только через союзников. Это меня спасло.

Полиомиелит делает из человека паука с искривленными ручками и ножками: у меня в классе была такая Наташа Токарчук, ставшая жертвой полиомиелита. Она напоминала мне, что могло бы стать со мной. Она ходила на странных пружинящих приспособлениях, подвязанных к ее ногам, перемещалась как робот. Довольно жуткое зрелище. Но я

этого избег. Я прошел через Морозовскую больницу с курсом пенициллина.

Дальше меня отвезли в Евпаторию, и там года два или три подряд бабушка подолгу со мной жила, водила меня в специальный центр реабилитации для полиомиелитников, где проходил постоянный массаж. Массаж и купание.

Наша семья там снимала домик. Тогда была совершенно другая Евпатория — с покинутыми татарами домиками и беседками, увитыми плющом. Выглядело как в фантастическом мире. Я гулял, купался, крабов ловил.

Была там девочка Пакита[48], испанка лет пяти, — моя первая любовь. Ее родители тоже снимали домик — политэмигранты после гражданской войны.

Мы играли в гражданскую войну с ней и с другими детьми. Я разбил коленку, и бабушка пошла качать права к родителям Пакиты, что вот из-за вашей дочки мой внук разбил коленку. Они же в свою очередь просто впали в недоумение: ведь дети на то и дети, чтобы коленки разбивать.

Есть фотография, где я сижу в панамке на суку, меня поддерживают, я смотрю в объектив, и написано: «Евпатория 1952 год». Еще был жив Сталин.

Зашел я там в какие-то гости поблизости, где жил мент. Он сидел в беседке в огромных семейных трусах, полуголый, и чистил наган. Смотрел на меня и подмигивал. Я за ним с большим интересом наблюдал: сочетание синих сатиновых трусов с наганом на меня произвело убойное впечатление.

Когда я пытался отделаться от присяги и от армии по-хорошему, ссылался на то, что в детстве у меня был полиомиелит и что я не могу ни ходить, ни стоять, ни маршировать. Меня отправили в госпиталь, проверили. Дали заключение, что здоров как бык. Один из уникальных случаев полиомиелита без всяких последствий.

Все провиденциально: сейчас я не могу ни ходить, ни стоять, ни тем более маршировать. А тогда я просто нагло врал.

---

[48] Краткая версия имени Франциска.

# Школа

В школу меня отвел дед — это было незадолго до его смерти.

Он отвел меня в 50-ю школу. Тогда это было четырехэтажное здание из красного кирпича, построенное в 1940 году, с портиком квадратного сечения, с кирпичными колоннами. Школа одной стороной выходила в Померанцев переулок, а другой — в Кропоткинский. Не так давно — может быть, с год назад — я специально ходил посмотреть на эту школу. Сейчас её оштукатурили, теперь она светлого цвета. А была красная кирпичная школа.

Во дворе толпилась пропасть народа. Я держался за руку деда. Вокруг какие-то мальчики, букеты цветов. Это был первый год, когда ввели совместное обучение — впервые увидел много красивых девочек.

Итак, дед ушел из моей жизни, а я стал учиться в 50-й школе.

У меня были сплошные пятерки, но, как я понимаю, это ничего не значило, потому что классный руководитель — она же учительница по всем предметам в начальной школе — была на особом контроле у родителей из хороших семейств. Она очень приглядывала за несколькими детьми в классе. И у них до конца начальной школы всегда были хорошие оценки.

К тому же я читал с трех лет, а в классе примерно две трети либо не умели читать, либо читали по складам с большими проблемами. Я еще до школы читал толстые книги для удовольствия и писать тоже умел. Большинство моих одноклассников выписывали палочки, а я уже в три года написал маленький рассказ для мамы, он до сих пор где-то хранится в ее архиве.

Школа была камерной и очень заботливой в отношении своих учеников.  Кстати, с первого до последнего класса я проучился в классе «А».

Но школа была тяжелой, я её не любил.  Мы занимались в две смены, очень тяжело было утром вставать. Занятия в первую смену начинались непривычно рано, и подниматься

приходилось часов в шесть, если не раньше. Уроки начинались в восемь.

Я вставал в шесть, обливался холодной водой и садился делать уроки, которое у меня оставалось со вчерашнего дня: часть уроков я доделывал утром. Потом пятнадцатиминутная прогулка до школы. Первые два-три класса я ходил обязательно в сопровождении домработницы — всё той же Анны Тимофеевны.

И всегда надо мной нависала бабушка, которая не позволяла мне расслабиться, постоянно жестко контролировала, чтобы я делал уроки. У нее была идея «хорошизма», сверхусилия. Она меня заставляла повторять весь курс во время дачного отдыха. Это означало, что в определенные часы — скажем, с двенадцати до двух или с одиннадцати до трех — я занимаюсь физикой, математикой, русским языком или еще какой-нибудь ерундой по программе пройденного года. Я должен был за лето постоянно изучать то, что уже пройдено в течение прошлого учебного года, чтобы начать новый год «ориентированным», чтобы не отвыкать от учебы за лето и начать следующий учебный год почти без перерыва.

И я, как дурак, сидел и занимался этой физикой чертовой, решал задачки. Но толку от этого особо не вышло, потому что я всегда получал по физике двойки, в лучшем случае — тройки…

Пионером я стал очень поздно. Старался долго не становиться пионером — никто особо и не звал, но уже было как-то неприлично, потому что скоро в комсомол, а я еще даже не пионер. Стал я этим пионером, по-моему, в четвертом классе.

Тут какая тонкость. Галстуков пионерских было два типа. Один — тонкий, шелковый, дорогой, как бы кипенно-красный, даже с алостью. Был и сатиновый — мутно-красный дешевый плывуще-фиолетового оттенка галстук. У меня были оба: шелковый — по праздникам, и на каждый день — сатиновый.

Но сатиновый галстук морально и психически носить было тяжело, потому что все нищие нашей школы носили сатиновые галстуки, — если они вообще поднимались в пионеры: в некоторых случаях их не принимали. Простые пролетарские дети, по два года сидевшие в одном классе, гоняли кошек по крышам или голубей пускали, — пионерами они не становились никогда. А без этого нельзя стать комсомольцем, а без комсомола ты не мог поступить в институт. Зачем кошкодавам институт? Зачем им быть пионерами? Но какая-то небольшая часть из простых и скромных становилась пионерами.

К примеру, был у нас такой Большаков. Бедный мальчик, учился на двойки и тройки. Но не хулиган, сидел где-то сбоку, тихий. Он был пионер и носил красный сатиновый галстук. Не кипенно-алый шелковый, а сатиновый.

А у меня было два таких галстука. И носил форму — тогда же форма существовала — гимнастёрку с поясом. Это тоже считалось нижним уровнем, low middle. Настоящие upper-классы ходили в кителе со стоячим воротником, как у Володи Ульянова. Вот на этот стоячий воротник повязывался каждодневно кипенно-алый шелковый галстук серьезными людьми — такими, как генеральский внук Земсков.

Земсков, сын армейского капитана и внук генерала КГБ. Учился на круглые пятёрки. Когда он однажды у доски сказал «Не знаю» и получил двойку, класс ахнул, потому что двойку Земскову невозможно было себе представить. Но в седьмом классе он от нас ушел, пошел в какой-то техникум. Тогда была странная мода уходить из седьмого класса и поступать в техникум — это называлось «идти в жизнь». Потом всё равно полагался институт, но техникум должен был приобщить к какой-то «жизни» непонятной. Окончил он техникум и в итоге стал слесарем или электриком в КГБ на Лубянке — в большом доме, где генералом был его дед.

Мажорный, вальяжный. Приходил в гости и приносил пластинки с буги-вуги[49] — или что тогда было?

Из особо ярких учеников начальных классов меня поразил Толя Розентуллер — самый маленький ученик, ростом чуть выше парты. Но говорил он чудовищным хриплым басом, как будто простуженный мужик, который рубил дрова на морозе, промерз хорошо, потом пришел домой и выпил водки. Маленький Розентуллер... У него уже чуть ли не в первом классе была щетина. И он носил красные ботинки. Это было потусторонне и странно. Вообще не привык я к красным ботинкам, — к цветным вообще. Мы все в те годы считали, что обувь может быть либо коричневой — что очень здорово, либо черной с какой-то вариацией оттенков. Черный — серый, черный — тусклый, черный — блестящий, начищенный. Но красные ботинки — что-то не из этой жизни[50]. Маленький, говорящий басом Розентуллер в красных ботинках — это было яркое пятно; я до сих пор его помню. Сидел он всегда на правой первой парте в правом ряду.

Были интересные хулиганы. Но самый прекрасный хулиган мог быть образчиком того, что сейчас называется «ватничество». Этакий национал-патриотизм из подвала.

Как-то мы стояли перед стенгазетой. И там вклеена вырезанная из газеты фотография, как ни странно, американского Боинга и подписано, что это Боинг, допустим, 707, и что американцы создали новый пассажирский самолет. Мы стояли в конце переменки и ждали, когда нас запустят в класс.

И какой-то патриот подвально-гопнического вида смотрит на фотографию и говорит:

-Во наши запузыривают!

---

[49] На самом деле у Земскова дома стоял большой американский приемник с настоящим магнитофоном, на котором он и слушал свое «буги-вуги» (*А. В. Юрасовский*)

[50] Надо уточнить, что эти ботинки Розентуллер просто за кем-то донашивал. Это был несчастный мальчик из беднейшей семьи, — его мать работала в школе уборщицей, отца не было. (*А. В. Юрасовский*)

Я ему говорю:

- Окстись, какие наши? Это же американский самолет. Написано: Боинг 707.

- Ты чё, какой американский?! Это наши запузыривают!

Он даже не хотел прочесть, что там написано, потому что, во-первых, мелко, во-вторых, он не стал бы разрушать своё теплое ощущение от того, что «наши запузыривают». Я понял, что это классическая парадигма, и что именно этого надо ожидать от таких людей. Они будут смотреть на фотографию с надписью «Американские инженеры изобрели паровоз» и с гордостью думать: «Это я изобрел паровоз».

Еще попадались ребята любопытные…

Вот был у нас в классе гениальный физик Молгачёв, сын географички. Русский человек, глубоко русский парень. С шишковатым лбом, широким носом, насупленный, похожий на дореволюционных русских мальчиков из студентов или разночинцев. С лобной складкой, отсекавшей переносицу ото лба, развитыми надбровьями. Легкий бубнёж, взгляд вниз.

И судьба такая же.

В десятом классе он прошел практически весь университет. Учителя относились к нему, как к хрустальному чуду. Он без экзаменов поступил на мехмат: он уже всё знал. Но к третьему курсу он спился.

У него отец был алкаш, причем буйный, и ходил слух, что наша географичка его убила ради сына. Отец-алкаш портит жизнь — надо сына спасать. Может, подлила ему чего-нибудь. Настолько это был гнилой алкаш, что даже не стали дело поднимать: понятно, что мужик тварь — сдох и сдох, а баба хорошая[51].

А сын — звездный был парень. Он мог бы спокойно играть в любой экранизации романа Достоевского. Лобастый, насупленный, крепкий, спортивный, высокий. Очень

---

[51] Отец-алкоголик, проснувшись среди ночи, полез в буфет, увидел на бутылке от руки написанную надпись "спирт", не заметил "нашатырный", и выпил. (*А. В. Юрасовский*)

компанейский, товарищеский, держащийся как бы в себе. Но уже на третьем курсе спился в хлам.

Что значит русский талант: встроен блок самоуничтожения, как в ракету.

Классе во втором-третьем, летом на даче вокруг меня всегда было несколько мальчиков моего возраста, которые играли со мной. Мы строили из песка рыцарские замки, укрепляли их, и всё это только для того, чтобы разбить их, меча в них камни. Чей замок скорее рушился, тем быстрее проигрывал его владелец.

Среди нас был холёный мальчик со слегка обвислыми щеками, в очках. С бабушкой, хорошо мне понятной, явно закончившей гимназию или притворявшейся, что она закончила гимназию. Этот мальчик давал мне пострелять из своего лука и поиграть выточенным из дерева пистолетом ТТ.

А играли мы с ним в допрос. И по ходу игры я был вор, а он был следователь. Он меня пытал, допрашивал, нажимал на «пулевые раны». Я кричал от боли, но говорил: «Нет, ментовская сука, я ничего не скажу!» В конце концов его бабушка услышала все эти ужасы и заявила, что она категорически против таких игр, что это ужасно и что в такие игры играть нельзя. Мальчик начал хныкать, выть, топать ногами, и бабушка дала задний ход. Она разрешила нам играть, но играть мы должны были в шпиона и сотрудника НКВД. Ей показалось, что такая формулировка будет гораздо интеллигентней. Да, бабушка моего приятеля считала нквдешников интеллигентными людьми. Шпионы и те, кто их ловит, — высший разряд. А менты и воры — не интеллигенты. Такая идея.

Мне было лет девять, Сталин уже умер. Строго говоря, уже не было НКВД: была уже создана какая-то там госбезопасность. Но НКВД играло роль мистической черной комнаты, в которой Синяя Борода что-то держал взаперти, а очередной жене говорил: «Ни в коем случае туда не заглядывай». Естественно, советские люди были выстроены по струнке.

Мы стали играть точно в ту же игру: он мне давил на раны, я с проклятиями выл. Только на этот раз я орал про что-то вроде сегодняшней «кровавой гэбни!».

Я жил в каком-то сновиденческом мире до восьми-девяти лет, находился как бы внутри кокона. Между мной и миром стояла стеклянная стена. У меня не было никаких ощущений: они были словно заморожены. Я был как бы отстранен, спал наяву.

Помню, на мои восемь лет дядя, мой враг страшный, подарил мне настоящую саблю. Это была парадная сабля конца XIX века, как я сейчас понимаю, по форме полагавшаяся чиновничьим парадным костюмам, — скажем, письмоводителю, коллежскому асессору. Им полагалась сабелька и форма.

Такая сабелька была в нашей коллекции. Дело происходило еще до дядиной попытки самоубийства. Он ее тупил специальным бруском, затуплял острие прежде чем подарить мне. Я просил этого не делать, но он сказал:

-Нет, лучше тебе я подарю тупую.

И торжественно мне ее преподнёс. Я взял ее в руки и подумал: «Как странно! Я ничего не чувствую. Многим ли мальчикам на день рождения дарят настоящую саблю? Это же большое счастье, это же редкость — а я ничего не чувствую. Когда же это кончится? Когда я проснусь?» Я чувствовал стеклянный колпак, который был для меня как тяжкое бремя.

Я проснулся, когда мне было девять лет.

Собирался в школу ко второй смене. Утро уже прошло, и я был в столовой, в большой комнате, и неожиданно мое внимание привлек радиоприёмничек. На дворе стоял, наверное, 1956 год, и передавали что-то в хрущевском дискурсе: «мирное сосуществование, борьба за мир». До этого я воспринимал радио как белый шум: вообще не вслушивался и не придавал значения.

И вдруг щелчок — и тонкая пелена, окутывавшая меня, лопнула, прозрачная резина разорвалась, и хлынул поток света. Я услышал ярко все эти слова, которые произносило

радио, и почувствовал глубочайшую ненависть к тому, что стояло за этими словами, — к борьбе за мир, к мирному сосуществованию. Я почувствовал зоологическую ненависть к слову «мир».

И поскольку с того дня я испытывал ненависть к слову «мир», то я очень полюбил слово «война». И логически меня стали концептуально привлекать все идеи, которые противолежали основному направлению пропаганды.

С этого момента для меня начались политика и философия.

Мои взгляды эволюционировали постепенно. Когда я первый раз по радио это все услышал, начал с того, что стал читать газеты, и я ненавидел то, что читал. Я думал, что хорошо было бы, если бы сейчас началась атомная война, и чтобы империалисты дали как следует прочихаться всей этой твари, всех их перемочили. Особенно я радовался, когда узнавал о появлении новых американских баз, об очередном каком-нибудь американском генерале, который прибыл в Европу устраивать провокации и наращивать военную угрозу. Я потирал руки и думал:

- Давай-давай. Скоро, наконец, это все разразится, и Совка не будет.

Потом я стал более внимательно читать эти тексты — вглубь. Обязательно каждое утро, когда я шел в школу, останавливался у стенда и просматривал все, что относится к политическому пространству. И был еще огромный дедовский шкаф с книгами, но среди них было много и мусора всякого. К примеру, там была дореволюционная книга про гончих собак с великолепной обложкой. Это было не очень интересно.

Мне попалась книга профессора — то ли Зеньковского, то ли Зелинского — из Санкт-Петербурга, 1912 года, — «История древней философии»[52]. Первый том — досократики,

---

[52] «История русской философии» Зеньковского вышла значительно позже. Но был еще двухтомник «История древней философии» профессора

прекрасные семь мудрецов. Это было так интересно. Один говорит, что «всё есть вода», другой говорит, что всё есть огонь, апейрон, бесконечное в виде сферы. Это было интереснее любой беллетристики, любой художественной литературы. У меня крыша поехала от счастья, что, оказывается, есть такие книги.

Мне было лет одиннадцать-двенадцать. Я книжку прочел как не читал никаких сказок в раннем возрасте. После нее я взялся за более серьезные книги. Прошел социал-дарвинизм, идеи борьбы за существование и страшной борьбы видов, «падающего подтолкни».

Ницше я полюбил за одно имя и за слух, что он является крайне реакционным. Обязательно полюбил Шопенгауэра. Выискивал о них скудные крохи информации в советских словарях. Ну и разрабатывал идеи антигуманизма, ненависти к добру, любви к жестокости, к насилию, идеи превосходства. И всё это я записывал в маленький блокнотик авторучкой с синими чернилами.

В конце концов бабушка, мой вечный Цербер, нашла эту тетрадку, прочла её — и у нее ум за разум зашел. Она поплыла, и не зная что делать, глупо пошла в школу. И показала директрисе.

Надо тоже понять бабушку. Она находит текст, где написано, что нужно воспитывать в себе безжалостность, что нет ничего омерзительнее любви к человеку, и первое, что у нее в голове возникает — не этическое возмущение, что у внучека крыша поехала на почве мизантропии, а что внучек собрался на Колыму по статье 58-10. Как же это предупредить? У нее возникает идея: на ранней стадии придать гласности, озвучить и блокировать, купировать, чтобы не пошло дальше. Она хотела как бы «заморозить» процесс и потом со временем постепенно разобраться. А то будет человек так подспудно развиваться, и когда ему

---

Трубецкого, вышедший до революции. Возможно, на полке они стояли все рядом.

исполнится восемнадцать, возьмут его под белые ручки, — и прощай, жизнь.

Она принесла мою тетрадку в школу, и там тоже задумались, что с этим делать. Меня вызвали к директрисе. Пока я ее ждал, молодая с огромными сиськами секретарша, хлопая глазами, говорит мне:

- Гегеля читаешь, да? Вот у меня приятель тоже читал–читал, а сейчас в дурдоме сидит.

Это, конечно, не прибавило у меня тепла к бабушке.

До сих пор жалею об исчезновении той тетради: было бы забавно с ней столкнуться.

Заряд, который у меня сформировался, шел из меня, из солнечного сплетения, — это ненависть к идее мира.

Из-за того, что рядом со мной была бабушка, у меня еще была ненависть к женскому полу, то есть феминизм и матриархат я ненавидел зоологически и считал, что это синонимы — Совок и матриархат. Так оно и было, конечно: Совок, матриархат, лицемерие...

Кстати, я же не понимал, что вся борьба за мир, «сражения за мир», — голое лицемерие. На полном серьезе все это воспринимал. Мне казалось, что они действительно такие матриархальные, любящие добро, тепло, чавканье жизни. Я хотел мочить и жечь их за это.

Был у меня друг, с которым я все это обсуждал. Жил он внизу, прямо подо мной — Саша Козьменко. Мой ровесник и учился в классе «Б».

Очень интересная семья. Отец — крупный чиновник железных дорог. Наш дом построили для Малого Театра, но каким-то образом он тоже там появился, но на первом этаже, — не такой солидный, как второй и выше, а первый. Он был каким-то руководителем — большой человек с секретаршами. Высокий, костистый человек со странноватым лицом. Может быть, современный Саша Козьменко на него похож: я его не так давно видел — он переехал со старой квартиры, продал ее.

Итак, у большого человека была жена и секретарша. Жена узнала, что она не любимая жена, что у секретарши будет ребенок, и покончила с собой. Саша тогда еще не родился.

Мне рассказывали, что она заперла всё и пустила газ. Пожарные приехали, с улицы разбивали окна. А Козьменко-старший, когда пытались достать его жену, всё суетился и повторял:

- Мебель не попортите.

Мой дед оказался поблизости и сказал ему:

-Сволочь, у тебя там жена умерла, а ты мебель вспоминаешь.

Это мне бабушка рассказывала раз сто.

Жену вытащили, увезли в морг, похоронили, и буквально через несколько дней — рассказывала бабушка с ненавистью, даже яростью, — пришла секретарша с огромным животом. Из этого живота родился Саша Козьменко. В глазах бабушки он уже автоматически был бастард, «полный ублюдок», все очень плохо. А я помню мать его — она безумно любила Сашу. Между ними существовал очень теплый контакт. Смазливая была — интересная женщина, хотя и не красавица.

И мы с ним сдружились лет в десять–одиннадцать. Оказалось, что он тоже антисоветчик. Мы очень сошлись на этой почве и решили бежать из этой страны. А куда бежать? Решили бежать в Иран. Ну а как бежать в Иран? Надо украсть деньги, переодеться в одежду его отца. Надел на себя его костюм, галстук, рубашку, шляпу. Я был высокий, но штаны подвернул. Было очень интересно надеть качественную одежду взрослого человека: шикарные ботинки мягкой кожи, шелковая белая рубашка — таких вещей не было в те времена у обычных людей. Я себе очень понравился в зеркале. Повязал галстук, надел шляпу, взял дядин нож-финку, сколько-то рублей, и мы свалили. Кстати, тогда же можно было сесть на поезд без паспорта.

Потом оказалось, что у нас рублей мало. Попытались продать мои часы, подаренные в пятом классе. Но когда мы

принесли часы в часовую мастерскую, у нас отказались их взять: видимо, заподозрили что-то. Мы пошли и поменяли их у какого-то ханыги, и через полчаса принесли уже другие часы. Часовщик их тоже не взял и даже кого-то вызвал. Тогда мы решили грабить — нож-то есть.

-Давай, — говорю, — будем подстерегать людей между поездами, где пути: поезда разные стоят, кто-нибудь одинокий попадется.

…Как нас повязали, я не помню. Может, Саша подставился. Повязали, в общем. Мы еще не успели никуда уехать из Москвы. Менты, бабушка откуда-то появилась.

Прошло несколько часов, наступил вечер, и тут Саша... У него вечно возникали какие-то свои провокационные цели. В этом смысле он похож на Чаплина, который протоиерей. С нами менты беседовали поодиночке, и Саша, оказывается, сказал:

-Да, мы бежали. Мы хотели бежать в Иран, потому что ненавидим советскую власть. Ну какие у нас были мысли? Мы хотели попасть к американцам, поступить в школу ЦРУ, чтобы потом бороться с советской властью. Возможно даже приехать сюда с фальшивыми документами, вести здесь подпольную подрывную работу. Наша задача, наша мечта — это вступить в ЦРУ.

Менты оказались сильно обескуражены тем, что Саша им выложил. Потом они решили со мной побеседовать. А Саша, выходя оттуда, сказал мне — так, чтобы они слышали:

-Я им все сказал.

У нас же как бы общая идея была.

Я был крайне недоволен тем, что он так нас подставляет. Но мы же товарищи, так что чего уж тут отнекиваться. Раз он так сказал — я все подтвердил: что, мол, да, мечтали стать црушниками и бороться с советской властью.

Нам рекомендовали больше не общаться.

Прошло несколько месяцев, и развернулся страшный скандал: сидя на уроке, Саша Козьменко внезапно сорвал с себя галстук, выхватил принесенный из дома нож и разрезал

галстук на мелкие кусочки с криком «Долой этой красное ярмо!». Пятый или шестой класс.  Вся школа стояла на ушах.

Его тут же исключили из пионеров. Я подумал:

-Круто, какой молодец! Это же надо!

Но не мог я ему простить, что он сдал наши планы. Мы их, конечно, не проговаривали, он их сам на ходу изобрел. Я против этого ничего не имел, но зачем ментам излагать?

Длительный период мы не общались: общение было табу. И в классе шестом — бесцветном, провальным классе, который ничем не запомнился, — неожиданно на переменке подходит Саша. Это уже меня немножко встряхнуло, потому что мы долго не общались. И говорит:

-Знаешь, ты когда-нибудь думал о том, чем становятся наши души после смерти?

-Нет, а что?

-Понимаешь... жизнь — она ведь совершенно не имеет никакого смысла, потому что мы умрем, и после смерти наши души становятся пучком лучистой энергии, которая вылетает в открытый космос, в вакуум. Там эти пучки лучистой энергии летят в бесконечную, вечную, бессмысленную даль среди холодной пустоты, среди искрящихся далеких, абсолютно равнодушных звезд. Пучки лучистой энергии, которые никогда не обретут покоя, не вернутся и не воплотятся ни во что.

Это произвело на меня страшное впечатление! Для меня тут же померк свет дня — в буквальном смысле. Я ходил по переменке кругами и не мог думать ни о чем другом. На второй перемене я стал думать о самоубийстве. «Пучки лучистой энергии» не покидали меня — я и сейчас помню это как вчера. Я вышел на улицу и бродил вокруг наших кварталов, вокруг Остоженки, по Кропоткинской; я думал о самоубийстве, думал о том, что жизнь бессмысленна, раз мы превращаемся в пучки лучистой энергии, — вынести это было невозможно.

И вдруг на встречу мне идет Миша Экарев, ковыляя и припадая на одну ногу, которая у него была короче другой.

Миша Экарев — странный парень, инвалид, колченогий с рождения. Сероглазый. Из старой дворянской семьи

Экаревых. Эркар и Сувор — две шведские семьи, переселившихся при Алексее Михайловиче. Из Сувора произошел Суворов, а из Эркара — Экарев.

Их было два брата: один учился в ИВЯ[53] на арабском с французским отделением, а он, Миша, учился в моем классе. Умненький! Все его любили: очень правильный. Все-то он банально, но правильно говорил, знал, отвечал. И учителя его любили, и девочки, и все его жалели. Всегда дружелюбный, но в меру.

И я ему говорю:

-Миша, слушай. Я хочу с собой покончить.

-А что такое? Что случилось?

-Да ты понимаешь, мы, оказывается, пучки лучистой энергии! Помрём и будем лететь в бесконечной холодной пустыне — звездной, длящейся в холодном вакууме бесконечно... Мысль эта невыносима! Хочу покончить с собой.

-Ты знаешь, — говорит Миша, — Я могу тебе на это вот что сказать: я тебя понимаю. Но ты подумай вот о чём. Оптимист видит целый сыр, а пессимист только дырки.

Как ушат воды на меня вылили. Эта фраза нанесла такой удар по моему состоянию, что я внезапно опомнился, заморгал глазами и подумал:

-Какая чушь!

Действительно, бред полный. Пучки лучистой энергии... Бывает же такое!

Наваждение мгновенно прошло. Саша Козьменко навел на меня это наваждение, а Экарев, которого все обожали за его правильность, с меня это наваждение снял. Я его обнял и говорю:

-Спасибо, Миша!

-За что?

-Да ты сам не знаешь. Спасибо.

-Ну, всегда готов.

---

[53] Институт восточных языков. Ныне — Институт стран Азии и Африки МГУ.

Кстати, через много лет — мы уже окончили школу, меня выгнали из университета, уже выгнали из армии, уже жил я с Леной на Гагаринском, — иду я к Дому ученых на Пречистенке. А Миша жил напротив Дома ученых в огромном доме, который сейчас забрали под что-то ВПКшное. Иду — и навстречу мне колченогий Миша Экарев, здоровый уже мужик, слегка заросший, слегка небритый. Я раскрываю широко глаза и говорю:

-Миша, ты ли это?

Он говорит:

-Да, привет.

-Как рад, что тебя встретил. Ты что делал всё это время?

-Да ничего, учился, всё нормалёк.

Он — прежде очень корректный, из старой культурной семьи — говорил незнакомым мне языком.

-А где учился-то?

-В Институте стали и сплавов.

-А что ты сейчас делаешь?

-Мастер смены на заводе.

Я пребывал в шоке: не ожидал, что из протюканного, умненького мальчика, сторонившегося любых эксцессов, выйдет такая странная пародия на пролетария.

Брат его, здоровый красавец, кончил ИВЯ, получил назначение в Алжир, делал комсомольскую карьеру в ЦК комсомола и скоропостижно умер от инсульта. Когда мы были совсем маленькими, он учился в 10 классе. А когда я поступил в ИВЯ, он его заканчивал, был на последнем курсе и умер вскоре после этого. Несчастливая семья: один ребёнок умер молодым, второй колченогий…

А с Козьменко мы после 13-14 лет контактировали мало — разошлись. А потом я узнал, что он поступил во ВГИК, стал режиссером. Потом его посадили.

И вот я как-то снимался в фильме у одного югославского режиссера[54], и во время перерыва сидел с оператором, студентом ВГИКА с четвёртого курса (а на дворе 1980 год), и заговорили о судьбах советской кинематографии. Ну и тут конечно же как всегда: звезда, гений, четвертый курс, новое поколение. Говорит:

-Все лохматое дерьмо, ерунда. Но губят же, губят звезд. Вот был один режиссер, гений — и того загубили и посадили. Посадили, загубили гения, который обещал реабилитировать весь советский кинематограф.

-Правда? А как зовут? — спрашиваю.

-Был такой Козьменко.

-Сашка, что ли?

-А ты что, его знаешь?

-Так мы друзья детства, соседи по дому.

-Да ладно! Ты его сосед? Ты его знаешь? Да ты знаешь, он — гений, вся киномолодежь на него молится.

-Правда?

-Ты еще спрашиваешь? Это вообще что-то, но Совок его сломал.

Потом я встречал Сашу, он всегда был пьян. Иногда, когда я жил на Мансуровском, слышал его ругань и вопли снизу. Девки у него были красивые — как всегда у режиссеров, — несмотря на то, что он уже в хлам деградировал. Девочек он подбирал, говоря, видимо, примерно такое:

-Я сделаю из тебя звезду, — как режиссеры обычно делают.

И делал — они были несчастны все.

Однажды я к нему зашел. Он дал мне кассету и говорит:

---

[54] В 70-е годы студент ВГИКа из Югославии Дарко Ченгич снимал дипломный фильм про эсэсовцев. На главную роль он пригласил Джемаля. Фотография Гейдара в эсэсовской форме во весь рост висела в его очаковской квартире и породила предсказуемые слухи. Дарко — отец Ивана Ченгича, который снял сериал «Как выйти замуж. Инструкция» (2019).

-Посмотри мой фильм 1988 года. Считаю, неплохо получился.

Это уже были 90-е — 95-й, наверное. Я пришел домой, поставил. Это была сепия, не цветной[55]. Экранизация Леонида Андреева про то, как один жандарм попал во время революции 1905 года на баррикадах в плен и сначала ждал, что его расстреляют, потом начал помогать строить баррикаду, а потом молодой рабочий, который к нему относился с большим недоверием, повел его в штаб, а по пути они попали на разъезд казаков с офицером, и тут же жандарм завопил и сдал рабочего, что тот с баррикад, и потом с удовольствием дирижировал его расстрелом. Рассказ яркий о том, что легаш — всегда легаш. Я бы не сказал, что шедевр — я видел советские фильмы и поярче и получше, — но что-то в нем было.

Потом говорили, что он занимается документальным кино, член гильдии кинематографистов.

А сидел он по политической статье. Там, видимо, с ним плохо обходились. Пытали и, как говорят, сломали ему ногу, — он хромал после лагеря. Бросили бревно на него при разгрузке вагонов. Запытанный, он всю дорогу пил, когда вышел.

Другая интересная линия продлилась много дольше — Леша Юрасовский.

Его семья была связана с нашей странными нитями. Его бабушка, урожденная светлейшая княжна Надежда Георгиевна Грузинская [56], тоже служила секретаршей у Крупской, как и Стасова, дружившая с моей бабушкой.

Княжна Грузинская вышла замуж за детского доктора и семейного врача в нашем доме. Она была очень красивая женщина, приятная, милая, правильная. Похожа на мою

---

[55] Короткометражный фильм «В одной знакомой улице» режиссера А. Козьменко, 1988.

[56] Надежда Георгиевна Грузинская (1883 – 1974) — правнучка грузинского царя Георгия XII.

бабушку, только бабушка — казак в юбке, довольно брутальная. А эта — вся зефирная, но консистенция у них была общая. Даже завитки какие-то общие были. Бабушка была просто казарменным изданием этой княжны.

Но бывали и странности. Как-то, когда я учился в 10 классе, она звонит и говорит:

- Я хочу вас обрадовать очень хорошей новостью. Вы знаете, принято решение, что мальчики из хороших семей будут приниматься в университет без экзаменов.

- Да, это новость хорошая, — говорю.

Да, странная была женщина. Но очень красивая.

От этого брака доктора и княжны Грузинской родилась Ирина Алексеевна, которая вышла замуж за Владимира Святославовича Юрасовского. Ирина Алексеевна преподавала музыку в Гнесинке или консерватории[57]. Хищная, красивая, с четкими чертами. Сложные отношения были у нее с сыном Алешей.

Владимир Святославович Юрасовский принадлежал к старинному дворянскому роду, появившемуся на Руси при Алексее Михайловиче. Шляхетский литовский род с крутым и сложным гербом, где есть несуществующая птица Гранодрант или что-то в этом роде. Он жил в коммунальной квартире на первом этаже напротив итальянского посольства в Денежном переулке, недалеко от книжного магазина, окнами на Дом Дворцового ведомства.

Они недолго прожили вместе, развелись, но сохраняли хорошие отношения.

От брака Юрасовского и Ирины Алексеевны появился мой школьный друг, с которым мы дружили некое время и после школы[58], — Алексей Владимирович Юрасовский.

Лёша постоянно ходил в квартиру к своему отцу, иногда туда с ним шастал я. Там имелось много разных прикольных вещичек, включая гильотину для сигар. Всякий раз, когда

---

[57] Если точнее, Ирина Алексеевна была аккомпаниатором. (*А. В. Юрасовский*)

[58] «Некое время после школы» — это почти тридцать лет.

Юрасовский-старший встречал на Пречистенке меня, десятилетнего мальчика, он снимал шляпу и раскланивался. Это мне много очень сказало. Такой стиль поведения, такие манеры — они мне дали много. Один из случайных просветителей, встречающихся в жизни, Юрасовский-старший своими д'артаньяновскими манерами и стилем открыл мне специфическую тайну.

В младших классах школы Леша не вызывал у меня особого интереса. Но некоторая породистость в нём прослеживалась. В те годы он походил на известную фотографию Набокова, где Набоков с голой шеей и закругленным носиком.

Во втором классе случился эпизод. Я лежу в детской, собираюсь встать. Входит Анна Тимофеевна, наша домработница, и говорит абсолютно как бы из чистого неба:

-А ваш Юрасовский — *я*врей!

Почему «наш»? Откуда она его знала? Я о нем даже не думал, а она мне почему-то о нем сообщила. Ну и как бы это гвоздем во мне засело. Прихожу в школу, и что-то свербит во мне и свербит. Я поднимаю руку. Надежда Алексеевна Петрова, наша учительница из Украины — коса намотана, как у Леси Украинки, под которую Тимошенко косит. Только шатенка.

Я поднимаю руку, она спрашивает:

-Что тебе?

Я встаю и говорю:

-Надежда Алексеевна, а Юрасовский — еврей.

И смотрю на его затылок, как бы вырезанный из другого измерения и вставленный в это пространство, как аппликация. Он не пошевелил головой ни влево, ни вправо, не оглянулся.

Опытный педагог, она велела мне садиться и, не обращая внимание, дальше что-то продолжила рассказывать.

Эпизод забылся.

Потом что-то нас стало сближать. Я же был крайне правый. С одной стороны, профашистский, а с другой — глубоко антисоветский.

А учились мы вместе с первого класса, и у нас в младших классах была общая любовь — «Айвенго». Мы оба читали «Айвенго» с первого класса, мы обожали эту книгу. Фехтовали на переменках на невидимых мечах — такая игра у нас была.

В «Айвенго» я любил по-настоящему только один эпизод, когда еврей Исаак заглядывает в комнату, где в сером плаще стоит Айвенго, тот наклоняется, и у него из-под плаща сверкают золотые шпоры. И еврей Исаак понимает, что паломник на самом деле рыцарь. Меня это пробирало до дрожи, и у меня тогда созрела мысль, что мой путь определен: я хочу быть рыцарем, потому что кроме как рыцарем никем не имеет смысла быть.

И когда меня спрашивали «Кем ты хочешь быть?», не мог же я этой сволочи ответить, что хочу быть рыцарем. Я отвечал, что хочу быть историком, изучать Средние века. Как правило, вся пошлая сволочь мне говорила, что Средние века уже давно изучены. Ну что ж, я буду их изучать по новой. Но про себя я знал, что я хочу быть рыцарем. Не представляю, имел ли это ввиду Юрасовский, был ли он настолько безумен и романтичен. Думаю, не совсем. Но очень долгое время между нами ничего, кроме «Айвенго», не существовало.

Если в младших классах нас объединяла книжка «Айвенго», то в более старших такой объединяющей книжкой стало «Хождение по мукам» Толстого и вообще Алексей Толстой, его вкус художественного слова, который нам передавал неповторимый аромат Гражданской войны.

А как знал будущий историк Леша Юрасовский Гражданскую войну!

Он обладал огромной библиотекой начиная от воспоминаний Буденного. Лёша знал этот период истории в нюансах — ложь, правду, Романа Гуля[59], кубанских казаков-автономистов, изданных в Париже, — всё–всё он знал.

Юрасовский был, конечно, монархистом, ну и я из солидарности тоже примкнул к нему, хотя мое сердце с 12 лет

---

[59] Роман Гуль (1896-1986) — русский писатель и публицист, эмигрант. Участник Белого движения.

лежало совершенно на другой стороне. Мои симпатии не были связаны с традиционалистским прошлым. Но некая «генетическая общность» у нас была.

Юрасовский мечтал поступать в ИВЯ, потому что любил тему наемников — «диких гусей», Майкла Хоара, Боба Денара, Катанга, Конго[60]. Он хотел изучать суахили — это соответствовало его романтической тяге к Африке, где настоящие люди нанимались воевать[61]. Но как поступить в ИВЯ? Ходили слухи, что это очень сложно. Туда не примут — куда после этого? В армию? Что же, конец жизни? И решил Юрасовский поступать на исторический — но на вечерний. Для этого Лёша куда-то устроился как бы работать, чтобы потом перевестись на дневной: выстлал себе всё соломкой[62]. От чертова суахили пришлось отказаться.

Поступил он на истфак, где сложился круг, куда я тоже заходил, хотя это было не очень интересно. Там Володя Молотников[63] учился, занимавшийся реформой Александра III

---

[60] Томас Майкл Хоар (1919 — 2020) —«Бешеный Майк», британский военный; позднее южноафриканский наёмник и активный участник конголезских войн 1960-х. Также известен как организатор неудачной попытки государственного переворота на Сейшельских островах в 1981 году. Робер Денар (1929 — 2007), он же Саид Мустафа Маджуб — французский военный и наёмник, участник ряда вооружённых конфликтов в странах Африки и Азии. Деятель геополитического проекта Франсафрика. Получил прозвище Король наёмников. Считается одной из легенд Холодной войны.
«Катанга, Конго» — речь о гражданской войне в Конго в первой половине 60-х, которая широко освещалась в советской прессе.

[61] *Юрасовский*: «Не наемники были причиной, а просто я несколько лет интересовался колониальной и постколониальной Африкой». Видимо, Джемаль видел в увлечении Алексея только то, что интересно ему самому.

[62]На самом деле Алексей Юрасовский поступал именно в ИВЯ и они даже вместе ходили к одному репетитору по русскому языку и литературе. Но Алексей недобрал балла. В те времена вечерний факультет был единственным выходом из положения, а ИВЯ вечернего факультета не было. Справедливости ради: А. В. Юрасовский закончил истфак МГУ с отличием.

[63] Владимир Молотников, историк. Автор известной книги «Борис Пастернак, или Торжество халтуры», в которой Пастернак представлен как автор — по словам Молотникова — «скучного, слезливого, невероятно

по черте оседлости. К этой компашке близко примыкал Володя Козловский[64] с хинди, мой главный ненавистник в университете, и Володя Александров, сын министра культуры, — того самого, которого выгнали за «дело Александрова»[65]. Александров-старший, знаменитый министр культуры, член-корреспондент академии наук, философ. При Хрущеве в 1955 году то ли «Фигаро», то ли «Штерн», то ли «Шпигель», то ли «Бильд» дальним объективом заснял его с девками на даче через забор, с сосны. Его сняли, был большой скандал. И он вскоре умер.

А жил Володя Александров в шикарной квартире на Тверской, не доходя до Пушкинской площади. И мы там часто собирались, сидели в небольшом кабинетике, забитом книгами под завязку. Галича слушали. Бормотали себе под нос что-то типа «Мадонна шла по Иудее...»

Леша Юрасовский закончил свой истфак и на два года ушел в армию офицером. Направили его в Туркмению, под Красноводск, переводчиком при сирийском ПВО. Там проходили подготовку арабские части ПВО, ну и он служил

---

слабого, в сущности, халтурного романа» про «никчемного Юрочку Живаго». *Юрасовский:* «Как историк он занимался не чертой оседлости, а Главным комитетом по крестьянскому делу, который находился в непосредственном ведении императора Александра II.»

[64] Владимир Данилович Козловский закончил ИВЯ, работал переводчиком с английского, хинди и урду в ЦК КПСС, КГБ, Союзе советских обществ дружбы и т. д. Считается участником диссидентского движения. Уехал в США в 1974 г. Живет в Нью-Йорке. Позиционируется как один из самых популярных журналистов «русской» Америки. Печатался в «Новом русском слове», позже — в «Комсомольской правде», «Новой газете», «Совершенно секретно», «Новом времени».

[65] «Дело гладиаторов» — сексуальный скандал эпохи Хрущёва (1955 год), крупнейший секс-скандал в истории СССР. В парижской газете Figaro появился сенсационный репортаж о подпольном борделе министра Александрова, сопровожденный фотографиями. Согласно «официальной» версии скандал начался с того, что на стол Хрущеву легло письмо матери одной из «пострадавших».

переводчиком с английским языком[66]. Английский он изучал у настоящей бонны, учившей его языку с пяти лет. Поэтому английский язык он знал хорошо и всё время оттачивал фонетически. Мы читали английские книжки, американские триллеры, детективы, обменивались тогдашними хитовыми авторами. С конца школы я какое-то время русские книжки вообще не держал в руках. Раз Лёша, уже пьяный, спросил меня:

-Скажи мне, вот ты должен знать. Когда я умру, я «там» буду знать английский язык или забуду?[67]

Нас почему-то очень любили еврейские девочки.

У меня была фанатка Алла Циммерман. Она встретилась мне, когда я вернулся, изгнанный из вооруженных сил, шел по Садовому кольцу, и вдруг такая сочная с высоким бюстом и пылающими черными глазами Эсфирь меня останавливает, называет по имени с вопросом:

-Не узнаёшь?

-Нет, — отвечаю я

-Ну я — Алла Циммерман, я на тебя смотрела с обожанием еще пять лет назад, была в тебя влюблена.

Алла Цимерман — занятное существо.

Она к Леше тоже неплохо относилась. Как-то пригласила нас домой. А дом у нее на углу Садового и Пречистенки. Там палисадник небольшой. Мы поднялись, весело болтаем ни о чем в комнате, не садимся, стоим. И вдруг заходит ее отец — еврей из тех, что в американских фильмах любят показывать

---

[66] Считалось, что все египетские, ираксие и сирийские офицеры знают английский. Но не учли масштабные чистки в рядах арабского офицерства: английский знали уже далеко не все. Поэтому практиковался двойной перевод: с русского на английский, после чего знающие английский арабы переводили на родной язык, — и так же в обратную сторону (*разъяснение А. В. Юрасовского*)

[67] А. В. Юрасовский диалог вспоминает иначе:

- Скажи, когда я умру, мне зачтется, что читаю на английском?

- Нам зачтется не то, на какòм языке мы читали, а чтò именно мы читали…

в качестве старого црушника или генерала типа Моше Даяна. Со впалыми щеками, костистое лицо, обнаженный тяжелый взгляд.

-Это кто? — спрашивает он у Аллы.

-Мои друзья.

-Друзья? А ну пошли вон отсюда.

Ну а мы что — поднялись, вышли на улицу, стоим. Я думаю: «Вот же гаденыш. Расстрелять!»

Юрасовский же говорит:

-Уважаю таких евреев.

В свое время Циммерман мне сказала:

-Я могу быть постоянной подругой только еврея.

Ну я подумал, была бы честь предложена — не особо-то ты мне и нужна. Правильно воспитанная еврейка. С отцом всё было ясно: заряжен фанатической ненавистью к гоям. Какие-то два гоя пришли к его доченьке любимой[68]. Понятно же, как он к ней относился — как к доченьке любимой. А она ему даже ничего и не сказала — просто тихо нейтрализовалась, спряталась.

Наиболее яркая и памятная девушка была Нора Вайсфельд. Красивая, элегантная, с рюмочной талией, с круглыми бедрами, высоким бюстом, густым очень темным стыдливым румянцем, бархатистой кожей. Просто Эсфирь. И конечно же она была предметом моих вожделений.

Но моя первая любовь была Оля Казакова. Высокая блондинка с васильковыми глазами и абсолютно золотой головой. Густейшие золотые длинные косы. В первом классе я ей написал любовное послание, а она его передала Надежде Алексеевне, тут же зачитавшей его вслух. И некоторое время я был объектом подшучиваний.

Ещё у нас была подруга — очень хорошая девчонка Алла Стерлинг. Она пришла к нам в школу в 9 классе. Компанейская, настоящая, правильная подруга, но ничего особенного — рыжеватая, веснушчатая, с зелеными глазами,

---

[68] Вообще-то, дело в том, что отец вошёл именно в тот момент, когда один из «гоев» приобнял Аллу за талию.

очень компактная. Алла Стерлинг поступила вместе со мной в ИВЯ. Её распределили на японский. Она была единственная, кто выступила в мою защиту, когда комсомольское собрание курса принимало решение исключить меня из комсомола и просить об исключении из университета. Острая была девушка. Потом уехала, кажется, в Америку.

Когда я встретился с Мамлеевым и кругом Южинского, Леша выделился в особый камерный подмир, который я не допускал к контакту с большим, основным миром, миром Южинского. Они, как огонь и вода, были несовместимы — Юрасовский в том круге выглядел бы фриком, при этом он бы воспринимал фриками всех остальных. И я старался держать их раздельно.

Лёша много знал, был эрудит. Он был интересен своим маньеризмом — неожиданными барственными выкрутасами, которые заставляли смеяться или приводили в хорошее расположение духа. Но в какой-то период я понял, что с меня хватит, и перестал с ним поддерживать отношения[69]. Так что Лёша Юрасовский пучком лучистой энергии улетел в бесконечность.

Я пытался найти его в интернете. Прочел его письмо — ответ читательнице. Та рассказывает историю о какой-то усадьбе, где некий наполеоновский пленный, граф, состоял не то управляющим, не то еще кем-то. Она задает вопрос, а Лёша подробнейшим образом описывает историю усадьбы, графа, его потомков.

Это большая дружба моего детства. Раннего детства — Козьменко, и позднего детства — Юрасовский.

Еврейская тема сопровождала меня с самого детства. Прежде всего потому, что подвалы в домах в моем районе, на Мансуровском, густо заселили в основном евреями, убежавшими от войны из западных областей СССР. Галдящее гетто. Натуральные хорошие кондовые евреи гортанно

[69] А. В. Юрасовский настаивает, что это он решил, что с него хватит, и перестал поддерживать с Гейдаром отношения.

перекликались с сильным акцентом, — у них всё время стоял дым коромыслом, они били тряпками своих детей, гонялись за ними по двору. «Гевалт!»[70] имел место.

Наиболее яркой для меня фигурой, когда я был пяти-шести лет, был горбун — несчастный молодой человек с типичным, очень красивым, еврейским лицом, внешне напоминающим актера или певца Морфесси, что-то такое. С большими черными глазами и с мешками под ними, с идеальным пробором в черных блестящих волосах. Он ходил в коричнево-бежевом пальто.

Интересно, что я недавно встретил у синагоги еврея в кипе, — и он тоже был в светло-коричневом пальто. Может, это какой-то «сигнальный» цвет у евреев.

Горбун в хорошем пальто, очень длинном, говорил скрипучим голосом, который меня пугал. Он не мог выговорить мое имя. Когда он меня видел, говорил что-то вроде «Гидарэээ» и делал вид, что идет за мной. Я от него убегал со всех ног, потому что он мне внушал непреодолимое отвращение и ужас.

В пятом-шестом классе у меня образовалось два любопытных контакта среди одноклассников.

Мой приятель Лёва Цинклер — здоровый, плотный, рослый для своих лет, курчавый. Из совсем простых евреев. Очень любопытный персонаж

Сестра Левы Цинклера — стройная девушка старше его, со сросшимися бровями, красавица, строгая, очень серьезная, с легким пушком на губе. С величавым видом она ходила под руку с подругой.

Лева Цинклер на каждой переменке подходил к сестре, и отступая перед ней задом, давал ей отчет: «Я нашалил, мне сделали запись в дневнике, я получил тройку». А она шла и, глядя перед собой, говорила: «Очень плохо, Лёва, очень плохо». Иногда немного расширяла: «Ты же знаешь, как родители выбиваются из сил. Как же ты смеешь, Лёва? Очень плохо». И даже на него не смотрела, как вор не смотрит на

---

[70] Нечто вроде «Караул!» на идиш.

фраера. А Лева что-то частил, бормотал, потом отходил от нее и облегченно вздыхал. Его боязнь старшей сестры поражала. Ни один лейтенант так не трепетал перед генералом, как Лева трепетал перед ней.

Однажды он меня взял к себе в гости.

Жили они в Померанцевом переулке. Там есть здание, где родился историк Соловьев, — бывшая гимназия, в которой сейчас Московский ИнЯз имени Мориса Тореза. Если пройти сквер перед ним, то можно найти угловое массивное темно-серое здание. Оно выходит углом в сторону эстакады на конец Остоженки, и другой стороной — в Померанцев переулок. На шестом, кажется, этаже, в коммуналке, у них была комната. Лифт, грязная плохо освещенная площадка, длинный полутемный коридор с подвешенными по обеим сторонам велосипедами. Сейчас это как греза, образ из другого мира.

Мы проходим к комнате. В ней полумрак и пятна света. Мать лежит на софе, под ней подушки, она нам милостиво кивает: «Мальчики пришли… хорошо… как дела?». Отец — плешивый коротенький человечек, на локтях и коленках ползает по полу, где разложены на вырезанных из газеты лекалах куски размеченных мелом драповых элементов будущего пальто. Портной, после трудового дня в советском ателье за зарплату всю ночь работавший на заказы для клиентов, чтобы дать детям образование. Он не обращал на нас внимание, на шее у него висел сантиметр, а в зубах мелок, который он время от времени вынимал и что-то чертил. Где-то рядом ножницы, и он все ползал среди элементов своего ремесла.

Вообще на нас не смотрел: вот разница с папашей Аллы Циммерман, выгнавшим нас с Лешей Юрасовским из своей квартиры. Папашка Алки Циммерман был военный сухой еврей, сионист с ненавистью в глазах. А этот — похожий на актера Леонова, только еще более невзрачный. Вот представьте себе Леонова, ползающего с сантиметром на шее по кускам драпа. И понятно, что функции этого папашки были совершенно служебные. Бедняки самого бедного разбора, — из тех, что едят на праздник гороховые пироги.

Я видел еврейского портного, который ползал на коленках по ночам над своим раскроем.

А русский портной — это горе и слёзы.

Много позже оценил разницу.

Начал мне шить один такой. Прихожу на примерку. Он мне предлагает пиджачок, я его надеваю, и оказывается, что у кургузого пиджака сзади оттопырен хвост, дающий складку, когда его застегиваешь, а материала было навалом.

Я ему заранее объяснял, что не надо скупиться, пусть будет вальяжно, свободно, надо плавать. Он меня десять раз обмерял, и в итоге получилось такое недоразумение. Я ему говорю:

-Ты что сделал?! Я же говорил — свободно.

Он говорит:

-Ну как свободно. Тут максимум свободы, которую может допустить пиджак.

А я так понял, что у русских портных был такой стиль, — каким Черномырдин ходил, когда его еще не взяли в премьеры. Только-только его пригласили, и он там с папочкой бегал очень бодро. И на его толстеньком теле был пиджак, туго его стягивавший и сзади оттопыривавшийся хвостом. Один разрез — и тот топорщился. Если на талии перетянуть, всегда сзади будет топорщиться независимо от того, толстая задница или нет.

Я говорю:

-Это просто чушь какая-то.

Тот начал спорить — как все русские портные. Я сказал:

-Деньги — назад, костюм я тебе оставляю, можешь его кому-нибудь впарить.

Цинклер Лева вызывал у меня некоторое любопытство, потому что он был очень определен. И сестра у него тоже очень характерная — Алле Циммерман и Алле Стерлинг за ней бежать и бежать. Не интеллигентные матери, а уже такой Шолом Алейхем, «Тевье молочник».

Цинклер ушел после седьмого класса и больше я о нем не знаю. Такого типа выходцы из низов обычно подавались в Израиль, к тому же он был непоседливый парень: все время получал двойки за поведение. Он не мог сидеть спокойно, был гиперактивный. Ландау из таких не получаются. Для этого надо иметь определенную усидчивость. А Цинклер — «жизнист» из простых. В израильских войнах мог быть уже убит, если повезло уйти молодым…

Другой мой приятель — Серёжа Дружинин. Его бабушка — бундовка[71], бежавшая с Украины, а отец — инженер из русских купцов.

Жил Сережа Дружинин в доме своего отца в Еропкинском переулке, который был еще домом его дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Деревянный дом, покрытый штукатуркой, когда-то целиком принадлежавший этой семье.

Но там осталось всего две комнаты. В одной обитали отец с матерью и бабкой, которая вечно валялась на рундуке, — по-моему, она вообще не говорила по-русски. Я слышал от нее только одну фразу: «Сэрожа, иди кушат!»

Мать — высокая, статная, красивая еврейка, дико неопрятная, всегда в пуху, как после погрома, в перекрученных винтом носках, вечно куда-то стремилась с невероятным безумным выражением лица. Кого бы она ни увидела, кого бы ни встретила, она спрашивала: «Ну как мой Сэрожа?»

А Сережа — задохлик совершенно несчастного вида, очень закомплексованный, в общем-то неплохо знал школьный предмет. Но когда он выходил к доске, совершенно ничего не мог ответить, впадал в ступор, нес ересь, получал тройки.

Мы дразнили Дружинина — зажимали и спрашивали: «Ты еврей?». А он отвечал: «Нет, нет, я русский». И тогда мы

---

[71] БУНД — всеобщий еврейский рабочий союз в Польше, Литве и России.

его били портфелями, но, видимо, с разной психологической окраской.

Вскоре я перестал бить Дружинина портфелем и заинтересовался им. У него дома были интересные книжки. В частности, профессор Ермаков, последователь Фрейда в 20-е годы в Советской России. Дешевые издания начала 20-х годов — томики этого Ермакова. Много еще чего любопытного, но всё в чудовищной грязи. Сесть там было невозможно. Я там всегда стоял, потому что любая попытка сесть могла привести на котлету, которая лежала на стуле. Все покрыто грязью, жиром, перхотью, волосами. Вонючая бабушка на рундуке.

И во всё это с работы приходил отец, невысокого роста маленький человек с огромным тяжелым портфелем — примерно с треть него самого. Замкнутое страдальческое выражение лица.

Он входил в черном костюме без единой пылинки, белая рубашка и галстук. Единственная неожиданная вещь в комнате — пианино. Дружинин-старший ставил портфель и, не обращая ни на кого внимания, садился на вращающийся стул, открывал крышку, закрывал глаза и начинал самозабвенно играть. Ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал, никому не кивал. Сидел и играл.

Не знаю уж, что должно было случиться, что он женился на этой еврейке, которая еще притащила свою мамашу-бундовку. Да, ходили слухи, что она, будучи в БУНДе, знала Махно на Украине. По-русски она не говорила или говорила очень плохо. Дружинин-старший, видимо, совершил гуманитарный акт в своей жизни, и эта жизнь превратилась в ад. После чего он только играл, закрыв глаза.

Он служил в «ящике» на должности видного, хорошего инженера.

Они жили в одной комнате, а в другой жили его две сестры, которые были монахини. Те вообще не выходили. Когда они открывали дверь, пускали к себе только Сережу. И когда они открывали дверь, чтобы он туда просочился, я видел, что там все в кивотах, окладах, лампадах, свечах, все горит золотом и полыхает, все забрано иконами с потолка до

пола. Очень жарко натоплено. На лицах, закутанных в платки, бородавки. В это сатанинское пространство, где бегали с перекрученными чулками и лежали на рундуке, они не выходили. Брата к себе не пускали. Пускали из жалости только племянника.

Потом я в доме Лены на Гагаринском тоже нашел двух сестер-монахинь — они как-то парами обитают, видимо. Там на мансардном этаже тоже жили две, но дворянского происхождения. А эти, у Дружинина, купецко-мещанского рода.

Сережа был умненький, и мы много-много с ним обсуждали разных вещей. И фрейдизм, и вопросы философии, и конечно советскую власть.

И вот в 1968 году — я уже жил у Лены — иду по Денежному переулку мимо итальянского посольства в сторону Пречистенки, а на встречу мне идет Дружинин.

-Сережа!

Он обрадовался. Я обрадовался.

Пригласил его к себе чаю попить. Он шокирован обстановкой, потому что тогда у меня практически ничего дома не было, никакой мебели. И такие сомнительные обои, довольно рваные.

Мы пришли, и я его спрашиваю:

-Ну, ты чем занимаешься?

-Я в Институте связи.

-А что в связи? Это же, по-моему, скучное дело — связь.

-Ну надо же рационально подходить к вопросу о будущем, думать о будущей семье. Связь — такое дело, всегда будет куском хлеба.

Как-то не пахнет прежним Сережей, и дальше он спрашивает:

- Ну а ты что делаешь?

И я даже задумался, как бы ему объяснить.

-Ты знаешь, занимаюсь философией и религией.

-Религией?

А мы о ней много говорили когда-то, кстати.

- Странно... Это же смешное.

-Как это — смешное? Что ты имеешь в виду?

-Ну это же от страха перед молнией в пещере.

-Сережа, ты что, на голову упал? Как-то ты странно проэволюционировал. Стал каким-то зародышем, хотя раньше был родившимся человеком. Что с тобой случилось?

Он как-то поежился. Не знаю, обиделся или нет. Через 10 минут я его уже начал выпроваживать. Не много мы посидели, и я задумался, что же это такое? В 7-8 классе этот мальчик был моим собеседником, а став студентом, превратился в идиота. Больше я его не видел.

Я задним числом пытаюсь определить, какую роль в моей жизни сыграла 50-я школа, потому что уже довольно давно задаюсь вопросом, что такое образование, в каком смысле я был образован или не образован, сформирован или не сформирован, и если сформирован, то чем.

Сказать, что я получил высшее образование, не могу, потому что слишком недолго учился в университете.

Получил среднее образование? Все, что я знаю, не пересекается со школой никак. Читать и писать я научился до школы, всю русскую литературу изучил за счет чтения, убегая с уроков.

Не могу сказать, что школа приучила меня к какому-то организованному интеллектуальному труду. Под давлением бабушки, довольно агрессивным, я занимался тупым запоминанием без усвоения скучного и неинтересного мне продукта.

У меня сложилось так, что по точным наукам у меня было «два» или, в лучшем случае, «три», химия — иногда «четыре». А по всем гуманитарным — русский язык, литература, английский, география, история — «пять». И только раз мне удалось получить «пять» по математике — в

пятом классе, когда к нам пришла математичка Антонина Андреевна[72].

Я понял, что преподавание у нас было идиотское, потому что после школы заинтересовался математикой, но со своей, философской точки зрения. Стал изучать топологию, математический анализ, теорию чисел. Встретился с людьми, которые кое-что мне подсказали. Передо мной открылся новый мир. Я понял, что всё, что мне излагали в школе, — полный бред, который понять было вообще нельзя. Что касается физики, у меня и с ней не было зацепления. Хотя потом я интересовался немного и физикой, но под своим углом.

А было бы то же самое, если бы я вообще не ходил в школу?

Математику и физику я точно знал бы гораздо лучше, если бы занимался исключительно самообразованием в этой области. Ну а всё остальное — там тоже ведь скромные форматы. Единственный из крупных написанных мною в школьные годы текстов — анализ работы Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности». Сначала я эту работу тщательно изучил с карандашом — исключительно по собственной инициативе. Работа мне показалось убогой. При этом она полностью, по всем пунктам, противоречила основным трендам во мне. Но там был хотя бы некоторый идеализм, потому что, насколько я помню, Чернышевский считал, что жизнь должна учиться у искусства, а не наоборот. Он не был соцреалистом. Может быть, это меня заинтересовало.

В общем, я написал работу. Писал ее долго, и она заняла тетрадь на 12 листов, а может быть даже на 24 листа, мелким убористым почерком. Разбил ее на главы.

Мне в то время казалось, что я проделал большую работу. Показал ее нашей учительнице русского языка и

[72] Все имена школьных учителей в рассказе даны по Юрасовскому, потому что Джемаль здесь не всегда точен.

литературы Светлане Сергеевне. Последовала осоловелая и отупляющая реакция.

Она неплохо ко мне относилась — милая и напоминала героинь тогдашних советских фильмов в стилистике ленты «Летят журавли». Носик вздернутый. Жена мента[73]. Она входила в класс и не снимала шапку — была такая, очень неприятная, манера у советских барышень. И вот она могла урок вести, и не один урок, не снимая головной убор, — что меня очень раздражало. Серая юбка в обтяжку, тонкий свитерок и меховая шапка. Хорошая девушка, симпатичная, но занята своей жизнью.

Обычно, вспоминая школу, говорят о каких-нибудь педагогах-евреях, приучивших кого-то к глубинному, «диссидентскому», пониманию русской литература. Русская литература, прочитанная глазами Романа Якобсона[74], который делится с избранным кругом особо интеллигентных учеников. Не было у нас такого. Русской Светлане Сергеевне[75] было далеко до интеллигентного еврея.

В пятом классе к нам пришла математичка Антонина Андреевна. Очень любопытный персонаж. По возрасту она должна была когда-то учиться в гимназии, на вид она была чуть ли не старше моей бабушки. Высокая, с красным лицом, с жилами, выступающими на шее, худая. Выглядела она как классная дама из старорежимной гимназии. В моем пятом классе — у нас был 1958–1959 год —она вполне тянула на 1890 год рождения[76].

---

[73] Правда, он был не «мент», а кандидат физико-математических наук, доцент. (*А. В. Юрасовский*)

[74] Роман Борисович Якобсон (1986 – 1982) — известный своей активной организаторской деятельностью российский и американский лингвист, педагог и литературовед.

[75] Светлана Сергеевна Охотина (1933 – 2018) до последних дней помнила этот класс, в котором она была классной руководительницей. (*А. В. Юрасовский*)

[76] Прокофьева Антонина Андреевна была 1910 года рождения. (*А. В. Юрасовский*)

У нее был бзик, как у старорежимной дамы: она требовала, чтобы мальчики не опускали руки под парту, — скорее всего, она очень боялась, что они под партой будут заниматься онанизмом. Такой бзик присутствовал, в основном, у дореволюционных тёток, они были на этом помешаны.

И как-то раз, в один из первых уроков, когда она только начала у нас вести занятия в пятом классе, я отвечал что-то у доски и вдруг получил «пять», сам того не ожидая. Это была моя первая и последняя пятерка по математике за все школьные годы. Не понимал я абсолютно ничего в этой математике и в этой физике.

Две преподавательницы сыграли роль в моем формировании: одна — учительница истории, а другая — учительница обществоведения.

Лидия Александровна Вавилова вела обществоведение — гомерическая идиотка, о ней легенды передавались из класса в класс, из поколения в поколение. Все ее образование — какой-нибудь педагогический техникум, который она закончила в далекие времена. А мы учились в 60-х.

Лидия Александровна не знала ничего. Она постоянно вела диктанты по съездам, по истории партии, и диктовала она примерно так: «Пишите большими буквами: "В", "К", "П", и в скобочках маааленькая "б"».

Как-то раз я поднял руку и говорю:

-Лидия Александровна, давно меня беспокоит такой вопрос: вот есть Анти-Дюринг — а что такое «Дюринг»?

Она мне отвечает:

-Джемаль, ты вечно задаешь абсолютно идиотские вопросы. Такого слова «дюринг» нет, есть «Анти-Дюринг» — это название работы Энгельса.

Класс грохнул. Никто «Анти-Дюринга» не открывал и может даже не держал в руках, но даже эти мои одноклассники, не страдавшие избытком интеллекта и эрудиции, поняли, что она сморозила какую-то гомерическую чушь. Я был в шоке, потому что эта книжка интересна тем, что когда ее открываешь, то на самой первой странице самая

первая фраза Энгельса — о Евгении Дюринге, профессоре, против которого эта книжка написана…

Но относилась она ко мне неплохо. Я ее все время разводил на то, что защищал Мао Цзэдуна. У меня была такая фишка: как только урок Лидии Александровны, поднимаю руку и говорю:

-Лидия Александровна, а ведь Мао Цзэдун прав: руководство Советского Союза — это же ревизионисты, отошедшие от марксистско-ленинского учения. Мао Цзэдун прав: ядерная бомба — это бумажный тигр. Ну неужели не понятно, что если одна половина человечества погибнет, то другая-то половина будет жить при коммунизме, как говорит товарищ Мао Цзэдун. Разве это не достойная цель?

И все, урок на этом заканчивается.

Лидия Александровна говорила:

-Сдвиньте парты, дети. Давайте посадим Джемаля у окна, сейчас все будете с ним спорить. Джемаль, садись у окна, класс тебя сейчас будет ставить на место. Так, кто первый? Давай, Джемаль, выскажи свою позицию.

Я говорю:

-Половина человечества — в топку, другую — в коммунизм.

-Так, Шмелева.

Поднималась Шмелева, дочь майора с большой родинкой на щеке, такой одуванчик, и говорит:

-Гейдар, конечно, абсолютно неправ, потому что марксизм-ленинизм — это же все ради человека. А зачем нужен такой коммунизм, при котором половина человечества исчезнет в атомном огне? Это я заявляю как дочь офицера...

Потом я еще что-нибудь вбрасывал, и до звонка все были упакованы. Все обожали такие представления, потому что урока нет, и Лидия Александровна даже забывала нам что-то задать.

Или вот — Лидия Александровна что-то говорит, и вдруг ненароком попадает в гомосексуальную тему. Класс начинает хохотать, а она говорит:

-Мальчики, не надо смеяться, все вы познаете радость материнства. Класс уже ревёт.

Историчка Ева Яковлевна была более профессиональным преподавателем, более адекватной. Грузненькая, плотненькая, затянутая в платье с шелковым блеском, черные гладкие волосы заплетены в косу.

Она меня обожала:

-Гейдар, вы будущая звезда. Я на вас очень надеюсь.

И всегда лучилась, когда меня видела.

От нее ничего уникального не запомнилось, такого бреда, как от Лидии Александровны, я от нее не слышал.

Классика типа «я как мать говорю и как женщина», «израильская военщина»[77] просто сыпалась из этих людей. Сочетание, исчерпывающе определявшее этот человеческий срез.

Физик меня не любил. У нас был физик Нил Павлович, дошедший до Берлина капитан артиллерии, член партии, парторг, запьянцовский товарищ. А учителем физкультуры у нас был бывший смершевец, похожий на обезьяну, все время ходивший в школе в обвисшей спортивке светло-сине-салатового цвета с белыми кантиками. Рожа у него была, как у орангутанга.

И вот во время урока физики приходил смершевец к Нил Палычу, Нил Палыч тут же давал нам контрольную, и эти два ветерана шли в лабораторную комнату, запирались и пили 96-градусный спирт, который там стоял для опытов. Выходили только со звонком, красномордые. Это было очень часто[78].

Нил Палыч меня не любил черт его знает за что. Помню, как-то отвечал у доски какие-то формулы, но никакой связи с этими формулами у меня не было. Я ему говорю:

- Нил Палыч, что-то не идет у меня.

- Ну хорошо, садись, «два», — отвечает Нил Палыч.

Я говорю:

---

[77] Из песен Галича.

[78] Пили не только у Нил Палыча, как вспоминает Гейдар, но и в химкабинете у Майи Феликсовны. (*А. В. Юрасовский*)

- Нил Палыч, ну почему бы не «три»? Ну, в принципе, вы же понимаете, что «два» — как-то банально. А вот если «три» — то на моем-то уровне будет очень даже экзотично.

А он говорит:

- Ты ведь турок?

Я отвечаю:

- Да.

С гордостью.

- Не еврей?

- Нет, я не еврей.

- Ну вот и веди себя как турок, а не как еврей. Садись, «два».

Интересный человек по-своему. Бравый капитан, говоривший мне «Ты же турок, садись, "два"», пивший спирт со смершевцем, был парторгом. Когда в 1961 году появилась программа партии (классе в седьмом или восьмом я учился в это время) — «наше поколение будет жить при коммунизме через 20 лет» и всё такое, — я воспринял эту программу как признание стратегического исторического поражения советской власти. Что вызвало у меня, конечно, восторг, потому что я партию ненавидел.

Советская власть в этой программе сама расписалась в том, что она купила себе веревку, намылила и еще выдает ее за шелковый галстук.

На одном из уроков вдруг Нил Палыч стал комментировать эту программу и сказал:

-Ну вот четко обозначены главные задачи и цели без всяких дураков. Вот что главное — брюхо набить, это стратегическая задача коммунистической партии.

Со мной рядом сидел Дружинин, маленький зашуганный полуеврей, с которым я одно время дружил. И он мне шепотом говорит:

- Сами признаются и не стесняются.

Он уже был мной слегка подучен, но и без того он был довольно забавный: читал фрейдистов 20-х годов.

Много лет спустя после школы мы зашли с Лешей в магазин на Пречистенке и встретили Нила Палыча, сильно постаревшего. Он узнал нас и пригласил пить пиво.

Смершевец мне запомнился особо.

С утра 12 апреля 1961 года стало известно, что человек полетел в космос. Гагарин летал час. Мы не знали, как он взлетел, как летал.

По радио говорит Левитан:

-Сегодня впервые человек вышел в космос.

Это разошлось мгновенно, и разошлось, как известие о начале войны.  И началось полное безумие.

В данном случае психологическая уникальность в том, что старшеклассники, и вместе с ними вся школа, сошли с ума. Всё отменилось — как у туземцев, которые решили, что наступило эсхатологическое время, отменяются законы, и теперь всё можно: спать с чужими женами, есть все запасы, делать, что хочешь. Толпа с ревом повалила наружу, бросив уроки. Непонятно, что случилось бы дальше, но внизу лестницы стоял смершевец в обвисших трениках с обезьяньей красной рожей. Короткими ударами он вырубал десятиклассников и кидал их через перила в лестничный колодец (не глубокий — там же первый этаж).

Он в одиночку остановил громадную толпу ражих молодцов, которая валила на него. Вырубал и бросал, вырубал и бросал. До тех пор, пока остальные не начали тормозить, подавать назад. Человек десять он вырубил на моих глазах.

Я оставался наблюдателем. Мне же интересно было, чтобы дальше это всё продолжалось, чтобы летели парты, бились стекла, народ сходил с ума. И хотя я в этом не участвовал и не заражался всеобщим безумием, но ощущение смыслового сдвига присутствовало. Я чувствовал сдвиг, вызванный выходом человека в космос. То, чего не может быть, вдруг стало. Как будто старик Хоттабыч появился реально.

Погром я приветствовал, но, к сожалению, смершевец действительно оказался опытным смершевцем: остановил поток[79].

Яркое воспоминание.

Во-первых, я увидел, что такое массовый психоз. Во-вторых, я увидел, что не подвержен массовому психозу. В-третьих, почувствовал качество массового психоза, на каких дрожжах он поднимается. Это сдвиг в смыслах, нарушение причинно-следственной логики. Человек бросает яблоко, а оно, вместо того чтобы падать, улетает вверх. Это нарушение законов. Нарушение законов является сигналом освобождения, сигналом разрыва обреченности, привязанности к гравитации. Отменяется гравитация, а гравитация — это судьба, рок, стекание всего в «черную дыру».

Но социальный момент психоза — я так тогда не формулировал, но инстинктивно почувствовал, что тайна психоза в том, что он связан со свободой: массовый психоз — это переживание толпой опыта свободы. Не разврат или поездка с девками на шашлыки, поход в баню. Это именно свобода в серьезном онтологическом смысле.

Как-то в классе седьмом я стал драться со всеми сразу. Сначала в меня кидали разными вещами, а потом попытались скрутить. Тогда я достал из кармана нож-бабочку и порезал руку Земскову, внуку генерала. Тут же пошла кровь, все от меня отскочили.

Бабушка приходила после этого в школу. Но Земсков не стал развивать тему. Я же сказал, что резал и буду резать, так что вы, ребята, учтите.

Я был объектом ненависти в классе. И удивился, когда я оказался на очень короткий срок в армейском подразделении, где преобладали люди со сроками по малолетке, с двумя-тремя классами среднего образования, с фиксами, с

---

[79] Анатолий Андреевич Хорошилин не был особистом, а был армейским чемпионом по боксу в весьма малых чинах. (*А.В. Юрасовский*)

татуировками — и они меня обожали. Я впервые стал объектом приязни, уважения, теплых чувств — но у настоящих гопников. А мещанский средний класс, дети этого среднего класса в школе меня зоологически ненавидели. Для меня это являлось нормой, я ни от кого никакой любви не ждал.

Меня ненавидели во дворе как внука моего деда, когда я был совсем маленький. Это была классовая ненависть. Классовое чувство было сильным — проловские[80] детишки из подвалов и близлежащих деревянных домиков, позднее снесенных, нашу семью ненавидели за номенклатурность.

В «брусиловском» доме[81] были коммуналки, как и в доме № 6, примыкавшем ко двору сирийского посольства. У нас же в доме коммуналок не было. И всякий раз, когда я выходил во двор, испытывал от этих детей явственную к себе неприязнь.

Ненавидели нашего добермана, всех пугавшего. У нас жил огромный породистый доберман из геринговских питомников, пугавший народ своей свирепостью. Он любил военных, но лютой ненавистью ненавидел милиционеров. Тогда милиционеры тоже ходили в шинелях, только синего сукна. Наш доберман прекрасно различал шинели. При виде милиционера он сходил с ума, хотел его порвать, а при виде военных вилял обрубочком хвоста. С военными он был знаком в основном в лице дядиных приятелей.

Ненавидели Пискулина, шофера моего деда.

Ненавидели все. Ну и я тем же отвечал. Не то чтобы я их ненавидел, но «для меня эти люди как тени», что называется.

Когда я думаю о людях, о заряде отношения к людям, вспоминаю песню Головина. У него есть такой жанр поэтического стеба, поэтического макабра:

Для меня эти люди как тени,
Жрут котлеты и пьют лимонад.

---

[80] Пролы — беспартийный пролетариат в романе Оруэлла «1984».

[81] Так Джемаль называл дом № 4, в котором жил когда-то генерал Брусилов и который был у себя дома ранен при артобстреле в 1918 году. Сейчас в этом доме располагается сирийское посольство.

А мои дорогие пельмени
Леденелые в пачках лежат.

Но сейчас я думаю, что каком-то смысле школа была счастливым временем. Хотя за 11 лет случилось столько напрягов, раздражения, потери времени, столько бессмысленности. Но последние годы я уже мало ходил на уроки.

Я выходил из дома и вместо школы направлялся либо в библиотеку, либо гулял, изучал Москву. Ходил по арбатским переулкам до Собачьей площадки, до Патриарших. В переулках я знал каждый дом — в Кривоарбатском, Староконюшенном, Танеевых. Сейчас там всё не так, и контакт утрачен. Новый Арбат построили при мне в начале 60-х.

На Собачьей площадке я редко бывал, я любил гулять по Старому Арбату, прекрасному оживленному месту, по которому ходил 39-й троллейбус. Узкие тротуары, как на всякой приличной советской улице катился троллейбус, шел густой поток машин. Все серо, заезжено, близко, хорошо, интимно. Немытые неприхорошенные дома, зоомагазины с черепахами и кормом для рыбок, с чучелами уток в витринах. Очень хороший магазинчик «Красная звезда», где продавалась военная литература, — я собирал себе военную библиотечку.

Там был кинотеатр «Наука и знание» — маленький кинотеатрик, где сейчас турецкий ресторан «Босфор», а может быть, в следующем доме. В этом кинотеатре я посмотрел знаковые фильмы.

Три фильма меня зацепили именно в сочетании с кинотеатром и с Арбатом. Каждый я посмотрел при особых обстоятельствах — находился в каких-то бегах, от чего-то отлынивал.

На «Летят журавли» с Самойловой я пошел вместо школы.

Второй фильм — Эриха фон Деникена «Воспоминание о будущем». Занятное кино на известную тему, что все

наскальные рисунки были сделаны инопланетянами. Довольно забавный фильм.

И «Индийские йоги. Кто они?» Там фигурировал персонаж, которого я потом встретил в жизни. Он показывал асаны почему-то в красных плавках. Некий Боря, который оказался учеником ныне покойного Степанова и стал героем «Смиренного кладбища» Каледина. В «Смиренном кладбище» он выведен в качестве героя-гробокопателя под другим именем, и там сказано, что он снимался в фильме про йогов.

Пришел посмотреть этот фильм, совершенно космистский, с акцентом на ефремовщину, парновщину[82].

По прекрасности к кинотеатру «Наука и знание» приближался только «Кадр» на Плющихе. Его давно снесли — крошечный кинотеатр мест на сто. Я там посмотрел «Седьмое путешествие Синдбада». Тоже при тяжелых, муторных обстоятельствах. Я зашел туда, чтобы от отчаяния забыться. Мне было лет 14. Я получил огромный кайф, забыл обо всех своих бедах. Очень интимное место было. Теперь оно уничтожено.

Арбат с 39-м троллейбусом, «Москвичами» и «Победами», с узкими серыми тротуарами и зоомагазинами. А переулки, которые шли от Арбата, были еще интересней, потому что они были очень закоулошные. Правда, красивые названия переименованы по-советски в некрасивые: та же Остоженка — в Метростроевскую. Кропоткинская была самым приличным названием.

В 70-х часть старых особнячков посносили и построили партийные совковые дома из желтого кирпича, — изуродовали все.

А библиотеки у меня было две: одна ранняя, детская, куда я записался еще в младших классах. Она и сейчас на Пречистенке ближе к Садовому кольцу. Сразу после художественной школы, в которой я учился, шел в эту библиотеку.

---

[82] Имеются в виду популярные советские фантасты И. А. Ефремов (1908 – 1972) и Е. И. Парнов (1935 – 2009).

С художественной школой отдельная эпопея. Я учился в ней три года. После обычной школы что-то ел, переодевался и шел в художественную. Я ее ненавидел. Стал единственным за всю историю учеником, оставшимся на второй год во втором классе — всего она была четырехлетняя. После третьего года, который провел во втором классе, я из нее ушел. Так и не добрался до серьезной живописи маслом: застрял на композиции, натюрморте и пластилиновой лепке.

Вот сразу за художественной школой и находилась детская библиотека.

Вторая, более взрослая библиотека, куда я ходил, располагалась рядом с нынешним магазином «Белый ветер» на Смоленской, неподалеку от нового выхода со станции метро «Смоленская», на внешней стороне Садового кольца. По-моему, имени Добролюбова. Там выдавала книжки рыжая еврейка — библиотечная работница, старшая сестра моего одноклассника Вадима Кабо. Это был шутник, балагур, ярко-ярко рыжий — такого цвета, как лиса. Очень маленького роста. Постоянно сыпал шутками, анекдотами. Жили они на Пречистенке. Сестра молодой ладной девчонкой вышла замуж за еврея-милиционера. В 90-м году я встретил её постаревшей, когда получал разрешение на газ для дачи. Приехал в Королев, и в закоулке, среди кабинетов, когда ожидал своей очереди, ко мне подошла рыхлая пожилая женщина и говорит:

- Вы меня не узнаете? Я сестра Кабо.

В библиотеке Добролюбова я прочитал все четыре тома «Жизни Клима Самгина». А в детской на Пречистенке я читал Золя, Флобера, Бальзака, бесконечные «Воспитание чувств», «Сентиментальные путешествия». Всю эту хрень, ни строчки которой невозможно прочесть в нормальном состоянии, я взял на себя. Стендали, всякие «Пармские обители». Ничего оттуда не помню, но, наверное, тогда это надо прошагать.

Перелопатил я тогда огромное количество художественной литературы от Манна с его авантюристом Феликсом Крулем до «Человеческой комедии» и «Ругон-Маккаров». Компостировать мозги такого рода прозой надо,

но лучше по-французски. Но когда я начал читать по-французски для удовольствия, эти книги уже стали для меня нечитабельны. Не могу сейчас открыть Флобера, хотя он у меня лежит. «Саламбо» не самая плохая книжка из того, что Флобер написал. Но сейчас это нечитаемо.

Гофмана я обожал и в детстве, и в 20 лет читал запоем — «Золотой горшок» и все остальное. Сейчас это тоже невозможно. Хотя немецких романтиков я очень любил. Женя Головин тоже, и мы их много обсуждали. Но я-то по-немецки нормально не читаю — разве что газеты. А у Жени немецкий язык был первый. Немецкий и французский. И он был дока в людвигах тиках и прочих ребятах.

Правильно было уходить из школы и читать. Что было в школе делать? Вся сволотень, которая со мной вместе училась, на каждой перемене запиралась в туалете и курила.

Мне в голову не приходило курить. Я считал, что курить глупо и что курят только придурки. Но как только стал студентом — как с цепи сорвался: начал курить сразу, как сдал экзамены и узнал, что прошел. Летом на даче взялся курить кубинские крепкие сигареты. Курил много лет трубку и папиросы типа «Казбек». Они были для меня моментом общности с моим отчимом Теймуразом: он тоже предпочитал «Казбек». Курил лет двадцать. Бросил раз и не курил год. Но потом у меня случились серьезные сердечные неприятности, я сорвался и опять закурил. Но в какой-то момент я сказал себе: «Ну что за бред! Неужели я не могу бросить курить? Какая-то ерунда. С завтрашнего дня я не курю». Просто проснулся и больше ни разу не взял в руки сигареты. Вокруг меня люди курили, ходили на голове, но что бы они ни делали, у меня даже желания не возникало закурить. Хотя раньше было немыслимо отказаться, это был серьезный addict. Я пытался слезть с крючка, переходил на насвай, привезенный из Средней Азии. Заплёвывал тротуары зелеными плевками. Но насвай-то еще круче в плане никотинового яда, он непосредственно идет в слизистую и шибает по мозгам. Абстиненция от насвая гораздо больше, чем от табака. Только

дым не идет, не коптишь. А так он опаснее. Я быстро приходил в неконтролируемую ярость и мог сильно ушибить.

Школа у меня еще сопряжена с тем, что на экзамены я первый и последний раз надел галстук. Костюм и галстук я взял у дяди. Дядя научил меня галстук повязывать. И на экзамены я пришел в костюме и в галстуке — есть фотография, где я сижу на табурете в таком обличии. Больше никогда в жизни я галстук не надевал. В нашей семье есть вкус к одежде. Но, кроме деда Шаповалова и дяди, галстуки никто не носил. Орхан в 90-х ходил в канотье, с тросточкой и в широкой кремовой чесучовой тройке, как у чеховского дачника. Очень ему шло.

А те экзамены я, кажется, сдал хорошо.

Но мне все же пришлось поступить в комсомол. По-моему, это было в 10 классе. Дальше был еще 11, но в 11-м поступать в комсомол уже как-то смешно, ведь чтобы попасть в ИВЯ, куда я рвался, нужна была характеристика от райкома комсомола. Ее можно было получить, только имея характеристику от школы и от комсомольской организации. Понятно, что если поступить в комсомол за несколько месяцев до окончания школы, то с этим лучше не приходить. Поэтому 10 класс — предельный срок, что называется.

Да, поступил в комсомол. И мне дают школьную характеристику, я ее читаю и своим глазам не верю: там такие дифирамбы мне поют, там так меня, оказывается, высоко оценивают. По характеристике выходило, что я в школе был окружен просто дикой любовью и почтением — и языки я знаю, и политикой интересуюсь (еще бы!), и интеллектуал, и в каждой бочке затычка. Когда я принес ее в райком комсомола, там только хрюкнули. Никогда они такого не читали. Меня только спросили, почему я так поздно в комсомол-то поступил — в 10 классе, — нормальные люди обычно в восьмом поступают. Но дали и они хорошую характеристику

И вот я расстался со школой.

# Университет

Лето 1965 года — уже после Хрущева, при Брежневе. Я сдал экзамены в ИВЯ, Институт восточных языков, который ныне в очередной раз сменил свое название[83], но всегда оставался при МГУ. В то время он занимал правую часть «подковы» старого здания на Моховой.

Надо сказать, что я пошел в школу в 6 лет: чтобы меня приняли, потребовалось вмешательство деда. Дед пришел, и меня взяли с шести лет.

У бабушки был свой расчет — чтобы я имел в запасе год между школой и армией: не так чтобы вышел, поступил — не поступил и сразу в армию, а чтобы у меня была в запасе еще одна попытка на следующий год.

Дед ушел из моей жизни до того, как я закончил первый класс. Второй уже был без него. Поэтому смешно встречать домыслы в интернете относительно того, что дед куда-то позвонил, чтобы я поступил в институт восточных языков. Он умер за 10 лет до того. Да и бабушка вряд ли могла мне помочь, опираясь на свои старые связи.

Узнав, что я хочу поступить в ИВЯ, она меня очень отговаривала:

- Не надо, не надо идти туда. Ты не пройдешь. Поступай в ГИТИС, там по крайней мере деда помнят.

Мне казалось совершенно диким поступать в ГИТИС. Что я там забыл, в этом ГИТИСе? Тем более имя какое еврейское — Гитис… Гита Абрамовна какая-то. Не знаю, не могу сказать, звонила ли кому-нибудь бабушка. Она могла позвонить своей подруге Елене Стасовой, личному секретарю Крупской. Но вряд ли Елена Стасова, вечно в пиджаке мужского покроя и с орденом Ленина на груди, могла звонком решить судьбу моего приема в институт.

Экзамены я сдал без проблем. Проходной балл набрал. Но пугали — говорили, что там чуть ли не 40 человек на

[83] В настоящее время — Институт стран Азии и Африки. ИСАА — факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

место, всякие ужасы. Ребята из какой-то спецшколы, странноватого уличного, гопнического, вида, сдали вступительные экзамены на тройки. Они были плохо образованы. Помню, позже один из них на политической или экономической географии долго на карте искал азиатскую страну в Африке, и все смеялись.

Все, что рассказывали про ИВЯ, оказалось враньем. К примеру, говорили, что девочек туда не берут. Ерунда — девок было полно. Вместе со мной поступила Алла Стерлинг. В моей группе училась Родригес–Мендиетта, некрасивая дочка испанских политэмигрантов. Говорили, что туда евреев не пускают, но евреи там были абсолютно все[84].

В моей группе английский вела Шифра Иосифовна, старая еврейка, похожая на любовницу Троцкого[85], — со сросшимися бровями, прямым носом, озабоченно-страдальческого вида, как бы думающего о судьбах мирового еврейства. Чем-то я ее обидел, и она заявила, что я антисемит. И был еще главный арабист Габучан, заведующий кафедрой арабского языка, армянин из Египта. Он меня ненавидел, потому что я откровенно ему сказал, что я тюркский патриот.

В университете, как и в школе, я просто не понимал, в какой реальности живу. А я всего-то высказывался про советскую власть, про национальности, комментировал «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева и еще что-нибудь. Вел себя как привык, а это было абсолютно потусторонне для моего университетского окружения. Эти люди не могли понять, как я могу так себя вести. Они, может, думали, что я провокатор или приехал с Земли Санникова, что я не понимаю правил игры. И я ни с кем не сближался — это оскорбляло.

---

[84] Евреи были, но «абсолютно все» — это сильное преувеличение, конечно. (*А. В. Юрасовский*)

[85] Мексиканская художница Фрида Кало, в доме которой в 1937 году нашёл убежище Лев Троцкий.

Я так себя вел, что вылетел из университета быстро и с треском.

…Комсомольское собрание кипело. Два человека высказались по поводу моего «национализма».

И Козловский, вокруг которого сформировалась целая свора сикофантов и прихлебателей, считал, что я — образцовый антисемит, которого он по жизни встретил, чтоб наконец-то ясно увидеть, что такое антисемитизм.

Он был организатором компании против меня. Это же была просьба комсомольского собрания курса — просить о моем отчислении из университета. А дирижировал этим как раз Козловский[86].

Мой друг Виталий Гайдар считал, что Козловский ставил перед собой задачу вернуться в обойму после унижения семьи в лице репрессированного деда. Козловский стал секретарем комсомольской организации курса и планировал к третьему курсу поступить в партию и дальше уже как ракета улететь. Но в итоге он вышел со свободным дипломом, болтался и потом уехал в Штаты, где издал несколько томов словаря русского арго, материал для которого он собирал несколько лет, приводя к себе домой отпущенных из лагерей ханыг, которых искал по вокзалам и записывал их тайно на магнитофон[87].

---

[86] *В. Козловский*: «Я руководил комсомольским собранием 1 курса ИВЯ, которое рекомендовало отчислить Джемаля из института. Но не за «национализм», а за систематические неявки на уроки физкультуры. В нашем политическом ликбезе им придавали несуразно большое значение, Джемаля не раз строго предупреждали, но он продолжал прогуливать. Время прошло, мне стало стыдно, что участвовал в изгнании Джемаля, и я несколько раз пытался выйти на него в свои короткие визиты в Москву, чтобы извиниться, но так в этом не преуспел, о чем жалею».

[87] *В. Козловский*: «Я закончил ИВЯ не со свободным дипломом, а с рекомендацией в аспирантуру Института востоковедения, где проучился почти до эмиграции. Перед отъездом я не «болтался», а вкалывал переводчиком, в том числе у диссидентов. Я не ловил ханыг по вокзалам и не записывал их тайно на магнитофон, потому что его не имел и обзавелся

И только Алла Стерлинг выступила и сказала, что все сволочи.

Я был очень тогда простой, наивный. Привык к 50-й школе, где все происходило камерно, ничего наружу не выходило. Там меня выпускали в качестве защитника Мао Цзэдуна, и я на сорок минут занимал класс, рассказывая про бумажного тигра и соломенного льва. Я привык к свободе. По совершенно случайно сложившимся обстоятельствам я вырос в абсолютно «несовковой» ситуации, — благодаря школе, где скандалы поглощались. Хоть меня там и не любили, но никто не стучал. На дворе стояла хрущевская оттепель — вторая короткая оттепель, как я потом узнал. Говорил, что хотел, и на всё мне было наплевать.

А тут я оказался в волчьей совковой среде — с подсиживанием, комсомолом, где «каждое лыко в строку»: любое мое выражение фиксировалось и докладывалось.

Позже, весь такой обновленный, уже после моего изгнания из университета и армии, я зашел к Володе Александрову в его квартиру на Тверской, а там тусовка. Молотников сидит, Юрасовский, вся братия. И Козловский тоже там. А мы не разговаривали друг с другом.

Слово за слово, и Козловский говорит:

-Я не верю, что кто-то мог прочесть Радхакришнана.

Радхакришнан — автор двухтомника по истории индийской философии. У меня этот труд был, естественно, изучен, и я сказал, что читал.

- Ну, я про тебя не говорю, ты особый случай, — ответил он.

И вдруг в конце вечера, когда все расходились, он мне предложил пойти к нему и пообщаться, по душам поговорить. Ну, пошли. Он жил где-то в районе Тверского бульвара. Дворик, высокий первый этаж. В общем, заныр.

---

им лишь незадолго до отъезда. Интервьюировал я в основном бывших политзаключенных».

Зашли, он достал недопитую бутылку водки, какие-то помидорчики, огурчики, и стал говорить очень откровенно:

-Я ненавижу вас с Юрасовским, потому что вы антисемиты.

-А что для тебя антисемит? — спрашиваю.

-Антисемит это... — И тут его понесло. — Ну вот представь себе бельэтаж. Живет еврей-профессор — культурная жизнь, бронзовые фигуры, фарфор, полная библиотека книг. А внизу живет слесарь, который напивается каждую пятницу и пляшет, аккомпанируя себе на гармошке. А потом он падает в свою блевотину и спит. И он ненавидит этого еврея-профессора сверху.

Я говорю:

- Это все замечательно, яркая картина, но в моем случае профессор — это мой дед, а еврей-слесарь живет в подвале внизу. Я даже не говорю, что Леша Юрасовский, живя в квартире, которую его дед снял еще в 1916 году, никак не похож на слесаря. Это в общем бредовая идея, но дело твое.

А так я больше молчал и слушал.

Он мне говорит:

- Я хочу с тобой поделиться и открыть свой внутренний мир, чем я живу.

Он широким жестом показал на полку и снял оттуда «Плексус» и «Нексус» Миллера на английском языке и «Animal farm» Оруэлла.

- Вот этим я живу. Ты читал такие вот вещи? Это действительно серьезно.

Я говорю:

- Дай мне, кстати, «Animal farm». Почитаю.

К тому времени роман «1984» я читал, а «Animal farm» — нет.

Больше Козловского я не видел. Забавно было с ним поговорить. Банальный оказался парень, при ближайшем рассмотрении.

Как-то в разговоре с моим другом португалистом Вадимом Поповым (о котором я еще расскажу) всплыло имя

Козловского. Был уже 68-й год, мои отношения с Козловским были в прошлом. Я упомянул, что Козловский сыграл роль в моей биографии, организовывал против меня комсомольскую компанию. Попов вспомнил, что познакомился с Козловским на тусовке, куда его жена Людмила Георгиевна — он называл ее всегда по имени-отчеству — привела.

-В процессе разговора, — рассказывает Попов, — я поинтересовался, чем он занимается, что он изучает в ИВЯ. Он сказал, что хинди, и подчеркнул, что это конечно не тема, не профессия, не язык.

- Почему же?

- Третий мир… Бессмысленно их знать, потому что они просто мусор, — ответил Козловский.

- Ты что с ума сошел?

-Ну мы же понимаем, что люди — это американцы, европейцы. Сильный давит слабого... Кому нужны эти индусы?

«И я почувствовал такой шок и такое отвращение к этому ублюдку...»[88]

---

[88] *В. Козловский:* «Единственную в жизни встречу с португалистом Вадимом Поповым я как раз помню. Она произошла 24 апреля 1967 года дома у китаиста Гриши Ткаченко на площади Восстания в день гибели космонавта Комарова. Там я повздорил спьяну с Поповым, который, если память не изменяет, показался мне слишком большим совком (тогда этого слова еще не было). Если изменяет, прошу прощения. Индийцев я „мусором” назвать не мог, поскольку в таком контексте этим словом не пользовался. Что я мог сказать (и не раз говорил в те годы), так это что индийские коммунисты, которых я бесконечно переводил, были неразговорчивы, могли часами безмолствовать за столом, и я предпочитал работать с более оживленными приезжими с Запада, совершенствуя язык и узнавая что-то новое. Принцип „сильный давит слабого” мне никогда не импонировал. Это уже Джемаль, возможно, приписал мне из мстительности. Я консерватор, а не либерал, хотя с его колокольни мог действительно казаться либерастом.»
*От редактора*: Будем считать, что ненависть к коммунистам диссидента Козловского на индийских товарищей не распространялась. Да, «с колокольни» Джемаля Козловский конечно либерал. И, кстати,

Ничего удивительного нет — человек испытывает тяжелый комплекс неполноценности, является острейшим либералом, а либералы заточены на прогресс, который измеряется исключительно ростом комфорта и немецким принципом «убер давит унтер». Но не во имя порядка и дисциплины, как у немцев, а во имя комфорта.

Чем советский человек интеллигентнее, тем он подлее и трусливее.

Мой единственный друг в университете Виталий Гайдар был старше на три курса и повлиял на меня определенным образом.

Я еще сдавал вступительные, когда увидел странного юношу с довольно грубыми чертами лица, чем-то похожего на монголоидного азиата. Широкий приплюснутый нос, маленькие раскосые глазки, жесткие японские волосы, вихры, козырьком торчавшие надо лбом, и странный прикус — нижняя челюсть была выдвинута вперед. В общем, азиатского вида некрасивый молодец, ассоциировавшийся с русскими мальчиками Достоевского. Оказалось, что его зовут Виталий Гайдар. Я поинтересовался, не родственник ли он, часом, писателю. Он ответил, что, к сожалению, нет. Он был японист, и физиономия у него была соответствующая. Я с арабским языком был кудрявый, с усиками, смуглявый красавчик, еще и с арабским именем. Думаю, все не случайно. Мы с ним подружились, и между нами сразу возникло сродство душ, потому что он любил Петра Лещенко и цыган.

Лещенко тогда символизировал абсолютную антисоветчину, свободу, эмигрантщину и белогвардейщину. Пространство свободное и народное. На этой стороне — мрачный ублюдочный ЖЭК, министерства, производственные собрания, а на той стороне — «Как-то вечерком...». Это было irresistible, очень круто. Своим детством я был подготовлен к цыганщине и к восприятию романса качественного уровня. Не

---

«консерватизм» Козловского всё же никак не предполагает любви к слабому.

«Ромэн», не пошлости какой-нибудь типа Сони Тимофеевой или Петра Деметра, или, не ко сну будет сказано, Сличенко. А такой качественный дворянский загул.

Позже я понял: шествует Кибела, её сопровождают корибанты, — это экстатическая музыка, связанная с хтоническим культом, хтонической энергией. Цыгане несут странные бессловесные мистерии низшей земли. Именно поэтому в цыганских звуковых загулах очень мало слов, но идут не расшифровываемые припевы с особой экстатикой. Они все это под христианство пытаются подверстать, хотя речь идет об экстатическом выходе из себя и утрате индивидуального рационального зерна. Человек начинает соприкасаться с темными стихиями низовой диссолюции — диссолюции материи, диссолюции «Я». Кстати, гениальная Соня Димитриевич появляется в американских голливудских фильмах на тему братьев Карамазовых. Когда она выходит и поет, вот это — мистерия Кибелы.

И так случилось, что я, будучи враждебным миру, другой какой-то своей стороной органически подключен к хтоническим мистериям экстаза, — я очень понимаю аутентик и инициатическую мистерию экстаза. Когда мы наблюдаем разгул в ресторане и всю пошлость, выраженную в гостинице «Советская», — это омерзительно, потому что нет ничего страшнее, чем имитация этой темы.

А Лещенко — настоящий, аутентичный. Совок его всегда любил — это была форма протеста. Во всех домах, где пытались сохранить вкус и аромат связи с дореволюционным прошлым — что называется «черемуху», — собирали Лещенко и на семейных торжествах его ставили. Но поскольку это был редчайший автор и его достать было трудно, то 90% того, что в Совке шло «под Лещенко», были лишь имитациями и подделками. Иногда довольно похожими. Я сам об этом узнал только в последствии.

Виталий Гайдар без напевания Лещенко не ходил. У него был хороший слух, но довольно неприятный голос. Это придавало его пению удивительное обаяние, потому что когда он, с выдвинутой челюстью, напоминая самосвал, напевал

Лещенко, возникал удивительный эффект. Надо сказать, что бабушка Лещенко ненавидела. Видимо, ее в 20-е годы уже достали этим делом.

И вот с Виталием Гайдаром мы сдружились. Он был проблемный парень. И он сразу выделил в качестве «точки проблемности» Козловского. Казалось бы, что ему Козловский? Виталий на третьем курсе, а Козловский только что поступил. Но практически на любой встрече со мной он Козловского обсуждал. Его очень занимала еврейская тема — происхождение евреев, психопатии евреев, психология евреев, заговор евреев. В советское время антисемиты были на каждом шагу — просто с разной степенью отвязки. Все зависело от того, в какой ты нише. Если ты сидишь в среде еврейских интеллигентов, то наезжать на евреев не «политесно». Но если ты уверен, что рядом нет евреев, то пожалуйста.

Впервые у меня появился собеседник, с которым говорил о Канте и Достоевском. Он говорил о них непрерывно. Почему о Канте — не могу сказать, но Достоевский его заразил так же, как и меня. Достоевский служил входом в очень близкие нам проблемы — проблемы революции, восстания, проблемы подпольного человека.

Мы же шизоидные интеллектуалы, мы же исследователи черной метафизики, métaphysique noire, мы ищем бездны, которая должна быть актуализирована. И у Достоевского есть этот вкус. Этот вкус я почувствовал в Виталии Гайдаре. Например, мало кто помнит такого почти незамеченного невидимого персонажа из «Бесов» — Лямшина, который играл на пианино «Марсельезу», переходящую в песенку «Мой милый Августин», когда «свои» собирались. А Гайдар чуть ли не лекцию мне прочел об этом Лямшине.

Основными темами наших разговоров были трансцендентализм Канта, «русские мальчики» и революция у Достоевского, и евреи. А точкой сборки всех этих тем являлся бунт против Совка.

Многие думали, что Совок — следствие революции: вот-де чертовы большевики устроили революцию, и теперь вот

такая толстозадая тупость царит повсюду, восставший хам пришел, ЖЭК, завод, местком, партком. Не было четкого сознания, что окружающая нас советская реальность никакого отношения к революции не имеет. Этого не было. Но я же был антисоветчиком независимо от того, кто там что устраивал. Гнусный Совок, который что-то бормочет о сохранении жизни на Земле, — его как раз и надо мочить. На некоторое время я стал даже социал-дарвинистом.

## Я вырос

Я вырос за оградой дачи, в которой был рай. Главной моей проблемой был мой дядя, который мог создать физическую угрозу — и создавал. Его просто прогоняли пару раз, когда он уже был готов заняться мною непосредственно. Выше этого ничего не было. Я не знал, что может быть несвобода.

В 50-й школе я устраивал постмодернистское шоу с восхвалением Мао цзе Дуна, даже не подозревая, что есть какая-то холодная страшная реальность, где выбивают зубы и ломают кости. Зубы пока выбивали в драках, резали в драках. Это была жизнь котят.

Меня ничего не тяготило.

После того как та пелена, то стекло, которое меня отделяло от мира, кончились, я вошел в соприкосновение с реальностью, ее красками и ощущениями яркости. Ведь каждый элемент — скажем, запах травы дачной в закоулках сада — несёт в себе то ли какое-то обещание, то ли угрозу, то ли напоминание… Много всего — ко всему я присматривался, принюхивался.

Быть взрослым мне не то что хотелось или не хотелось — я просто вообще не воспринимал эту тему. Что такое быть взрослым? Взрослый — это категория социальная. Люди хотят стать взрослыми, чтобы занять какое-то место в обществе. Я же вообще не был вписан в социум. Я никогда не хотел занимать место в обществе, я хотел его разрушить.

Я с девяти лет зоологически ненавидел любую власть, любое общество. Я твёрдо знал, что рано или поздно доберусь до конца этой власти и вцеплюсь ей в горло, когда она будет подыхать. Я знал, что так будет, и просто обдумывал те формы организации бытия, которые надо будет инсталлировать вместо этой. Как правило, картинки, приходившие мне в голову, носили достаточно тоталитарный характер.

О страхе в советских людях обычно говорят в пошлой манере. В моих родственниках ничего советского не было — как и важного советского элемента в виде страха. Они

принадлежали к высшей номенклатуре, но и в ней оставались инородным элементом по своему происхождению и сущности.

Моя мать рассказывала, когда Сталин умер, она вошла в комнату к бабушке и, рыдая, сказала:

-Мама, ну что же теперь делать?

На что та ответила с ненавистью:

-Что ревешь, дура.

Та онемела.

Бабушка моя — человек бесстрашный. Будучи гимназисткой, преподавала в казачьих станицах. Видела командарма Сорокина. На ее глазах убивали. Трудно было ее запугать. Но она была ушиблена этим режимом и очень напрягалась любыми творческими и вообще свободными проявлениями.

В 10 или 11 классе я познакомился с японцем из Университета дружбы народов. Мы с ним бродили по Москве, беседовали по-английски. Он был «красный» японец, а я его распропагандировал, говорил, что здесь все не так, нет никакой свободы. Дал ему свой номер телефона. Он позвонил, попал на бабушку — она впала в состояние тяжелого шока и сказала, что он ошибся номером, что здесь таких нет.

А мне закатила скандал:

-Ты понимаешь, что означает общение с иностранцами? Ты что, хочешь нас всех погубить?

-Почему ты ему это сказала? Какое ты имела право распорядиться моим контактом?

-Идиот, тебя уничтожат!

Ну и так далее. Таких эпизодов хватало. Но я как-то не пересекся со сталинизмом.

Когда собрали XX съезд — это был февраль 1956 года, мне 8 лет, дед уже умер, — по радио вещали, что разоблачили Сталина. У меня тогда челюсть отвисла: не ожидал, что Совок может пойти на такое очевидное саморазоблачение.

Я в тот раз наехал на бабушку — зря, конечно. Помню, как вошел в маленькую комнату к бабушке и говорю:

- Ну что? Твои-то — всё! Разоблачились! Мочат сами себя! Вот он — твой Сталин!

Только слова были другие. Бабушка приподняла очки и с удивлением на меня посмотрела. Думаю, бабушка ненавидела советскую власть и боялась прежде всего за меня. Естественно, ни грамма личного сентимента в ней не было, в насквозь политизированной ханше. Она же деда не любила и не скрывала этого. Дед, судя по письмам, ее любил.

Страшные люди, если честно. Очень далекие от нашей инфантильной расхлябанности. Это люди, условно говоря, выросшие в «игиле без бога». ИГИЛ без бога, без смысла, где агитационные ролики Риты Кац[89], в которых режут без крови, являлись для них реальностью, — они выросли в этом. Только у них все было с кровью и по-настоящему, — это была нормальная практика. Они знали, что чуть шаг в сторону, и Большой Брат их ликвидирует.  А над нами не капало, бич не свистел.

Когда я оказался в военной тюрьме, то это стало для меня интересным опытом. Я маршировал среди других заключенных — за колючей проволокой, за высоким забором, а над плацем перед корпусом галдела в воздухе стая ворон. Их была туча — с тех пор это для меня особый знак.  Я вдруг ощутил безумное счастье, ощутил реальность свободы, пережил опыт свободы именно в доступном на тот момент для меня максимуме несвободы. Это было пронзительное счастье. И черные птицы в небе...  Этот момент навсегда врезался в память. В разбавленной форме сходный эффект несколько раз повторялся, когда я приходил поразмышлять на кладбища в глубинке. Там тоже надо мной летали тучи ворон, галдя. Не так ярко, не так концентрированно, но для меня стая ворон стала проводником в другое измерение.

Я понял, что ничего не существует, — ни колючей проволоки, ни стен. Ничто надо мной не властно.

---

[89] Рита Кац — «аналитик по терроризму» и соучредитель частной разведывательной компании, базирующейся в Вашингтоне. Известна фальсификацией данных и постановочными видеосюжетами о деятельности исламских «террористиченских групп».

# Армия

Я всегда был по убеждениям милитаристом. Я уже рассказывал, что возненавидел советскую власть за впервые услышанные слова «мирное сосуществование». Слово «мир» для меня было ругательством, а слово «война» концентрировало в себе все позитивное. Но я не стремился в советские вооруженные силы — для меня это были вооруженные силы врага. И я не верил в их военную природу. И когда там оказался, то мои худшие опасения подтвердились, потому что это был рассадник тупости и портяночно-маечного неадеквата.

Но в начале было довольно забавно.

Меня как призывника отправили на поезде под Козельск. Поехал бритоголовый, в сапогах, которые у меня оставались от занятий верховой ездой, — хороших сапогах, потом пропавших. Для начала я попал в учебку для молодых солдат. По-моему, это был апрель. Мы жили в дощатых казармах в мощном глубоком лесу — но всё же это оказалось самое начало брянского леса. Наша часть была обнесена колючей проволокой. За ней проходила бетонка, и по ней шастали время от времени чудовищные колесные платформы, на которых перевозились ракеты в ракетную дивизию. Но мы не были ракетчики, мы были охраной. Я должен был служить в охране ракетных шахт. Помимо нас там располагались разные части. Мы относились к ракетчикам. Бетонные дороги, лес, хорошая природа, чистая и приятная.

Начиналось все забавно и весело, но вскоре резко стало всё «напрягаться».

Всего несколько дней прошло, как я находился в части, только получил форму. Сапоги у меня тут же ловко изъяли и всучили мне плохие сапоги со склада. Я бы предпочел, конечно, остаться в своих замечательных сапогах, но меня заставили их сдать.

Ко мне подходит чернявый сержант с масляной неприятной рожей и говорит:

-Что это у тебя за ручка такая интересная? Можно взглянуть?

У меня была ручка для того времени совершенно инновационная, с тремя стержнями, они поочередно выдвигались с боков, разного цвета — красным, синим и зеленым. Я ему дал эту ручку, и он ее спокойно спрятал в карман гимнастёрки. Я говорю:

-Верни!

-Молчать, салага! — отвечает он мне.

Я схватил топор и кинулся на него. Он бросился бежать. Все происходило молча. Я за ним. Он перескочил через невысокую оградку — я за ним, он вдоль скошенного луга — я за ним. По дороге он выкинул ручку, издавая странные заячьи звуки. И только крикнул:

- Сумасшедший!

Ручку подобрал, но продолжал бежать. Конечно, я старался его не догнать, потому что если бы догнал, то надо было бы как-то доводить дело до конца. Но я знал, что он напуган серьезно, поэтому бежал за ним километра два, потом остановился. А он еще бежал долго. Спокойно, не торопясь, поигрывая топориком, вернулся назад. Так я сразу как бы себя поставил среди народа. Сначала даже немного в это играл.

Меня назначили командиром отделения. Я стал жестко командовать, на меня стали жаловаться, и меня освободили от этой должности. Но я все равно больше как бы развлекался. Не знаю, что было бы там, во «взрослой» части, — я еще не принял присягу, но по общему ощущению было мало дедовщины. Совсем не то, что потом рассказывали. Драки были. У нас были деды, дежурившие ночью и следившие, чтобы мы спали. Был какой-то отмороженный двухметровый таджик, который при малейшем шуме врывался с ремнем, намотанным на руку и хлестал на право и налево: дисциплину наводил.

Время шло к присяге. И я стал думать, что пора уже завязывать с этой ерундой, потому что просто теряю время.

Никаких присяг принимать я не собирался — еще чего! Пошел в медчасть и говорю:

-У меня был в детстве полиомиелит. Его залечили, но это же ничего не значит: он на месте. Там в моем личном деле должна быть об этом запись. Очень болят ноги, очень. Можно сказать, не ходят. Ни стоять не могу, ни ходить.

Вечно пьяный сержант-белорус, похожий на Буратино, с красным лицом, острым носом, говорит:

-Я же не могу тебе в кость посмотреть. Кость — она же внутри, твердая. Ну вот ты говоришь: болят. А я-то что могу сделать?

-Ты интересный человек. А я что могу?

-Ну вот и гуляй тогда, иди.

Ну я и иду-гуляю. Вскоре приехал генерал из корпуса. Я себе иду, а у меня уже щетина, пилотку где-то потерял, иду весь расхристанный. Офицеры ракетной части на меня с ужасом смотрят, отскакивают в стороны. А мои офицеры уже, видимо, махнули на меня рукой. Или может быть готовили какой-то тайный удар.

Иду я, и вдруг навстречу ко мне выбегает тепло ко мне относившийся мужичок Сергей — по-моему, родом из Белгорода, — и говорит:

-Там генерал из корпуса приехал, сидит у нас в казарме, тебя спрашивает.

-Пилотку одолжишь?

Он снял свою пилотку, дал мне. Я надел пилотку, застегнул гимнастерку, одернул ее, и особым образом печатая шаг, как только умел печатать, вошел очень кинематографично, бросил руку к пилотке, отрапортовал:

-Рядовой Джемаль по вашему приказанию явился, товарищ генерал.

Генерал, похожий на жабу, — старый, красномордый, лысый. Сидит, смотрит. Спрашивает:

-Не хочешь служить, товарищ боец?

-Никак нет! Очень хочу служить, но ноги не ходят, болят ноги.

-А медчасть на что? Обращались?

-Конечно, товарищ генерал, обращался.

-И что?

-Да что, пьяный вечно сержант говорит: «Я не могу тебе в кость заглянуть, кость — она внутри». На этом разговор кончается.

-Вот как? Ну позовите сюда этого сержанта. А ты присаживайся пока, товарищ солдат.

Через некоторое время приходит сержант — и на мое счастье он пьян. Входит, пошатываясь, красномордый, и тоже пытается печатать шаг, но его слегка заносит, как градусник в стакане, влево–вправо.

-Вы сержант — начальник медчасти?

-Так точно — я.

-К вам рядовой Джемаль обращался с ногами?

-Обращался, товарищ генерал...

-Ну и что?

И тут на мое счастье он отвечает теми же словами:

-Я же не могу ему в кость посмотреть. Кость же — она внутри.

-Трое суток гауптвахты. А вас мы отправляем в козельский госпиталь на экспертизу.

Отлично, все хорошо, перемена судьбы, что называется.

Поехал в козельский госпиталь, туда ко мне Лена приехала. Котлеты, невероятная кухня. Я и забыть успел, что такая бывает. Большой двор, сад, березки, беседки, приятель у меня там завелся — литовец Бурмистровос, с которым приятно было общаться.

При этом меня все время вызывали на экспертизу и пытали электрическим током. Они смазывали нервные узлы токопроводящей жидкостью, каким-то раствором, подводили электрод и смотрели реакцию: прыгает нога или не прыгает. Я изо всей силы старался делать наоборот от того, как хотелось: если ноге хотелось прыгнуть, я ее сдерживал. Но, видимо, не очень у меня получалось. Две недели я там прокайфовал, и врачи мне говорят:

- Абсолютно здоров, ноги, как у лося, — значит служи. Сейчас поедешь сам с попуткой в часть, а мы пока будем составлять бумаги, что ты здоров, — дня через три они придут.

Я вернулся в часть и говорю, что меня признали больным: полиомиелит, мол, тяжелые последствия, — меня комиссуют. И люди поверили. Офицеры и сослуживцы меня поздравляли, руку жали, что как же здорово — комиссуют. А я-то знаю, что через три дня все будет разоблачено. Ну, думаю, и ладно — гуляю три дня.

Никаких приставаний, хожу нагло, все какими-то делами заняты, а я — в библиотеку, беру там «Новый мир», «Октябрь» и иду в лес читать. Мне даже замечание сделали: конечно, тебя комиссовали, но не надо же так борзеть.

Через три дня приходят мои бумаги, и тяжелый шок для всех. Что же это он— мало того, что абсолютно здоров, так еще и издевается? Назвал себя «комиссующимся», а его признали здоровым.

Вызывают меня и говорят:

-Ну что — пойдешь под трибунал. Это называется «злостное уклонение от воинской обязанности» — до семи лет.

-Ну, значит и пойду. А так вообще-то у меня все равно ноги болят.

Отправили меня в военную тюрьму — готовить мое дело для трибунала.

Небольшая тюрьма типа СИЗО, но не серьёзная — не окружная. Часть охраны — «красноперые», мвдшники. Там был один хохол, белокурый, похожий на эсэсовца: двухметровый красавец с голубыми глазами. Садист-красавец. О, как он измывался: заставлял и на животе ползти, и гусиным шагом, и бежать задом наперед с руками на затылке с утра до вечера с перерывами на лесоповал. Отправляли нас на товарную станцию, и мы там разгружали бревна с платформ под присмотром автоматчиков.

С автоматчиками шутили:

-Что, есть хоть у тебя патроны?

-Есть!

-Стрелять будешь?

-Буду!

-Врешь ведь.

Такой юмор.

Спали на так называемых «вертолетах» — в камеру ставятся две скамьи, и на них кладутся доски. Каждый со своей доской-«вертолетом» забегает, кладет между скамьями и прыгает на нее. Бушлат под голову. За ним следующий, и так по порядку. В пять утра подъем и — маршировка, гусиный шаг, потом ползком и так далее.

И вот этот парень издевался. На нем отлично форма была прилажена, густой золотой чуб, пилоточка сбита, подбородок эсэсовский, и он с улыбочкой отдает приказы.

Я побывал внутри их казармы, располагавшейся там же рядом. То, что я там увидел, напомнило момент из «Гиперболоида инженера Гарина». Когда Гарин уже разбогател и качал золото, он нанял гвардию из бывших белогвардейцев. И те там разложились от безделья, только пили и погружались все больше и больше в маразм, носки-трусы валялись всюду. Забавное место, надо его перечитать. Все приметы разложения бывших военных, которые только пьют и играют в карты.

Я живо вспомнил эти страницы из «Гиперболоида», когда оказался в казарме: трусы, носки, двухпудовая гиря между шконок, ни одна постель не застелена, пол жутко грязный и заплеванный. Полный бардак и свинство. Моральное разложение капитальное. А я там был назначен в наряд полы мыть — что-то такое.

Перед тем как передать мое дело в трибунал, они решили в последний раз провести экспертизу. Командир части имел право принять такое решение. Дело готовилось в трибунал, что-то там писали. Последний ход: медицинский совет должен признать меня окончательно здоровым, чтобы отмести все мои претензии на то, что я больной. И после должны судить меня как злостного уклониста, взять под стражу. До этого считалось, что я еще не под стражей. Под

автоматом, за колючей проволокой, но не под стражей. А так бы сидел в камере со всеми атрибутами.

Знали, что в Калуге по субботам собирался медицинский совет, — повезли меня в эту Калугу. Привезли в огромный корпус красного кирпича, где должен был проходить совет. Но именно в эту субботу совет не собрался. А после этого уже никаких вариантов. Никто меня второй раз не повезет, а дальше уже только передача дела в трибунал. И я должен находиться в более серьезной военной тюрьме уже «областного» масштаба. Накатанная дорожка. Это уже не какой-нибудь там штрафбат или как он называется?[90] Там проводишь год-полтора, а потом возвращаешься дослуживать. А тут семь лет за уклонение.

И тут сопровождающие, которые были со мной, говорят: давай сюда зайдем, по соседству. И заводят меня в «Бушмановку»[91]. «Бушмановка» — калужский дурдом, созданный еще до революции на деньги помещиков-благотворителей. Построенное ими здание все еще существовало — деревянные корпуса для буйных.

Вот заводят меня в Бушмановку, и я начинаю косить, симулировать безумие.

В «Рукописи, найденной в Сарагосе»[92] был Пачеко, которого время от времени била дрожь, он корчился, издавал пронзительный вопль, а потом продолжал рассказ как ни в чем не бывало. Вот такого Пачеко я изображал. Но опытные старые провинциальные психиатры сразу поняли, что перед ними наивный симулянт. Но они оставили меня: гражданские психиатры гуманисты же. Они знали, что меня ждет суд.

---

[90] Дисциплинарный батальон, дисбат.

[91] Ныне Калужская областная психиатрическая больница им. Лифшица. Бушмановка — название ныне не существующей деревни, на территории которой находится больница. В 60-е годы в «Бушмановку» свозили диссидентов. Среди них было много всемирно известных личностей.

[92] «Рукопись, найденная в Сарагосе» — незавершённый франкоязычный роман Яна Потоцкого. Первые главы романа были опубликованы отдельно в 1797 году.

Там я просидел дней двадцать, прибывали еще какие-то мои знакомые из нашей части — гораздо более изощренные. Они же не дураки были жаловаться на ноги. Они сразу договаривались с какой-нибудь своей подругой дома, она им писала письмо, — что вот, мол, я тебя ждать не буду, бросаю, прощай, извини. И вот он это письмо читал, ходил по части, плакал, размазывал слезы, а потом шел в лес, предварительно договорившись с ребятами, и «вешался». Через минуту кто-то появлялся — как бы случайно проходившие в поисках грибов солдаты, — и его спасали, вытаскивали из петли, и хрипящего, с ремнем на шее, приносили в часть. И — сразу в дурдом. Все подтверждали, что подруга написала, что бросает, сука такая… вот их верность… да, он ходил, жаловался, плакал. Таких привозили в дурдом, проштамповывали и через пятнадцать дней отправляли домой.

У меня вышло иначе: сидел я там дней двадцать. В итоге мне вынесли приговор — «злостный симулянт» — и отправили в Москву на улицу Радио, в 575-й военный госпиталь, где находился жесткий психиатрический тюремный изолятор для тех, кто идет под суд, — как бы «Сербского» в миниатюре.

Там попадались интересные люди. Я там довольно много провел времени. Познакомился с летчиком, расстрелявшим с самолета целое колхозное стадо. Он очень веселился, вспоминая как они кусками взлетали вверх, — такой фонтан из коров. Был молодец, который застрелился на посту.

Я его спрашиваю:

-Как же ты в сердце не попал?

-Да портсигар помешал, ствол соскользнул. Портсигар был в шинели, и ствол увел вверх.

Он был такой здоровый, что сам дошел до медчасти. Такие лбы в 1905 году были на Цусиме — типа матроса Наливайко[93]. И к этому «Наливайко» приходила такая же баба — как ватная баба на чайнике. Замечательная была парочка.

---

[93] Кок Наливайко из советского художественного фильма «Егорка», 1984 года.

Был еврей-марксист из Шахт или Донецка — активный пропагандист марксизма, атеист, очень цыганисто-еврейского вида, напоминавший молодых еврейских рабочих 1917 года, ушедших в революцию. Он говорил, что все национальные признаки типа папах и черкесок — проявление чудовищной архаичной отсталости. Надо учиться у Владимира Ильича — вот он одевался нейтрально: картуз, чтобы быть вместе с рабочими, и галстук, чтобы быть вместе с интеллигенцией. Картуз с галстуком — самая нейтральная прекрасная одежда, которая освобождает человека от всяких общностей, кроме общности труда. Он рисовал мне схемы шахт и как все это дело работает: забой, как рельсы прокладываются, как поднимается уголь. Много чего мне объяснил про добычу угля — забавный парень.

Сидел с нами азербайджанец, не говоривший по-русски ни одного слова. Он не знал, что русский язык существует, пока не попал в армию. Азербайджанец из Армении, из горного азербайджанского села: в те годы азербайджанцев оттуда еще не выперли. Армения — это ведь наш азербайджанский край, Эриванское ханство, и эти ребята не знали, что есть какая-то Армения. Про Россию тем более не знали ничего. Он учился в азербайджанской школе, и теперь не понимал ни звука, что говорят вокруг. Он был счастлив, когда меня встретил, потому что я ему объяснил, что вокруг происходит. У меня с собой была книжка по азербайджанскому фольклору, и он просто плакал от счастья. Он на моей книжке написал посвящение мне: у него своей книжки не было, так он на моей написал. Где-то она у меня хранится.

Марксист все время хотел провести пропаганду по атеизации и социализации азербайджанца. Но им не было на чем говорить: не было общего языка. Я объяснил азербайджанцу, что он имеет дело просто с шайтаном. А парень был верующий, молящийся. Я ему говорю:

-Видишь, это — шайтан. Он хочет, чтобы ты не верил в Аллаха, хочет, чтобы верил в шайтана.

Он очень серьезно ко всему отнесся. Марксист понял, что я его троллю в сознании этого азербайджанца, и обиделся на меня. Но это было некоторым развлечением, тем не менее.

Был там очень суровый ветеран-психиатр — приходил на работу в форме, сапогах, с пистолетом в кобуре, и сверху белый халат. Через некоторое время он мне говорит:

-Мне понятно, что ты симулянт, но я не могу принять по тебе решение в одиночку. Есть предложение направить тебя на беседу к главному психиатру Московского военного округа.

Думаю, ну ничего себе, до чего я дошел. В двух местах признали симулянтом и еще отправляют для последней беседы к главному психиатру. Ну ладно.

Повезли к главному психиатру, там у него адъютант сидит в кабинете. Сам главный психиатр — седой мудрый дядька. Меня вводят...

- Не хочешь служить?

-Не хочу.

-А что будешь делать, если отпустим?

-Учиться, книжки читать, заниматься самообразованием. Попробую поступить куда-нибудь.

-Ну хорошо, иди.

Через несколько дней вышла моя комиссация, и отправился я по второму разу в свою часть. Надо же было получить документы и оттуда уже ехать домой с сопровождающим.

А сопровождающим у меня был Евгений Барас, с которым я призывался из Москвы и которого спасал от массового и могучего антисемитизма. Я же в части пользовался большим авторитетом. Его хотели несколько раз побить, но я не дал, сказал — не надо.

-Да, что ты его защищаешь?! Ты только посмотри, как эта тварь слюнявит окурки: они же сразу промокают и тухнут с шипением.

-Нет, — говорю, — оставьте его в покое.

Спас.

Это был негроид ростом метр с кепкой, курчавый до невозможности, очень смуглый, с отвисшими негритянскими губами, совершенно неадекватный и неприспособленный абсолютно ни к чему, вечно очень грязный. Он в Москве готовился поступить на журналистику, и писал еще со школьной скамьи жалостные человеколюбивые правозащитные фельетончики о стремных кухонных делах в духе нынешнего Малахова: старушке что-то не дали, соседки что-то не поделили. Есть такой «правозащитно-слезливый» жанр с выходом на общечеловеческое. Он к этому жанру пристреливался. А для души он был поэтом в духе Вальшонка. И была у него Софочка — резиново-пухленькая беленькая евреечка в кудряшках. Сам он был черный как смоль, а она беленькая.

Его в части зверски гнобили. К примеру, наше отделение назначается в наряд на картошку, мы все встаем в два часа ночи, а он спит. Надо бы растолкать, а я говорю: не надо, пусть спит. Мы все идем, чистим картошку. Ее надо чистить до шести, а мы чистим до четырех, потом будим его и говорим:

-Мы за тебя чистили два часа, теперь ты иди дочищай.

Он понуро шел и чистил, проклиная свою еврейскую долю.

В конце концов над ним сжалились и взяли его мыть полы в офицерском штабе. Это уже совсем было западло, но он пошел, чтобы только подальше быть от нас. Он прибегал в казарму весь мокрый и грязный, как чушка, залитый водой, с задранными по локоть рукавами, и просил оставить покурить и вставить ему в рот сигарету: он-то сам грязными руками взять не мог. У него была такая губа, как у верблюда, он ее выпячивал, и кто-нибудь клал на эту губу недокуренную папиросу. Этот окурок тут же промокал и с шипением тух. Настоящий потусторонний джинн. Но тем не менее, когда меня комиссовали, он вызвался меня провожать: очень ему Софочку хотелось увидеть заодно в Москве. Ну, поехали.

Много лет спустя, в 1997 или 1998 году, я лежу на диване на Мансуровском, и вдруг раздается звонок. Звонит Ебарас (он так подписывался — «Е.Барас») и говорит:

-Вот это я, ты меня совсем, наверное, забыл.

-Нет, как тебя такого забудешь. Помню отлично. Как жизнь?

Оказывается, он уехал в Израиль, родил там детей, работал на телевидении, в газетах. Софочка уже умерла. Сочувствую, сочувствую, sorry.

Сейчас он приехал в Москву и собирается снимать фильм про ислам. Ну и уже вышел чуть ли не на Надыра[94] — по крайней мере, на его кабинет в Государственной Думе.

На следующий день я немедленно пошел в Думу и Ахмеда с Рамазаном спросил, выходил ли на них такой-то? Да, говорят, выходил.

-Я его знаю, гоните его в шею. Это агент-мосадовец, я с ним служил.

Забавно получилось. Иногда они возвращаются[95]...

---

[94] Надиршах Хачилаев, депутат Госдумы 1996-2000 гг. Председатель Союза мусульман России.

[95] Ахмед с Рамазаном выполнили пожелание Джемаля и даже заставили Бараса вернуть деньги, которые тот уже получил на некий «документальный фильм» о Дагестане.

# Пять жизней Мансуровского

Появился я на свет в очень специфических условиях — в огромной квартире в центре Москвы на Остоженке, в доме, который был заселен только актерами Малого театра. С нами по соседству, за стенкой, жил Царёв. А Остужев[96] часто бывал у нас дома. По крайней мере, он застал меня уже живущим на этом свете. Бабушка мне проела плешь, рассказывая, как Остужев, глядя на меня, сказал своим неподражаемым басом:

- Какие у этого мальчика чистые глаза.

Мансуровский был очень особым пространством, я считал его своей родовой вотчиной, там умерли бабушка, Теймураз, дядя и его жена.

Я бы его разделил на пять периодов.

Первый связан с моим дедом: это дошкольное детство, проходившее в присутствии постоянных домработниц, которых, как правило, всегда было две.

Через весь Мансуровский с самого раннего моего возраста проходили большие гостевания. У деда, потом у мамы с Теймуразом постоянно собирался огромный стол гостей. На стол готовилось что-то невероятное: всякие эксцессы типа французских тортов. Особенно в этом бабушка была великая мастерица, потому что в свое время она научилась всему от своей матери, а мать её специально брала уроки у французского повара из серьезного дома. Она его заставила научить себя секретам французской кухни и передала кое-что дочери, моей бабушке Марии Андреевне. Эти торты были чем-то потрясающим, при этом готовились из подручных материалов. Там было несколько слоёв нежнейшего печенья, которое размачивалось,

---

[96] Михаил Иванович Царёв (1903 — 1987) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, мастер художественного слова (чтец), общественный деятель. Народный артист СССР. Возглавил Малый театр после Шаповалова.

Александр Алексеевич Остужев (1874 — 1953) — российский и советский актёр. Народный артист СССР.

прокладывалось кремом, еще чем-то, каким-то маслом. Все трансформировалось до неузнаваемости, посыпалось грецкими орехами, слой за слоем. А потом выставлялось на рояль и так доходило сутки.

В те времена не было холодильников, продукты зимой — все, что можно и нужно было спасти от разложения, — вывешивались через форточку за окно. Иногда туда пыталась прилететь ворона. В некоторых домах обустраивались специальные выемки в стене под подоконником, куда что-то закладывалось. Но у нас был солидный дом, построенный немцами в 1913 году, который подобных эксцессов не предполагал. В моем детстве холодильник был абсолютно неизвестной вещью. Потом появились пузатые холодильники ЗИЛ, по форме напоминающие мыльницы, закругленные и очень небольшие. Все это долго существовало, их потом находили на помойках в конце 70-х, даже в 80-е переплыли некоторые холодильники, иным было уже лет по 30.

Так же и гигантские телевизоры с экраном семь на семь сантиметров, которые нужно было смотреть через линзу. Я дал кличку этим телевизорам «жена командира» — Лена хохотала. Потом их тоже выносили на помойки.

Все устраивалось очень просто и сложно одновременно. Например, на кухне не было горячей воды — только кран с холодной водой, — и чтобы помыть посуду, надо было набрать в таз воду, вскипятить эту воду на плите, сделать второй таз с холодной водой, и в двух этих тазах последовательно мыть так, как это делалось в начале XX века на какой-нибудь кухне трактира, где посудомойки, погрузив руки в оцинкованные бадьи, мыли посуду. Понятно, что без домработниц не обойтись.

К праздникам приходили натирать полы. Это были обглоданные нищетой жилистые полотеры с тюремными татуировками переодевались в треники, разводили воск в ведре, которым затем ловко поливали паркет, и, словно на коньках, его раскатывали, став одной ногой на щетку, сунув ногу в специальную петлю. И отталкиваясь другой, они катались со свистом. Я любил маленьким за ними наблюдать,

но чувствовал недоброжелательство, исходящее от них. Я уже тогда понимал, что это именно классовое недоброжелательство. Потому что маленький пухлощекий барчук, — а одевали меня именно как барчука в бархат и кружева, — и такой барчук смотрит на повоевавших и посидевших на зоне, как вот они драят эти полы. Я хорошо чувствовал электричество негатива между собой и ими.

Когда был дед, было много икры, крабов, фрукты, виноград, сервелаты. Шофер деда Пискулин носил огромные коробки из распределителя и ставил их на большую квадратную тахту, где вечером мы под пледами отдыхали. Тахта два на два метра, и мы на подушках лежали с бабушкой или мамой. Входил шофер и ставил огромные коробки. И в этих коробках чего только не было.

Как-то бабушка куда-то уехала, и мы остались с дедом вдвоем. Она оставила нам запеченного маринованного карпа. Дед превратил все в приключение. Он сказал:

- Ну вот, мы с тобой вдвоем, мы одни, теперь мы будем есть этого карпа. Помню этого карпа, помню даже морковку на нем.

Этот первый период закончился смертью деда. Я сходил к нему, больному, и всё — он выпал из моей жизни.

После смерти деда меня мучили тем, что я ненавидел, — рыбными котлетами, от одного их запаха меня начинало мутить.

Период номер два шел под знаком дяди, возвращенного бабушкой из изгнания, привезшего с собой жену, и непрерывных скандалов с его матерью, моей бабушкой.

Все носило какой-то «литературный» характер, потому что они обзывали друг друга именами персонажей из классической литературы. Например, она называла Иудушкой Головлевым, а он её —Кабанихой. И не то чтобы это было шутя, нет — с дикой яростью, в пылу, самозабвенно. Иудушка Головлев — самое постоянное, что она прилагала к дяде. Почему-то он у нее вызывал такие ассоциации, хотя я лично не нахожу в нем ничего от Иудушки. Наверное, она имела в

виду, что дядя — интриган и лицемер. Но дядя был буйный, а Иудушка был тихий, вкрадчивый, он лизал, шелестел. Кабаниха более подходила — бабушка представляла тип самоуправного матриарха с тираническими и тоталитарными замашками, жесткими установками. У нее преобладали ригидные представления о том, что хорошо, а что нет, — это смесь дореволюционных осколков и сталинизма, который был ей вбит страхом и плеткой. Тот случай, когда она мою философскую тетрадку потащила в школу, чтоб опередить возможное расследование НКВД, — это был своего рода перманентный эксцесс. Или её в ужас приводила моя возможная встреча с иностранцами. Все в таком духе.

Она плохо относилась к дяде, потому что это был богемный, сумбурный, истеричный, слабый, как она считала, человек.

Дядя, конечно, слабым не был. Этот человек был ранен, участвовал, если не ошибаюсь, еще в Корейской войне как летчик-истребитель, на финальном ее этапе. Он каким-то образом участвовал в 1956 году в подавлении Будапешта. Потом у него начали очень быстро развиваться какие-то проблемы со здоровьем, в результате чего он был вынужден уйти из авиации. Он закончил гражданский институт, и буквально через несколько лет стал одним из руководителей вертолетной промышленности страны. Вернулся в номенклатуру, причем вошел в эту номенклатуру с такими «гандикапами», как попытка самоубийства и покончившая с собой жена.

В детстве я его ненавидел как перманентную угрозу. И он меня ненавидел как сына любимой сестры от нелюбимого им зятя.

Но случались светлые пятна — музыкальные вечера, довольно частые. Красивые женщины, много романсов, музыки. Центром всего оставался дядя — он был просто энергетически неистощимый. Сейчас я понимаю, что у него потрясающие были таланты: он великолепно играл на рояле, на гитаре, на баяне, у него был очень хороший голос, замечательный слух.

Надо сказать, что вокруг меня все хорошо понимали и знали музыку.

Лена занималась церковным пением, регентствовала в хоре, уже расставшись со мной. Она получила музыкальное образование. Но это прошло мимо меня.

Женя Головин очень хорошо знал музыку. Он говорил, что женские голоса так неприятны, потому что они лишены обертонов.

Джаид одно время даже колебался между карьерой оперного певца и художника. У него был преподаватель оперного пения Воробьев, тенор из Большого театра. У Джаида было два возможных пути: он был потенциально великий певец и потенциально великий художник. У него был абсолютный слух.

У дяди был абсолютный слух. Он вокруг себя держал людей и женился только на женщинах с абсолютным слухом. Таня, актриса МХАТа, игравшая цыганку, обладала звонким, резким и неприятным голосом. Она любила брать на голос.

У нас был «Бехштейн» — кабинетный рояль, табуреточка вращающаяся. Во время игры поднималась крышка. Настройщик постоянно им занимался. Дядя очень классно на нем играл.

Приходила Марина Нариманова. Мне было тогда 12 лет, а ей 16. Она училась в Гнесинке, готовилась к экзаменам.

Это была первая близкая мне по возрасту суперкрасавица. Я был в восторге от нее. У меня возник такой образ, что она сиамская принцесса, потому что у нее была желтоватая, нежная смуглая кожа, чуть-чуть раскосые глаза, пышные черные волосы, которые поднимались неким «шиньоном» и с челкой. Я с тех пор полюбил челку у женщин.

Марина представлялась загадочной принцессой с вазы. Она приходила к нам, потому что дома у нее было пианино, а ей нужен был рояль. А я стоял в дверях и облизывался. Мне было двенадцать. Ее мать, Фаина Ефремовна, была моей частной учительницей английского языка, я к ней ходил в 6-7 классе.

Второй период на Мансуровском, обозначенный конфликтом с дядей, длился до 1961-62 года, пока не появился Теймураз. Это был период противостояния, с одной стороны, тиранической диктатуре матриархата, а с другой — психопатической фрейдистской ненависти дяди.

Этот период кончился, когда я поехал сначала к матери и к Теймуразу в Тбилиси, потом в Баку к отцу и деду.

В 1968 году мать переехала с Теймуразом опять в Москву для работы на Московском ипподроме. Они стали жить на Мансуровском, с которого я как раз ушел.

Жизнь началась у них очень непростая, потому что бабушка, конечно, не давала им расслабиться. Она вворачивала свои штопоры со всех сторон и в Теймураза, и в маму. Теймураза она не любила, подозревала его во всех смертных грехах, а негативом было у нее несколько моментов: а) то, что он князь; б) то, что он друг Василия Сталина; в) то, что он сидел в лагере. В наш дом, дом Леонида Емельяновича Шаповалова, кто впущен-то?! Князь, который в советском лагере сидел! Для нее это все было остропровоцирующим негативом.

В 1974 году она от нас ушла, попортив в течении лет шести кровь и жизнь маме и Теймуразу, после чего они получили что называется respite[97]: лет двенадцать сумели счастливо прожить на Мансуровском до смерти Теймураза в феврале 1987.

Третий период Мансуровского — от девятого класса до изгнания из университета. Его финалом стала армия.

Когда меня комиссовали, я вернулся опять на Мансуровский, и это был уже четвертый период, который стремительно завершился. Бессмысленные дни в издательстве «Медицина», неприкаянность, непонимание, как жить дальше.

---

[97] Передышка

Но встреча с Мамлеевым, восстановление отношений с Леной и мой уход с Мансуровского на Гагаринский — четвертый период миновал.

Отношения мои в третьем и особенно в четвертом периоде и с дядей, и с бабушкой, и с самим Мансуровским становились все более дальними, все более условными, все более лишенными остроты.

Эти люди прошли, оставив очень малый след, при том что в них был сильный потенциал. От них исходило мощное энергетическое поле. Они были центрами притяжения. Тот же дядя был центром притяжения для ярких людей, которые считали его большим человеком.

И мне задним числом интересно: вот они прошли, как тени, — кроме моей памяти ничего не свидетельствует о том, что они жили, но они сильно повлияли на меня. В грубом плане, в плане «лепки», в плане каких-то пинков, замесов.

Я рос на противостоянии бабушке.

Я рос на противостоянии дяде.

Я рос на противостоянии школе.

Я рос на противостоянии советской власти.

Все элементы вокруг меня были поводами для негатива, отрицания, противостояния. До 14-15 лет я вообще не встречал в своей жизни ничего, что я бы принял как некий позитив, с которым я согласен, что дает мне какой-то комфорт, позволяет мне почувствовать себя в своей тарелке, расслабиться.

На самом деле у меня были только четыре периода: детский, отроческий, юношеский и уже как бы завершающий перед уходом с Мансуровского. Пятый период — это уже не формирующий, это период не судьбы, а это пребывание где-то. Второй и третий периоды на Мансуровском — самые важные для меня годы интеллектуальной загрузки.

С концепцией философии как способа жизни и способа душевной деятельности я встретился в двенадцать лет, когда нашел книгу «История древнегреческой философии», и она дала мне старт. После этого 8-9 лет были посвящены раннему

вхождению в интеллектуальное поле. Потом уже пошла шлифовка — общение с Мамлеевым, Головиным. Чтение реальных авторов — не переводов Гегеля и Канта — на оригинальных языках вывело меня на некую платформу абсолютно собственного понимания реальности.

А с 90-х годов Мансуровский, окончательно покинутый моей семьей, лишившийся былого лоска и блеска, почти на 20 лет стал моим кабинетом, офисом, штаб-квартирой.

# Лена

Мне было лет двенадцать, когда впервые я на нее обратил внимание. Лена жила на соседней даче. Она сразу каким-то образом на меня подействовала и запала. Ее дед тоже имел отношение к Малому театру, а когда он узнал, что его внучка общается с внуком Шаповалова, чуть в обморок не упал.

Довольно долго она оставалась в рамках чисто летнего знакомства. Когда я уезжал с дачи и начинались школьные занятия, я как бы забывал о своих летних эмоциях, и у меня появлялись какие-то другие влюбленности и интересы. Но до следующей встречи с Леной летом.

Лена поражала.

С раннего возраста я отдавал предпочтение брюнеткам восточного типа — стройным, с темным румянцем, соболиными бровями, узкими талиями, округлыми бедрами. Таких у нас в школе было хоть отбавляй.

А Лена была прямой противоположностью этому. Она была высокой, худой, со светло-русыми пепельными волосами, цвета бледно-ржаного хлеба, и с очень холодными серыми глазами. Взгляд ее был ледяной. У нее была кличка «Снежная королева». Другое ее прозвище — «Гиацинта де Шантелув»: в честь героини романа «Без дна» Гюисманса[98]. Это прозвище дал Лене Женя Головин. И «Снежная королева»

---

[98] *Комментарий Джемаля:* Роман «Без дна» Гюисманса. Хорошая книжка... Там описывается эзотерическое подполье Парижа в 1890-е годы, постбодлеровский круг. Главная героиня, которая держит этот салон, — баронесса Гиацинта де Шантелув. Центральной частью романа является история маркиза де Рэ — первого маршала Франции, сподвижника Жанны д'Арк, чернокнижника, который принес в жертву сотни крестьянских детей. Есть круг эзотериков, занимающихся вопросом Жиля де Рэ. Его центральная история о маркизе чем-то напоминает роман «Дар» Набокова, где некий иммигрант пишет о Чернышевском.

тоже. Всё на контрасте: летом она был холод, а зимой — брюнетистое тепло… Но это все позднее.

Мне было четырнадцать лет, когда мы стали постепенно встречаться зимой в городе. Оказалось, что она живет в двух шагах от меня: я на Мансуровском, она на Гагаринском.

Я зашел к ней в гости и помню первое, что сделал, — взял у нее томик Достоевского «Преступление и наказание». Серый том из 10-томника. Я его прочитал и был потрясен. До этого я Достоевского не читал, потому что у нас его не было. В те времена он был запрещен. Мне очень повезло, что я его прочел вне школы. Если бы его преподавали в классе, то, думаю, я бы так внимательно к нему не отнесся. Потому что все, что преподавалось в школе, осталось неисследованным, непрочитанным, не воспринятым.

Поженились мы не сразу. Сначала мы стали любовниками, потом я попал в армию, вернулся из армии, не захотел продолжать с ней, и мы расстались. Потом через год опять встретились и стали снова вместе жить: это с лета 68-го года уже на её даче в Валентиновке.

А ее дача была совершенно барачного типа — маленький скромный барак, абсолютно не зимний, ни на что не годящийся, с плохонькой печкой, в пяти минутах ходьбы от наших ворот. Надо было пройти вглубь парка, и начиналась улочка Щепкина — там и была ее дачка.

Начали мы там жить, начало было очень живое. К нам приезжало много друзей.

Наши отношения совмещали невероятную простоту и невероятную сложность. Простота заключалась в том, что я Лену не понимал и относился к ней просто как к необходимому дополнению моей жизни, игнорируя то, что у неё есть собственные мысли по поводу того, зачем она тут. Но вот эта простота и создаёт второй уровень, который является очень сложным.

Лена была внутренне очень здоровой, но культивировала безумие. Она была симулянткой, но особого рода. Она была «метафизической симулянткой». Лена

симулировала безумие как некий путь. Или, попросту говоря, она была очень квалифицированной юродивой, причем всё это было очень подробно проработано, начиная от одежды и кончая всем остальным. Но у неё была глубокая мизантропия, совершенно страшная. Может быть, она возникла в ней под моим влиянием. Или в ней была, и она созрела. Вокруг неё всегда было несколько юных девушек очень высокомерного снобистского вида, которые где-то там тыкались как некие подруги, но понятно было, что они были бледными кальками.

Поворотным пунктом стало то, что она решила писать рассказы. Она их читала Мамлееву и мне. А Мамлеев эти рассказ у неё переснимал и читал их Вале Провоторову и Головину. Валя Провоторов был очень заинтересован, а Головин попросил познакомить его Леной, потому что это очень круто. Вот с этих рассказов, я думаю, всё и началось. Началась влюбленность Жени в неё и наоборот. Он её полюбил за эти рассказы, он увидел в ней более крутую фигуру, чем он сам. Просто она как женщина слабее, но он с ней вел борьбу, соперничал.

Гражданкин был всегда рад передать очень точно, слово в слово то, чем его нагрузят. И Женя специально сказал для передачи Лене: «На что рассчитывает эта тварь?!»

Когда она услышала это, то очень светло улыбнулась.

## Знакомство с Мамлеевым

На личном фронте у меня было так: Лена родила сына, а мне после армии и тюрьмы категорически расхотелось заводить семью, вписываться в ситуацию «молодая семья».

Как только я увидел кричащего младенца, все мое глубокое, взлелеянное в течение всего детства отвращение к прокреации [99] всколыхнулось, и я почувствовал глубокую ненависть к детям, к женскому, к семье, к коляске, к бутылочкам с питанием, к омерзительному запаху детей. И конечно полное и безусловное разочарование в Лене. Через некоторое время и мне и ей стало очевидно, что у нас ничего не получится.  Конечно же она воспринимала это как предательство.

Но, с другой стороны, мы не договаривались про жизнь с детьми. Короче говоря, я остался в несколько неприкаянном виде.

Когда я оказался в Москве после армии, встал вопрос о том, как жить дальше. Надо сказать, что меня комиссовали через статью «семь-бэ»[100]. Это психопатия. С такой статьей невозможно было восстановиться ни в одном вузе, где имелась военная кафедра. А военная кафедра имелась практически во всех гуманитарных вузах. Но несколько попыток мы с бабушкой сделали. Съездили в скромные институты типа пединститута имени Крупской.

Она ходила в приемную комиссию, общалась, а я сидел в коридорчике. Но толку не было, потому что понятно: ну какой советский вуз возьмет человека, изгнанного из советских вооруженных сил с большим скандалом?  Но оказалось, что и устроиться на работу не так-то просто.

Нашел я было хорошую работу — диктором на радио ВДНХ. Приехал в дирекцию, обаял за короткий срок всех баб,

---

[99] «Продолжение рода».

[100] До 1995 года в статье 7Б документа «Расписание болезней», по которому определяли годность и готовность призывника к службе, говорилось об умеренной психопатии.

которые там сидели. Им понравился мой голос, как я говорю, мой стиль. Встал вопрос о документах. Тут-то и выяснилось, что в военном билете стоит отметка, что я комиссован по «семь-бэ».

Первый отдел выкатывает глаза и говорит:

-Вы что, с ума сошли? Вы на режимную работу хотите устроиться. Диктором на радио ВДНХ! Вы представляете, что будет, если вы вдруг антисоветчину на весь ВДНХ начнете нести? С вас же спросу нет, нам придется отвечать. Вы призовете к свержению советской власти — и вам ничего не будет: у вас «семь-бэ».

Честно говоря, я даже растерялся:

-Вы знаете, масштаб-то маленький. Если бы на весь Союз, а то ВДНХ какое-то.

Он говорит:

-Зато ВДНХ — наш сегмент ответственности. За Союз мы не отвечаем. Но здесь мы сделаем все, чтобы такие, как вы, не дорвались до микрофона.

Девки, которые со мной беседовали, помрачнели, стараясь не смотреть мне в глаза, холодно подсобрали мои бумажки и вернули их: «Спасибо, но…Жаль. Жаль…».

Тут я понял, что, оказывается, не всё так просто: уйти-то из цепких когтей советской армии легко, а вот залезть обратно в мышиную норку после того, как спасся от товарища филина, уже посложнее.

И вдруг мамина подруга, которая работала редактором в издательстве «Медицина», говорит, что у них в издательстве есть место корректора.

О, счастье! Берут в издательство! Уборщиком? Нет, не уборщиком — корректором! На интеллигентнейшую профессию корректора. Замечательно!

Я пришел туда. Это была, конечно, чудовищная, нуднейшая, абсолютно бессмысленная работа по орфографической правке каких-то идиотских медицинских текстов, в которых я не понимал ни слова, потому что они были написаны на чудовищном жаргоне. Надо было править

опечатки и расставлять запятые в статьях для медицинских журналов.

Все было бы плохо и безнадежно — тем более что платили они 60 рублей, — если бы там не было Ильи Москвина, племянника знаменитого актера. Бородатый мужик, живший в какой-то полукоммуналке с только что обретенной молодой женой из «лимитчиц». Он обитал в переулке напротив юношеского входа в Ленинку, в графском особняке. Какой-то коридорчик и две комнаты. Он там вел какой-то непрерывный ремонт. Девку свою он держал в черном теле. Я ее видел мельком: она чуть ли не «барин» ему говорила.

Когда я к нему приходил, все было засыпано мелом, сесть было некуда. А когда он приходил в издательство «Медицина», у него на заднице были такие белые концентрические круги от пружин на диване.

Он был не лишен юмора. И самое его ценное качество — колоссальная фонотека Лещенко, Морфесси, Паниной, — весь тот романтический хтонический разгул, так мне близкий с самых нежных лет. Я освежил любовь к Лещенко за счет встречи с Гайдаром в университете, бубнившим себе под нос «Стаканчики граненные» или «У самовара я и моя Маша». И вот мы у Москвина собирались и слушали.

Москвин мало того, что был старший редактор этого издательского дома, — он к тому же еще был очень известный переводчик со скандинавских языков. Толстые книжки, которые он переводил, печатались с его именем. Он их мне показывал. Он переводил со всех скандинавских языков. Но самое чудо, что он знал исландский язык — он же древненорвежский, но знал он и норвежский, датский, шведский. Это был его серьезный приработок. Очень мало кто знал скандинавские языки. После мне только Головин встретился. Но Головину не надо было знать языки, чтобы с них переводить. Он мог создать такую литературу сам. А этот переводил.

И вот однажды сидели мы, можно сказать, на завалинке, во время обеденного перерыва. К тому моменту мы работали

вместе уже около двух месяцев. Это был 1967 год, и дело шло к ноябрю. Солнышко проглядывало. И вдруг Москвин говорит:

-А ты слышал о таком писателе — Мамлееве?

-Нет. А как его зовут?

-Юрий. Он пишет очень любопытные вещи. Про монстров, жуть всякую, просто ни в какие ворота не лезет. Круто. Интересно.

Я не отвечаю за точность воспоминаний. Ранее в каком-то другом месте я, может быть, поточнее вспоминал. Пытаюсь передать смысл того, что он сказал.

Я в это время был уже мало что ожидавшим усталым человеком. Вдруг неожиданно даже для меня самого у меня пробудился интерес. Почему он пробудился? Какой-то Мамлеев... Я ведь мог пропустить мимо ушей. Но тут я сказал:

-Мне бы хотелось его увидеть. Как он выглядит?

Помню, Москвин ответил:

-Ты знаешь, он похож на кабана...

-На кабана? Я хочу с ним познакомиться.

-Хорошо, — сказал Москвин, — Будет день, у одного моего приятеля будет чтение. Мамлеев только читает, приходит и читает. Я тебя приведу.

Это обещание мне запало. Я вдруг почувствовал, что моя романтическая история с издательством «Медицина» исчерпывается и подходит к концу. Это было абсолютно тупиковое направление жизни. Невозможно нормальному человеку ходить и заниматься корректурой бессмысленных текстов, какой-то абракадабры, получать 60 рублей и терять большую часть дневного времени.

Приходит назначенный день — это было 11 ноября 1967 года.

Мы с Москвиным встречались перед метро «Библиотека имени Ленина», где сейчас вход в Боровицкую. Одна из моих любимых площадок: 16-й троллейбус ходил недалеко от Остоженки, от Мансуровского, где я тогда вынужденно жил, вернувшись из вооруженных сил. Мама тогда была еще в Тбилиси с Теймуразом.

Вот мы встретились. Подошел Мамлеев, и с ним невысокая девушка с невероятной физиономией: у нее были вывернутые ноздри и вздернутый нос, похожа на карикатурного Гавроша. Она явно мерзла в невменяемом пальтишке, как будто у кого-то украденном или вытащенном из мусорной кучи. Тонкие, как мне показалось, ноги болтались в широких голенищах сапог. При этом ниже полы пальто и до начала сапог коленки были голые, а было уже холодно. Она излучала вид лихости, невероятного драйва, удали. В общем, шло от нее что-то разухабистое и позитивное.

А Мамлеев на первый взгляд не производил особенного впечатления. Я бы назвал его инженером, сотрудником ЖЭКа или учителем, которым, кстати, он и оказался. С портфелем, в ратиновом пальто, он утробно и уютно покрякивал и поглядывал. Он не произвел впечатления какой-то «вспышки сверхновой» при этой встрече.

Мы двинулись к месту, где должно происходить само чтение, — на Большую Полянку. Вел нас Москвин, он знал дорогу. Мы пересекли Большой Каменный мост, прошли несколько зданий, миновали поворот на Якиманку и спустились чуть-чуть дальше. На левой стороне одно из больших зданий по Большой Полянке — чуть ниже того места, где разветвляются Полянка и Якиманка. Дом 11, хотя могу ошибаться. Мы поднялись на какой-то этаж, без лифта. Коммуналка. Хозяин нам открыл дверь.

Я спросил: «А про него что надо знать, кто он такой?». Москвин тихо ответил, что просто инженер. «Просто инженеры» — особая категория в тайной Москве.

У хозяина было лицо человека, страдающего тайными пороками. В обязательных обвисших трениках, в майке. Он провел нас в свою комнату, комнату классического инженера в центре Москвы, — с какими-то невнятными книжками, какими-то невнятными диванчиками, каким-то невнятным патефончиком, псевдовольтеровскими креслами.

Мы расселись, попили чай.

В процессе пития чая Лорик, она же Лариса Георгиевна[101], меня поразила. Она рассуждала обо всем — причем с невероятной лихостью, приправляя речь густым матом. О Канте, о Ницше, о Достоевском. Они у нее была своя Animal Farm: Феденька Ницше, Моня Кант.

- Моня Кант, — орала она, — изобрёл ноумен! Это же, …твою мать, надо! Вот просто представить, что Моня Кант изобрёл ноумен!

Я смотрел на нее квадратными глазами, потому что никогда в жизни не видел ничего подобного. И надо сказать, что это все мне очень понравилось.

После этого мы расселись, и началось чтение. С первых фраз, произнесенных Мамлеевым, я был захвачен этим чтением как чем-то совершенно потрясающим, чем-то, что все переворачивает. Суть мамлеевской прозы в том, что человек занимается инфернальным бредом, потому что за этим ему брезжит привкус дальнего преображения, к которому он идет сквозь все.

В этот вечер было два рассказа — «Антижизнь» и «Голос из ничто».

«Антижизнь» — про одинокого психопата, который охотился на кошек и вступал в контакт с ощущениями этого потустороннего преображения, которое маячило сквозь все.

«Голос из ничто» — встреча в пивной с Абсолютом, осуществившим очередное падение вниз. Дядька в растянутой синей майке с пивным бокалом в руке объясняет герою, что Абсолют не первый раз совершает падение и восхождение, что он был Абсолютом в неимоверных высях запредельного безграничного блаженства, потом он превратился в некий персональный Великий дух, потом в архангела, потом

---

[101] Лариса Георгиевна Пятницкая (лит. псевдоним – Лорик; 1940-2014) — культуролог, художник, литератор. Активно участвовала в деятельности Южинского кружка. Участник и один из организаторов Бульдозерной выставки. В 1980-е гг. Пятницкая была организатором выставок Горкома графиков на Малой Грузинской 28. Прототип Анны Барской в культовом романе Юрия Мамлеева «Шатуны».

спустился по ступеням тронов и могуществ. Сейчас он человек, но его падение вниз скоро продолжится на новом витке. Он уже чувствует приближение затмения человеческого сознания и обрывки воспоминаний прошлых его путешествий, когда он был слоновьей какашкой или еще чем-то в конце своей деградации. Но дальше он снова поднимется вверх. Такой вот очень странный голос из ничто в беседе двух хмырей в пивной, засиженной мухами.

Это были потрясающие рассказы и потрясающее исполнение. Я даже не знал, с чем это можно сравнить. Думаю, для психиатров творчество Мамлеева — море разливанное, потому что Юрий Витальевич, как сын великого психиатра и сам глубокий знаток человеческих психических глубин, писал не фантазии, а изнутри чувствовал реальную органику психопатологии. Естественно, психопатология была не самоценностью, не самоцелью, она была просто окошком в бездну. Сейчас большинство людей банально думает, что вся реальность является отражением в психическом зеркале наблюдающего субъекта и ничего объективного нет, нет «заныров» в пространство, существующее вне человека. На самом деле огого как есть: очень реальные пространства гудят и шумят, но выйти в них можно только через окошки очень нестандартной психики.

Вот в «Карамазовых» разговор о том, что наш русские мужики очень необычны, потому что порют своих невест. Фёдор Палыч Карамазов сидит за столом и рассказывает, как мужики порют девок — причём тех, которых будут брать замуж, — и говорит: «Экие досады».

Так что крестьяне очень и очень склонны к извращениям. Снохачи, садо-мазо, педофилы — всё это у них в полный рост. Иметь вкус к инфернальному — для этого интеллект не нужен. Юрий Витальевич Мамлеев показал, что вкус к инфернальному живет в самых обделенных интеллектом душах. Собственно говоря, это его главное достижение. И то, что описывал Мамлеев, было реально.

…Мы вышли — уже шел снежок — и пошли по мосту обратно. Заговорили о том, как сокрушить советскую власть.

Мамлеев сказал:

- На мой взгляд, ее можно сокрушить только изнутри. Вот если бы кто-то, какие-то люди, поставив перед собой задачу уничтожить коммунизм, смогли бы сымитировать коммунистов, вступить в партию, совершить прохождение на самый верх и стать членами Политбюро, то это было бы реальным способом уничтожения советской власти.

Я признал, что в этом что-то есть, хотя слишком утопично. Но мне это показалось неправильным. Мне показалось, что неправильно уничтожать советскую власть путем приспособления к ней, внедрения, имитации, разрушения ее сверху. Мне, по моему темпераменту, хотелось, чтобы она была уничтожена с кровью, драмами, выворачиванием рук, хрустом суставов, рубкой шашкой в подвале, вывешиванием на фонарях. Чтобы это было сковырнуто, как болезненная язва. И я всегда знал, что советская власть рухнет.

Но каково же было мое изумление, когда она рухнула именно тем способом, который 11 ноября 1967 года Мамлеев подробно описал на Большом Каменном мосту где-то в восьмом или девятом часу вечера.

Мы дошли до метро, простились с Мамлеевым. Москвин тоже куда-то нырнул: он же там рядом жил, возле библиотеки Ленина, там был его переулочек и графский особняк. Мы остались с Лориком, и тут она пригласила меня пройтись с ней. А жила она на Южинском, и мы пошли пешком.

Так я оказался в знаменитом сакральном месте, известном теперь как «Южинский». Это был деревянный дореволюционный дом — под стать домам, описанным в мамлеевских рассказах, где живут всякие кошкодавы. Второй этаж представлял собой невероятно длинный коридор, посередине висел на стене тяжелый телефонный аппарат, вокруг которого все было исписано телефонными номерами. По обеим сторонам коридора шли двери. А в самом конце коридора, где в торце было подслеповатое окошко во двор, направо дверь, ведущая в анфиладку из двух комнат. Там находилось мамлеевское пристанище, но там он уже не жил:

дом был под переселение, и сам он на тот момент жил у тетушки.

Проваленный старый паркет, причем проваленный в буквальном смысле, гигантские вольтеровские кресла, обтянутые коричневой кожей, на столе известнейший портрет Достоевского, и в конце маленькой комнатки половину ее занимала гигантская, просто чудовищных размеров кровать.

Там я остался и не выходил оттуда недели полторы: знакомился со всеми аспектами существования, так сказать. Позвонил домой, чтобы не беспокоились, а на работу уже не появился.

Я застал уже агонию Южинского, куда на свет фонаря слетались не субъекты, а скорее объекты, персонажи визионерства. Но там все равно царил потрясающий аромат «сдвига по фазе», вкус разрыва с реальностью, вкус перехода в другое измерение, — не безумие, не постмодерн, не что-то театральное, а выход за угол, в другое измерение. Там все смещалось. Демоническая реальность — не без этого. В другом месте увидеть такое было просто невозможно. Это был удивительнейший паноптикум.

Например, туда заходили кремлевские курсанты — две огромные детины в смазанных сапогах, в форме, абсолютно похожие друг на друга, пластмассового вида, но при этом лихие, со сдвигом, как некая постмодернистская пародия. Когда впоследствии я познакомился с театром Погребничко[102] и посмотрел кое-какие его спектакли, то вспомнил этих курсантов: в них было что-то от режиссуры Погребничко, что–то от ухарской безуминки, граничащей с инферналом. Кремлевские курсанты были точно из демонической реальности.

В другой раз мне представили некоего Малиновского — в черном костюме и с галстуком-бабочкой, с пробором. Малиновский походил на персонажа из фильма 50-х годов типа «Во власти золота». Мне сказали, что Малиновский известен тем, что он нигде не работал. В момент Малиновский

---

[102] Московский Театр «Около дома Станиславского», главный режиссер — Юрий Погребничко.

щелкнул каблуками, подал руку со словами: «Малиновский, нигде не работал».

Заглядывал время от времени и сам Мамлеев.

Но это уже был угасающий Южинский, и ключевые фигуры, которые его образовывали, туда не захаживали. С ними я познакомился много позже уже при других обстоятельствах.

Появлялись интересные персонажи, их судьбы складывалась по-разному. Алиса Тилле, например. Обаятельная девушка, адвокат, элегантная, ловкая, вся такая протюканная, богемная матерщинница и очень интересная девчонка. Она была впоследствии спутницей Пауста, сына Паустовского. Они вместе подсели на иглу и решили покончить с собой. Она его ширнула, и он ушел, а себя она тоже ширнула, но как-то очень осторожно, и осталась жить. Не знаю о её последующей судьбе[103]. Как-то я ее встречал еще в советское время — на ней уже была патина декаданса.

Или сын создателя фильма «Чапаев» Саша Васильев. Он жил на Ногина, на площади, где на углу был магазин «Колбасы», у церкви, где выход с Солянского проезда, — арка во двор, подъездик, на втором этаже громадная квартира невероятных размеров, комнат пять или семь. Она под завязку была забита барахлом, потому что Саша Васильев был фарцовщиком. К тому же он еще был наркоман, сидел на «винте». У него шел поток людей, бесконечные девки, и конечно там было очень много любопытных предметов. Например, однажды мне попался шишак немецкого офицера времен Первой мировой войны, каска, — я ее тут же примерил и был потрясен тем, что она не налезла мне вообще никак, сразу уперлась в кость. Такое впечатление, что голова у этого

---

[103] Это «незнание» много говорит о самом Джемале, бесповоротно порвавшим с богемной Москвой: Алиса Тилле — муза поэта Алексея Хвостенко и фотографа Николая Полушкина — довольна известна в насыщенной культурной жизни Москвы.

офицера была величиной с мой кулак. Такого добра там было много. Потом этот Саша умер в жутких страданиях, весь покрытый страшными язвами.

Как ни хорошо было на Южинском, но пришлось оттуда уйти. Пошел я забирать документы из издательства «Медицина» — увольняться после того как я прогулял дней десять. Пришел, очень сухо, ни на кого не глядя, собрал документы, поблагодарил Москвина за очень интересный контакт. И больше я его не видел. У меня установились очень тёплые и глубокие отношения с Юрием Витальевичем. Мы с ним встречались, беседовали. И он что-то такое во мне почувствовал: он был большой интуитивист.

Тем временем, к весне 1968, в апреле, странным образом восстановились мои отношения с Леной. Я ее увидел на Пречистенке, догнал, думая, что это кто-то. Оказалось, что это Лена. Она сначала была холодна, дулась, но потом отношения восстановились. Мы жили в Валентиновке и на Гагаринском. У нас часто стал бывать Юрий Витальевич Мамлеев. И уже большая часть его наиболее серьезных чтений проходила там, и многие были исключительно для нас двоих как аудитории.

# Я — «со справкой»

К 1968 году в ходе моего общения с Юрием Витальевичем Мамлеевым встал вопрос как защититься от режима, от системы, потому что система в тот период охотилась за тунеядцами. Соответственно, надо было трудоустраиваться. Это один вариант. Но никакого трудоустройства я не собирался иметь. Вторым вариантом было получить «группу».

Когда я начал выяснять, оказалось, что с тем, что у меня было после комиссации — 7Б, «семь-бэ», психопатия, — «группу» не дают. Следовало переквалифицироваться как минимум на «четвертую» статью, а это шизофрения. Для этого нужно было пройти серьезное обследование и ВТЭК.

Юрий Витальевич сказал, что у него есть фанат, который его боготворит, трясется над ним, и сам является видным деятелем репрессивной психиатрии, и он, возможно, сможет помочь.

Этот «крупный деятель» жил недалеко от Гагаринского — на улице Мясковского, она шла в сторону Арбата от улицы Рылеева параллельно Староконюшенному. И вот мы с Юрием Витальевичем пришли туда. Особнячок, и квартира в мансарде с потолками метра два высотой, в которой квартировал некто Казанец с женой. Наверняка мансарда была раньше не жилая, а техническая, но сейчас вся площадь принадлежала этим Казанцам. Казанец был хорош тем, что он был замдиректора Института Сербского. Замдиректора оказался похож на Мефистофеля — с черной бородкой, под два метра ростом, чиркающий темечком по потолку. И он с женой фанатично любили Мамлеева.

Юрий Витальевич меня с Леной привел, познакомил с ними. Я сразу понял, что они — настоящие полноценные клиенты серьезной психиатрии. Абсолютно психически неуравновешенные — видно за версту.

Я принял решение использовать Казанцов для получения справки об инвалидности, попросил его о содействии, он сказал:

-Никаких вопросов. Направим тебя в 13-ю, там у меня есть вменяемый и контролируемый врач по имени Белоцерковский. Месяц там все-таки надо пробыть: всестороннее обследование — это же не фунт изюма. Будет солидная справка, которая тебя отмажет от всего.

По звонку, по рекомендации я приехал туда, меня приняли, и дальше началось что-то странное. Я думал так: «Я не с улицы зашел, я все-таки приехал от заместителя директора Института Сербского с конкретной задачей: быстро подготовить все материалы для ВТЭКа». Смотрю, ничего не происходит, меня мурыжат. Белоцерковский — очень советского вида шнырь, совершенно невыразительный. Вижу, что он недоброжелательно ко мне относится. Потом он вызывает меня на собеседование и говорит:

-Так, антисоветскую деятельность ведем?

Я изумился:

-Слушайте, по-моему, мы как-то не так договаривались. Вы вообще кто такой?

-Да, да. Мы все понимаем.

Я подумал, что, может быть, копают под самого Казанца. Может быть уже Казанец — персона нон-грата, и теперь будут использовать меня для удара по бедному Казанцу. У Казанца-то тоже рыльце в пушку: Мамлеева слушает. В общем, я посмеялся над Белоцерковским, отбрехался от него.

Кстати, у меня было очень творческое время в этой 13-й больнице. Я там впервые стал подробно разрабатывать теорию смерти, — смерти как центра реальности, вокруг которого все вращается. Духовного центра реальности. Смерти как финала. Именно там мне в голову пришли первые тезисы по этому поводу. Я вел записи.

В конце концов с грехом пополам прошел какой-то предварительный ВТЭК. Мне натянули вторую группу — 4Б, по-моему. Предстояло еще явиться в районный диспансер, чтобы официально встать на учет. Мы с Леной поехали в

диспансер на Бронной — сейчас уже не вспомню, где именно, но в тех местах[104].

Заведовал всем этим диспансером огромный медведеобразный главный психиатр, небритый и морда совершенно свиная. Потом мне сказали, что он бывший главный психиатр Тихоокеанского флота, откуда его выгнали в шею за идиотизм. Вот он и устроился начальником районного диспансера в Москве. Огромный идиот, похожий на монстра, переделанного медведя из «Доктора Моро».

Я впервые встретил клинического идиота — персонаж из анекдота Галкина или Задорнова. Сейчас такие персонажи выступают — и после каждой реплики раздается закулисный хохот виртуальной аудитории. Я начал с ним говорить и сразу понял, что это идиот, и стал над ним издеваться. Он говорит:

-Ну так. Вы претендуете на вторую группу — расскажите, как вы понимаете мир. Что вы думаете о марксизме-ленинизме?

Отвечаю:

-Марксизм — это порок сознания.

-Порог — это в смысле, что дальше идти некуда?

-Нет, порок — в смысле извращение.

-Это интересно. А как вы видите мир?

-Ну что, — отвечаю я, — на дне Вселенной лежит Люцифер ничком, точнее, на спине. У него стоит член — это ось мира. На этой оси находится наш космос, член пробивает его насквозь и поднимается вверх к небесам. Там расположена Роза Коэли, небесная роза. Понимаете сами, что такое «роза». Вам мне не надо объяснять. Естественно, это богоматерь. И вот фаллос Люцифера устремлен прямо к ней.

У него слюна потекла, глаза стали круглыми. Говорит:

- Стойте! Минутку! А ну идите все сюда, — обращается к медицинскому коллективу, — все сюда!

---

[104]Психоневрологический диспансер находился Малой Бронной, д. 27. В 1971 году диспансер перевели в новое помещение на Малой Дмитровке.

Врачи и врачихи встрепенулись: «Что такое? Что случилось?» Все стали в недоумении высовываться из кабинетов.

-Идите все сюда, берите стулья, садитесь. Слушайте, слушайте! Да, продолжайте, пожалуйста.

Я продолжал в том же духе про ангелов, которые приходят на прием к этому Люциферу и водят хороводы вокруг этого фаллоса.

У него в глазах безумная радость. На всех с удовольствием поглядывал: «Жемчужина-то какая попалась, бриллиант-то какой пришел!» А там московские еврейки сидят, прекрасно все понимающие, и уже уставшие от идиотизма своего начальника. Они, конечно, видели, что откровенный богемный симулянт стебется над их начальником, впавшем в поросячий восторг.

Главврач немного успокоился и спрашивает:

-Ну хорошо. А чем вы собираетесь заниматься сейчас? Что будете делать?

Я решил перейти на рациональный язык и говорю:

-Сейчас я собираюсь писать сборник эссе.

-Конец венчает дело. Слушайте, слушайте, прелесть-то какая! Несколько совершенно несуществующих слов! И несовместимых понятий. Повторите, пожалуйста.

-Сборник эссе.

-Ну это же классический пример шизофрении. Один человек хочет писать целый сборник. Вы хоть понимаете, что сборник пишет коллектив авторов?

-Да? А я буду писать его один.

-А сборник чего?

-Эссе.

-Слово-то какое придумал! А вы знаете, что такого слова нет? Или вы думаете, что есть?

-Я думаю, что есть.

-Нет такого слова — «эссе». Значит вы, один человек, хотите писать целый сборник каких-то несуществующих «эссе».

-Да, совершенно верно.

-Ну, что скажите, коллеги?

Коллеги криво поулыбались. Что тут скажешь?

-Ну хорошо. Всё, давайте, идите.

В общем, получил я вторую группу. Благодаря этому выгнанному за идиотизм главному психиатру. Я представляю, как он там психиатрил этих матросиков.

С этой справочкой я был свободен.

Как-то я беседовал с одним армянским политиком[105]. Он мне говорит:

-Ну, ты же был всегда крупным агентом КГБ, очень крупным.

-Ты считаешь?

-Ну мы знаем все о тебе.

-Я не мог быть крупным агентом, и я тебе скажу почему. У меня с 1969 года вторая группа.

-Так это и есть доказательство.

-Как так?

-Ну это же лицензия на убийство. Ты получаешь право убивать, и тебе ничего за это не будет. Всем агентам, имеющим лицензию на убийство, давали как минимум вторую группу. Это как раз и доказывает, что ты птица очень высокого полета.

-Да, тут ты меня поймал.

Это был последний мой контакт с веселой стороной психиатрии. С ее «солнечной» стороной. Все последующие мои контакты были с репрессивной, темной стороной, — «лунной», как сказал бы Дугин.

После того как меня помучил Белоцерковский и обошёлся со мной не так, как с человеком, явившимся по рекомендации, у меня возникло ощущение некоторой

[105] То был Арам Карапетян — армянский политический деятель. Видимо, тот, который лидер партии «Новые времена».

претензии к Казанцу. Вроде бы мы с ним договаривались, что мы это дело обделаем полюбовно. А этот Белоцерковский вдруг начал на меня наезжать, как на голимого антисоветчика. Наши отношения увяли. Но потом его собственная семейная жизнь пошла под откос, и ему уже было не до Мамлеева.

На день моего рождения в 1968 году ко мне в домик на Гагаринском пришла мама — они с Теймуразом как раз приехали из Тбилиси. А там у меня был пир горой. Она зашла — светская, излучающая морозную свежесть, ничем не смущающаяся, невозмутимая, хотя «макабр» напоминал картинку Кукрыниксов «Последние дни Рейха», примерно такая же ситуация. Заглянула на кухню — а у нас ванна стояла на кухне, — а в ванной лежала одетая жена Казанца и рыдала. Мама даже бровью не повела. Заглянула, посмотрела на все это, сказала мне: «А у тебя весело», передала мне какой-то подарок, поцеловала в щечку и говорит: «Пожалуй, я пойду». Рыдающая жена Казанца лежала в ванне, полной воды, оплакивала себя, свою разбитую жизнь, проклинала Казанца.

Каждый раз, когда я попадаю в Кропоткинский переулок, рядом с суровыми бетонными стенами Института Сербского вспоминаю замдиректора этого института Казанца, который любил Мамлеева[106].

Это 1968 год, — плодотворный год. В тот год был еще странный свет наива, какой-то драйв: Пражская весна, выход семёрки на Красную площадь... Я успел познакомиться со всеми героями большого диссидентского круга, но будучи при этом членом тайного «южинского» круга, в который я вошел

[106] Этелий Казанец – автор книги «Загадка шизофрении», 1980. Исследовав статистику по московским коммуналкам, Казанец сделал вывод о заразности шизофрении. В 1979 году ученого уволили из института. Ему пришлось уехать в США, но уже через полгода он снова вернулся, так как не мог бросить частную практику в СССР. Практиковал новый диагноз «острое бессмыслие».

в 1967 году. Диссидентское подполье для нас было внешним кругом.

Я еще был очень молод и все время работал над какой-то «главной темой», мне нужна была точка сборки, вокруг которой строить все остальное, строить все логические цепи… Надо сказать, что в то время я еще не вышел на генонизм, на французскую школу, да и с Головиным еще не был знаком.

Я только-только освобождался от немецкого классического наследия после визиона памятного [107], и записал одну фундаментальную вещь, которая стала для меня инструментальной: «Смысл человеческой жизни – это смерть. Смерть является абсолютной целью, абсолютным самодостаточным сверхценным финалом, к которому надо стремиться.» Я записал это в двухкопеечную тетрадочку.

1967 год — Мамлеев, 1968 год — диссиденты, а 1969 год — встреча с Женей Головиным.

[107] Про «визион памятный» — в рассказе «Унибрагилья»

# Илья Бокштейн

К нам с Леной в Валентиновку приезжали много друзей. Живое было начало. Был, например, такой Илья Бокштейн[108]. Горбун, поэт и городской сумашедший, что называется. Бокштейн относился к плеяде, куда входили Ковшин, Каплан. Там же — поэты СМОГисты, среди которых выделяется Леонид Губанов, наиболее талантливый и яркий из всех[109].

Деваться ему особо было некуда, и он жил при нас с Леной.

Илья был очень хороший поэт. Мне его стихи нравились. Это был человек совершенно безумный. Отсидел пять лет за попытку организации покушения на Хрущева, потом еще год в тюремном дурдоме.

---

[108] Бокштейн Илья Вениаминович (1937 — 1999)) — поэт. В 1961 приговорен к 5 годам лагерей. В 1972 эмигрировал в Израиль. Автор книги «Блики волны».

[109] Вишняков Владимир Петрович (псевд. Ковшин; р.1941) — один из поэтов «Маяковки», участник самиздатских сборников «Бумеранг», «Феникс», «Сирена», «Сфинксы». В настоящее время заместитель главного редактора газеты «Правда».

Каплан Михаил Михайлович (псевд. М.Вербин; р.1943) — один из поэтов «Маяковки», лирик. Завсегдатай салона Ю.Мамлеева. Участник самиздатских журналов «Феникс», «Сфинксы» (1, 2), составитель и редактор журналов «Сирена» (1, 2) и «Фонарь». В советской прессе не печатался. В 1988 вышел сборник его стихов «Предчувствие беды» (Москва; Париж).

СМОГ — неофициальное объединение творческой молодежи в середине 1960-х. Расшифровок было несколько: Самое Молодое Общество Гениев; Смелость, Мысль, Образ, Глубина; Сжатый Миг Отраженной Гиперболы. Инициатор СМОГа — Л.Губанов.

Губанов Леонид Георгиевич (1946–1983) — поэт, основатель СМОГа. Единственная прижизненная публикация в официальной советской прессе — 12 строк из поэмы «Полина» (под назв. «Художник» — Юность. 1964. №6). Участник всех смогистских изданий («Чу!», «Авангард», «Сфинксы» и др.). Единственная ныне вышедшая книга: Ангел в снегу. М.,1994.

Познакомила меня с ним Лорик, Лариса Георгиевна Пятницкая, в Библиотеке иностранной литературы еще в 1967 году. Она специально нас там как-то свела. Я был слегка шокирован, но и вместе с тем странно очарован гофмановской фигурой этого карлика. Больной с детства туберкулезом костей, маленький человек с иссохшим телом и большим горбом. Всем своим видом он напоминал деревянную фигуру жуткого языческого идола. У него было выраженное еврейское лицо с огромным носом, пронзительными глазами, и от него шла энергетика безумия. Этот человек был одет в нечто, напоминавшее грязную нестиранную пижаму. От него шел сильный запах жутко немытого тела. Илья принципиально никогда не мылся. Он рассказывал, что когда его водили в баню на зоне, то он прятался под лавку и сидел там, чтобы его не коснулась вода.

Когда мы с ним разговорились, Илья рассказал мне вкратце свою историю.

Он принадлежал к поэтам Маяковки, учился в институте культуры. В 1961 году Илью арестовали и посадили, но не так, как пишут сейчас в википедиях, — якобы за антисоветскую пропаганду и выступления на Маяковке, — а за участие в группе, готовившей покушение на Никиту Сергеевича Хрущева.

А надо сказать, что Хрущев спятил от страха после убийства Кеннеди. Никита Сергеевич часто проезжал по улице Горького мимо Триумфальной площади. По этой причине на постоянную радикально-диссидентскую тусовку обращало серьезное внимание КГБ. Все были в разработке.

И вот на Маяковке то ли кто-то по-дурацки рассуждал на эту тему, то ли какая-то провокация была устроена. И все службы были подняты на уши: в то время маршрут следования автомобиля Хрущева из Кремля проходил аккурат мимо Маяковки по Тверской, — во всяком случае, он там часто проезжал.

Маяковка, поэты Маяковки, тусовка на Маяковке, ну и замысел грохнуть Хрущева на Маяковке, — все это каким-то бредовым образом перемешалось, и вот выходит вперед

маленький человечек с врожденным туберкулезом позвоночника, горбун ростом 140 см, и говорит:

- Я — главный! Я это все затеял!

И ему говорят:

- А, вот как. Ну хорошо. Явка с повинной.

- Да не с повинной: я не раскаиваюсь — я и сейчас могу повторить.

- Ну хорошо...

Времена стояли травоядные, как принято говорить, и дали ему пять лет. Самооговор был явный — надо бы в дурдом, а дали срок. А потом все равно год дурдома. Сейчас бы, наверное, получил пожизненное.

Я его спросил как-то:

-Слушай Илья, ты же сам напросился на то, чтобы тебе дали срок. Зачем тебе это было надо? Ну вот зачем ты вышел и сказал, что хотел убить Хрущева?! И получил просто так пять лет.

И он ответил в своей обычной манере, резким отрывистым голосом:

- Факт эстетизации биографии.

Мне очень понравилось!

Отвели мы ему комнатку на даче у Лены.

Как-то мы заехали к его матери: они жили в коммуналке где-то на Таганке — место называлось чуть ли не Коммунистический тупик.

Открыла дверь еврейка из гетто — классическая, как в фильмах, акцентирующих этническую тему, или в анекдотических мизансценах. Маленькая сухонькая женщина, дико испуганная. Я хотел, чтобы Илья перебрался ко мне, и мы зашли забрать какие-то вещи.

Мать пришла в полное недоумение, ей было непонятно, как ее *штетлер мэшугэнэр* сыном[110] может заинтересоваться импозантный молодой человек, — по ее понятиям хорошо одетый, чистый. И смотрела на меня очень подозрительно, одним глазом, как бы боком, — как смотрят птицы. И что это

[110] Что-то вроде «городского сумасшедшего» на идиш.

такое, что это за замысел? Она боком, как краб, поползла по стене, посматривая на меня, и на странном каркающем языке выдала что-то вроде: «Ну же вы таки не обижайте Илюшеньку, же вы таки позаботьтесь о моем мальчике». Может, она думала, что какие-то страшные виды мы на него имеем. Но раз уж им там как-то занимаются, и она разгрузилась от заботы кормить и держать его дома, то «вы уж позаботьтесь».

Налет идишной речи был и у самого Бокштейна, хотя он москвич, учился в институте культуры, сидел. Но он часто употреблял идиш, даже немецкие слова он произносил «по-идишному»: например «унтерменч» вместо «унтерменш». Очень колерованый аутентичный еврей.

Я забрал его с собой, предложил ему пожить у нас с Леной на даче в Валентиновке. Бокштейна мы таскали с собой всюду. Идти ему было абсолютно некуда. Потом с дач мы переехали на Гагаринский. Бокштейн тоже переехал с нами и некоторое время там жил, а потом уехал, энтропировал.

У него были действительно потрясающие строки, как-то очень цепляющие…

Я люблю тебя как любит
Злой солдат шальную пулю.
Град холодных поцелуев
Заморозил грудь земную.
Не заснуть мне не проснуться
Я на кончике сомнения,
К стенке тихо повернулся.
Кто сдавил мои колени?
Земля вздохнула, выплюнула: хватит!
Прости, что долго по тебе бродил.
И рад бы на покой,
Да нет по мне кровати.
Я до рождения
Ошибку допустил.

Городской сумасшедший с проблесками гениальности.

Знакомые картинки,
Собираются персы,
Собираются персы,
48 персон.
Стол накрыли перстами
Для рыжего беса,
Его портрет вызывают
48 персон.

Я Жене Головину в своё время это показал. Это привело его, как и всегда, когда он сталкивался с чужим творчеством, в сильное раздражение. И он сказал, что 80% — графомания, но 20 % несет печать гениальности.

У Бокштейна была невероятная индивидуация, зацикленность на собственной гениальности, которая освобождала его от любых тормозов и комплексов. Иногда он развлекался следующим образом. С дачи он уезжал в Москву, являлся в субботу в синагогу и троллил евреев. Появлялся такой горбун, монстр, выбирал себе жертву, какого-нибудь аккуратного интеллигента, и начинал такой разговор:

-Как вы думаете, кто такие евреи? Что значит быть евреем? А вот страшная катастрофа… холокост — он чем объясняется?

И потихонечку начинал раскручивать. Но это же еще были советские евреи, и он был где-то «на грани». А потом приезжал поздно вечером к нам на дачу и рассказывал о своих подвигах.

Илья ходил в пижаме — вроде тех, что изображают в разных фильмах про холокост. Домашняя пижама, превращенная им в костюм, который он носил, не снимая, утром и вечером. Она совершенно потеряла вид и цвет, но сохранила образ пижамности.

Бокштейна вполне хватало на то, чтобы выбежать среди зимы в Гагаринском переулке в тёмный зимний вечер среди

сугробов в меховой шапке и больших черных сатиновых трусах, — немного погулять.

Поскольку он был сильно озабочен, все время кадрил девчонок — в метро, где угодно. И приводил их в ужас. Представьте гофмановского Цахеса или Карлика Носа Гауфа: и вот он садится рядом в меховой шапке с торчащими ушами и начинает говорить, что — вот-де Платон, Гамлет... Девушки в шоке.

Однажды Илья привел довольно миловидную девицу, которую он все-таки склеил на улице. По советским понятиям — «буржуазная» девочка, гладкая и аккуратная. Оказалось, что она учится чуть ли не на пятом курсе Мориса Тореза, на французском отделении. Ей было интересно все — не простая штучка. Но всерьез его никто из такого рода особ не воспринимал.

Контакты у него были неожиданные и очень серьезные — выход на Эшлимана, Якунина, Дудко[111] и других. В 1968 году мы с Ильей выезжали на процесс Делоне—Богораз по поводу Праги, следили за Прагой, следили за Парижем, встречались с Григоренко. Все было очень активно, мы объезжали весь круг людей, ставших предметом моего восторженного удивления в школьные годы, когда я представлял их мифическими героями.

Бокштейн часто появлялся в салоне у Трипольского[112]. Как-то раз он что-то слушал, что-то читал, а потом как всегда резко встал и пошел не к двери в прихожую, а к стенке, уперся в стенку, начал по ней шарить руками и так очень злобно закричал: «Где тут у вас дверь? Поэт не обязан знать, где дверь!» Это был так неожиданно и так круто. Все захохотали. А я это запомнил на всю жизнь.

Как и знаменитый приезд Дудинского с Мамлеевым и каким-то приятелем Игорем на дачу в Валентиновку.

---

[111] Обо всех подробнее дальше в тексте.

[112] Об Олеге Трипольском — дальше в книге.

Мы сидели на втором этаже в единственной теплой комнате, дрожа от холода и кутаясь во все что можно, а Мамлеев читал рассказ «Мы готовы ко второму пришествию».

И кто-то сказал:

-Только с чашкой остается говорить — чем еще на даче заняться?

А Бокштейн, как раз вертя в руках чашку, ответил:

-Почему бы и не побеседовать с чашечкой?

Как-то мы шли по Старосадскому переулку в сторону Маросейки с Мамлеевым и Бокштейном. Жаркое лето, плавящее асфальт. 1969 год. Проходим мимо «Исторички», и вдруг Бакштейн говорит:

- Я сейчас начал писать. Хочу испытать себя в прозе. Но это совершенно особая проза. Обычно литераторы пишут свой текст со значением на одном уровне — прямым, одним значением: что написано, то и имеется в виду. Крупные авторы, классики, посвященные — пишут с двумя значениями: фасадным и зашифрованным. Данте написал свою «Божественную комедию» с четырьмя подтекстами, четыре уровня понимания вложил туда. А вот я сейчас пишу роман с девятью уровнями понимания.

Забавно читать, что он знал языки, был переводчиком. Никаких языков он не учил и учить не мог. У него в голове было все совершенно иначе устроено.

Обычно он говорил так: «Мне не нужно ничего изучать и читать, я все знаю сразу. Допустим, Майстер Экхарт. Спроси меня, что такое Майстер Экхарт[113], что у него за послание, что он написал. Мне не нужно это изучать. Я закрою глаза, сосредоточусь и просто изложу, что он такое и о чем он говорит».

Я предложил ему рассказать, о чем говорит Майстер Экхарт. Илья действительно закрыл глаза, впал в транс и начал нести какую-то ересь, фантомы из своей бедной головы. Никаким Майстером Экхартом там и не пахло. Но

---

[113] Майстер Экхарт — средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков

апломбом он обладал удивительным. В его безумии полюс еврейской гениальности противостоял массовой еврейской банальности. Причем сам Бокштейн остро чувствовал противостояние этих двух полюсов. Неслучайно его полюс гениальности физически выглядел как монстр.

Илья Бокштейн — очень странная, все же периферийная в моей жизни фигура, но он занимал в ней какое-то место, даже жил у меня. И в памяти о нем сохранились остро очерченные воспоминания. Маргинальная фигура, Илья прошел, оставив несколько запомнившихся мне строчек своих стихов. Было странно и даже удивительно узнать, что его больше нет. Он родился в 37-м, а умер в 99-м. Совсем немного времени прожил — больной был человек.

Илья уехал в Израиль, и там уже после его смерти вышел его трехтомник. А при жизни были только какие-то разрозненные публикации. Архив его пропал, если и был таковой. Надо было видеть эти тетрадочки, исписанные огромными каракулями. Тот еще архив.

В интернете есть видео с ним. Можно найти, увидеть его физиономию, понять, о чем я говорю. Лицо у него очень непростое. Его никто особо всерьез не воспринимал. Головинское определение «80% графомании, 20% с проблеском гениальности» объясняет, почему возникали проблемы с широкой публикацией его текстов. Но Илья не терял апломба.

Я слышал интервью с ним, сделанное уже в Яффе, где он говорит, что мир признаёт, что Гамлета после Шекспира лучше всех понял Бокштейн. Он написал поэму о Гамлете, которую, по его словам, разместили в какой-то русско-тюркской антологии вместе с Фазилем Искандером и еще непонятно кем. В этой антологии есть восемь страниц его текста о Гамлете, заслужившего высокие оценки у британского актера-поэта, игравшего Гамлета в Лондоне. «Я понял, что моё знание Гамлета, моё понимание Шекспира подтверждено на международном уровне объективно» —

говорит Илья в интервью. Он начал нуждаться в некоем подтверждении — это большой шаг навстречу миру.

Илью Бокштейна до сих пор помнят. Правда, я очень редко встречал упоминания о нем. Так, иногда в чьих-то воспоминаниях. Но найти можно.

# Гагаринский

С наступлением холодов в октябре на даче Лены мы топили все сильней и сильней, закладывали все больше и больше дров. А печка была хлипенькая. И вот однажды я в очередной раз подсунул дров и лег в сырую холодную постель. Ноги были возле печки, и вдруг я почувствовал, что уж слишком горячо. И какой-то запах пошел. Я вскочил и увидел, что кровать горит. Оказалось, что от моих стараний подсунуть дров побольше и интенсивности огня в задней стенке печки образовалась трещина, через которую шел очень мощный жар с искрами. И тюфяк наш загорелся. Пришлось тушить, заливать водой. А было уже холодно — почти мороз. Больше на этой даче жить было нельзя: печка пришла в негодность.

Перебрались на мою дачу, которая была рядом, — огромную, с хорошей печью, но не протопленную, холодную. И как-то она оказалась менее оборудована и более заброшенная. Мы там провели около месяца.

И тут — о, облегчение! —дед и бабка Лены переехали в Черемушки на кооперативную квартиру и оставили нам свою на Гагаринском[114]. Это была совершенно убитая квартира без мебели, без всего в старом деревянном доме, который не ремонтировался, думаю, с дореволюционных времен. Дом очень интересный, когда-то он принадлежал некоему врачу, родственнику Чехова из побочной линии. Но по тем представлениям — огромная квартира, с отдельным входом с улицы. Царский был подарок.

Но был дом старше самого писателя: как мне говорили — 1815 года. Он перестраивался, мезонин превратился в целый этаж. Главное достоинство этой квартиры было в том, что она показалась мне очень большой и очень просторной, с почти отдельным входом: ты входишь в некий коридор,

---

[114] Гагаринский переулок в описываемые времена носил название улицы Рылеева. Но Джемаль предпочитает использовать исторические названия улиц, ныне возвращенные.

направо уходила лестница наверх, а перед лестницей дверь к нам. Входил из коридора и попадал в «отсек» на четверть этажа. Далее маленькая прихожая, из нее выход в огромную кухню с ванной и газовой колонкой. Налево вход в просторную комнату — столовую или гостиную — главную комнату «салона». С высокими потолками выше трех метров — не такими, как на Мансуровском, где больше четырех метров. Из нее два выхода в одной стене в небольшие комнаты. В одной поменьше у нас была спальня, а в другой был мой кабинет.

Туда я перетащил много с Мансуровского: главное — дубовый дедовский шкаф со всеми книгами. Еще мы очень сильно пошарились по подвалам разных антикварных магазинов и нашли кое-какую мебель — ту, что не выставляли для покупателей с главного входа, а только для клиентов с черного. Удалось найти очень неплохое русское барокко, огромный стол под красное дерево с очень хорошей резьбой — больше, чем был у деда. Большое кресло мне и два поменьше для посетителей, с львиными головами, у которых в пастях зажаты кольца. Прикольные кресла, обитые кожей, хотя уже в достаточно потертом состоянии. Больше в кабинет ничего не входило. Стол, кресла, которые занимали все пространство, и впритык — книжный шкаф. Мы организовали крутой салон и провели там три очень «специальных» года. И дача отступила на второй план. Но много лет спустя, когда Лена ушла из моей жизни, дача вновь стала моим главным местопребыванием, но ненадолго.

Через некоторое время мы подтянули Лорика, но та не совсем всё правильно поняла и стала водить туда своих любимых художников — Немухина, Харитонова, Краснопевцева[115].

---

[115] Владимир Николаевич Немухин (1925] — 2016) — российский художник, член «Лианозовской группы», представитель неофициального искусства, один из классиков второй волны русского авангарда.

Как-то раз мы оставили там Лорика и ушли с Леной гулять. И когда вернулись уже уставшие, нагулявшиеся, мы обнаружили, что вся квартира заполнена спящими людей, лежавшими вповалку на полу, на нашей постели, на столе. Повсюду немухины и харитоновы — они занимали всё пространство. Я открыл окно и стал их выбрасывать одного за другим на улицу. Лорик кричала, визжала, пыталась предотвратить это. Художники просыпались, что-то бормотали, но я их беспощадно выкидывал. Она кричала: «Вы же хотели салон! Вот вам салон». Нет, говорю, я не имел в виду такой салон, я имел виду реальный салон, а не спящую у меня на кровати сволочь. Я не армия спасения для художников, не ночлежка. В общем, повыставлял всех, частью они сами ушли, как всегда, когда надо, быстро очнувшись. И после этой «коррекции» ситуация выправилась.

Лорик и сама поняла, что она чуть-чуть перебрала, и куда-то переместилась. Сначала она базировалась на нашей площадке. Но мы же с собой еще и Бокштейна привезли с дачи — его тоже надо было куда положить. Бокштейн — чудо-юдо, пугавшее многих, безумный карлик, который выходил в мороз на улицу в меховой шапке и синих трусах. В таком виде он мог и до метро дойти.

Тем не менее все-таки ситуация несколько консолидировалась.

Консолидировалась она вокруг примерно трех-четырех человек, из которых на первом этапе ключевой фигурой являлся Мамлеев. Он постоянно приходил, проводил вечера и очень часто читал.

Достаточно частым человеком на начальном этапе был Холин[116]. Помню, как мы с ним сидели за круглым столом в

---

Александр Васильевич Харитонов (1932—1993) — советский живописец, график. Один из мастеров «советского неофициального искусства» 1950—1980-х годов.

Дмитрий Михайлович Краснопевцев (1925 — 1995) — русский художник, представитель «неофициального» искусства. Тоже классик Второго русского авангарда.

[116] Подробнее об Игоре Сергеевиче Холине в рассказе «Поэзия безумия».

большой комнате, как всегда с Леной, и он рассказывал нам о своей жизни, подвижнической и страшной.

Были еще люди. Этому кругу принадлежала Римма Заневская-Сапгир, еще какие-то персонажи. Кстати, Римма довольно отметилась в истории искусств, истории культуры того времени[117].

Потом все кончилось, конечно, когда дом решили снести и выселили нас на Большую Очаковскую. Для меня это было как ссылка в Берёзово[118].

Мы жили с Леной на Гагаринском очень бедно, я уже в этот момент не работал, и было понятно: из ничего ничего не возьмётся. Мне предложили устроиться — по линии Олега Трипольского — на реставрацию церкви. Именно он мне это дело сосватал.

Меня взяли реставратором на ремонт Всехсвятской церкви на Соколе. Там можно было хорошо зарабатывать, но система такая: брался «налог» по возрастающей шкале. Допустим, первый месяц ты получаешь пятьсот рублей, с тебя берут налог с 500. Дальше, в следующем месяце ты получаешь 500, но с тебя берут уже как с тысячи. Через месяц ты опять получаешь 500, а с тебя берут как с тысячи пятисот. При таком прогрессивном налоге ты оставался с носом очень быстро. Поэтому там мухлевали, раскидывали это дело. Сначала ты получал 200, а остаток тебе каким-то образом давали после. Все наличными, без всякой бумажной волокиты.

Организовывали это все околоцерковные проходимцы, повязанные с попами, но образовавшие секулярный фасад. У нас не было никакого контакта, кроме получения денег и объяснения, что сегодня тебе выпишут 500, триста из них отдашь, а потом тебе в следующий раз подкинут. В среднем

---

[117] Римма Заневская-Сапгир (1930 – 2021) — Художница и график, поэтесса. В 1962-66 годах входила в состав основанной им группы художников-кинетистов (с 1964 – группа «Движение»). Участница «Бульдозерной выставки» (1974) и «Диссидентской биеннале» в Венеции (1977)

[118] Отсыл к картине Сурикова «Меншиков в Берёзове».

на круг в месяц выходило рублей 200 — по тем временам огромные деньги.

Я покупал книжки. Появился очень интересный «книжный» человек — Якубович. Забавный, кормивший книжной спекуляцией семью, состоявшую из десяти, по-моему, увечных братьев и сестер, не способных работать, и еще дед с бабкой, кажется, у него были. Маленький несчастный и очень серьезный еврей с чудовищно громадным портфелем, набитом книгами.

К нам часто заходил Якунин, который в тот момент был откуда-то изгнан и потерял приход.

Работа была дико тяжелая и вредная.

Под куполом Всехсвятской церкви были фрески XVIII века тончайшей лессировки. Эти фрески в 1947 году ученики сталинской академии художеств замазали маслом — грубое масло миллиметровой толщины и полная фигня, китч.

Надо было накладывать тампоны, пропитанные нашатырным спиртом: масло «рыхлело» от нашатыря. Потом убирали тампон и скальпелем снимали масло. Главное было снять масло так, чтобы не продрать до камня лессировочную живопись. Пары собирались под потолком, и приходилось сидеть в пузыре нашатырных испарений. Сидишь на лесах, как петух на заборе, в неудобной позе, руки затекают, и медленно счищаешь скальпелем масло. Восемь часов с перерывом на обед.

Мы выходили на маленькое кладбище при этой Всехсвятской церкви, садились на могильные плиты, разворачивали из платочков принесенную с собой еду — бутерброды, вареные вкрутую яйца, — ели и дальше чистили.

Требовалось достаточно крепкое здоровье, потому что пары никуда не уходили, скапливались под куполом, голова сильно болела, и руки быстро затекали. Не всегда удавалось достичь ювелирной точности, чтобы не сцарапать, но мы старались. Длилось это все год или чуть меньше.

На каком-то этапе я понял, что работа непостоянная, надо иметь приработок, и мы стали сдавать одну комнату. Сдавали ее некоему питерскому фарцовщику Шурику — его

привела Лорик, которая всегда приводила левых стрёмных персонажей. Питерский Шурик фарцевал иконами. Любопытный материал для изучения фарцы.

И вот пропал Шурик. Мы узнали, что он в узилище, в дурке за решеткой.

Во втором часу ночи звонок…

Мы открываем дверь — и на пороге наш Шурик в больничной пижаме, похож на Буратино, востроносый, питерская белая моль, рыжеватый блондинчик. И с ним цыганского вида крепкий, безумный молодец, в котором как бы все время подкипало, дикий подогрев внутри.

Они прошли, сели и рассказали историю вызволения Шурика.

Товарищ, его привезший, оказался вором. Парень лет 30, словно нанюхавшийся кокаина. Они вместе сидели и настолько хорошо закорешились, что вор решил Шурика вытащить. Он заплатил таксисту, подогнал «Волгу», накинул в определенный час на решетку трос, «Волгой» сорвал решетку с окна. Шурик выскочил из окна, сел в «Волгу», и они на дикой скорости, грохоча решеткой за собой, улетели по улицам Москвы.

С этим вором мы еще долго беседовали, я его расспрашивал про его «бизнес»:

-Ты когда ходишь по квартирам, ты что берешь?

-Я беру телевизоры и холодильники.

-И что ты прямо прёшь с какого-то этажа с холодильником?

-А что? Рублей 300.

-Мог бы брать ковры, скульптуры, картины там.

-Нет, это нужен профессионал. Это не мой мир. А я откуда знаю, что это такое. Может, это вообще ничего.

-Ну ты бы мог заняться темой, изучить. Ведь ты же понимаешь. что мимо носа у тебя многие тысячи рублей проходят. И это гораздо проще выносить, чем холодильник.

-Как-то мне не до того. Не моё это.

Потом он рассказывал, как шел на похороны своей матери, зная, что там его будут пасти. ТТ холодил руку, он

смотрел со стороны, не подходя близко, зная, что агенты его подстерегают, и потом ловко отвалил. Мне очень понравился парень, он был абсолютно безумным.

Вокруг жили удивительно занятные люди.

Старый жулик Миша Перченко занимался иконами. Он явился ко мне в дом по наводке Дудинского году в 68-ом. Потом он сбил какую-то девушку на машине и сел на несколько лет. После 78-го года я его не встречал.

Это был удивительный типаж. Выдавал себя за фрейдиста.

У Миши была любовница Джинджи из итальянского посольства — потусторонняя уродина. Она приехала в Россию, чтобы лишиться девственности. Он лишил её девственности, брал у неё деньги. Джинджи, когда они явились ко мне на Гагаринский, ездила на «жуке».

При мне она его страшно унижала.

-Вы не представляете каким он был, когда впервые явился на мои глаза, — он был в синем французском костюме, заправленном в сапоги!

Лена прозвала его Рыбом: не Рыба, а именно Рыб. У неё была склонность давать кликухи. Она углядела в нем холодную рыбью влажную природу. А Джинджи, увидев, что со мной перспективно иметь дело, начала делать мне подарки.

Она меня спросила:

-Что вам привезти?

Я её попросил полное издание Ветхого и Нового Завета на латыни с импприматуром Ватикана. Она привезла. Потом она мне подарила переиздание восьмитомника Соловьева со старой орфографией и золотым теснением.

Рыб говорил:

-Джинджи, как ты понимаешь, я являюсь чистым фрейдистом. Я принадлежу к строго ортодоксальной школе.

А она на него смотрит влюбленными глазами и говорит:

-Ах, евреи, это такая гениальная нация.

Человек с фамилией Перченко не может быть кем-то ещё, кроме как евреем[119]…

На Веснина стоял особнячок, где в глубине имелся проход в мансарду, и там обитал Ванечка Тимашев. В своей легальной профессии — художник, иконописец, реставрировал иконы. А настоящее его занятие было подделывать документы. Он создавал идеальные подделки, великолепно рисовал печати. У меня есть трудовая книжка, целиком заполненная им. Только первая запись настоящая от издательства «Медицина», где я работал корректором два месяца до встречи с Мамлеевым. Все остальные записи сделаны Ванечкой Тимашевым.

Замечательный человек, паспорта рисовал. Паспорта тогда были зеленые, и их нужно было менять каждые пять лет. Там была пятая графа: «национальность», и еще одна — «социальное положение». Социальных положений было три — служащий, рабочий, колхозник. Больше социальных положений не предполагалось. Кто бы ты ни был — не важно, референт ЦК или учитель, — все считались служащими.

Когда я получал паспорт, меня спросили:

-Вы кто по социальному положению?

-Я художник.

-Так вы служащий?

-Нет, я не служащий.

-Значит рабочий?

-Нет, я не рабочий. Я — художник.

-Ну нет такого положения — «художник».

-Ну вы подумайте сами. Могу я быть служащим? Я же нигде не служу. Это же неправда. Я — художник.

У дамы поехала крыша, и она вписала мне в паспорт «социальное положение — художник». В Советском союзе, наверное, я стал единственным обладателем паспорта с несуществующим по официальным бюрократическим нормам

---

[119] Михаил Перченко (род. 1946) — коллекционер, советник министра культуры, президент гильдии оценщиков Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров. Директор Московского аукционного дома.

статусом художника. Жалею, что не сохранил его: при обмене забрали. Надо было сказать, что потерял. К тому же в нем была вклеена крутая фотография. Я тогда носил локоны, так что внешность была соответствующая.

Люди очень болезненно реагировали на бороду и длинные волосы, ассоциировавшиеся с поповщиной, с церковью, которая вызывала резко негативный отклик. Я не мог выйти на улицу с бородой и с кудрями до ключиц, чтобы на мой счет не прошлись. Причем побуждения были чисто «ватными».

Во-первых, во мне усматривали попа, что вызывало большой негатив. И сразу воспоминали о Петре, который «подобной сволочи бороды почикал, и правильно сделал, что почикал». Ни одного раза, чтобы я вышел на улицу в обычном порядке, и кто-нибудь по мне не прошёлся. Это забавляло, но деталь примечательная.

Сейчас выйди хоть с витыми рогами и хвостом — никто на тебя внимания не обратит. А тогда люди не могли пройти мимо: мои борода и волосы их очень цепляли, почему-то. Я до сих пор не могу понять — это потому, что они не любили попов, или попы были лишь предлогом.

Москва тогда не изжила еще глубинный коллективистский провинциализм. Столичность предполагает — как, например, Лондон или Древний Рим — невероятное многообразие рас, типов поведения, вариантов одежды. Она предполагает пестрое многообразие, поскольку речь идет об империи. И местному населению на это глубоко наплевать, потому что столица — это проходной двор, плавильный котел, некий универсализм. Никто не считает себя обязанным реагировать на разные модусы поведения, феномены существования и нести за них ответственность.

А провинция — это некая коллективная ответственность за общую племенную модель. В данной модели носят, например, ирокезы с хвостами, и это знак принадлежности к племени. Любое отклонение от этого воспринимается как разрушение гештальта.

Было много любопытных эпизодов на Гагаринском. Но это всё начальный период — год 68-й, 69-й. Острая часть началась, когда Юрий Витальевич сказал мне, что у него есть два друга, два настоящих «посвященных». Один — Валя Провоторов[120], работал на крупной должности в министерстве образования, а другой — Женя Головин.

Мамлеев явно отдавал предпочтение Вале Провоторову, которого он считал гораздо ближе себе, густопсовее во много раз. Хотя Женю он тоже любил.

Мамлеев долгое время манипулировал этим капиталом, этим своим знакомством, рассказывал о нем, но упирался, не желая знакомить. Пел Женины песни, цитировал его тексты, пробовал пересказывать Рене Генона, как он его слышал от Головина, даже рисовал какой-то чертежик. Но все это носило неадекватный, непонятный характер.

Валя Провоторов тоже был поэт, писал невероятное количество стихов оккультного содержания. Мамлеев приносил их с собой в общей тетрадке, иногда в подпитии начинал читать и плакал. Чтение стихов Провоторова неизбежно кончалось рыданиями. Стихи очень стрёмные, некоторые даже не очень понятные стороннему человеку.

С Головиным ему все-таки пришлось меня познакомить, потому что Головин сам пожелал познакомиться.

Это был рубеж, переход в 70-е годы. Что-то погасло, что-то изменилось объективно. Был Головин, был еще Мамлеев, Олег Трипольский, но уже — скажем так — день перевалил через зенит, и солнечный свет гас, исчезла яркая, бьющая солнечная сила.

---

[120] Валентин Павлович Провоторов (1936-2002) - поэт, писатель, мистик. Активный участник Южинского кружка. По словам Юрия Мамлеева, Провоторов был «наиболее потаенным, необыкновенно значительным и гениальным мистиком…»

# Диссиденты

В школе я постоянно читал в газетах хрущевские наезды на диссидентов, потому что тогда было открытое пространство: при Брежневе уже публичное обсуждение идеологических противников советской власти и полемика с ними стали невозможны. При Хрущеве еще можно было встретить огромные тексты, посвященные «подлости» конкретных диссидентских лидеров. Подробнейшим образом описывалось их мировоззрение, цитировались целые куски их крамольных текстов, чтобы народ пришел в ужас. Я приходил в восторг.

А тогда подвал или даже разворот в «Известиях» мог занимать разбор Есенина-Вольпина[121] с его стихами:

Эти мальчики могут понять,
Что любить или верить — смешно,
Что тираны — отец их и мать,
И убить их пора бы давно!

Я прочел его стихи впервые в возрасте 14 лет и подумал: способен же человек так сказать, что могу только аплодировать: «Мальчикам надо понять, что враги их — отец и мать».

Конечно моя мать не была мне врагом ни в коем случае. А с моим отцом в тот период я только начал как следует общаться и относился к нему очень позитивно. Но концепция, выраженная в этих стихах, была мне близка. Я уже тогда начал разделять конкретику своей ситуации и свои

---

[121] Александр Сергеевич Есенин-Вольпин (1924 — 2016) — советский и американский математик, философ, поэт, один из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР, пионер правового просвещения в диссидентских кругах советского общества, сын Сергея Есенина. Организатор «Митинга гласности» 5 декабря 1965 года в Москве. Как политзаключённый провёл в тюрьмах, ссылке и психиатрических клиниках 6 лет.

фундаментальные теоретические убеждения. И по фундаментальным теоретическим убеждениям у меня не было разногласий с поэзией Есенина-Вольпина. И я думал: «Вот здорово! Какие же люди, оказывается, есть на свете!».

С таким же успехом можно было читать о Кеннеди — кто-то вне нормальной обыденной жизни, с кем можно встретиться. Мне не приходило тогда в голову, что я могу их узнать, что могу с ними познакомиться, что это реальная общность, общество, пространство. Я знал, что они существуют, но это не было для меня реальностью: ощущение было, как будто просто читаю главу учебника истории. Я не понимал тогда, что свободен, потому что не понимал, что могу быть несвободен. Я был абсолютно уверен, что просто живу и делаю, что хочу. Мне в голову не приходило, что кто-то может создать мне какие-то ограничения, преследовать меня.

Я же не знал, восхищаясь Есениным-Вольпиным в седьмом классе, что через несколько лет воочию его увижу. Это для меня оказалось странным шоком: человек слышал о том, что есть джинны, и вдруг он видит, как из кувшина поднимается дымок и превращается в настоящего джинна в тюрбане.

Организатором моей поездки к Есенину-Вольпину был, как и в большинстве случаев в тот период, Илья Бокштейн. Мы собрались и двинулись. Тогда не принято было заранее звонить и договариваться, предупреждать: визиты всегда были неожиданными.

И вот мы идем по какой-то улице в центре. Совершенно не помню, где это было, — помню дома тяжелые, каменные, «сталиноидного» вида, с дворами. Поднялись в квартиру, которая, как всегда в таких случаях, набита мебелью и народом. Встретили нас приветливо. Думаю, из-за Ильи — знаменитости в этих кругах, пользовавшимся большим уважением. Все-таки отсидел пять лет за подготовку покушения на Хрущева. Да и поэт к тому же.

Александр Сергеевич был, как мне показалось, немножко суетлив. Провел нас в гостиную, а там на софе лежала его жена, пухловатая блондинка в пижаме с очень

мещанским лицом с мелкими чертами. Есенину-Вольпину тогда было лет, наверное, 50 или чуть меньше, она была не старше 24. Мне 20. Я сел где-то у нее в ногах, потому что больше было негде. И она очень лениво и вальяжно спросила:

-Я всем задаю этот вопрос. Вы как зарабатываете себе на жизнь?

На что я ответил:

-Я джентльмен.

Она этого не поняла. Хихикнула и замолчала.

Дальше была интересная острая беседа. В какой-то момент появился, извиняясь, некий Якобсон с дачи. Звали его чуть ли не Роман[122]. Романы Якобсоны идут сериями. Это был другой Якобсон. Учитель русского языка и литературы в школе, интеллектуал, философ, по-своему известен. Его текст, который он читал в тот вечер, напечатали годы спустя, в 1990 или 1991, году в «Новом мире». Замечательный текст, посвященный мачизму советской поэзии 30-х годов — Иосиф Уткин, Багрицкий... Советский критический империализм. «Котиков на Командорских трогать не смеете вы»… Исследование жесткой киплинговской романтики раннего советского империализма 30-х годов. Не помню названия, но работа никуда не пропала, а человек, насколько я понимаю, уже умер к 1990 году. А тогда он еще был более чем жив — потный и шумный еврей. Сказал, что просит у нас прощения, потому что он весь день грузил кирпичи на своей даче.

Якобсон тут же снял с себя все, что можно было снять, и остался в голубой пролетарской майке, испачканной на груди красной кирпичной пылью. Он таскал кирпичи, судя по всему, прижимая их к груди, именно в этой майке. Потом вынул пачку листов и начал читать про «империализм советской поэзии 30-х годов», — кажется, текст так и назывался. Уткин, Павел

---

[122] На самом деле Анатолий. Анатолий Александрович Якобсон (1935 — 1978) — русский поэт, переводчик, литературный критик. Занимался правозащитной деятельностью. Был редактором «Хроники текущих событий». Автор работ о русской литературе, получивших высокую оценку. Покончил с собой в 1978 году. Похоронен в Иерусалиме, на Масличной Горе.

Коган, «Бригантина поднимает паруса»... Тайный посыл этого действительно хорошего трактата таков, что всю новую советскую поэзию вне Маяковского сделали евреи — Коган, Уткин, Багрицкий, еще кто-то, и продолжение в виде Самойлова, Межирова.

…Памятный яркий вечер, перегруженная комната. Это один из острых моментов: встретить человека, который тебя принимает, как близкого и интересного. Это был для меня легендарный человек, о котором ты читал в детстве, в школе, в большой враждебной газете, о котором даже не думал как о живом человеке, а только как о неком историческом лице, который очень далёк — как Кеннеди или папа римский. И вот ты у него дома. Я ему сказал тогда:

- Вы знаете, я вас читал в классе седьмом. И никогда не подозревал, что с вами встречусь.

В коридоре перед уходом я внимательно рассмотрел корешки книг. Коридорчик был забит шкафами с юридической литературой и справочниками. Есенин-Вольпин — математик, но математических книжек там не было. Видимо, они стояли в комнатах. А там только юридические справочники. Сколько в Совке можно было иметь юридических справочников? Это же не англо-саксонское прецедентное право. Но когда я выразил недоумение, он объяснил, что помогает людям как правозащитник. Как в тех условиях юридические справочники могли помочь?[123]

---

[123]На самом деле справочники оказались на своем месте. Есенин-Вольпин первым из советских диссидентов выдвинул идею возможности и необходимости защищать права человека путём строгого следования советским законам и требования соблюдения этих законов от властей. Он сформулировал и стал отстаивать идею о том, что советские законы сами по себе вполне приемлемы, а проблема заключается в отказе со стороны государства следовать этим законам. Он убеждал своих единомышленников, что, если бы государство соблюдало свои собственные законы, граждане не оказались бы в положении бесправия и что ситуация с соблюдением прав человека изменится, если граждане будут активно добиваться от государства соблюдения законов. Это правило становится одной из основополагающих концепций правозащитного движения.

Это была очень судьбоносная встреча. Были и другие, но не так поразили своей остротой.

Познакомился я тогда еще с целым рядом известных имен, начиная с Дмитрия Дудко[124], у которого я бывал часто в гостях, и который ко мне тоже приезжал.

Я ходил его встречать к метро Смоленская, вместе мы шли ко мне, чтобы он не плутал. Дудко был уже в годах, участник войны. Бывал у него: двое детей, попадья. Он, кстати, рассказывал, что, пройдя всю войну, ни разу не выстрелил в человека. И после этого сел[125].

У Дудко была проблема: он очень любил интеллигенцию и очень хотел ей нравиться. Поэтому все его проповеди напоминали лекции. Когда хоронили художника Анцифирова — я был на похоронах, — Дудко почему стал говорить по атомную физику. На Анцифирове он сломался. В этом моменте разошлись его пути с интеллигенцией, которая не поняла, для чего надо говорить над гробом любимого всеми Анцифирова про ядерную физику. Кроме того, он выпускал книжечки своих проповедей, но они тоже были заточены на обработку научного сословия, подтягивания ученых к вере. Он пользовался большим уважением, статусный поп.

---

[124] Дмитрий Сергеевич Дудко (1922— 2004) — протоиерей Русской православной церкви, церковный писатель, поэт, проповедник. В 1973 году «за нарушение церковной дисциплины», а точнее за его проповеди, отцу Дмитрию временно запретили служить. Позднее его проповеди были опубликованы за рубежом. 15 января 1980 года отец Дмитрий был обвинён в антисоветской деятельности и арестован. В результате давления со стороны КГБ о. Дмитрий 5 июня 1980 года обратился с открытым «покаянным» письмом к патриарху Пимену, а во время Московской Олимпиады состоялось его «покаянное» выступление по телевидению, после которого от него отвернулись многие друзья. Был духовником газеты «Завтра».

[125] В 1948 году был арестован и приговорён к десяти годам лагерей с последующими пятью годами поражения в правах по ст. «антисоветская агитация и пропаганда» — за то, что в 1942 году, находясь в оккупации, опубликовал свои стихи в газете, контролировавшейся немецкими властями. В 1956 году был освобождён.

Тем сильнее был шок, когда советская власть вынудила его выступить с раскаянием по телевизору. Это было уже в 80-м, когда мы не общались.

…Православный теолог Краснов-Левитин [126] написал «Строматы», вручил мне эти строматы лично. Помню, пришли мы к нему зимой по снегу, с какого-то флигеля зашли. Он тоже был тороплив, суетлив, бородат, поил горячим чаем. И дал свою книжку.

Меня поразила скандальность идеи назвать свой текст названием работы Климента Александрийского, который написал «Строматы» за 18 веков до того. Краснов-Левитин взял да и написал новые строматы — хотя бы «Строматы–2» поставил. В этих строматах, по бердяевскому образцу, была собрана ахинея — личные воспоминания, ассоциации, частные переживания.

Я запомнил оттуда одно место: когда Краснов-Левитин до революции шел с няней по Александровскому саду, его поразила надпись «Нижним чинам и собакам вход запрещен», и в его маленьком сердце вспыхнул праведный гнев против несправедливого устройства общества. Какой позор, что низшие чины приравнены к собакам! Это было в «Строматах». У меня тут же возникла ассоциация с бердяевским «Зачем мне Рай, если там не будет моего кота!». Не приемлет он Царствие небесное без кота Мура и отказывается войти туда.

Какое падение по сравнению с Достоевским, возвращающим билет в Царствие небесное потому, что там будет примирение матери убиенного мальчика с генералом, который этого мальчика затравил собаками!

---

[126] Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин (1915 — 1991) — русский писатель-мемуарист, публицист, участник диссидентского движения в СССР. В 1949 году снова был арестован и приговорён к 10 годам заключения за то, что в частном разговоре назвал Сталина «обер-бандитом». В 60-е годы проводил в Москве миссионерскую деятельность среди оппозиционной молодежи. В 1971 году был арестован повторно.

Хотя почему Достоевский полагает, что там обязательно должно быть примирение? Великая слезинка ребенка и примирение палача и жертвы — оно откуда-то появляется у Достоевского из пальца. Звучит пафосно, но абсолютно ни на чем не основано. Почему-то генерал, травивший собаками мальчика, у Достоевского попадает в Царствие небесное вместе с матерью этого мальчика, и там они должны почему-то обняться под присмотром высших божественных инстанций. Достоевский возвращает билет туда — нет, мол, не принимаю. Сам все выдумал и сам не принимает. То есть Иван Карамазов не принимает. И он не принимает, потому что там произойдет примирение жертвы и палача. Как? Разве мать простит этому генералу? Как это может быть?! Откуда это? Почему простит? Он что, забыл о Страшном Суде? О вечном огне, в который будут ввергнуты все эти генералы.

Фантастическая картина вне теологии, расклад о некоем прощении, когда возлягут тигр с козлом Тимуром[127] в обнимку, и тигр отдаст свой кусок мяса козлу, а козел свою капусту тигру.

Все пустое, а пафосный Достоевский, всех так доставший, что все повторяют о слезинке, превращается в Бердяева, который теперь возвращает свой билет, потому что кота Мура не принимают в царствие небесное. «Нет, пожалуйста, не надо» — и возвращает билет в окошко назад. Интересно, а деньги за билет он тоже потребует?

И дальше уже появляется, черт побери, Краснов-Левитин, подающий в стилистике Бердяева личные воспоминания под видом теологической книжки. Так легко писать теологию: шел с няней, увидел объявление, прокомментировал.

Были более интересные фигуры, чем Краснов-Левитин.

[127] Джемаль обыгрывает расхожую библейскую цитату «возляжет тигр с агнцем» и получившую известность дружбу тигра Амура и козла Тимура в Приморском сафари-парке в 2016 году.

Например, Петр Григоренко[128]. Яркая личность, с ним я встретился на процессе «семерки», вышедшей в знак протеста против оккупации Чехословакии. Мы были возле суда — на сам суд нас не пустили. Григоренко шел с сыном, который его поддерживал под руку. Там же был Якир. Мы ждали, когда их будут выводить после суда. Но вывели их с другой стороны. Туда только Лена Строева успела метнуться с цветами, когда их в автозак сажали с черного хода.

Якунин[129] с Эшлиманом[130] мне показались забавными: они напоминали отмороженных гопников. С Эшлиманом мы встречались зимой в скверике за МИДом на Смоленке. Сели на занесенную снегом скамеечку. Он был в качественном черном пальто, хорошо одет, очень комфортно. Я же в плащике, который совершенно меня не защищал, но я был молод, все это игнорировал, мне было интересно. Мы сели, он посмотрел на меня и спросил:

-Ну, о чем будем говорить?

Я несколько растерянно молчал. И тогда он начал быстро излагать:

---

[128] Пётр Григорьевич Григоренко (1907 — 1987) — генерал-майор вооружённых сил СССР (1959), активный участник диссидентского движения, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы, член Московской Хельсинкской группы. Власти неоднократно помещали его в психиатрические больницы, в начале 1978 года был лишен советского гражданства.

[129] Глеб Павлович Якунин (1934 — 2014) — бывший священник РПЦ, советский и российский религиозный, общественный и политический деятель, диссидент, член московской Хельсинкской группы, политический деятель, народный депутат России, член Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР (1990—1993), Государственной думы I созыва (1993 по 1995).

[130] Николай Николаевич Эшлиман (1929 — 1985) — бывший священнослужитель Русской православной церкви, 25 ноября 1965 года вместе с Глебом Якуниным направил Алексию I открытое письмо, которое подробно рисовало картину противозаконного подавления органами государственной власти СССР прав и свобод верующих граждан страны.

-Хорошо, тогда будем говорить о третьем завете. Значит, первый завет — с Отцом, второй — с Сыном, и третий — с Духом Святым. В первом завете — это у нас иудаизм, с сыном — у нас христианство, а с духом святым — это у нас буддизм.

Я был знаком с рассуждениями на эту тему, и удивился такой кавалерийской лихости. Между тем он продолжал:

-А потом это будет все скомплексовано втроем, все вместе. И это будет новое христианство, хорошее и правильное. Когда там будет и Сын, и Отец, и Дух Святой, и все это будет нормально взято христианством в единый пучок.

Всё это он проговаривал очень быстро. Очень странный формат общения. Напоминало какую-то псевдомережковщину, переработанную, скажем, Менем или еще кем-то.

Я его спрашиваю:

-А ислам?

-Ислам? Конечно, это все с Отцом, как и иудаизм.

-Да? Любопытно. Но с Отцом-то там очень жестко, против темы Отца есть дискурс. А Дух вообще-то через слово упоминается, именно Святой Дух.

-Ну, все равно.

Я понял, что это липовый человек. Больше я с ним не встречался.

С Якуниным было поинтереснее. Мы встретились в квартире в Плотниковом переулке рядом с нами. Второй или первый этаж, очень высокие потолки.

Якунин выдвинул цельную очень сочную теорию, — правда, при этом он опрокидывал водку стакан за стаканом и закусывал огурцом. Теорию о том, что на том свете короли будут с королями, а подлые людишки будут с подлыми людишками, — в том числе и в раю. Со свиным рылом в калашный ряд сунуться не получится ни в раю, ни в аду. Аж до десяти ступеней будет в иерархии. И в аду будет десять ступеней, и короли будут с королями, и в раю короли с королями будут. Так он рассказывал, хрустя соленым огурцом. Иногда он подходил к книжкам, брал их из шкафа и махал ими у нас под носом. Потом он почему-то заговорил о

Мишле и показал нам «Книгу ведьм». Он был для нас с Ильей Бокштейном Вергилием по кругам такого рода.

Потом Якунин заезжал к нам во Всехсвятскую церковь, где мы занимались реставрацией. Там Олег Трипольский один или два раза работал с нами. Появился внезапно Якунин и обменялся коротким разговором с Олегом. Из этого короткого разговора я понял, что в данный момент Глеб зарабатывал на жизнь югославскими стенками, шкафами и диванами.

Тогда все было очень остро, очень свежо, даже полная глупость, которая вокруг творилась, воспринималась как знаки чего-то неизмеримо большего, как знаки некоего обещания, как знаки того, что есть тайна и измерение вглубь — на фоне Совка, который был просто двумерным. Даже Якунин с гонками про королей выглядел как некий тоннель в другую Вселенную.

…Буковского [131] в мою жизнь ввела Лорик, Лариса Георгиевна. Это был 1967 или 68-й год. Он тогда сидел, и Лора сказала, что нужно навестить его мать и передать для него передачку. Мы пошли к его матери, которая жила в переулках возле театра Вахтангова на Арбате, в одном из старых домов.

По дороге Лариса рассказывала о Буковском, что у него отец полковник, и что Володя восстал против своего отца. Мать его, учительница, его поддержала, и они разделили квартиру чуть ли не баррикадой: по одну сторону Владимир с матерью, по другую — отец-полковник. Непримиримое противостояние.

Не помню, как мы к ним зашли, — по-моему, мы просто передали что-то.

---

[131] Владимир Константинович Буковский (1942 — 2019) — советский, британский и бывший российский правозащитник, писатель, публицист и общественный деятель. Один из основателей и активный участник диссидентского движения в СССР.Получил известность на Западе тем, что предал гласности практику карательной психиатрии в СССР.

Когда Буковский вышел в очередной раз, в 1970 году, он приехал в гости, и мы проговорили целую ночь у меня на Гагаринском.

Он был старше на пять лет. У него был другой масштаб опыта. Хотя я тоже через многое прошел к тому времени, побывав и в армии, в военной тюрьме и в психиатрической больнице. Но это было несравнимо с его опытом, который был и шире, и глубже. К тому же у него была политическая зрелость.

Мы в тот раз очень много спорили. У меня тогда ещё сохранялось много клише, характерных для антисоветчика. И когда он сказал, что надо изучать Ленина, меня это удивило, потому что тогда я считал, что Ленин, — это «фэ». На что он мне заметил, что Ленина надо изучать как гениального стратега, — учителя того, как берется власть.

В общем спорили мы, спорили...

Разговор шел о том, что делать после свержения советской власти. Свергать ее предполагалось путем подготовки революции. Разговор ходил кругами, мы говорили до рассвета, до пяти утра, когда птички уже запели.

Психологически конфликтная встреча, как кошки с собакой. Мы оценили друг друга как существ разной породы.

В какой-то момент он сказал, что, когда придет к власти, меня повесит за неформат. Я был «неформат» для него.

Думаю, он стоял на каких-то, может быть, устряловских[132] позициях в тот момент. Он был национал-большевик с либеральным оттенком. Не знаю, как менялись его взгляды, но я тогда был на классических фашистских позициях. Но, наверное, тоже были какие-то непоследовательности. Мы спорили много.

Разговор был о том, что делать, как расправляться, с кем расправляться, ради чего, кто останется, сохранять ли страну, как сохранять.

---

[132] Николай Васильевич Устрялов (1890—1937) — русский правовед, философ, политический деятель; называется основоположником русского национал-большевизма.

Вскоре его опять посадили.

…Потрясающей фигурой во Всехсвятской церкви был постоянно работавший там Николай Петрович. Он требует отдельного описания.

Высокий крепкий молодец с лицом германского нациста, которым он очень гордился. Прямой нос, твердая челюсть и густейшие золотого цвета волосы, именно золотые в буквальном смысле, как пшеница. Глаза голубые. Вся физиономия у него кинематографически эсэсовская. И он, конечно, нарциссически это любил.

Участник войны. В 18 лет попал на фронт, в 1944 году ранен.

Он подробно рассказывал, как он вышел из блиндажа. Ночь, звезды... Он увидел валявшуюся каску, и неясный импульс заставил его нагнуться и ни с того ни с сего надеть эту каску. В этот момент раздался разрыв снаряда, и страшный удар в голову его вырубил. Очнулся он в госпитале после нескольких дней комы. И оказалось, что осколок ударил ему в голову и разворотил эту каску, пробил ее и пробил череп. Если бы не каска, ему бы полностью снесло башку, а так... На этом драматическом моменте он брал твою руку и вкладывал себе в голову. В голове у него была дырка, куда уходили три фаланги пальцев. Ему достаточно глубоко череп пробило. Потом все это зажило, но дырка осталась под роскошной шапкой пшеничных волос.

За ранение он получил «Красную звезду». После войны поступил в институт, пошел в партию, начал делать карьеру, женился на Нонне, дочери адмирала, поднялся до замдиректора серьезного научно– исследовательского института.

Но его мытарило, крутило, мяло изнутри, потому что он искал правду. Все ему было не так — и партия, и советская власть. В ницшеанство его погнало, в нацизм, с которым он воевал. Но все не то. Наполовину с Ницше, наполовину с нацистами. Не один он — были у него товарищи, с товарищами в нацизм ходили, как в народ. Все не то.

И он понял, что правда в православии.

Причем не просто в православии, а в белогвардейском, монархическом, крутейшем православии с тогда еще не просиявшими новомучениками и государем императором. Для него они просияли независимо от церкви.

Я-то все это в детстве проходил. Был таким же отморозком, как Николай Петрович, мне все было понятно, близко. Тем более я был воспитан на литературе типа воспоминаний князя Жевахова, товарища обер-прокурора Святейшего синода.

В воспоминаниях князя Жевахова много примечательного.

К примеру, он описывает крестный ход великосветских дам вдоль окопов в 1915 году. Это надо читать. Или описывает мерзость и безобразие критики простого, честного, любящего государя мужика Распутина, на которого посмели посягнуть ублюдки, не понимавшие, что государь, во-первых, право имеет, а во-вторых, это и была его непосредственная коммуникация с русским народом, — через Распутина. Осквернить его покушались, и оскверняющие пакости дерзали говорить о государыне. Распутин, конечно, имел какие-то свои недостатки, он был простой мужик, честно любивший государя и государыню.

Жевахов — это нечто. Жевахов мне был понятен. И книги Алексея Николаевича Толстого стали моим настольным чтением в детстве.

И вот я встретил человека, у которого реально съехала крыша прямо вот в это жеваховское пространство. Николай Петрович наш был не из дворян, но из городских мещан, из «унтер-офицеров». Не торгового сословия, не из лавочников, мазавших усы скипидаром. Но что-то охотнорядское в нем было, но не как Репин рисовал охотнорядцев — с толстыми мордами.

Николай Петрович интересно рассказывал о своем воцерковлении.

Когда он понял, что нужно прийти в православие, он, во-первых, развелся с Нонной, своей женой. Во-вторых, он очень

мощно занялся развратом и пьянством — перед тем как «вернуться в православие». Пошел очень круто. Но партбилет защищал от всего. Партбилет, положение, девочки, коньячок, встречи с друзьями...

«И вот я понял, что пропадаю и что мне последний шанс остается. И я понял, что мне надо перекреститься. И хочу — бес не дает, руку мою держит! И я ее тяну, а он на себя. И я ее ко лбу, а он еще сильнее. Господи, Твоя сила! Весь изнемог. Изнемог, собрался, сотворил молитву про себя и как рвану! Донес до лба и пошел, и пошел…».

Он пришел в православие лет за 8-9 до нашей встречи, меньше сорока ему тогда было. После того как он воцерковился, он вернул себе Нонну. Эту Нонну я видел. Они приезжали ко мне на Гагаринский, мы сдружились домами. Это была усатая тюлениха на задних ногах. Совершенно черная с влажным коровьим взглядом. Некая странная смесь — точно не славянка.

Николай Петрович был антисемитом в лучших традициях и постоянно говорил на эту тему.

Настоящая беседа случилась у нас, когда он сидел со мной на жердочке под куполом — внизу метров двадцать прямого полета в купель. Иногда в нее роняли ватки с нашатырем, которым мы снимали масляную краску. И вот мы сидим в нашатырных парах, голова болит, снимаем скальпелем масляную краску.

И тут он говорит:

- Интересно, а когда наши придут, они обменяют мне Красную звезду на Георгия?

Я чуть не полетел вслед за этим нашатырем. Мне понравилось. Мне в том состоянии, в моем тогдашнем возрасте, — понравилось. Конечно, я верил немного в других «наших». Не хотелось бы мне менять чью бы то ни было Красную звезду на Георгия.  Но в 20 лет я был еще с духом «школьного» монархизма.

Идем мы как-то с работы с Олегом Трипольским и Николаем Петровичем. Олег говорит о том, как бы ему

хотелось аскезы, молитвенного подвига, носить на себе под обычной неприметной одеждой серебряные вериги.

Николай Петрович идет рядом и говорит:

-Всё бы вам, интеллигентам, серебряные вериги. А не хотели бы чугунные? Чугунные бы не хотели?

-Да Господь с вами, — отвечает Олег. — Чугун — это же дьявольский метал. Как же вас заносит-то. Не надо мне чугун, мне нужны серебряные вериги.

Чтобы закончить про Николая Петровича, я должен вспомнить еще, как я познакомил его с Якубовичем — маленьким, несчастным, никогда не сдающимся и ни перед чем не отступающим евреем, упорным и упёртым, зарабатывавшем на жизнь спекуляцией книгами. Он ходил с огромным «чугунным» портфелем, набитым книгами. Очень серьезный и абсолютно невозмутимый, от его заработка зависело человек десять в каком-то полуподвале. Калеки, инвалиды-сестры, умирающий дед. Всё в нём очень геттовское, еврейское.

Он на все зарабатывал книгами. Книги у него можно было достать любые. Кто-то меня с ним познакомил, я связался с ним, когда у меня появились деньги от этой «церковной» деятельности. И стал покупать через него книжки.

Он знал о книгах абсолютно все: как они выглядят, фронтиспис, «Шиповники», «Мусагеты» [133], любые издательства, бумага, сколько номерных экземпляров. Он никогда не открывал ни одной и никогда их не читал — принципиально. Его дело было достать книгу и принести. Он на вид знал, что это за книга.

Черт меня дернул сказать Николаю Петровичу, что у меня есть еврей, который может любую книгу достать.

-Ну приведи, — говорит.

[133] «Шиповник», «Мусагет» — дореволюционные «прогрессивные» издательства.

Я назначил встречу, когда у нас был обеденный перерыв. Подходит Якубович, метр с кепкой с огромным портфелем в половину своего роста, и говорит:

-Вот, я пришел. Давайте говорить.

Николай Петрович ему говорит:

-Ты спиной-то к церкви не стой. Давай, сюда… Стань вот тут за мной.

Тот робко обошел и встал ему за спину. И Николай Петрович уже продолжает, не оборачиваясь к нему:

-Что можешь?

-Всё могу.

-«Вестник патриархии» можешь достать?

-Могу.

-А 52 номер такого-то года сможешь достать?

-Могу-с.

-А такое-то можешь?

-Могу.

-А сейчас что у тебя есть?

-Такие-то православные издания.

-Покажи. Ты в руки-то не бери, руками-то не марай. Так покажи, чемодан приоткрой.

Тот аккуратно открывает портфель, Николай Петрович берет что-то и спрашивает:

-И сколько?

-50 рублей.

-Озверели жиды пархатые! Что это за цена?!

-Такая цена-с.

-Уходи. Стой. «Вестник патриархии» принесешь с 41-ого по 52-ой номера.

-Так точно-с.

Дело кончилось, по-моему, ничем. Но, конечно, саму сцену надо было видеть — совершенно натуральная, без игры.

Якубовича я водил и к Трипольскому. Там над ним потешались откровенно. Он же был настоящий еврей: никогда не говорил, что он чего-то не знает. И его как-то спросили:

-А что, как по-вашему, ядерная война будет?

Он говорит:

-Да, будет.

-А откуда вы знаете?

-Я знаю.

-И как это будет?

И он начинает рассказывать. Стали спрашивать о чем-то другом, он и другое знает.

-А как с космосом будет?

Он и про космос рассказывает.

-А есть ли жизнь на Марсе?

Он начинает рассказывать про жизнь на Марсе. Причем он не понимал, что над ним смеются. А там просто в полный рост шел стеб, его наперебой спрашивали.

-Ну хорошо, а в Антарктиде есть инфузории?

Про инфузории рассказывает. Что-то гонит, но бойко, связно, абсолютно бессмысленную ахинею, но невозмутимо. Все давились от смеха, но он чувствовал себя при этом комфортно.

Феномен Вассермана. Особая еврейская наглость. Принцип: надо отвечать на любой вопрос невозмутимо, иначе собьют и затопчут. На секунду обернулся, сбился, смешался... Вий поднял веки, его взгляд на тебя упал, и все сразу кинулись... Пока отвечаешь — все хорошо. Есть что-то коренное в их системе ощущений.

Но при Николае Петровиче ему было плохо. От Николая Петровича настоящее шло. А тут, конечно, интеллигенты.

Потом я узнал, что Николай Петрович стал работать чтецом в церкви, — окончательно. Что там чтецы делают? Акафист читают? Вот он стал Акафист читать.

Замечательная была шевелюра у него. Думаю, что он умер, хотя здоровья и силы был немереной человек. Несмотря на дырку в черепе, в которую я вкладывал свои персты.

# Поэзия безумия

Игорь Сергеевич Холин[134] — вот бы его записать, когда он сидел у нас с Леной на Гагаринском! Он просто сидел и излагал нам свою жизнь, жуткую, как ад. Он говорил очень спокойно. Он был человек с легкой умственной «затормозкой»:

- Гейдар, но ведь вы же хотите все уничтожить. Я правильно вас понял? Вы хотите мир уничтожить. Я правильно вас понял?

У него интересное происхождение: отец — дворянин, офицер, пошедший в Красную Армию. Мать – белошвейка. Родился он в самом конце Гражданской войны, в 1920. Отец его погиб, мать вскорости умерла[135], и маленьким он попал в детский дом. Детские дома, по его описанию, были совершенно чудовищными.

Полукриминальные воспитатели издевались над ними, мучили, насиловали, посылали несчастных детей воровать и побираться. Жестко спрашивали с них за объем наворованного и собранного, с которым они возвращались. Учебы там не было никакой. В 18 лет от такого ужаса он подался в Красную Армию.

Он прошел все от начала до конца, провоевал всю войну, участвовал в трех наступлениях. Это эксклюзив, потому что более чем в одном наступлении мало кому удавалось выжить. Но это всё — по его рассказам.

---

[134] Игорь Сергеевич Холин (1920, Москва —1999) — русский поэт и прозаик. Участник Лианозовской группы. К концу 1950-х годов Холин стал одним из лидеров неофициальной русской поэзии и русского авангарда. В 1960-х он печатался только в западных изданиях, в СССР публиковались только его стихи для детей.

[135] На самом деле неизвестно: мать отдала детей в детский дом. А отец был расстрелян Колчаком.

И после войны его посадили[136]. На зоне он встретился с Кропивницким[137], который его образовал. Жена Кропивницкого, если не ошибаюсь, была смотрителем библиотеки на зоне, и он сделал из Игоря Сергеевича совершенно другого человека: работал с ним, познакомил его с идеей творчества, с концепцией литературы. Он сделал его грамотным.

Игорь Сергеевич был уникальный автор с удивительным менталитетом, который точно воспроизводил клинические алгоритмы народного идиотизма.

До сих пор помню его стихи из сборника самиздатовского:

Сегодня суббота,
Сегодня зарплата,
Сегодня напьются
В бараках ребята.
….
Ребята галдят
У ворот комбината —
Сегодня опять
Задержали зарплату.

Жанр, перекликающийся по стилистике со знаменитым рассказом Мамлеева «Человек с лошадиным бегом», о котором один психиатр сказал, что это просто готовый диагноз — настолько реалистично описано.

И вот Игорь Сергеевич был на подхвате с таким странным социальным, упрощенным, вынесенным в социальное, продолжением. В конце концов он решился и написал роман «Кошки-мышки» — знаменитый, очень толстый. По-моему, это единственная его проза. Стихов у него много.

---

[136] Интересно, что попал он «на зону» в Лианозово.

[137] Евгений Леонидович Кропивницкий (1893 — 1979) — русский поэт, художник, композитор, признанный глава неподцензурного Лианозовского кружка в 1950 — 1960 годы в Москве.

Тогда мне роман не очень понравился, но сейчас с удовольствием бы перечитал. Мне показалось, что зря он сменил жанр. Это вызвало даже у меня некоторое раздражение. Но разговоры с Игорем Сергеевичем были очень интересными. Из его рассказов, которые он вел неторопливо ровным голосом, вставала чудовищная, жуткая, убогая, нищая жизнь, ограниченная колючей проволокой, штыками, эшелонами, посадками, арестами, бесправием, безнадежностью. Эту безнадежность пробивал луч света — Кропивницкий Евгений и потом его сын Лев[138], — то, что в последствии называлось Лианозовской школой. Вот к ней и принадлежал Игорь Сергеевич. Но они в основном художники, а он — поэт и писатель.

…Не помню, кто меня познакомил с Олегом Трипольским[139] — Илья Бокштейн или Игорь Дудинский.

Трипольский был очень интересным человеком. Чернявый, с густой черной бородой, в очках с большими диоптриями. Художник по камням, занимался резкой, правкой, огранкой. В поздний период у него был помощник Изосим и мастерская на Садовом Кольце.

Впервые я к Олегу попал, когда он еще жил в коммуналке на Маяковке с Риммой, которая была еще к тому же Заневской и бывшей женой Генриха Сапгира. Трипольский держал нечто вроде салона. Особенно его салон расцвел, когда он переехал с Маяковки на «Войковскую», где он получил квартирку в доме с надписью на трубе «1935», который находился на железнодорожных путях за мостом. До «Войковской», и пешком еще немного надо было пройти. Там был постоянный салон, куда мы зачастили на мамлеевские чтения в 71-72 годах. Я там бывал как минимум два раза в неделю, а то и чаще.

---

[138] Лев Евгеньевич Кропивницкий (1922 — 1994) — российский художник-нонконформист, поэт, искусствовед. В 1946 году осужден на десять лет лагерей.

[139] Московский художник, участник «Бульдозерной выставки» в 1974 году.

Олег был личностью, объединявшей других вокруг себя. К нему приходили, на него опирались многие творческие фигуры — Кропивницкие, Холин, лианозовская школа. И, конечно же, Мамлеев.

Попытка привести туда Женю Головина оказалась неудачной, очень незадачливой. Со своей аурой, со своим посылом, он скрежеща вступил в это пространство. Произошло столкновение материи и антиматерии. Кончилось все скандалом, пришлось ещё, кажется, утешать Римму.

О Головине они много слышали и хотели его увидеть, но когда встреча состоялась, они остались в тяжёлом шоке. Он их эпатировал, оскорбил, наговорил им брутальных гадостей. И потом как-то надо было из этой ситуации выходить…

У Олега Трипольского, где читал Мамлеев, часто бывал Генрих Сапгир. Сапгир — явление совершенно особое[140]. «Питутели приехали в Колдоб» — можно представить себе такое стихотворение? Он считал себя поэтом посткультуры. Пригов отдыхает.

Официально Сапгир состоял членом гильдии драматургов-кукольников. Он был сценарист кукольного театра. Но — поэт.

Сапгир очень ярко и очень гнусно, без снисхождения, описан в «Книге мертвых» у Лимонова. Там он описывает Сапгира в очень неприятных физиологических терминах как волосатую тушу, которая любила жрать шашлык и потом валяться и млеть под раскаленным солнцем, в то время как коньяк и шашлык бурчат в его невероятной утробе. У Лимонова о мертвых ничего хорошего не говорится. Добрые слова он говорит разве что об уголовниках, встреченных им в

---

[140] Генрих Вениаминович Сапгир (1928—1999) — русский советский писатель и поэт, сценарист, переводчик. «У них в Питере был Бродский, а у нас в Москве — Сапгир», — эта широко известная фраза отражает не столько разницу в литературных вкусах двух столиц, сколько реальный творческий вес поэта Генриха Сапгира. Андрей Вознесенский называл его «великим». В 1996 году был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процесс.

Сербии, и еще о какой-то сволочи. А так 90% остальных персонажей он поливает грязью.

Сапгир был мне интересен тем, что он меня ненавидел. Он считал, что я враг жизни, и когда я появляюсь, то сразу солнце меркнет, становится темно и скучно. Для него.

Сапгир переводил что-то. Но это скорее для выживания. Он имел очень зыбкое пространство внутри себя. Человек, который может выйти и читать публично «Питутели приехали в Колдоб», — это вам не Евтушенко. И там все стихотворение в том же духе. Мало того — целый сборник стихов. Впрочем, «Поездка в Колдоб» — хорошее стихотворение. Надо признать, что Сапгир особняком все же стоит. Масштабный поэт. С оторванной крышей, без якорей, в дрейфе.

Заболоцкий мне не нравится[141]. Пригов[142] интересен. Но Холин всё же интереснее Пригова. Кстати, Пригов местами напоминает мне Сапгира. Вот у Сапгира:

То мяса нет, то — колбасы и сыра…
Нет радости, нет совести, нет мира…
Нет на деревне теплого сортира…
И видит Бог! — хоть Бога тоже нет…[143]

А это Пригов:

Если, скажем, есть продукты
То чего-то нет другого
Если ж, скажем, есть другое
То тогда продуктов нет

Если ж нету ничего

---

[141] Заболоцкий никак не относится к описываемому кругу поэтов — просто о нем спросили во время беседы.

[142] Дмитрий Александрович Пригов (1940—2007) — русский поэт, художник-график, скульптор. Один из основоположников московского концептуализма в искусстве и литературном жанре (поэзия и проза).

[143] Джемаль по памяти цитирует отдельный строки «Сонета о том, чего нет» Сапгира — не всё стихотворение.

Ни продуктов, ни другого
Все равно чего-то есть —
Ведь живем же, рассуждаем[144]

Пригов хороший был поэт.

Я всю жизнь свою провел в мытье посуды
И в сложении возвышенных стихов
Мудрость жизненная вся моя отсюда
Оттого и нрав мой тверд и несуров

Вот течет вода — ее я постигаю
За окном внизу — народ и власть
Что не нравится — я просто отменяю
А что нравится — оно вокруг и есть

А Холин — великий поэт:

Дамба, клумба, облезлая липа,
Дом барачного типа.
Коридор, восемнадцать квартир.
На стенке лозунг «Миру — мир».
Во дворе Иванов ловит клопов.
Он – бухгалтер госзнака.
У Макаровых – пьянка,
У Барановых – драка.

Или вот это:

Кто-то выбросил рогожу,
кто-то выбросил помои.
На заборе чья-то рожа,
Рядом мелом «Это Зоя».
Двое спорят у сарая,

---

[144] Дмитрий Пригов. «Банальное рассуждение на тему: Не хлебом единым жив человек».

А один уж лезет в драку.
Выходной, начало мая.
Скучно жителям барака.[145]

Мамлеев очень любил такие сюжеты Холина:

Я в милиции конной служу,
За порядком столицы слежу.
И приятно на площади мне
Красоваться на сытом коне.

Тоже Холин:

Повесился, всё было просто.
На службе потерял он место.
В квартире кавардак, валяется пиджак,
Расколотый фарфор.
Вдруг сирены звук.
На стенке блики фар.
Зашёл милиционер ворча,
За ним – халат врача.
А за окном асфальт умыт дождём,
И водосточная труба,
Гудит как медная труба.
Сосед сказал: «Судьба».

Есть некий солидный блок безумия. Но ведь еще есть стихи Мамлеева. Причем он их писал от имени своих героев. Есть стихи Провоторова Вали, которые Мамлеев читал и плакал над ними, но меня с Валей так и не познакомил:

Такой большой городишко
с небольшим количеством змей
имеет пожарную вышку
и две арифламы на ней,

---

[145] Игорь Холин. Стихи из самиздата 50-х.

и гуляет пожарная в шортах
с очень странной линией ног,
и глядит: не видно ли черта
или просто какой-нибудь рог.

Вот я читаю Пушкина и для себя не вижу смысла. Я взошел не на Пушкине или Лермонтове. В детстве читал и разбирал в школе «Горе от ума», и мне оно искренне казалось совершенно бессмысленным. Таким оно мне кажется и до сих пор. «Отважно жертвую затылком». Грибоедов искренне имел в виду какие-то смыслы, но они мне лично не нужны.

У Пригова или Холина бессмысленность становится инструментом.

В русской литературе не так много того, что интересно. И много проходит без внимания. Скажем, Сухово-Кобылин с его «Смертью Тарелкина» — большой автор.

Но в русской литературе есть удивительная черта — из цитаты может вырасти совсем не то, что предполагал автор. Известно, что Малый театр возник как театр Островского. «Отчего люди не летают…» — это стало потом главным тезисом кгбшного эзотеризма.

Сапгир, Пригов, Холин, Мамлеев создали новый инструмент, сделали безумие и бессмысленность фактором обнуления Совка.

## Евгений Головин

Первое время я не бывал в гостях у Мамлеева. На Южинском, где мы встречались, в этот период он уже не жил. Он обитал, как он выражался, «у тетушки», — в ожидании, пока получит квартиру на проспекте генерала Карбышева. В конце концов он ее получил, а до этого мы встречались на улице или приходили на Южинский, куда я тоже приходил.

Несколько позже я появился у него. Первый раз я был шокирован его новым местопребыванием — это была квартира гостиничного типа. Комнатка, где умещался письменный стол и диван. На проходе от двери к комнате на полутора квадратных метрах размещалась, условно говоря, кухня — электрическая плита и больше ничего. Справа — туалет. Ванная, кажется, была дальше по коридору, общая, на несколько таких «гостиничных номеров». Странное обиталище, но мне там один раз даже удалось остаться ночевать: как-то там разместили раскладушку.

Именно в этой квартире на Карбышева я впервые встретился с Головиным. Надо сказать, что эта встреча долго готовилась, очень долго.

Сначала Юрий Витальевич часто мне упоминал, что есть у него такой человек, передающий непосредственно знание, полученное от некоего Генона, а Генон — это нечто особое, — поднимал он вверх перст.

-Ну, а что особое?

Тогда он рисовал букву V, и говорил:

-Это падение человечества до предельной точки, а вот тут подъем — следующий Золотой век.

-А нельзя ли поконкретнее?

-Ну тут, знаете, надо бы *самого* спросить.

Потом он стал чуть больше рассказывать. Потом стал напевать странные песни, говоря, что песни головинские, но ранние. Действительно, странные песни с вызывающим, иррациональным, даже гопническим обаянием.

Например, замечательная песня про верблюда:

Где-то там, где-то тут, где-то там и тут,
В громадной вышине карабкался верблюд.
Погляди, у тебя коленки уж дрожат,
А где-то там на вершине три рубля лежат.

Были и романтические, берущие за душу:

Снилась мне черная вода,
И под ней — города.
Может, это только мне приснилось,
Может, и не снилось никогда.
Белые и розовые птицы
Разорвали время на года.

Ранние песни, которые сам Женя уже не пел, — написал их лет в шестнадцать.

Я говорю: «Юрий Витальевич, познакомьте». Но Мамлеев упорно избегал, упорно. Понимал, что начнется великое соперничество. Так оно потом и случится: Головин, появившись, сразу перевел Мамлеева во второй разряд.

Но знакомство состоялось: насколько я понимаю, прозвучало и встречное требование со стороны Жени. Я пришел на эту встречу — как раз в квартирку на Карбышева.

Сидел человек, похожий на Сократа, каким мы его знаем по скульптуре, — с его щеками, лбом, коротковатым носом. С дерзкими, наглыми карими глазами. Даже не наглыми, а холодно-смеющимися и при этом глубоко беспокойными, — в этих глазах очень многое было. Внутреннее страшное давление, пропасть, и вместе с тем вызов, хохот. У него был тот еще взгляд, то еще лицо.

Мы сначала странно стеснялись друг друга, не знали, с чего начать разговор, и Мамлеев, сидевший между нами, нам мешал.

Заговорили мы почему-то о Канте, хотя Кант никогда не входил в сферу моих интересов. Мы так себя неуютно,

дискомфортно чувствовали, что именно о Канте и начали говорить. Но это взломало лёд, и мы стали контактировать.

Потом он пришел ко мне. Оказалось, что Женя великолепно владеет гитарой и поёт. Он пел не только свои песни, он исполнял романсы, блатные песни.

Помню это первое появление Жени уже у меня. Он пришел вместе с Гражданкиным.

Актер Сергей Гражданкин закончил театральные курсы, по-моему, вместе с Олегом Ефремовым. По крайней мере я так слышал от него. Жил он на Большой Никитской недалеко от букинистического магазина иностранной книги. Любопытный человек, державший нечто вроде салона, но особого круга, — Сергей близко поддерживал отношения с Головиным, но не пользовался со стороны Жени никакой любовью.

Они пришли с Женей, оба сильно пьяны. У меня сидел Мамлеев.

У Гражданкина было совершенно черное лицо, чугунно-черное, иссиня черное, которое бывает, если со всего размаха дать двухпудовой гирей. А у меня сидел Мамлеев. Они как-то вошли, разместились. Гражданкин все больше смотрел в стол.

Выснилось. Они шли по улице — Женя Головин впереди, а Гражданкин, более пьяный, держался позади, неуверенно шаркая ногами об асфальт. Навстречу им двигалась подвыпившая компания — потенциально агрессивная. Женя, поравнявшись с этой компанией, с размаху дал в морду тому, кто впереди [146], после чего согнулся и ловко покатился клубком на проезжую часть. Компания совершенно оцепенела от такой наглости и вызова. А следующим-то брел ничего не подозревающий Гражданкин, и они обрушились на него, били его ногами, валяли. Досталось немного и Головину — как он говорил, «слегка попортили эпидерму». Но это было

---

[146] *Комментарий Джемаля*: Открытие Головина: «Внешний мир воспринимается как удар». Он как-то пошёл по квартирам и звонил в каждую дверь. Когда ему открывал какой-нибудь подсвинок в трениках, он сразу бил его в рожу, говоря: «Внешний мир должен восприниматься как удар».

несравнимо. А вот то, что обрушилось на Сергея, — это было страшно: у него было синее лицо. Думаю, это не прибавило у него любви к Жене.  Но у него хватило сил прийти.

У них были очень странные отношения. Но Гражданкин все время изображал любовь: произносил особо тихим голосом «Женечка». Но никого вокруг это не могло обмануть, всем было ясно, что Гражданкин ему дико завидует и дико его ненавидит.

Его написанный в те времена опус «Похождения Крысы Борбикрены»[147] и по сей день, по-моему, остается единственным законченным произведением Гражданкина.  Он читал нам его вслух, что заставило единственный раз при мне Мамлеева ругаться матом.

Мамлеев завопил: «Ты — бездарь, прекрати немедленно читать эту хрень!». Все очень грубо — я подобные взрывы никогда у Мамлеева не свидетельствовал. И я его понимаю. «Борбикрена» была потусторонним образчиком бездарности. Но это неважно — Гражданкин есть Гражданкин.

Головин жил тогда на Вавилова у своей гражданской жены Ирины Колташевой — Ирины Николаевны по прозвищу Белый Тигр. Он жил с ней и ее сыном Андреем по прозвищу «Пинк Флойд» в маленькой квартирке в цоколе огромного дома.

Муж Ирины Николаевны был полонист, очень известный, недавно умерший. Знаменитый ученый, имевший массу наград от польского правительства. Она и сама была крутой полонисткой. Она откуда-то с Урала, обладала угро-финской внешностью со слегка раскосыми глазами. Знала все славянские языки, была главным редактором издательства «Прогресс» и по совместительству его парторгом. Серьезный номенклатурный деятель. Благодаря ей мы получили доступ в спецхран.

Тогда действовали два издательства по теме иностранной литературы, и одно из них — «Прогресс»

---

[147] Сергей Гражданкин. «Борбикрена (Сны старой крысы)». Опубликовано позже в журнале «Laterna Magica» 1989, № 01

Колташева скрывала существование Жени, никто о нем не знал. Она его, естественно, прикрывала, но была странным существом. Не знаю уровень доверительности между ними. Я даже не представляю, о чем он мог говорить с существом из дремучих уральских лесов, — боюсь предполагать.

Когда она пришла к нам впервые на Гагаринский, села за стол, сняла с руки часы и положила их перед собой на скатерть. Лена спрашивает:

-Это зачем?

-Чтобы помнить про время, за рамки не выходить...

Мы говорим, говорим, Белый Тигр какой-то чай бледненький пьет, и вдруг прыгает и хватает часы. Потом смеется и говорит:

-Как интересно, мне показалось, что это бельчонок передо мной, а это мои часы.

Лена пришла в восторг, она обожала такой глубокий неадекват. По-моему, даже поцеловала ее. С Ириной Николаевной стало все ясно: она — этакое «галлюценогенное» существо. Причем ее «галлюценогенность» порождалась из внутреннего ресурса, из «сдвига по фазе». Милая.

Жизнь у нее была очень тяжелая. Ее воспитывал отчим, который ее травил и преследовал. По пересказам Жени, он мазал волосы то ли льняным, то ли рапсовым маслом, расчесывая их. Почему-то у меня он ассоциировалось с отчимом из «Двух капитанов». Женя, рассказывая о нем, вдруг вспыхнул ненавистью: «Попался бы мне этот отчим!». Я удивился, что он снисходит до таких человеческих чувств. Нечасто меня Женя удивлял таким образом, что у него просыпалось «слишком человеческое»: сочувствие к людям, острая вспышка жалости, ярости, нежелание конфликта.

Головин в необычайной степени обострил индивидуальные процессы, которые шли во мне. Наши разговоры были исключительно провокативными, они стоили многих лекций и книг. Одной фразы, нескольких абзацев разговора хватало для того, чтобы открывались миры понимания.

После знакомства произошло второе видение[148], тоже ночное.

Я увидел абсолютную ночь, и в этой ночи было 12 концентрических[149] колец силы. Эти 12 колец силы были проявлены, и они рассекались 12 лучами. 12 радиусами давая 144 пересечения. Но именно самым главным, самым важным, предельным и несущим в себе смысл, было 13-е, невидимое, кольцо, — Кольцо внешней тьмы. Той внешней тьмы, за пределами которой ничего нет, кроме мрака и скрежета зубовного. Именно оно, это 13-е кольцо, несло в себе тайный смысл, это 13-е кольцо воплощало в себе то, что отсутствует в этих двенадцати. Эти 12 колец покрывали всё, это была та гегелевская идея, которая мыслит и отражает все реальное и нереальное. А 13-е, невидимое кольцо, — то, что в 12 не отражается. И тайна неотражения несла в себе ключ к подлинному.

Я это тоже записал.

В следующий раз я пришел к Головину, как обычно, с Леной, Лена пошла на кухню сидеть с Ирой, а я пошел с ним в гостиную, и там, улучив момент, я ему это изложил, может быть, даже показав бумагу, где я нарисовал схему.

Вместо того чтобы как-то на это откликнуться, произошла вспышка ярости необычайной интенсивности, он просто пришел в бешенство и сказал:

-За этим нужно ползти на коленях! Это нужно выстрадать, а не высидеть в кабинете! Ты не имеешь права высиживать такие мысли в кабинете! Это… это достигается страданиями! к ним надо доползти на коленях по острым камням, обрывая кожу в клочья. Это надо выстрадать годами страданий. Это нельзя высидеть на диване.

Он меня сильно обидел. Я был шокирован и уходил с чувством ressentiment. Откуда он знает, что я чувствовал, что

---

[148] Про первое видение, которое было еще до знакомства с Головиным, см. рассказ «Унибрагилья».

[149] Концентрические круги — круги, разного радиуса, имеющие единый центр.

испытывал, имею я право или нет? Но я понял, что развивать эту тему с ним нельзя. Я пришел к выводу, что он полностью меня не понимает. Потому что я конечно считал, что имею право на эти мысли, на это откровение, просто потому, что оно мне дано. Если кто-то там ползет к этому на коленях по пустыне — это его проблема! А мне вот так вот дано!

Ну, не хотел бы быть грубым в отношении его памяти. Скажу только, что он являлся гуру — и при этом машиной для провокаций по ту сторону добра и зла, по ту сторону человеческих слабостей. На деле роль сыграло мое наивное восприятие, связанное с неопытностью и возрастом.

Это был мелкий эпизод. На самом деле я Головина очень любил. И его интонации, его тембр голоса — они были для меня символичны: как бы детали такой феноменологии человеческой, в которой каждый из элементов был ключом к своему замку, открывавшему дверь в какую-то другую реальность. Как золотые ключики…

Итак, мы с Головиным быстро поняли, нашли друг друга. И скоро возник конфликт с Мамлеевым.

После первой встречи с Головиным на проспекте генерала Карбышева у Мамлеева некоторое время мы встречались еще втроем. Но вскоре я почувствовал резкое неудобство. Головин, я и Мамлеев встречались втроём по инерции от этой первой встречи, поскольку Мамлеев выступал как бы соединительным элементом, но кружка и общего пространства не образовывалось, потому что слишком резко отличалось интеллектуальное пространство. Между мной и Головиным сразу возникла особая интеллектуальная связь, особая химия, когда я понимал его с полуслова, и мне хотелось знать нечто иное, чем те вибрации, которые ловил Мамлеев.

А Мамлеев был «психик», ориентированный на художественное творчество. Ему, например, очень подходил Степанов. Со встреч со Степановым он возвращался заряженным, эти встречи давали ему материал для очередных рассказов. А то, что я почувствовал в Головине, было крайне высоким рафинированным интеллектуализмом. Мамлеев нам

мешал. Не знаю, мешал ли он Жене, но мне он мешал совершенно точно. Может быть, для Головина все было проще, он оставался более отстраненным, но мне Мамлеев мешал, и в какой-то момент я ему об этом сказал:

-Юрий Витальевич, знаете, давайте встречаться порознь, а не втроем. Я буду встречаться с вами, я буду встречаться с Женей, ну и вы встречайтесь с Женей отдельно от меня. А в треугольнике сходиться не будем. Мы мешаем друг другу.

Реакция была неожиданная. Очень резкая, сильная, обиженная. Он практически заплакал.

-Я понимаю. Да, конечно… Вы молодой человек. Молодые часто бывают увлечены… Женя действует на молодых людей. Всё понимаю… Но вы знаете, Головин — это ж ничего особенного. В Жене ничего особенного нет, он жует элементы культуры и сплевывает их в общий котел. И это обычные вещи… всё это обычное… Я понимаю...

Я был в шоке. Мне показалось это безумным. Но пожалел его: все-таки слёзы…

- Вот Юрий Витальевич, честно, у нас с вами замечательные отношения, замечательный контакт, но...

Он утихомирился, и решение было принято

Потом Мамлеев, кажется, даже что-то о моей жестокости говорил. Но мы стали встречаться действительно порознь. Кстати, со своим вторым близким другом, Провоторовым[150], он меня так и не познакомил. Только стихи его приносил и зачитывал, иногда пьяненький начинал рыдать к последним строкам. Но так и не познакомил.

Как-то я рассказал Головину:

- Ты знаешь, Юрий Витальевич смешной, он настолько не понимает, с кем в твоем лице он имеет дело. Он как-то выдал, что ты жуешь какие-то элементы культуры — надо же какое выражение — и просто сплевываешь их в общий котел.

---

[150] Возможно, и сам Провоторов предпочитал сохранять дистанцию из желания не потерять работу: он работал в министерстве просвещения СССР.

Внезапно Женя, вместо того чтобы засмеяться, развеселиться, покраснел и сказал:

- Он действительно так сказал?

- Ну что ты, Женя, это же просто смешное, это такая глупость, я же тебе это рассказал, чтобы ты повеселился.

-Хорошо же...

В общем, Головин был в ярости. Зря я сдал Юрия Витальевича…

Мы с Головиным встречались, встречались очень интенсивно, особенно в период 1969-1972 годов, когда жили на Гагаринском. Я часто к нему ездил, иногда мы приезжали с Леной. Лена шла общаться с Ириной Николаевной, а я оставался сидеть с Женей.

Конечно, это была неравноправная дружба: у нас был большой разрыв по возрасту, разный жизненный опыт. И я субъективно воспринимал все гораздо более остро. Думаю, он в наших отношениях был холоднее и отстраненнее, чем мне тогда казалось. Хотя общее реальное пространство, общая химия имели место.

Это стало страшным развивающим толчком в моей жизни, тем более что Ирина Николаевна как номенклатура, как парторг и главный редактор издательства, имела доступ к спецхрану. А это было гигантское партийное издательство, занимавшееся переводами всей художественной литературой соцлагеря на русский язык. Благодаря ей у меня постоянно были горы книг из спецхрана на английском и на французском.

Я активно занялся изучением традиционалистской школы. Генона я читал по-французски так внимательно, как никогда не читал никакого Гегеля. Можно сказать, сканировал пассажи этого автора, впитывал его. Естественно, это действовало на формирование моего собственного мировоззрения, тем более, что гегелевское высокомерие, гегелевский штамп, который, видимо, испытали молодые люди в 30-х годах XIX века в России под влиянием этого философа, — вот этот штамп был разрушен.

В этом ключевую роль сыграл Юрий Витальевич, когда долго-долго возделывал мое сознание до тех пор, пока скорлупа панлогизма не треснула, не лопнула, не рассыпалась, и я не увидел совершенно иррациональное трагическое мироздание. Мироздание, где ключевым вопросом является свобода, и ключевой константой является несвобода.

В геноновской версии я столкнулся с новой редакцией того же Гегеля, но радикально новой. Если Гегель был Платоном, переговоренным на современном языке и с учетом Аристотеля, — но «Платоном для атеистов», для людей модерна, — то Генон был Гегелем, пропущенным через адвайта-веданту, с учетом современного человека и возвращенный к своим неоплатоническим источникам.

В итоге через некоторое время я почувствовал, что Генон и традиционалистская школа являются для меня вызовом и противником.

Интересно одно замечание Жени по этому поводу.

Когда я стал заниматься Геноном и когда Генон забрал меня уже целиком в свое пространство — фасцинировал[151], как мы тогда говорили, — когда я уверовал в непререкаемую силу генонизма, то как-то сказал:

- Мне кажется, Женя, что у тебя очень мало энтузиазма, когда мы с тобой говорим о Геноне. Но ведь ты же открыл мне этого автора. Почему же ты так холодно к нему относишься?

- Зато ты, по-моему, не очень холодно.

- Да, мне кажется, что он открывает совершенно потрясающую перспективу.

- Ну что же. Видимо у Генона такая планида: его звезда всегда будет для кого-то сиять. Когда она тухнет для одного, она зажигается для другого. Видимо это так и нужно, чтобы звезда Генона всё время кому-то сияла.

Я спросил:

- Женя, а для тебя она потухла?

- Пожалуй, да.

---

[151] Фасцинация — от лат. Fascinatio, «завораживание».

Потом я его спросил, в чем же проблема его отношения, и он ответил:

- Мне не нравится его безусловность, мне не нравится его труба, дудящая с неба и претендующая на статус истины в последней инстанции. Мне не нравится, что это беспроигрышная, безошибочная доктрина, где решены все вопросы, и есть ответы на все. И вот это дудение меня очень раздражает, это на самом деле такая позиция, которую просто невозможно принять всерьез.

Забавно, что, когда Женя в 1969 году узнал, что есть Удам Хальянд, он отказался в это верить. Удам Хальянд[152] — человек, независимо от нас в Таллине занявшийся шиизмом, шиитской традицией, тем, что называется философией «ишрака»[153]. Он перевел с фарси «Шорох крыльев Азраила», еще какие-то тексты. Он защищал диссертацию, сидел в Ленинке чуть ли не в конце 50-х или начале 60-х, сидел в спецхране. Там он познакомился с Геноном, с реальной западной традиционалистской мыслью. И вот году в 1975-76 на меня вышли люди из Прибалтики, довели информацию, что есть такой Удам Хальянд, который является нашим человеком.

И я Жене говорю:

-Представляешь, есть эстонец, который совершенно независимо от нас прошел в лаптях обутый весь спецхран, знает Генона, читает по-французски, по-немецки, и это полноценный человек нашего круга.

И Женя говорит резко:

-Этого быть не может.

-Но почему, мне это сказали третьи люди, которые не от меня услышали и под меня подстроились. Независимо мне о нем сказали, не я их учил, что есть Генон, есть спецхран.

-В этой стране только два человека знают Генона — ты и я. Никаких Удамов Хальяндов быть не может.

---

[152] Хальянд Удам (1936-2005) — автор перевода смыслов Корана на эстонский язык.

[153] «Метафика света», религиозно-философское учение о свете и мистическом озарении.

Потом он, конечно, изменил свою точку зрения, но его первая реакция была не шутливая. Идея некоего абсолютного эксклюзива работала на уровне тика.

При этом, когда сталкивался вне своей закрытой сферы с идиотизмом вроде Фоменко и Носовского или с проявлением шукшинских характеров типа «Срезал» — «А как там жизнь на Луне, товарищ ученый? А на Марсе чё там происходит? Что, не можете сказать?», — это конечно коробило.

Головин много значил для меня не только в интеллектуализме. Потом в наших отношениях появилась проблема: между нами встала Лена, которая влюбилась в Женю, как многие женщины, которым он попадался на глаза.

Это разрушило и мой дом[154], и Ирина Николаевна тоже как-то осталась на бобах. Потом она мне же проклинала свою доверчивость, когда она приходила и «ловила белочек» в нашем доме, думая, что Лена является ее подругой. Но это следующая глава жизни.

Наша с Головиным дружба длилась года три. Может, и побольше. Может, четыре. Она продолжалась и после того, как она «омрачилась». Я решил Лену освободить от всяких обетов. Решил, что стою выше ревности, цепляния за женщину.

И наши отношения с Головиным продолжались. Они фактически продолжались примерно до 1980 года, но уже с большим скрежетом, и последний всплеск был, когда он ко мне приходил в 1985. Тогда уже Гюля была. В 1985 году был его последний визит, а я с Гюлей ездил на Рублевку, где он жил с Леной. Но это всё уже как сквозь вату, как сквозь туман.

Его последний визит на Болотниковскую я очень хорошо помню. 1985 год. Только появился Горбачев. Головин пришел и сказал, что наконец-то русский народ обрел совершенное выражение чёрта, — выражение, соответствующее его

[154] На самом деле, по свидетельству друзей, никакого «дома» к тому времени у Гейдара с Леной уже не было: он и общались, но у каждого была своя личная жизнь. Видимо, психологическая подоплека этой проблемы была все же сложнее, чем просто «Лена влюбилась в Женю».

фундаментальной традиции, гениально воспроизведенной Гоголем.

-Ты знаешь, наступило время выхода коллективного бессознательного русского народа на поверхность!

- В чем это заключается?

- Горбачев воплощает образ чёрта, который есть в русском сознании. В русском сознании чёрт воплощается в двух ипостасях: это Хлестаков и Чичиков. Два фундаментальных образа чёрта. Чёрт Ивана у Достоевского — это вымученный черт, не настоящий, не имеющий отношения к русской идее чёрта. Вот Хлестаков — это чёрт. И Чичиков. И Горбачев воспроизводит алгоритмы, в буквальном смысле, обоих. Он одновременно и Чичиков, и Хлестаков.

- Вот при его приходе прозвучала фраза о том, — продолжал Женя, — что «мы должны встать твердой ногой на прочное основание». Это ведь буквальная цитата из Гоголя: это фраза Чичикова. Причем употреблена Горбачевым бессознательно, то есть он не имитировал Чичикова, это не писал спичрайтер, а это спонтанно: «встанем твердой ногой на прочное основание». Это ведь чёрт, который спрыгнул со страниц Гоголя. Это абсолютно инфернальная модальность. А Хлестаков — ну, парадигму Хлестакова в нем мы видим сразу. То есть Горбачев соединяет в себе обоих. Наконец-то мы дожили до того времени, когда русский черт занял позицию верховного управителя. Коллективное бессознательное русского народа в его инфернальной проекции вышло наружу и физически воплотилось — наш еще и меченый.

Это было самое начало горбачевского правления, когда вообще не было еще ясно, кто это такой, еще никакой «перестройкой» не пахло, запрет на нетрудовые доходы был впереди. И Головин, который всегда бравировал неким аполитизмом, говорит: вот человек, который воплощает в себе две ипостаси русского черта.

Это было очень глубокое его прозрение в ситуацию.

Вторая у Головина в тот день тема была, что все маститые представители советского славянофильства,

Кожиновы и Палиевские[155], застучали хвостами и задвигали ушами, принюхиваясь, потому что поняли, что начинается что-то небывалое, и царство их диванного комфорта и господства кончается. Все эти правые, все русофилы внезапно почувствовали, что у них из-под ног выдернули коврик. Старые славянофилы, прикормленные, сытые, очень спокойные, знавшие «начертанный путь», пригревшиеся со своими женами-еврейками в тени толстых журналов, чувствуют, что надвигается нечто, что должно их смести. Женя этих упитанных национал-котов знал. Я-то нет. Для меня Кожинов было просто имя, тем более Палиевский. Мне много рассказывал про всю эту славянофильскую братию Писарев, с которым я познакомился лет через семь-восемь после того разговора. Он как раз общался и с Кожиновым, и с Палиевским, потому что ему удалось в те годы стать редактором какого-то отдела в «Нашем современнике».

Возвращаясь к Головину. Достаточно долго говорил он — без юмора и эксцессов. Это был один из последних разговоров. Я его запомнил. Он проговорил в тот день эти две темы: ужас славянофилов перед назревающей катастрофой, которую они смутно чувствуют, и сатанинскую природу Горбачева. Он говорил сам с собой.

Это была наша последняя встреча, когда Головин говорил развернуто.

Однажды мы столкнулись пасмурным осенним вечером на остановке. Настроение Жени было подстать погоде. Он был не в пример себе прежнему угрюм, замкнут и чем-то озабочен.

Женя с ходу выпалил:

---

[155] Вадим Валерианович Кожинов (1930 — 2001) — советский, затем российский литературовед, критик и публицист. Красной нитью через всё творчество В. В. Кожинова проходит мысль об исторической преемственности советской России по отношению к Российской империи.

Пётр Васильевич Палиевский (1932 —2019) — советский и российский критик, литературовед, доктор филологических наук. В 1960—1970-е годы принимал участие в русском патриотическом движении, был одним из создателей «Русского клуба».

-А ты знаешь, что знание слова «Аллах» на треть спасает человека от l'aurore du Mal — «зари зла» — в могиле?

-Так ведь много кто знает это слово — что же получается, каждая сволочь достойна спасения?

-Нет, ты не понял, спасется лишь тот, кто знает сокровенный смысл этого слова, познает его подлинную суть, она станет защитой от могильного зла.

…В последующие годы все происходило уже очень формально: Лена что-то готовила, какие-то посиделки, тягостные для всех. На бытовом, личном уровне наши отношения полностью исчерпали себя.

Физически исчерпали, но в духе он так и сияет вечным золотым иероглифом…

## Унибрагилья

Между мной и Мамлеевым существовали очень острые интеллектуальные отношения — еще до Головина. Мы все время вели очень серьезный спор, потому что я стоял на платформе гегелевского панлогизма и считал, что все реальное и нереальное, схвачено в глобальном интеллекте, который все это содержит в себе и рефлективно постигает. Все есть Идея и нет ничего кроме Идеи, являющейся мыслящим само себя интеллектом. Вне него нет ничего. Даже то, что вне его, является аспектом его же самого. Этакое гегельянство, недостаточно отрефлектированное и не продуманное, — хотя мне казалось, что понятое мной.

Мамлеев все время спорил со мной. Он называл меня Дарюшей и говорил: «Нет, нет, Дарюша, поймите, вы должны понять, что есть нечто, о чем этот интеллект ничего не знает вообще, нечто за пределами интеллекта». А я говорил, что нет ничего такого, все — внутри.

Иными словами, панлогизм Гегеля отражает абсолютно всё, или есть нечто, что не может быть отражено в этом панлогизме. Нечто, что тотальный, абсолютный, всесовершенный интеллект не может в себе содержать, — и именно это, что он в себе не содержит, и есть главное. Вот в это все упиралось.

До какого-то момента я с Юрой спорил, но после перешел на противоположные позиции и увидел, что тотальный интеллект, универсальное «Всё», которое есть «Нус», вселенский разум, Логос, — это просто чаша, существующая только для того, чтобы не содержать в себе того, что содержаться в ней не может. И это единственное, что является предметом утверждения.

В какой-то момент после очередной бесплодной разборки у меня случилось видение ночью. Это было видение колоссального существа, распятого в центре некой бездны и отражающегося в бесчисленных зеркалах, уходящих вдаль, повторяя друг друга. Это колоссальное существо, распятое в центре, было всем: «богом», Существом, Сущим, Бытием,

Денницей, Люцифером, Аполлоном. Оно отражалось в бесчисленных зеркалах, и оно было абсолютно несвободно, оно было велико, несчастно. Оно страдало, и страдания были безмерны. Несвобода была безмерна. Всемогущество и духовность, присущие этому существу, были безмерны, и при этом оно было абсолютно несвободно. И на каком-то уровне разбегающихся анфилад существовал человек как отдаленное отражение. На уровне этого человека существовал шанс бунта и шанс освобождения. Почему? Потому что более близкие отражения были привязаны к своему оригиналу, они не могли восстать, потому что оригинал был в этих отражениях слишком силен, то есть несвобода слишком четко проявлялась. А более дальние отражения уже размывались: пятна вместо изображений. Там существовали более высокие степени освобождения, но это освобождение уже было никому не нужно, потому что это освобождение хаоса, которое не ценно. А здесь еще форма сохранялась, это был баланс формы и удаленности, когда освобождение имело смысл, это было освобождение именно вот этого. И существо, распятое в центре, ждало бунта и освобождения именно от человека, которому оно передоверяло восстание. Оно было всем, но при этом оно было абсолютно несвободно именно в силу того, что оно есть *Всё*.

Я записал это видение — очень подробное, страшное и жуткое, очень пронзительное. Записал на тонкой пергаментной бумаге фиолетовыми чернилами. Когда Мамлеев явился на следующий день, я ему это все прочитал. Он упал передо мной на колени, заплакал и сказал: «Теперь вы наш!». Но после этого во мне что-то произошло…

Однажды Мамлеев пришел ко мне встревоженный, торжественный и внутренне притихший, и сказал:

- Дарюша, вы слышали что-нибудь об Унибрагилье?

Всегда он в нашей среде называл меня Дарюшей.

Я посмотрел на него и сделал вид, что жду продолжения. Он сказал:

- Да, Унибрагилья и его концентры.

Естественно я слышал это в первый раз, но что-то толкнуло меня, и я сказал:

- Да, Юрий Витальевич, наконец-то вы вышли на тот уровень, о котором я могу с вами говорить. Я знаю про Унибрагилью и ее концентры.

Он затрясся и спросил:

- Что? Что вы знаете?

- Сначала вы скажите, откуда вы это услышали?

- Об этом говорил Степанов, но Степанов это так, это просто переносчик.

А у Мамлеева все были «переносчики», все «жевали и сплевывали», все каких-то блох из атеизма на себе несли, которых надо было ловить и отсеивать.

- Он переносчик, он сам что-то слышал, все что-то мутит-мутит. Но я знаю, что в этом есть глубокая последняя абсолютная тайна.

- Да, Юрий Витальевич, я знаю об Унибрагилье и ее концентрах.

- Что?

- Это особая тема, но я вам могу сказать. Концентры Унибрагильи покрывают всю реальность, но эти концентры связаны с тем, что находится вне их, за их пределами. Представьте себе, что в центре есть некая точка. Точка в центре бесконечности. В этой бесконечности естественно нет никакого центра, ни ориентира, ничего, что это как-то дефинировало. В любой точке вы находитесь *здесь*. Но любая точка равна другой. И вот вы внезапно ставите решительную, реальную точку и протыкаете этот лист бумаги. У вас появляется центр. В этом центре бесконечность кончается. Вы ограничиваете ее этой точкой. И тем самым в этой точке концентрируется весь потенциал той протяженности, идущий вокруг нее концентрами, все схвачено. Есть 12 концентров вокруг этой точки, они полностью исчерпывают весь потенциал этой бесконечности. Но важен только 13-й концентр, невидимый концентр, находящийся вне этой протяженности. Вы не уязвили эту протяженность, поставив точку. Лист бумаги, который был абсолютно незапятнан,

гладок, бесконечен, вы поставили точку и пробили этот лист бумаги, вы овладели им. Но 13-й концентр — это то, что не «ранено» этим центром, то, что находилось за пределами этого. И он тем самым тайным образом вступил в связь с этими концентрами. Это обращение, это апелляция к тому, чего в этом листе бумаги не было и быть не может[156].

Юрий Витальевич меня внимательно выслушал и сказал:

- Да, я знал. Я знал, что это именно так, именно в эту сторону. Это именно сюда должно быть. Речь идет о том, что по ту сторону Абсолюта, за пределами Абсолюта, вне его.

Самое интересное то, что спор между нами шел задолго до того, как мне было видение о распятом существе, которое является всем и лишено тем не менее всякой свободы, отражается в бесчисленных зеркалах, — спор шел о том, есть ли что-нибудь вне Абсолюта.

И тут ко мне приходит человек и говорит мне про Унибрагилью и ее концентры. И это как бы замыкается. Я ему говорю, что есть чаша из 12 концентров, возникающая посреди бесконечности, она организует эту бесконечность, но таким образом, что эта бесконечность есть выраженная чаша, или выраженное зеркало, — все, адресованное к этому 13-му концентру, 13-му кругу, который символизирует то, чего в этой чаше, в этой бесконечности нет.

В этот момент Юрий Витальевич стал абсолютным адептом Унибрагильи, для него все стало на свои места. Я ему запретил говорить на эту тему со Степановым.

Потом, улучив момент, я как-то со Степановым начал этот разговор:

- Володя, а вот ты коснулся такой темы с Юрием Витальевичем? Ты говорил с ним про Унибрагилью?

Он засмеялся и погладил свою раввинскую бороду.

---

[156] Очевидно, что Джемаль пересказывает Мамлееву свое второе ночное видение. То есть описываемая встреча произошла уже после знакомства с Головиным. Первое видение, описанное в начале рассказа, было у Гейдара до встречи Евгением Всеволодовичем.

- Про Унибрагилью? Да, Юрочка что-то такое бормотал, и я подыграл ему.

То есть Юра принес это мне как некую утечку от Степанова. Я эту тему поддержал, запретив ему со Степановым о ней говорить. А Степанов сказал, что он подыграл Юре, который бормотал что-то невразумительное, и он ему это отпасовал.

Просто гениально! Вот, что называется, эзотеризм в чистом виде.

Увидев, что волейбольный мяч гуляет в бесконечном n-мерном пространстве, я тут же тему прекратил, чтобы не профанировать, отсек ее. Сказал Степанову, что все понятно, ясно все. И зарезервировал это себе.

На самом деле Унибрагилья и ее концентры — та реальность, выпестованная в те дни, — и является Традицией Традиций, ради которой ведется страшная борьба между двумя антитезами: чистым монотеизмом, с одной стороны, и абсолютным монизмом, с другой. Вот именно эта страшная борьба ведется с подразумеванием тайной Унибрагильи, абсурдным образом прорезавшей себя в несуществующем слове.

Спустя много времени я искал во всех словарях, энциклопедиях, рукописях, летописях слово «Унибрагилья», — и там нет даже намека.

Слово из ниоткуда и обозначает то, что не содержится во Всем.

Все, как пустая чаша, которая не может в себе содержать нечто, потому что оно не может содержаться ни в чем, — Унибрагилья и ее концентры.

Интересно, что эта тема не коснулась Головина, не коснулась диалогов с ним. Не напрасно я развел тогда Мамлеева и Женю в отношении себя, потому что Женя относился нетерпимо ко всяким импульсам, приходящим на том уровне, который он считал недостойным соприкасаться с его подразумеваниями.

Юрий Мамлеев уехал в Америку в 1974 году, года через три после того как состоялась беседа. Через 15 лет он вернулся. И вот недавно он умер[157]. И до самого конца он нес в своей груди как самое святое, как самое драгоценное, тайну Унибрагильи.

Последнее, что он шептал, когда искал мою руку на одной из последних встреч перед своей смертью: «Дарюша, Унибрагилья. Наша Унибрагилья».

Юра ушел с этим. Ушел в глубокую ночь.

Мамлеев был великим уникальным человеком. Он пришел с мороза, шепча это слово, и ушел в никуда с этим словом в сердце. И, наверное, это была его важнейшая миссия в подлинной истории.

Не в той истории, где мы пишем и читаем книжки, а в подлинной истории.

[157] В 2015 году.

# Степанов[158]

Невозможно пройти мимо фигуры Владимира Степанова. К сожалению, сегодня она маргинальна и в присутствии своем в интернете, и в медиа, да и в воспоминаниях людей. Или проходит тенью, или вообще не присутствует. Есть пара человек, с ним связанных, которые что-то говорят, что-то пишут, но они недостаточно значимы, недостаточно громко говорят, недостаточно интересны. Их бормотание никак и никем не оценивается.

А между тем Степанов был необходимым элементом треугольника, который я называю «магическим»: Мамлеев, Головин и он, Володя Степанов. Степанов служил источником вдохновения для Мамлеева, Головин держал с ним определенную дистанцию, оправданную иронией, но какая-то связь всё равно у них сохранялась. Сам Володя жестко и глубоко верил в существование такой связи с ними обоими. Хотя все складывалось несколько проблематичней.

Есть тернер и кватернер — фундаментальные геометрические понятия. Если треугольник поднести к зеркалу, то получается некий квадрат. Треугольник всегда можно доработать до квадрата простым поднесением его к зеркалу.

Почему, скажем, три мушкетера? Там же существует Д'Артаньян. Имеются Атос, Портос и Арамис, и где же там Д´Артаньян? А вот в том-то и дело, что Д'Артаньян — виртуальная точка магического кватернера, потому что он возникает, когда треугольник Атос-Портос-Арамис откладываешь в сторону или подносишь к зеркалу. В этом смысле Д'Артаньяном, или магическим замыкающим кватернера, был я. Мы с Леной устанавливали такие контакты, ездили к Жене, к Степанову (по крайней мере одну поездку я точно помню, — дальше, может быть, я один ездил).

---

[158] Владимира Григорьевича друзья и ученики называли по-разному: Джи, дядя Володя, Владимир Григорьевич и, возможно, как-то еще. Джемаль, говоря о нем, почти всегда называл его Степановым.

Мамлеев у нас дневал и ночевал. Это были основные контакты, замыкавшиеся в магический кватернер. Но он был связан именно с переворачивающимся треугольником, где четвертая точка не называлась или стояла особо. Это был я.

Я не помню, как и кто привел Степанова в мой дом, как получилось, что мы встретились, но каким-то образом он возник, наверное, году в 1969.

Сначала он появился у меня. Обстоятельств не восстановлю, но я помню, как мы с Леной ответили встречным визитом. По-моему, это было на 5-й Парковой улице. Мы приехали в блочный советский дом. Двухкомнатная квартира из тех, где одна из комнат проходная, в дальней комнате спала бабушка, мать Гали Старовойтовой, жены Степанова.

Когда позднее я увидел депутатшу Галину Старовойтову, убитую в ельцинские времена, меня поразило совпадение. Но убитая была плотной, а жена Владимира — тонкой, узкоплечей, узкобедрой, похожей на вьющийся стебель. А когда она надевала меховую горжетку, становилась похожа на лису, вставшую на задние лапы.

С этим домом много связано, и до сих пор, когда я слышу упоминания о Парковых улицах, эти слова проходят тенью по душе. Квартира с советскими зелеными радиаторами, о которые потом не помню кто однажды разбил себе голову.

Самое ужасное и неприятное для меня, что посреди квартиры стоял манежик, и в этом манежике прыгало орущее существо месяцев десяти, — плод семейства Степановых. Это был Андрей, которого звали тогда Квакушей, и еще много лет его так звали, а теперь это высокого роста мужик на пятом десятке[159]. Квакуша стал неким символом, знаком наших отношений. Он прыгал и квакал в своём манежике под какой-то светский разговор ни о чем.

Но отношения у нас завязались.

---

[159] Стараниями Андрея Степанова и его супруги Евгениии Бубер изданы книги Головина, Мамлеева, самого Джемаля, а также, разумеется, Степанова-старшего.

И вот Степанов. Человек среднего роста, чуть ниже меня, с брюшком, очень плотный, без талии. Как сказал Вадик Попов — «с лицом породистого раввина». Точеный прямой нос, можно сказать римский, шедший ото лба, и роскошная черная борода. Он имел правильные семитические черты лица. Хотя он не считал себя ни в коей мере семитом, а происходил из Воронежа.

Его брат занимался при ЦК итальянскими партизанами и коммунистами. Я с ним один раз встречался. Совершенно гопнического вида мужичок, который вышел порыбачить. Он собирал дымковскую игрушку. У него имелась масса разных книжек, написанных про итальянских партизан, он постоянно общался с какими-то итальянскими антифашистами и ездил туда. Пробы на нем негде ставить, на этом брате.

Была у них еще и сестра, киношница и замужем за кинорежиссером. Очень красивая девушка, с черными волосами, похожая на черную кошку. Как-то я сидел у нее в гостях, речь зашла о Шукшине и его книжке о Петушке и царе Салтане, намекающей на шукшинский антисемитизм. В общем, скандал какой-то произошел.

Степанов был чернобородым эзотериком.

Головин рассказывал, что в какой-то период Володя женился на Гале. Она владела английским языком, окончила иняз и вдруг отправилась в Индию. Степанов остался один и началось счастливейшее время его жизни, как говорил Женя, сардонически ухмыляясь. Он сидел в библиотеке, в книгах, и находился под влиянием некоего Кёрдемона (был такой, позднее уехал в США и стал там миллионером на мультиках). Кёрдемон занимался эзотеризмом, и они в советскую темную ночь заново открыли Гурджиева и занимались им очень круто.

Позже Степанов заинтересовался суфизмом, открыл для себя Идриса Шаха, стал получать письма от Роберта Грейвса[160], великого масона-поэта, автора «Белой Богини».

---

[160] Роберт Грейвс (англ. Robert Ranke Graves; 1895 — 1985) — британский поэт, романист и литературный критик. В течение своей долгой жизни создал более 140 произведений, среди которых бестселлерами стали два —

Роберт Грейвс приехал в Советский Союз и побывал у Володи Степанова, точнее, у его брата на даче. Дача принадлежала брату.

Есть знаменитая фотография, где Роберт Грейвс в сетчатой майке-алкоголичке с бретельками вскапывает землю под яблоней в саду. Увидев эту фотографию, Женя сказал, что потерял сразу всякий интерес и уважение к Роберту Грейвсу, — если оно и было до того. Отныне для него Роберт Грейвс — это тот, кто со Степановым в саду окучивает яблоню.

Отец всех Степановых, согласно той истории, которую я слышал, служил комиссаром у Котовского. А Котовский был, как известно, фанатом эзотеризма и возил за собой четыре огромных сундука литературы с редкими и очень качественными изданиями дореволюционной литературы на эту тему. Сотрудничал с журналом «Изида»[161], его издателем был Трояновский, который выпустил много книг по оккультизму. Я читал по крайней мере один или два номера. Там были «Арканы Таро» Шмакова, первые номерные переводы Ницше, даже что-то по-немецки. Котовский изучал немецкий, чтобы поехать в Германию учиться на агронома. Не получилось, но немецкий выучил.

В общем, целая библиотека. Как гласят слухи, эта библиотека оказалась в итоге у отца Степанова. А отец стал преподавателем философии в ИФЛИ[162], том самом знаменитом масонском эзотерическом гнезде, из которого вышли все

---

исторический роман «Я, Клавдий» (1934), который был экранизирован в 1976 году, и мифологический трактат «Белая богиня» (1948).

[161] «Изида» (издавался в 1909—1916 годах, Санкт-Петербург) — «журнал оккультных наук». Главным редактором был Трояновский А. В., который перевёл и издал много известных книг по оккультизму.

[162] Московский институт философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского (МИФЛИ, часто просто ИФЛИ) — гуманитарный вуз университетского типа, существовавший в Москве с 1931 по 1941 год. Был выделен из МГУ, но в 1941 году снова с ним слит.

«Ифлийцы» – так в хрущевскую оттепель, когда наконец были опубликованы их стихи, стали называть молодых поэтов, посещавших в конце 1930-х поэтический семинар при Гослитиздате.

Давиды Самойловы, особые персонажи-ифлийцы, особое братство. В большинстве своем поэты, но некоторые стали чуть ли не философами.

И вот эти четыре огромных сундука книг, которые он возил за Котовским на тачанке, расположились в невероятных дубовых шкафах на той самой даче, где бывал Роберт Грейвс.

Мне долго морочили голову этой библиотекой.

Во-первых, Женя мне про нее рассказывал, а во-вторых, когда к Володе обращались, он загадочно ухмылялся, гладил бороду и говорил, что кто будет себя хорошо вести, тот, возможно, когда-нибудь увидит эти шкафы. Сам он мог их видеть только во сне, потому что на всем сидел брат. Если эта библиотека не миф, а реальность, то она, как дымковская игрушка, — в распоряжении брата.

В какой-то момент Степанову непосредственно из ЦК предложили стать аспирантом по особой теме в институте философии и будто бы именно за то, что он лично знаком с Робертом Грейвсом. Надо сказать, сам Степанов закончил désинститут по английскому языку. С грехом пополам знал английский, но такой казенный, формальный английский, нормальный для советского времени. По крайней мере, книжки на нем читать и писать он мог.

Галя вернулась из Индии досрочно в 60-е годы. А бабушка получила квартиру на 5-й Парковой — как «заслуженный педагог РСФСР». Квартирку дали бабушке, а та пустила пожить дочку с зятем.

Степанов был очень интересный человек. У меня лежит книжка, изданная его сыном в «Эннеагон Пресс», связанном с «Октагоном», который был создан в свое время с Идрисом Шахом, — такие ядовитые отпочкования того мухомора, возросшего в Лондоне, и сейчас дают поросль.

Но Степанов был человек, который не исчерпывался тем, что он мог написать. Когда ты с ним говорил, ты погружался в особое состояние, потому что он был медиумичен, он ловил и пасовал тебе самые глубокие подразумевания твоей собственной мысли. Степанов входил в твое состояние и становился зеркалом, ты с ним общался и выявлял такие

оттенки мысли, которые никогда бы не мог выявить с другим человеком: тот был бы просто столбиком, отшибающим пасы в свою сторону.

А Володя эти пасы принимал и довершал, как будто все мячи, ему посланные, уплывали в зеркальную поверхность, кружась и исчезая в недрах. У нас были очень хорошие отношения, и я думаю, что меня он любил.

Как-то раз сидели мы на Гоголевском бульваре на скамейке в плащах, моросил дождик, и говорили мы об Идрис Шахе. Что-то я такое — может быть даже уважительное — про Идриса Шаха сказал, на что мне Степанов с раздражением бросил:

- Да если ты кинешь свою кепку на одну чашку весов, то Идрис Шах с другой чашки улетит вверх.

Меня это поразило.

Но случилась одна очень неприятная история, связанная с Юрием Витальевичем, который к тому времени уже года полтора находился в Америке, в Корнеллском университете. А я в это время уже переехал с Гагаринского на Большую Очаковскую улицу, — в квартиру, связанную с большим темным периодом в моей жизни, очень мучительной полосой. Но она скрашивалась тем, что туда приходили мои друзья, и я сам оттуда часто уезжал.

И вот мне пришла открытка от Юрия Витальевича. Это меня потрясло, потому что он уехал и как бы оказался по ту сторону всего, практически умер. Он писал, что он в Корнеллском университете, что ему замечательно, что он в эзотерическом обществе, в масонской ложе, среди крутых людей, «исполинов», которых в России отродясь не водилось, «а таких, как Степанов, здесь сотни».

Я это прочел, пожал плечами. Юрочка, конечно, увлекающаяся натура. Положил эту открытку на стол — тяжелый дубовый, еще дедовский, обеденный стол, переехавший со мной на эту несчастную Большую Очаковскую. Когда-то он стоял на Мансуровском. Бросил открытку — и вдруг звонок в дверь. И что вы думаете —

входит ко мне Степанов. В гости заехал. Люди приходили всегда без спроса, и тогда это было нормально.

В то время у нас даже не было телефона. Я ходил звонить к автомату на улицу, как на даче. Прежде телефон всегда был поблизости, пусть даже в коридоре. Тяжелые черные телефоны, стоящие или висящие, прикрученные к стене, но все-таки дома. А тут приходилось выходить. Поблизости было два или три телефона в будках, один из которых всегда не работал.

И тут раз — приходит Степанов.

- Ну что же, Володя, проходи.

И думаю: лежит же там эта открытка на столе — хоть бы она ему на глаза не попалась. А он проходит и на тебе — не в кухню, куда я его провожаю, а напротив, в столовую. И сразу к этой открытке:

- Что тут у тебя за открыточка? — так бесцеремонно. — А, от Юрочки!

Я не успел ее выхватить. Он ее берет, читает, и я думаю: «Ну и черт с тобой, раз ты такой бесцеремонный, то и получай».

Он ее читает, лицо у него меняется.

- А таких, как я, там сотни... Эх Юра, Юра, а я же с тобой работал. Ничего-то ты не понял. Ну ладно.

После этого пошли мы пить чай. Видимо, день у него пропал. А нечего хвататься за чужие письма на столе! В общем, был наказан.

Но я почувствовал сердечную боль по поводу Степанова. На самом деле это был талантливый человек — реально талантливый. Но человек, пораженный неспособностью этот талант оформить как бы то ни было. Он был очень интересен, и разговоры с ним завораживали.

Потом он сам уехал в Голландию, не так давно он умер от рака.

Я видел его незадолго до смерти. Это уже не был тот породистый «сытый раввин», вызывавший такие смешанные

чувства у нашего доброго друга Вадика Попова[163]. Это был абсолютно тенеподобный человек с обкорнанной седой бородой, явно на краю могилы. Он в эту могилу вскоре и сошел.

У Аристакисяна [164] случилась последняя встреча за полгода до его смерти. Он рассказал, как в Испании Степанов читал лекции то ли про Кастанеду, то ли про Гурджиева. Не без юмора: искра от прежнего Степанова в нем сверкнула. Переводили его на испанский какие-то мексиканцы, знавшие почему-то русский язык. А, может, с английского переводили. Народу набежало много.

А потом он умер. Это было удивительно. Было в нем нечто такое, что не предполагало мысли о смерти. Он, как Николя Фламель[165], должен был быть вечной странной тенью, участником многих собраний на протяжении многих эпох.

Нереально талантливый был человек.

То, что он умер, выглядит более нелепо, чем смерть всех остальных моих друзей.

---

[163] О Попове дальше: это именно он назвал Степанова «сытым раввином».

[164] Артур Аристакисян (род. 1961) — российский и молдавский кинорежиссёр, сценарист и оператор. Автор фильмов «Ладони» и «Место на земле», получивших многочисленные премии на международных фестивалях.

[165] Николя Фламель (1330—1418) — французский алхимик, которому приписывают получение философского камня и эликсира жизни.

# Диссиденты и я

В этой компании было несколько кругов[166]. Круг Делоне и Богораз. Круг Краснова-Левитина. Были православные внутренние диссиденты, интеллектуалы, заточенные на метафизику, на религию, — это было интереснее, несколько ближе. Потом шел более дальний круг.

Буковского я при знакомстве никак для себя не выделил. Тогда было много одиноких благородных героев — со всеми я пересекался у Олега Трипольского: Галансков, Добровольский, Марченко. С Марченко было мимолетное знакомство, встреча. С Делоне были контакты[167]. Между нами установилась общая атмосфера взаимопонимания, приятия, даже дружбы.

Я их целиком и полностью поддерживал, потому что ненавидел эту власть. Но эти люди мотивировались чем-то

---

[166] Имеются в виду «круги» с точки зрения Джемаля: его круги общения. Реальные внутренние расклады в диссидентских кругах могли быть другими.

[167] Вадим Делоне (1947 —1983) — русский поэт, писатель, диссидент, участник демонстрации 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию.

Анатолий Марченко (1938—1986) — правозащитник, известный советский диссидент и политзаключённый, писатель. В сентябре 1981 года был осуждён в шестой раз по ст. 70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда»). Приговорён к 10 годам в колонии строгого режима и 5 годам ссылки. 4 августа 1986 года Анатолий Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключённых в СССР. Голодовку Марченко держал 117 дней. По одной из распространённых версий, его смерть и реакция на неё подтолкнули Михаила Горбачёва начать процесс освобождения заключённых, осуждённых по «политическим» статьям.

Юрий Галансков (1939 —1972) — русский советский поэт, диссидент. Умер в лагерной больнице.

Алексей Добровольский (1938 —2013) — советский и российский идеолог славянского неоязычества (родноверия) (с 1980-х годов), один из основателей русского «родноверия». Был диссидентом, но в 1967 году на суде, «процессе четырёх», дал показания против себя и своих товарищей.

другим. Бунтари, но они верили в какую-то «правду». Задним числом я понимаю, что они верили в тот посыл, который был им привит социумом в самые первые годы существования на Земле, — посыл «за все хорошее». Потом они обнаружили, что существует страшный провал между тем, что социум им привил, и тем, что этот социум представляет собой, что он реализует.

И они взбунтовались.

С одной стороны, они обнаружили, что правда не здесь, а «там». И они стояли за «те» ценности. Совок же тоже не отрицал их — во всяком случае, на словах. В детском саду, скажем, в пионерии не отрицали же общечеловеческие ценности. Потом эти люди стали это все пересматривать. Но откуда они взяли критерии? Откуда они взяли ориентиры? Они стали говорить, что та же «пионерия» — ложь, инструмент лжи. Но они же получили изначально некую матрицу, что такое хорошо, что такое плохо.

В чем огромная разница между мной и ими? Для меня не было идеи «хорошо». Идея «блага» для меня скисла. Для них идея «блага» оставалась актуальной, как и общечеловеческие ценности.

Люди выходят в 1968 году, поддерживая Пражскую весну. Они вышли против советского вторжения в Чехословакию, потому что это вторжение давило и топтало Пражскую весну. Я, конечно, тоже их поддерживал, потому что их выход был против советской власти. Я поддерживал все, что было против советской власти.

Но если идти глубже, вскрывать метафизический контент, если начать серьезный разговор о мотивации, о причинах, то станет ясно, что они верили в человека, в ценность человеческого существования, в свободу. Они не были антигуманистами, а я им был изначально. В этом все дело.

Они были «лехаим», а я был «анти-хаим»[168].

---

[168] В дословном переводе с древнееврейского на современный русский фраза «ле-хаим» означает «за жизнь».

Они были «русские мальчики».

Их аскеза не имела значение. Взять «аскетичного» Базарова из «Отцов и детей» — он же гуманист, он за позитив, за свободу, за счастье, за прогресс.

Диссиденты мотивировались не антигуманистической, а гуманистической идеологией. Они считали Совок лживым антигуманистичным, угнетающим человека, который построен на фальши, на ГУЛАГе. Все эти люди были ориентированы на «общечеловеческое», на Запад.

Я принадлежал к другому кругу — не к конфликтно-политической тусовке, которая приходила и садилась на площадь. Сфера моих интересов лежала в другом. Эту политическую тусовку с её бессмысленными целями я воспринимал как конкурентов. Чего они хотели?

Я-то знал, что хочу. Я хотел личной своей диктатуры, хотел осуществить трансформацию общества, хотел тоталитарный режим, но альтернативный и враждебный коммунизму. Я хотел национал-социализм без пролетарской демагогии, без рабочих, без Atbeiter Partei. Чуть позднее я установил, что моя позиция в этом плане приближалась к Юлиусу Эволе, который считал, что дуче слишком заигрывает с рабочими, с низшими классами.

Центром для меня были метафизические вопросы, совмещение метафизики и политики. В политике для меня было все ясно: не «общечеловеческие ценности», а «сакральная диктатура». Но вот метафизика раскрывалась долго и проблемно, как внутренняя составляющая, внутренняя мотивация всего остального.

Диссиденты очень мало написали. Самиздат начали не Гансков, Добровольский, Марченко и Буковский. Самиздат — это Шаламов, Солженицын, другое поколение, которое я не видел глазами. Я видел молодых людей, своих сверстников или чуть старше. Они ничего такого не создали. Мы общались с ними, когда они еще ничего не написали.

Амальрик, правда, написал книжку [169], которая произвела на меня очень странное впечатление. Банальная книга: все тогда ждали войны с Китаем — раз! — и он пишет, что будет война с Китаем. Ну, это несерьезно. К тому же дату спёр у Оруэлла. А потом задним числом, после 1991, стали писать, как он был прав.

Позднее Буковский написал «И возвращается ветер». Делоне издал свои воспоминания в Париже. Книжечка Марченко у меня была, но её мало кто знает.

Но члены ЦК и политбюро не читали Делоне и Марченко. Для ЦК шло издание номерных номенклатурных книжек — это были совершенно другие авторы, люди сталинского поколения, того ГУЛАГа. В хрущевское время что-то было написано шестидесятниками. Шестидесятники были как минимум на 20 лет старше меня. Битов с «Пушкинским домом», или какой-нибудь Евтушенко. «Оттепель»: тающие ручьи бегут из-под снегов... Шестидесятники писали очень много. Был Твардовский, «Новый мир».

Мое поколение было другим, оно ничего не писало.

Я встречался с Григоренко, читал его книгу «В подвале можно встретить только крыс». Высокий статный ироничный старик. Но он принадлежал к другому пространству. Там, где даже Якир болтался. Но эти люди не написали ничего. Это не Шаламов и не Солженицын, не то, что «Имкапресс» издавал.

А, скажем, Авторханов или какой-нибудь Конквест не имели отношения к моему окружению. Но в каком-то общем пространстве идей они все варились, друг друга обсуждали, если даже и не читали. Всех, конечно, объединяла ненависть к советской власти, к номенклатуре.

Но я же говорю не об этом, я говорю, что и почему их мотивировало.

Эти ребята, которых я перечислил, не были религиозными. Делоне и Марченко точно. Их мотивировали эсеровские взгляды — что-то такое.

---

[169] «Доживет ли СССР до 1984 года?» Самиздат, 1969

Борьба, в которую были включены диссиденты, мне была не интересна: за кого, с кем, ради чего? Ради того чтобы установить здесь западный либеральный социум? Я бы в страшном бреду такую задачу перед собой не поставил. В 20 лет я принадлежал к кругу пронацистскому, «прогитлеровскому». Я считал, что после 1945 года Европы не существует.

Я принадлежал к совершенно иному пространству, которое не случайно называется «шизоидным подпольем». Оно тоже было антисоветским. Но для шизоидного подполья антисоветизм не был главным направлением. Лично я, может быть, более активно делал акцент на антисоветской составляющей, потому что я вырос в активном борении, активном неприятии советской власти. Неприятие советской власти развивало мой ум, заставляло читать философов.

Для других, возможно, советскую власть задним числом делало неприемлемой то, что они сидели в каких-то проблемах. Но для меня сначала была неприемлемой советская власть, и это делало из меня философа.

«Шизоидное подполье» жило в философии и психологии глубин, психологии пограничного существования, в динамическом подвергании сомнению человеческого вообще. Не просто такой строй или иной, царская власть или западная либеральная, а человеческое вообще. Точкой сборки была, конечно, ранняя проза Мамлеева, взрывавшая и зачищавшая человеческое как проблему.

Встреча с Женей Головиным открыла мне дорогу в проблематику высшей масонерии, герметизма, традиционализма, что, как ни странно, вызывало у меня сначала полное принятие после Гегеля, которого я с восторгом сливаю.

А потом я начинаю борьбу с ними между 20 и 25 годами, когда у меня случился визион с распятым Великим Существом и его бесконечными отражениями, и шансом отражения порвать эту связь, эту зависимость, потому что ближе отражения слишком ясные, привязаны к оригиналу, дальше

они слишком мутные, и не имеет смысла завоевывать свободу, потому что там и так царит хаос.

После этого я вошел в другое пространство, я стал читать по-французски литературу из спецхрана (по-русски этого тогда не существовало). Французский язык стал для меня «Вергилием», проводником в организованное знание.

Я потратил пять или семь лет на преодоление, на внутреннюю борьбу с генонизмом как с мировоззрением, которое обладает гипнотической и логической беспроигрышностью и безусловностью на два порядка выше, чем немецкая классическая философия. Немецкая классическая философия по сравнению с Геноном — детский лепет. Она сложнее по изложению, но она предоставляет возможность диспута, дискуссии, там есть десятки сомнительных мест, которые можно оспаривать. В этом плане она побуждает к собственной мысли.

А геноновский дискурс — это таблица умножения. Если дважды два — четыре, то о чем тут можно спорить? Спорить бессмысленно.

Я потратил пять-семь лет на оспаривание «дважды два — четыре», на внутреннее преодоление грандиозного окоема, открывающегося внутреннему взору. Но я знал, что его можно преодолеть.

Я не боролся с Гегелем, я боролся с Геноном. И я это прорвал, не в последнюю очередь за счет психологии глубин, за счет пограничной психологической ситуации, некой инфернальности.

Простые умы стираются в пыль Геноном, становятся жалкими идиотами, воспроизводящими серо и смешно эту парадигму, как граммофонные пластинки.

Но когда речь идет о шизоидном подполье, там есть эта соль, разъедающая все, трансцендентный субъективизм, который идет до конца, разъедает и уничтожает любые матрицы. И, наверное, это помогло мне в конечном счете перешагнуть через гипнотическую силу французского традиционализма.

Женя Головин сказал о Геноне:

-Я считаю, что это — заведомая чушь.

Это меня не убедило само по себе, мне такой позиции показалось недостаточно. Она слишком прихотлива. Но она несла на себе вкус нашего отношения в этом шизоидном подполье.

Мы знали, что такое зло, — подлинное зло в метафизическом смысле.

Метафизическое зло является питательной средой «сверхдуховности».

Зло для духа — все равно что бензин для автомобиля.

Дух питается злом.

И это интуитивное знание было укоренено в небольшой группе, которая распространяла, «иррадировала» это знание. Скажем, такие художники, как Ковенацкий или Пятницкий не думали в категориях — художник вообще не думает, — но они писали свои картины, являвшиеся художественным сопровождением нашего визиона.

А тогда мы встречались с чистыми политиками, которые были просто политиками и ничем больше. Да, они против советской власти, но это очень конкретный корпоратив, — благородный, честный, шедший до конца, политический корпоратив. Они были захвачены романтизмом своего выступления, своей жертвенности, но они отнюдь не стояли на платформе работы с метафизическим злом как горючим, на котором надо ехать дальше.

В общем, Совок прошел для меня тенью. Ну какой Совок после Сталина? Ну, физик Орлов, Богораз, Делоне. Все реально — но прошло, как тень…

# Советская власть и я

Я ненавидел советскую власть, но по большому счету очень долго с ней даже не пересекался. Пересёкся с ней только когда попал в университет: там был комсомол, уроды всякие. Там было элитно-мажорное болото, намеком на которое в моем детстве был только Андрей Земсков, ушедший из нашего класса. Слушал «буги-вуги» и ходил в блестящих ботинках, которым я завидовал.

Я был всегда открытым антисоветчиком — в школе, в институте, в армии, в дурдоме. Просто поддерживал все, что было враждебно конкретно советскому строю. НАТО — хорошо, «Радио Свобода» — хорошо. Мне было наплевать, лишь бы это было против советского строя. И никакого «сопротивления среды», возражений, не встречал. Да, меня арестовывали, кидали на губу, сажали в военное СИЗО, прогоняли через дурдом с его тюремным сектором, — но это всё были действия администрации.

Но когда я общался со своими ребятами по казарме или в дурдоме, где было много людей, косивших от армии, не было споров. Мне за всё время попался один убежденный «советчик», и то — в дурдоме. Это был шахтер-еврей из Донбасса, который свято верил в марксизм-ленинизм и торжество мировой революции. И считал, что атрибутика национальной культуры — это архаика, от которой надо отказаться. Ты можешь представить себе Ленина в папахе? Невозможно. Только в кепке. Кепка — символ всемирного, универсального прогресса. А папаха — символ застоя, архаики. Есть греческое слово «идиот», которое, как мне кажется, более точно отражает суть вопроса.

Отношения с сослуживцами у меня были хорошие, причем со всеми. Меня там любили. В школе, где в основном были представители среднего мещанского слоя, у меня складывались отношения гораздо хуже — теплохладные.

В университете большей частью были циники, и наиболее яркой фигурой, который хотел сделать советскую карьеру, был Козловский. Секретарь комсомольской

организации, внук репрессированного секретаря Зиновьева[170], метил в партию, но и он просоветским не был. Потом у него всё обломалось, и он уехал в Штаты. Классическая ситуация.

Остальные были просто интеллигенцией с кукишем в кармане. Хотя интеллигенция, конечно, серьезный институт. Но ученые не были антисоветчиками. Скажем, Сахаров полностью был подконтролен. Атомная физика оставалась режимным пространством. Идеология физиков отличалась от либеральной идеологии, царившей среди обывателей, — что «на Западе пироги пышнее». Эта идеология другая: всеобщий мир, господство технократов, ноосфера. Ученые по своей идеологии были просоветскими, но естественно, против принуждения и насилия. Не просоветские, как комсомольцы, но просоветские в смысле «Туманности Андромеды». Я бывал в таких компаниях в хрущевское время. Советский Союз у них ассоциировался с идеей космического преображения мира.

Если спросить товарища Сахарова, хотел бы он, чтобы сейчас Совок проиграл, был оккупирован силами НАТО и США, водрузили бы над Кремлём звёзднополосатый флаг, — что бы он ответил? Конечно же он бы сказал, что — категорически нет.

Антисоветчиками, хоть и теплохладными, готовыми принять антисоветскую точку зрения, была фрондирующая молодежь, которая не шла в комсомольские активисты. Небольшая часть могла идти фарцевать. Но для этого надо иметь особый склад, знание языков, известную лихость, нэпманский задор. Таких было мало.

Доверие к Совку и антитеза ему не развивались строго по экспоненте, как если бы в 1945 году было наибольшее доверие, а в 1989 — наименьшее. Процесс шел волнообразно. В 60-е годы все расслабилось, все стало несерьезным, смешным и неадекватным Совком.

---

[170] Возможно внук председателя Малого Совнаркома Марка Козловского, а не секретаря Зиновьева. Сам Козловский отрицает всякое «знатное» происхождение и утверждает, что понятие не имеет, кто его дед.

При Брежневе отношение к советской власти было несерьезное, но до Брежнева — я бы даже сказал, что еще при раннем Брежневе, — отношение было очень серьезное. Ведь ранний Брежнев — не инвалид и не клоун: он вполне нормально говорил, у него были какие-то мысли, поползновения. В 70-х с ним случился удар, и после люди стали как бы отключаться от «инвольтуры».

Но первый удар по власти был нанесен XX съездом, когда разоблачили Сталина. Второй удар был нанесен программой партии — построение коммунизма к 1980 году.

В коммунизме имелась какая-то неопределенность. Пусть народ грубый, прагматичный, лукавый, подмигивающий и циничный. Но слово «коммунизм» оставалось сакральным. Нельзя было об этом просто так говорить, с усмешкой: могли и по морде дать.

Метафизика революции еще жила по инерции до начала 70-х годов. В слове «коммунизм» еще содержалась сакральность.

Для меня советский строй и коммунизм был матриархатом. Он был для меня господством женских ценностей над мужскими.

Мужские ценности — это борьба, насилие, смерть, героизм, воля к смерти.

Женские ценности — это воля к воспроизводству, к улучшению качества жизни, к безопасности, снятию конфликтов под контролем эгоистичных самок, которые стремятся к тому, чтобы стать максимальным бенефициаром матриархального контроля.

Это для меня и было коммунизмом.

А капитализм… Маркса я читал. Первый том я осилил в 14 лет, в седьмом классе. Приходил со школы, бросал портфель и садился читать «Капитал». Я знал, что читаю «Капитал» как произведение врага, чтобы понять мысль врага. И отмечал про себя, что это очень классный текст. Меня просто поражали некоторые его интеллектуальные и логические красоты. Но конечно всерьез я его не понимал.

Суть-то «Капитала» не в том, что рабочий работает 10 часов, получая только за два часа своей работы, чтобы не сдохнуть, а 8 часов берет себе собственник средств производства. Допустим, это так. Ну и что? Я же не был фанатом справедливости, понятой «социально-экономически».

Допустим, грязные пролетарии действительно пашут целыми днями, работают не 10, а все 16 часов. В чем проблема? Они и в Совке работают так же. Так же им не дают того, что они заработали. Ну, разводят их какими-то копеечными подачками, посылают их детишек в «Артек» — и то не всех. Школа, конечно, бесплатная — это да. Но суть-то не в этом. Меня же никогда не интересовало счастье народа или какой-то части народа или людей. И что такое счастье? Колбаса, социальные лифты?

Капитализм для меня был серой пеленой, но про коммунизм я точно знал, что здесь правят ненавистные мне животные другой породы, с другой организацией мозга. Это враги. Это метафизические самки. Матриархат. Это как вживую смотреть фильм про первобытных людей и матриархат в их пещерах. Раз повсюду матриархат и бабы, то мужчинам здесь несладко, здесь властвует кастрационный комплекс. Ситуация Совка для меня была биологически враждебной.

Все, что я видел вокруг себя, это подтверждало. В какое учреждение ни придешь, там сидит баба, явно заряженная кастрационным комплексом. А мужчины — спившиеся ублюдки.

Ну, собственно говоря, надо просто воевать с этим — и все.

Я стоял всегда на противоположной позиции, на противоположной платформе. Но это не мешало мне объективно видеть нюансы.

Заходя в дом простых людей, я обращал внимание, что для них есть святое: на каком-то слове — к примеру, на слове «коммунизм» — они прекращают шуточки, и лица у них каменеют и вытягиваются. Или когда говорили о погибших на

войне. Про коммунизм говорили с иным слегка оттенком: не играя желваками, а затуманиваясь взглядом. А после 1970 года это ушло, люди сдулись. И в этом виноват режим, который вырвал из-под них половичок. Почему после 1970 года? А к 1970 году до народа дошло, что коммунизм — колбаса и ничего больше. И сразу исчез религиозный подтекст, исчезла неизвестность. Прежде подразумевался шанс, что будет выход в четвертое измерение. В слове «коммунизм» для народа сохранялось магическое. Люди верили, что будет все не так, что когда наступит коммунизм, что люди будут другие. 10 км можно будет за пять минут проходить пешком.

Определением коммунизма через бесплатную жратву — это была смерть советского мифа, смерть идеи.

Находились люди, которые возражали.

Помню статью одного молодого кандидата наук в «Новом мире». Мы читали её вместе с Юрасовским. Там было написано про то, что исчезла сверхидея, что мы забыли о голубых городах на Марсе, забыли об Аэлите, об эсхатологическом изменении законов пространства и времени, о ноосфере, — ведь ради этого совершалась революция; мы слишком погрязли в экономизме, в циничном «колбасном» прагматизме; контроль над солнечной энергией должен быть доведен до 5% от энергии, падающей на землю, поскольку выход на 5% уже даст нам свободу маневра в ноосфере, а свобода маневров в ноосфере даст нам возможность менять физические законы, но главная цель — это изменение второго начала термодинамики, это обратимость энтропии волевым решением, и пора поставить вопрос о том, что истинная цель коммунизма — это изменение законов термодинамики сначала в масштабах Земли, потом Солнечной системы, потом космоса (через миллиарды лет, конечно), но в ближайшем будущем надо с Землей работать… И все это написано серьезно.

Автора той статьи начали стирать с лица земли — это надо было видеть. Разве что идиотом его не называли. Какой-то Минц, какие-то академики говорили, что это убожество,

попытка нам подсунуть неизвестно что. Дескать, понятно же, что коммунизм — просто жрачка и ничего более, народ веками мечтал о жрачке и больше ни о чем он не мечтал, и все эти интеллигентские домыслы вот этих убогих, которые фантазируют, — ну кому они нужны?

Проворачивалось страшное насилие над этими романтиками. Стилистика примерно такая: в газете публикуется вопрос читателя «А что такое звезда? Какой у нее символизм? Ведь, говорят, это вещь масонская?». И на это отвечал кто-то типа Минца что-то вроде: «Звезда никакого символизма не имеет, звезда это есть просто звезда, которая нарисована, чтобы означать, что это советский знак. Народ, веками мечтая о жрачке, смотрел на небо и думал, что эти звезды означают лучшую долю. Вот поэтому нашим символом и стала звезда. А так, в принципе, никого значения это не имеет».

Читал вот такие тексты и поражался, насколько власть боялась, — если, конечно, это была не диверсия: «принять всё всерьез». Что вполне возможно. Но если исключить «диверсию», власть боялась любой попытки того, что Ленин называл «фидеизм и поповщина[171]», — любой попытки придать интеллектуальную глубину собственному проекту. Это был запрет на интерпретацию, запрет на раскрытие темы вглубь, запрет на анализ. Да, программа партии «про колбасу», появившаяся в 1961 году, всё убила. Потом произошла короткая стычка между «романтиками» и «реалистами».

И после этого я физически ощутил, как из народа выпустили пар, народ сдулся.

Левиафан перед моим взором не маячил, нет. В школе советская власть серьезно не ощущалась. Все это было

---

[171] Фидеизм — философское учение, утверждающее главенство веры над разумом и основывающееся на простом убеждении в истинах откровения. Фидеисты считают, что наука ищет лишь знание фактов, вторичных (физических) причин, но не способна раскрыть первичные (сверхъестественные) причины, объяснить более глубокие источники бытия.

камерное, защищенное валяние дурака: защита Мао Цзэдуна, постмодернистский стёб. При этом знал, что «красные» — Мао Цзэдун и все остальные — враги, потому что они представляли собой фаланстер, организацию социального порядка, которая не имеет смысла, потому что это идеальная организация человеческого муравейника. Человеческий муравейник есть «бытие здесь», которое смысла не имеет.

Бытие вообще смысла не имеет. Ему смысл придаёт только смерть как его сверхзадача. Это было философское, метафизическое знание.

А на практике я не ощущал давления. Моей матери в середине 70-х звонили из КГБ и говорили:

-Мы вашего сына убьем.

Мать передала трубку Теймуразу, а Теймураз сказал:

-Вы — твари, я вашу породу знаю. Я могу вас раскатать, как бог черепаху.

И все, больше никто не звонил. Даже попадая к ментам, даже когда они пытались меня запугивать, это был лишь эпизод легкой встряски, не более того. Стало пожестче, когда начали арестовывать, и я оказывался пленником психиатрии: я был пленником репрессивной психиатрии шесть раз. Там меня пытали. Но при этом я все время оставался над собой. У меня не было отчаянной слитости с собственной юдолью, как у собаки, которую убивают, и она не может дистанцироваться от ситуации. Я же сохранял способность относиться с юмором и к той дикой боли, когда нас распинали, растягивали на связках и всаживали в четыре кости серу с персиковым маслом, — немецкое изобретение. Боль продолжалась часов двенадцать. Очень хорошая пытка — почему-то о ней мало кто говорит. Говорят о том, что электродами пытают, бьют резиновой дубинкой по гениталиям, но почему-то про сульфазин забывают. А сульфазин — гениальная вещь. По четыре кубика в четыре кости — и человек скажет все, что угодно, чтобы получить укол морфия. Я достаточно много этого пережил.

В военной тюрьме надо мной летали вороны, и я испытал ощущение колоссальной свободы. Это ощущение осталось со

мной навсегда. Поэтому, когда меня пытали, когда оказывался в ситуации полного скуляжа и повизгивания, я относился к этому с иронией и абсолютно отстраненно.

Кроме того, у меня всегда сохранялось ощущение, что совестно выражать недовольство судьбой. Стыдно звать на помощь — это ощущение со мной всегда. Если бы меня расстреливали, мне было бы стыдно позвать на помощь: проявить, что я внутри этой ситуации, а не снаружи. Настоящий денди должен пройти мимо любой ситуации с сигареточкой в зубах, не поведя и бровью. А заверещать — тема позорная.

Почему мой конфликт с внешним миром был таким острым? Власть — не моя. Не я являюсь обладателем власти. Я мог бы какую-то власть принимать, только если сам являюсь правящим.

Воля к власти? Но воля к власти сама по себе бессмысленна, поэтому я искал для себя оправдания воли к власти. И какое-то время мне казалось, что я могу найти такое оправдание в философии Гегеля — что не очень остроумно. Хотя Ницше меня тоже привлекал. Сочетание Ницше и Гегеля.

Это все было объектом размышлений до 20 лет.

Некий социум, общественные идеалы, поднятие к свету и солнцу интеллигентских масс в очках с портфелями в шляпах — для меня постановка вопроса абсурдна.

Я вер ю в касту воинов. Верю, что всегда было только две касты — попы и воины. Либерализм, не либерализм, секуляризм, не секуляризм, буржуазия, не буржуазия — есть только две касты. Да, они разгромили касту воинов. С приходом абсолютизма, с приходом лицензированного офицерства, созданием придворной аристократии вместо аристократии меча каста воинов уничтожена. Распалась на разрозненных одиноких героев.

Я верил в аристократию, в героев. Мой гештальт был образован так: слово «рыцарь» являлось ключевым. Рыцарь стоит вне и над. Это человек, наделенный миссией, — миссией, связанной со смертью. Рыцарь — это ангел смерти. Это определило всю мою жизнь.

Женя Головин написал знаменитые строки, в которых намеренно наивно, инфантильно выражено некое кредо:

Жмите волчью лапу.
Веруйте в гестапо.
Веруйте в мечту[172].

Одинокие герои рождаются в народной толще — Бакунин, Нечаев, Че Гевара, Карлос. Те, кто были воинами, кто шли в крестовые походы или наоборот, их отражали, превратились в революционеров. Я никогда не поверю, что истинные революционеры руководятся заботой об «интересах народа». У человека колоссальный разрыв между матрицей и подлинными побуждениями. Конечно, если он прочел Коммунистический манифест, живет в конце XIX века, то у него в голове белиберда про народ: он говорит, что нужно вывести к свету это ужасное зачморенное огромное стадо и всё такое. Но подлинный пафос в его душе — черный индивидуальный ницшеанский романтизм.

Это хорошо показал автор романа «На краю», изданного в 1926 году. Гениальная книга — жалею, что она куда-то делась.

Роман об офицере-аристократе, сыне гвардейского генерала, который учился в пажеском корпусе. У него нет состояния, нет поместья, он зарабатывает на жизнь, преподавая в элитных дворянских домах, будучи сам человеком с именем. При этом он эсер, но вхож всюду — вплоть до тезоименитства принца Ольденбургского. Эсер «товарищ Сергей» встречается с другими товарищами в рабочей ячейке и читает «Искру».

По сюжету книги ему дают задание — убить некоего губернатора. И он его убивает, вызвав на дуэль после игры на золото в карты с товарищами по пажескому корпусу. Они играют всю ночь, и он подводит губернатора, с которым он

[172] Е.Головин. Черные колонны.

учился в юные годы, к конфликту и дуэли. Утром они едут в парк, выбирают шпаги, — дуэль, герой губернатора убивает.

После чего товарищи эсеры ему закатывают дикий скандал. Как он смел обойтись с приказом партии таким средневековым феодальным образом? Ему приказали провести ликвидацию, а он ее провел в форме дуэли, то есть дал идеологически противоположный вариант, обессмыслил акцию.

Здесь очень тонко схвачена идея черного романтизма байронического революционера, героя, в противопоставлении тупому унылому марксистскому замесу в стиле «товарища Сергея», который в очечках приходит на собрание, разворачивает «Искру», читает высокие строки и говорит: «Вот, товарищи, сейчас перед нами очередная организационная задача...»

Я понимаю все возражения, которые можно сделать на этот счет. Но есть одна тонкость.

Черный революционный романтизм — субстанция, горючее, и оно сверхценно. Но его надо трансцендировать, превратив в системное радикальное движение через религию, через ислам. Религия является тем солнечным лучом, который, будучи сконцентрированным в фокусе наводимой линзы, зажигает горючее, оно дымится и вспыхивает бешеным пламенем. А горючее — черный романтизм индивидуального героизма.

Если его разбодяживать эсэровщиной или эрэсдеэрпевщиной, то есть «Искрами», «Очередными задачами советской власти», программными установками, — ничего хорошего не получится. Взрывчатка будет «флегматизирована».

А чтобы она вспыхнула и загорелась, нужен лазерный луч через линзу религии — ислама, политического ислама; нужно подсоединение ислама, как трансцендентного — к индивидуальному, к романтизму. Именно это зажигает и сгорает — черный романтизм, индивидуальная жертвенность. Истинный пафос всех, кто едет сражаться на джихад, связан

с черным романтизмом, с персональным героическим комплексом. Все остальное — отстой.

Кто-то сражался с советской властью из черного романтизма. Смотря где: есть Прибалтика, есть украинцы. Шухевич конечно был черным романтиком или, скажем осторожнее, элемент черного романтизма в нем наличествовал. Но не будем забывать, что в сопротивлении было много куркулей — мужиков, которые дрались за колбасу и за свою собственность. Так же и кулаки сопротивлялись коллективизации — мы же не будем говорить, что они герои, сопротивлявшиеся из черного романтизма: просто своеобразная Вандея. Но и Вандею Гюго приукрасил. Крестьяне — это грибы, они грибы и есть.

Все кончилось одновременно со Сталиным. Ушел Сталин — и ушли «лесные братья». А дальше — лысый Хрущев, бьющий ботинком по стойке ООН, едва ворочающий челюстью Брежнев...

Такие фигуры не случайны.

Сталин — гламурная фигура. Мы не знаем, каким он был бы в двух шагах от нас: говорят, рябой, маленький — 168 см. Откуда мы это знаем? Мы видим на пленке, что сняла камера. На пленке это круто, это вполне внушает. «Широкая грудь осетина»... Ничего «тонкошеего»[173] я не вижу. Пусть он один такой, но он заряжает остальных. Есть еще буденные, но все не то. Благодаря тому, что Сталин среди них, на них тоже падает отблеск. Он не случаен.

Потом — раз! — и у нас Никитушка Кукурузный с мордой-картофелиной и похожей на свинью Ниной Петровной. После еще более стремные вожди с комическими психожестами типа почмокивания — пошел постмодернистский балаган.

Мы берем видеокадры Сталина на трибуне Мавзолея или Сталина между Черчиллем и Рузвельтом и, допустим, Брежнева на встрече с Луисом Корваланом, и ставим их рядом. Между ними пропасть. Абсолютно разные матрицы, разные пространства, разное качество.

---

[173] Отсылка к стихотворению Мандельштама «Горец».

Понятно, что сталинское — это серьезно. Это действительно враг, это реально. А Брежнев — не серьезно.

Советская власть стала соломенным псом. И происходит главное решение: кремлевские старцы, еще не состарившись окончательно, принимают решение взять курс на конвергенцию, которая является концом всего.

Итак, я не жил в пространстве, которое пересекалось с советской властью. Ну да, было несколько моментов пересечения: пару месяцев сторожем проработал, университет, армия, арест, дурдом… Но это как бы «ожоги». Но в основном я жил в пространстве, внутри которого Совка не было. Я жил в пространстве, где шла своя интеллектуальная жизнь, где предмет нашего дискурса никак не соприкасался с Совком.

Я никогда ничего не хотел, не рвался, никакой «легализации» не имел в виду, потому что мне было глубоко наплевать на то, что обо мне думают. Я поддерживал близкие отношения с Головиным, который выступал как мэтр. Я находил огромный энергетический приток от нашего общение. Это было общение ученика и... и неучителя. Потому что Женя тоже плевал на учительский статус.

Я был «легален», потому что общался с Головиным, который был легализован вплоть до ухода к тем людям, для которых бренная жизнь в оболочке здесь является просто расхожей методичкой: участвовали в проекте, отсидели за это 20 лет и ушли, оставив иероглиф на покрытой цементной шубой стене.

Мы с Женей Головиным обсуждали Парацельса — Женя раскрывал его тайны на старонемецком языке. Мы обсуждали Генона. Мы читали книжки, изъятые из спецхрана, мы находились в состоянии глубокой эйфории, — эйфории брутального типа, как элевсинские мистерии.

Мы были носителями такого энергетического качества, что Совок не мог на нас ни наехать, ни накатить. Мы были открытыми нацистами, и будь это с кем-то другим, тех людей бы сгноили. А мы имели несколько столкновений — и все. Не потому что нас принимали за сумасшедших — к нам

относились очень серьезно. Но не думаю, что они нас боялись, — им было просто интересно.

Мы были носителями черного пламени, когда еще ничего такого даже близко не было. А демонстрации в честь дня рождения Гитлера с середины 80-х — это было уже чистым фейком.

Мы не были маргиналами. Некоторые мои знакомые очень любят слово «маргинал» и считают, что это что-то типа Героя Советского Союза, «Золотая Звезда». Маргинал — он и есть маргинал. Маргинал неадекватен, смешон — это клоун поневоле в силу своего ментального устройства.

Мы не были маргиналами, потому что мы думали по-французски и принадлежали к школе, насчитывавшей десятки имен. Школа эта была одним из мощнейших трендов XX века в западной мысли. Я имею в виду традиционалистов в данном случае.

Пока была советская власть, мне болезненно интересно было прикоснуться к тому, что было до 1917 года. Потому что это казалось другим пространством, другим измерением. Как если бы в руки попал артефакт, привезенный луноходом с Луны, голыш с другой планеты, — это как прикоснуться к инобытию.

Я вглядывался в фотографии лиц, больше не встречающиеся. Меня поражало, что мы говорим на общем языке, мне понятном, и на котором выстроена тогдашняя литература. Теперь, когда кончилась советская власть, мне так же интересны какие-то кусочки «совкового» пространства, — те моменты экзистенции, невозвратно ушедшие. В детстве мне был интересен дом, построенный до революции. Я с жадным вниманием смотрел на ступени, на нишу в стене, на элементы архитектуры. Теперь мне это не интересно. То, что было до 1917 года, потеряло всякий смысл, вкус, стало легковесным. Интересная тогда дореволюционная Россия сегодня стала еще дальше уехавшей, как бы нарисованной, двухмерной, потеряла объем, а прошедший Совок его приобрел. А досоветское пространство, пространство царской России умерло. Царь, интриги, парады

— сейчас для меня всякий интерес к тому пространству смешон. Из того времени интересно только антимонархическое подполье. По-прежнему интересен, как тогда выражались, «святой террор», эсеры, народовольцы, близкий к политике тогдашний криминал.

Такова «психика» момента, для которой что-то оживает, что-то умирает. И вот то советское время для времени нынешнего — оно умерло. Так я чувствую…

Когда я вышел из дурдома, Москва показалась мне изменившейся. Лена меня встречала, мы шли с ней по Москве. Я смотрю, и понимаю, что что-то изменилось: менты переоделись.

В моем детстве у ментов были синие шинели. Они были армейского покроя, но синего сукна. Они одевались в то же, что и армия, но другого цвета.

И вдруг они сняли свои синие шинели и появились в штиблетиках вместо сапог, в сизых штанишках. Старые, топающие сапожищами менты исчезли. В них было что-то от Жеглова, что-то отеческое. Как бы вот — «я старый, я воевал, я тебе в отцы гожусь, ты встал на скользкую дорожку, кончай воровать, на этот раз отпускаю».

А переодевшиеся новые менты — уже абсолютно подлые, ушли в отрыв, в свое ментовское. Стали похожими на шпиков в своих сизых гражданских пальто с погонами. И это бросило странный отсвет на все остальное. Я шел по Москве и чувствовал, что что-то изменилось.

День советского перевалил за определенную черту, и сила солнечного света сократилась. Еще светло, но брезжат сумерки.

# Парадоксы русского

…Как-то ко мне пришел Игорь Дудинский и сказал:

- Старик, Достоевский больше никому не интересен, Достоевский умер, всё уже. Это было, но всё уже — умер, проехали.

И я внезапно ощутил, что он прав. Внезапно я понял, что Достоевского больше нет. На самом деле в тот временной отрезок Достоевский был мертв. А потом опять ожил.

Вот сейчас Достоевский значит много, причем в гораздо более глубинном, глобальном смысле, чем тогда, потому что Достоевский — это заброс, объем, повод для очень большого разговора. Гораздо более важного, чем 40-50 лет назад.

Главное произведение Достоевского — «Записки из подполья», как у Гоголя — «Записки сумасшедшего». Если бы я занимался литературоведением, я бы обязательно написал работу о связи «Записок сумасшедшего» и «Записок из подполья».

Вообще, Достоевский — парадоксы русского, парадоксы русскости: да, всё предал, да, контрреволюционер, но вот его предательство в области искусства, в области художественного самовыражения, вошло в противоположность. Он сломался, встал на колени, раскаялся, он поцеловал туфлю, но при этом его душа восстала против него самого и психически самовыразилась в «Записках из подполья», которые являются абсолютным экзистенциальным бунтом. Он был провозвестником этакого «экзистенциализма отрицания», социального бунта, сущностного отрицания, абсолютного негатива.

Камю пишет «L'Homme révolté», и там половина — весь Достоевский.

Достоевский вылезает из шинели Гоголя, а Ницше из Достоевского, — получается такая «матрешка».

Величие и гениальность Достоевского в том, что он раньше Ницше сказал: «Бог умер». Но он произнес «Человек умер», имея ввиду, что человек умер как значимая самоценная реальность, человек уничтожен социумом. И

ответом может быть только абсолютный уход от социума, абсолютное восстание, абсолютная ненависть к социальному. Вся прекрасная панорама от Мышкина до Смердякова, панорама от одной формы безумия к другой — восстание против общества.

Если читать Герцена, он ходит кругами и сто раз возвращается к тому, что он уже говорил. У него несколько ударных сцен. Сцена с Бенкендорфом и с Дубельтом — уникальный момент в начале второго тома.

У меня Сахарный[174] был в гостях, пришел проведать. И я не мог удержаться и прочитал ему эту сцену. Даже сам подивился в очередной раз, насколько блестяще это написано[175].

Герцен должен явиться и просить, чтобы его, ввиду больной жены и детей, не отправляли в «Коми АССР». И пока он ждет, описывает сцены в приемной.

В приёмной стоял седой старик-полковник в темно-зеленой шинели с крестами и медалями, весь дрожавший, со свернутой бумажкой в руках. Выходит Бенкендорф с мятым после попойки остзейским лицом, Дубельт за ним семенит в застегнутом на все пуговицы сюртуке. Этому предшествует сцена, когда строевым шагом появляется генерал, — просто генерал на выставку, затянутый в белые лосины, звенит шпорами, с адъютантом с журавлиными ногами и дегенеративным беличьим личиком, который останавливается поодаль. Появляется Дубельт, и генерал ему рапортует:

-Честь имею доложить: отправляюсь по убытию в такую-то часть, такого-то Мухосранска.

Дубельт говорит:

-Понимаю-с, а что вы хотите-с?

-Явился доложить, хотел бы представиться его высокопревосходительству графу!

---

[174] Владимир Рынкевич, друг Джемаля.

[175] «Былое и думы», часть II. Далее Джемаль пересказывает эпизод в собственной интерпретации.

-Это хорошо, сейчас я распоряжусь, выясню.

Он скрывается за дверью, потом выходит через полминуты и говорит:

-Граф сейчас занят, но считайте, что вы представились, граф вас благодарит.

-Рад покорнейше!

Поворачивается с грохотом и выходит.

Герцен пишет, что эта сцена искупила очень многое в том, что предшествовало визиту. Дальше появляется Бенкендорф, когда генерал уже свалил.

Бенкендорф проходит мимо старика со свернутой в трубочку бумажкой, и тут старик падает перед ним на колени и кричит:

-Ваше сиятельство!

Бенкендорф шарахается в сторону:

-Что за мерзость! Немедленно встаньте!

И проходит дальше. Старик поднимается весь в слезах, губы у него дрожат. Он как бы очень долго собирался на эту встречу, все силы у него ушли, он добивался приема, и всё рухнуло. Дубельт идет за ним...

-Ну зачем же вы так? Дайте вашу бумажку. Я посмотрю, что можно сделать.

Это настолько остро, современно. Такое переживание вброшенности...

Момент «визуалки» отсутствовал у многих в XIX веке. Вот Азамат у Лермонтова схватился за кинжал, бросился — у него этот кинжал выбили из рук. Но не видно, как это происходило. Если сравнить с другими абзацами, то не получается, что с этим кинжалом можно было броситься. Он не там для этого стоял. Это нельзя визуализировать.

Возьмите Льва Толстого, посмотрите, к примеру: Пьер вошёл, когда Елен раздевалась. Ты не можешь, как по сценарию, следя за текстом, людей ставить в кадре.

А сейчас любая сволочь пишет так, что легко прямо по тексту снимать кино, — если это профессионал, конечно. Все учитывают картинку.

Там была подробность, душевные движения, а здесь — положение фигур относительно друг друга. Но мизансцена важна, потому что у тебя гораздо меньше работы воображения.

У Герцена все очень хорошо рассчитано. Как Бенкендорф идет с Дубельтом между колонн, как к ним подходит старик...

У Достоевского получше. Ну как получше — у него есть определенный синтез мизансцены и «душевных переживаний». Очень своеобразный синтез.

Например, в «Преступлении и наказании» он пишет от лица Раскольникова, что вот сегодня с утра Раскольников был обуреваем тяжелой думой, поразившей его ещё вечером. С утра она к нему вернулась, вот он идет по тротуару, заходит в какие-то закоулки, но не видит ничего, и вдруг останавливается перед подъездом. И совпадение того, что этот подъезд резонирует с его думой, его поражает. Он говорит, посиневшими губами, что этого не может быть. Там какой-то синтез наличествует.

Если не брать гениев XIX века — скажем, Бестужев-Марлинский вообще не понимает, где эти тела стоят. С таким же успехом он мог бы описывать пение ангелов в райском саду. Хрен его знает, как там они перемещаются друг относительно друга. Эти люди и сами не воображали того, о чем пишут.

Гений Достоевский делает в направлении мизансцены шаг. Но по сравнению с Герценом в этом плане он — никто, потому что Герцен — человек, вышедший на современный уровень, на уровень «после кино». Берешь сцену, как они сидят с итальянскими революционерами за столом: кто встал, кто поднялся, кто отошёл. Такое впечатление, что он пишет в эпоху кинематографа, он делает за сценариста работу.

Рассказывали, что Мамлеев преподавал русскую литературу в университете. Когда я это ему изложил, он пронзительно, геенисто, захохотал и воскликнул:

-Дарюша! Да кто же мне позволит преподавать русскую литературу! Ведь они её смертельно боятся и прячут.

Я говорю:

-Юрий Витальевич, а вот мне рассказывали, что вас вынудили преподавать ненавидимого вами Есенина.

И тут я услышал такое, от чего у меня глаза на лоб полезли.

-Есенина? Да я преклоняюсь перед Есениным! Есенин — это концентрация вечной России! Россия — Вечная!

И дальше пошли березки и ромашки.  И я ему говорю:

-Юрочка, ну я же помню, как вы издевались над всем этим.

Но он даже не хотел меня слушать. У него произошла катастрофическая аберрация. Произошла перезагрузка.

Мамлеев — в Южинском центровая фигура, — мне кажется, после Америки просто перестал соображать. Он не стал человеком, сознательно вставшим на позиции гадости, зная при этом, что он стоит на позиции гадости. Мамлеев просто сломался. Он написал «Россия вечная» с березками — а он же ненавидел это, он был не просто антисоветчик, он был русофоб. Когда он начинал писать или излагать какие-то бредни с ссылками на Есенина, это было просто невозможно читать или слушать. У него просто произошел сдвиг, он сломался. Какая «вечная Россия»?!

Примечательный эпизод. В Новом университете сидят Дугин, Мамлеев, Головин, и Мамлеев начинает что-то шелестеть про «Россию вечную», что-то бормочет. Женя его обрывает и говорит, что ему вообще-то на эту Россию насрать.

После своего приезда из Америки Юра мне как-то сказал:

- Я бы очень хотел перенести Россию на Луну. Чтобы была только одна Россия, и больше никаких других стран.

Он сказал это очень задумчиво, очень честно. Мы сидели около какого-то пруда.

-Очень жаль, что мы существуем в пространстве, где есть еще кто-то. Я хочу, чтобы Россия была на Луне.

С ним произошло некое перерождение. Он приехал в 1989, когда советская власть еще не кончилась. И заявил, что Красная Армия защищает штыками мир от американского империализма.

Я ему говорю:

- Да что вы, Юрочка. Вы опоздали. Уже нет никакой Красной Армии, нет штыков.

- Нет, нет, вы ошибаетесь!

Но иногда из него вырывались такие вещи:

- Вы знаете почему либерализм никогда не победит в России? Потому что наш народ слишком глуп, чтобы усвоить западный паттерн. Они будут нам втолковывать-втолковывать, а русские же — идиоты, они никогда не поймут, о чем им толкуют.

После возвращения стало понятно, что он уже ничего стоящего не сможет написать. Невозможно читать, что он в Америке писал, а то, что после — и подавно. Какая-то самопародия, самоповтор. Мертвый материал.

# Большая Очаковская

Райское существование — оно задним числом кажется райским — на Гагаринском переулке закончилось резко. Дом, знавший такую концентрацию мысли, духа, «семян будущего», в итоге был снесен. По-моему, дом 33 по Гагаринскому переулку, тогда — по улице Рылеева. На его месте теперь маленький скверик, ничего там так и не построили.

Период потрясающего — лучшего, наверное, в моей жизни — существования завершился грубо и жестко. В 1972 году, поздней осенью, нам было велено убираться из этого дома в предоставленную нам двухкомнатную квартиру на Большой Очаковской. Если я не ошибаюсь — Большая Очаковская, 26 или 28. Это было как снег на голову.

Хотя я побывал в приключениях в армии и околоармейских авантюрах за колючей проволокой, но жил нормальной жизнью я всегда в центре Москвы. Поездки на Вавилова или, скажем, к Олегу Трипольскому на Войковскую считались «большими выездами».

Большая Очаковская в те времена не имела метро. Добираться туда можно было либо 130-м автобусом от проспекта Вернадского, от кинотеатра «Звездный», мимо Матвеевской. Либо надо было ехать от Киевского вокзала поездом в Апрелевку, и третья остановка после Матвеевской была «Очаково». Сходишь — и метрах в ста от платформы перекресток с Большой Очаковской, где как раз стоял этот дом более или менее нового типа, построенный году в 1971. Наш дом на Гагаринском стоял брошенный, но еще стоял. Он, кстати, долго стоял — еще целый год, наверное.

Нам дали квартиру на первом этаже. Но там был косогор, и поэтому с одной стороны, где кухня и большая комната, окна выходили на уровень человеческого роста, а с другой стороны они выходили на второй этаж, потому что косогор шел вниз, и под нашей небольшой столовой с выходом на балкон уже находилась сберкасса. С одной стороны у нас был первый

этаж, а с другой — второй. Условный двор — проулок между двумя домами.

Это был страшный удар. У меня было ощущение Меньшикова в ссылке. Так и шутили. До этого я никогда не жил в бетонных домах — жил в деревянном доме на Гагаринском, еще раньше — в старом кирпичном. Мне казалось, что я поселен на юру[176], и что через меня проходят электромагнитные колебания, что меня клинит, голова не работает, потому что какие-то жужжащие волны через меня идут. Было ощущение глубочайшего одиночества, заброшенности.

К тому же у меня не было телефона. Надо было выходить и идти в какую-то будку: телефон был через пару подъездов, и еще на перекрестке ближе к станции была будка. Но звонить мне было нельзя. Я впервые сталкивался с ситуацией, когда у меня дома не было телефона.

У меня сразу стали бывать друзья, чтоб поддержать меня.

Головин, утешая меня, шутил:

- Это еще ничего, вот Алексей, божий человек, жил у себя дома под лестницей, никем не узнанный в качестве хозяина, — так что ты еще ничего устроился.

Я криво посмеивался, но ощущение, что что-то нарушено в моей жизни, не оставляло. И жизнь пошла вкривь и вкось.

…Эпизод из тех лет. Один из немногих тихих моментов на Большой Очаковской. Мы на кухне вместе с моей женой Леной и будущим отцом Константином, который тогда был просто Костюня Кнопф. Лена лежала на своей постели — кухня была очень большой: это была полукухня—полуспальня. Я же спал в своем большом кабинете.

И ещё у нас была маленькая гостиная. На кухне располагалась её постель, восьмигранный антикварный столик, который служил нам чайным столиком, ну и,

[176] На юру — у всех на виду, на открытом, не защищенном от ветров месте.

естественно, плита, мойка и всё прочее. Ещё стояли кресла. И вот мы сидели за этим чайным столиком с Костюней. Лена полулежала на своей постели, как мадам Рекамье[177], опираясь на подушки. И вели очень уютный тихий разговор.

Костюня обладал потрясающими имитаторскими способностями. Он мог гениально изображать Брежнева. Когда он начинал его пародировать, все просто умирали, не хохотать было невозможно. Но и тексты же были соответствующие. У Кости была пластиночка с речами Брежнева, и там — хоть стой, хоть падай.

Сейчас мне могут не поверить, но я помню один из замечательных моментов, когда Леонид Ильич говорит, обращаясь к молодежи, что «молодежь комсомольская, к сожалению, собирается за рюмкой водки и веселится веселым весельем». Костюня это воспроизводил с блеском.

Мы вот так говорили, плавно переходили к проклятиям в адрес безвременья, в котором мы живём, в адрес политической и духовной духоты.

И вдруг Лена сказала:

- Пройдет время, и вы ещё попомните Лёлика. Вы ещё будете тосковать и плакать по тому времени, когда Лёлик был жив.

«Лёликом» она звала Брежнева.

Мы тогда посмеялись такому экстремистскому заявлению. Но по прошествии времени я нет-нет, да и вспоминаю это Ленино замечание, и, надо признать, что-то в этом было.

Такой дачной вальяжной благости — при том, что мой круг не был вписан в систему, а находился в своём собственном мире, — такой свободы, такой бессмысленности и неопасности террора, который представляло собой государство, эфемерности конфронтации с ним, больше не было никогда. Советский Союз к тому моменту уже так выродился, что стал беззубым, «дачным». Когда пришёл

---

[177] «Портрет мадам Рекамье» — картина французского художника Жака Луи Давида, написанная им в 1800 году.

Андропов и стал ловить людей по баням и кинотеатрам, это казалось нашествием инопланетян — настолько брежневская эпоха расслабила людей.

Наш брак с Леной стал стремительно распадаться, потому что через некоторое время выяснилось, что Лена любит Женю Головина.

Наверное, это я дал ей повод выйти наружу с открытым признанием: у меня произошла встреча с женщиной, которая произвела на меня сильное впечатление.

Как-то я приехал в очередной раз на слушание Мамлеева к Олегу Трипольскому. Поднимаюсь по полуосвещенной лестнице, и за мной шла пара: с какой-то дамой поднимался Генрих Сапгир. Очень хорошо сложенная, с высокими скулами, впалыми щеками, чувственными губами, серыми глазами. Лицо марухи, но марухи высокого типа — Мурки, которую воры знали и которой гордились. Реальная такая Мурка, но я особого значения ей не придал, просто про себя отметил, что эффектная женщина. Ну я вошел, они вошли.

Честно говоря, не помню, что тогда читал Мамлеев. Когда мы садились за стол перед тем, как пить чай или начать слушать, она схватила кресло и сама его потащила. Кто-то мне сделал замечание, что даме надо помочь, на что я огрызнулся: мои манеры в этом смысле часто напоминали нынешнего Орхана.

Как потом о ней высказался мой более позднего времени приятель Валера Блинов, видевший ее в Париже с Хвостенко[178]: «высокоуголовный тип». Зовут Римма, в прошлом жена начальника дальневосточных золотых приисков.

Когда все кончилось и мы собрались расходиться, она дала мне номер телефона, и они уехали с Сапгиром на такси.

---

[178] Имеется в виду Алексей Хвостенко, известный также как Хвост (1940—2004) — советский и российский поэт-авангардист, автор песен и драматург, художник. Автор песни «Город золотой», известной в исполнении Бориса Гребенщикова.

А потом я ей позвонил, и мы встретились. После этого начался бурный роман.

И когда все стало приобретать открытую форму, Лена объявила о том, что у нее есть теперь другая любовь, что она любит Женю Головина.

Очень быстро ситуация покатилась под гору, Лена ушла жить в другое место, я тоже стал жить не дома. Был период, когда Большая Очаковская стояла пустая и закрытая. И мы туда съезжались, чтобы переговорить. В один из таких «съездов» я попал в страшную автомобильную аварию.

Стояла глубокая зима. Мы приехали с разных сторон, сошлись в этой пустой, ледяной, никому не нужной квартире, где мы больше не жили, сели за стол. Вроде даже заварили чай. И стали объясняться. О чем мы говорили — не помню.

В ту пору я носил здоровую каракулевую шапку-пирожок брежневского типа. У меня большой размер головы, 62-й, и шапка была массивного вида. Деталь важна, потому что эта шапка мне спасла жизнь.

Мы вышли поздно, решили ехать вместе на такси из Очакова. Встали посреди абсолютно белой, замерзшей, покрытой сугробами, продуваемой ледяным ветром Большой Очаковской улицы, in the middle of nowhere[179]. Налево посмотришь, направо посмотришь — фонари, сугробы. Нам надо было в ту сторону, где стоял гигантский бетонный завод и завод очаковских вин, который квас производит. Дыра еще та. Вдали показалась приближающаяся точка. Это была «Волга-21», уже без «оленя»: последний выпуск. Старая Волга с тяжелым прочным корпусом. И что важно и что было плюсом к моему каракулевому «пирожку»: у этой Волги было сидение американского типа — не два раздельных, а сплошной диван с поролоном, обтянутый искусственной кожей.

Мы с Леной сели молча на заднее сидение, отодвинувшись друг от друга.

[179] В глуши, у черта на куличках.

Перед этим, еще когда только махнул рукой такси, я обратил внимание, что машина неслась на большой скорости, а затормозив, юзом прошла еще метров двадцать по ледяному заскорузлому насту на проезжей части.

Мы сели, поехали, водитель сразу набрал большую скорость, и мы понеслись. В конце улицы я увидел, что справа припаркован прицеп грузовика. И у него в лучах наших фар мерцали красные подфарники. Наш водитель, хотя места было сколько угодно — никаких машин, — не брал влево, он прямо вдоль обочины шел на этот прицеп. Последняя мысль: «Идиот, он что не видит, что перед нами прицеп?»

Лена обладала удивительной способностью быстро собираться и реагировать на ситуацию. Она мгновенно соскользнула с сидения и залегла на дне этой Волги. Поэтому она не пострадала — только кожу порвала на ноге о стойку водительского сидения, потому что её слегка протащило по полу. А я сидел на правой стороне сидения — и страшный удар… Волга шла на 70 километрах, и она впилилась в заднюю часть прицепа так, что выбила у этого прицепа задний мост, а сама Волга стала короче на полметра-метр.

Меня ударило о мягкую поролоновую спинку прямо брежневским «пирожком». Голова, все лицо разбито. Провал. Потом я включился, и меня поразило, что вместо водителя я увидел пиджак, накинутый на руль. Подумал: «Ну и ну, парня вообще нет, вместо него пиджак остался».

Я выбил локтем дверцу, вывалился наружу на сугроб и заливал все вокруг кровью. Откуда-то вдруг сразу взялись люди, появилась «скорая помощь», меня погрузили и привезли в 28-ю больницу.

Три дня я находился в горячечном бреду. Тяжелое сотрясение, лопнула лобная кость, мне наложили двадцать швов, след от которых можно было разглядеть еще много лет после этого. Мне объяснили, что лобная кость уже не зарастет, потому что черепные кости не зарастают, а только заполняются хрящом, а трещина все равно остается.

Пока я был в бреду, лежал в отдельной палате, а потом, когда уже стал адекватен, меня перевели в коридор, где

лежал под окошком. Весь коридор был заставлен кроватями с больными.

И ко мне началось паломничество.

Ко мне приходила Римма, ко мне приходила Лена, которой было хоть бы хны, ко мне приходила Ирина Николаевна, жена Головина, тоже пребывавшая в тяжелом «дауне», потому что Женя ушел из дому, и они вместе с Леной бродили по Москве вдвоём. Ирина перенесла на меня свои заботы, а я старался регулировать поток, чтобы все они не пересекались. Они приносили фрукты, какие-то подношения. Один раз Римма доставила консервы бульона с черепаховыми тефтелями из голландского посольства. А нянечки терли полы в дикой злобе и ненависти, бормоча мне проклятия, потому что у моей постели грации сменяли друг друга, и гора даров у меня на подоконнике неуклонно росла.

Там произошел замечательный эпизод, который я после своей выписки рассказал Мамлееву, и он написал рассказ на эту тему.

А было так.

Подвыпивший муж пришел домой, и оказалось, что жена его не пускает. Не то чтобы не пускает — вот кто-то есть в квартире, и замок заблокирован. Мужик не может попасть к себе домой. Он понимает, что жена, видимо, с любовником. Стучался, стучался и решил ворваться через окно. Видимо, человек был отчаянный и нестандартного мироощущения — не всякий бы на такое решился. Кто-то бы позвал милицию, кто-то начал бы выбивать дверь, а он вышел и полез по водосточной трубе. Видимо, рассчитывал перепрыгнуть с водосточной трубы на подоконник окна свой квартиры на пятом этаже, и, разбив стекло, влететь в квартиру, как супермен. Он долез, стал тянуться к окну, и тут водосточная труба вышла из зацепления со стеной. Мужик описал дугу и рухнул на мостовую.

Но и после падения он не потерял сознания и продолжал молоть непрерывно всякую ерунду. Когда его доставили в больницу, он без умолку рассказывал истории, анекдоты, веселился, хохотал, его несло, несло и несло, — уже в

бредовом состоянии. Я подошёл к его каталке посереди коридора, он рассказывал анекдоты, и вдруг внезапно он раскрыл рот и умер на середине анекдота. Я и еще какие-то слушатели стояли около него, ждали продолжения, а продолжения не было. Тут же подошла нянечка из тех, что меня ненавидели за граций, деловито накинула простыню на его лицо и укатила его.

Мамлеев, потрясенный эпизодом, включил его в рассказ и прочел нам незадолго до своего отъезда. Он всегда впечатлялся такими историями.

Как-то пришел он к себе в школу, где преподавал математику, начал проверять присутствующих по журналу. Спрашивает у аудитории, где такой-то, — Сергеев, скажем.

Ему отвечают:

- Умер.

- Как умер?

- Умер.

- Когда?

- Да вот только сейчас, 15 минут назад. Только увезли.

- Да как же он умер?

- Из окна вылетел.

- Ну как это случилось? Что значит вылетел из окна?!

- Да спор тут у нас был, он на две бутылки водки поспорил, что выпрыгнет с 10 этажа, и ничего ему не будет. Надел две дубленки и выпрыгнул. Думал, что двух дубленок хватит. Ну помнется, будут синяки, но зато выиграет две бутылки водки. Вылетел, разбился, вот только увезли.

Он пришел совершенно серый к нам на Гагаринский и говорит:

- Ну как же так, ведь класс-то десятый! Я же им физику и математику преподаю. Они же ускорение знают, как же так?

Этот случай на него сильное впечатление произвел.

Ну и тут — человек полез на пятый этаж и свалился оттуда. Повторяемость зловещая.

Через некоторое время мне надоело лежать в больнице, и день на двадцатый или двадцать пятый говорю:

- Давайте, я уже пойду, я нормально себя чувствую.

- Вы еще не восстановились.

- Нет, восстановился. Давайте, я вам просто дам расписку.

Дал я им расписку и пошел жить к Римме. Мама поддерживала меня костями, которые она получала в качестве пайка для Амона, её подопечного льва. Она варила мне крепчайший бульон из этих костей, и я восстанавливался с этим бульоном.

Это был самый тяжелый и самый неприятный год — зима 1972 или 1973 года. Моя жизнь, вроде как сформировавшаяся после 1967–68 года, когда я обрел новых друзей, восстановил отношения с Леной, завел собственный дом, когда вокруг меня были единомышленники, узкий круг людей, которые меня понимали, — всё было разрушено.

А в 1974 году уехал Мамлеев.

Пребывание на Большой Очаковской было довольно мрачным и хаотичным. Я очень мало сделал в интеллектуальном плане. В 1976 году возникла возможность оттуда убраться. Мы решили с Леной развестись и разменять эту квартиру.

С помощью левых, не вполне административно-легальных ходов мы это сделали, и я оказался в комнате на третьем этаже на Народной улице, в коммуналке. А она — в маленькой квартирке рядом с кинотеатром «Ленинград» или что-то такое, и еще несколько раз переезжала.

Я же оказался на Народной, и это было начало совершенно новой эпохи. С Народной начался тот финальный кризис, который через Питер, травму Питера, через окончательный кризис отношений с Головиным, вывел меня в Среднюю Азию, и там началась уже совершенно другая эпоха, — эпоха без Южинского.

## Калейдоскоп

По сути очень я мрачный человек. В 20-25 лет это, наверное, не так очевидно было, потому что в юные годы мы гуляли очень круто. Но что-то было ощутимо для тонких людей. Как мне передавали, покойный Генрих Сапгир, который меня ненавидел, жаловался, что когда я вхожу в пространство, где он находится, то гаснет солнце, наступают сумерки, и температура падает. Жизнь, лехаим, тут же тихо надевает кипу и уходит, пятясь, через черный ход.

Я даже удивился, когда мне это передали. Неужели, когда я вхожу, мир сразу темнее становится? Но человек так переживал.

Думаю, что это объективное ощущение, потому что я вообще человек мрачный, — мрачный такой парень. Моя жена, например, тоже считает, что я мрачный. Что я нагнетаю концентрированный мрак, холод, пессимизм. Что моя дочка испытывает серьезные психологические проблемы оттого, что рано вступила в духовный контакт со своим отцом, который нагнал на нее мрака. Нагнал на всех мрака.

Возможно, с иными людьми я не специально другой, но бессознательно меняю свои формы контакта, формы презентации. Я же спонтанно действую, не играю никаких ролей «специально», но, конечно, я разный с разными, но это проблема коммуникации. Я меняю коммуникативное поле, потому что ориентирован на общение, — если уж общаться.

Есть такое понятие — «светский человек». Светский человек не грузит, светский человек учитывает психологические особенности собеседника, светский человек никого не гнобит, умеет быть интересным каждому и подыгрывать каждому, даже если знает, что этого человека потом расстреляет все равно. Светский человек не может перестать быть светским. Мы общаемся искренне, но при этом в своем общении я включаю инструменты, которое для кого-то делает это общение комфортным.

Мой старый товарищ Владимир Рынкевич в наших кругах имел погоняло «Сахарный». Кто его знает, у того не возникает вопросов, почему он — Сахарный, почему кличка так хорошо к нему пристала, и, самое главное, почему сам обладатель этой клички так её любит.

Это один из самых сахарнейших людей, которые мне когда-либо попадались в жизни. Встреча моя с Володей произошла через Степанова, безвременно ушедшего от нас, — через него в моем пространстве появились очень многие люди. Большая часть моих знакомств в определенный период жизни произошли через него. Володя Степанов всё же был очень необычный человек. Я до сих пор не могу простить Мамлееву, который его обидел, написав в открытке, что подобных Степанову в Корнеллском университете сотни. Я считаю, что это была глупость. Но потом и сам Мамлеев признался, что он очень сожалеет и тоже считает это глупостью. Бедный Володя...

В 1976 году Степанов явился и сказал: «Едем, я тебя познакомлю с моим учеником». У него все были «ученики». Думаю, что когда он кого-то приводил ко мне, то за глаза представлял меня тоже как своего ученика.

От метро мы ехали на троллейбусе номер 16. Ходил он по набережной возле Кремля, мимо кинотеатра «Иллюзион», поворачивал на Нижнюю Радищевскую, до не существующего теперь кинотеатра «Рубин».

Кооперативный дом, квартира крупной советской интеллигенции, имеющей независимые от государства источники дохода. При этом полная внутреннего межпоколенческого конфликта и несущая в своих недрах зерно бунта, несмирения, восстания. Всё было устроено очень иррационально. При входе справа кладовка с какими-то химическими веществами, задергивающаяся деревянными звенящими бусами. В комнате слева от входа инкрустированный столик с шахматной доской.

Мы собрались. Хозяин дома Володя, Кнопф, Серафа, Степанов и я.

Серафа — отец Серафим, он же Сергей Сёмкин. Его отец был полковником милиции.

Отец Константин, ака Кнопф, и отец Серафим[180] были неразлучны.

Я как-то сказал отцу Константину, что если бы у фюрера были такие пуговицы на штанах, как у него, то он ни разу не смог бы закончить свою речь, потому что штаны бы всё время падали. Костя гордился своим прозвищем. У него были блестящие карие глаза, очень похожие на пуговицы.

Серафа носил рясу и смазные[181] сапоги. Он был тайным монахом: пострижен старцем из Балабанова.

Мистериальность играла центральную роль в общей ситуации, и в какой-то момент возникла идея отпеть Степанова по литургическому чину, «плача и рыдая».

Степанов сам и предложил. Тут же запрыгнул бодро на стол и лёг, очень довольный, на спину. В ручки ему вставили горящую свечечку. Всё произошло быстро.

Отец Серафа достал из голенища пачку наклеечек, которые покойнику на лоб кладутся. И пошёл чин «Плааачу и рыдааааюю»[182]...

Степанов лежал и улыбался, как кот, получивший кусок курдюка.

У меня было ощущение кощунства, которое делало саму ситуацию более острой, более интересной, чем она была бы, если бы этого ощущения не было.

Это было сакральное кощунство.

Но что у православных кощунство, то у мусульман — не кощунство.

---

[180] Ныне иерей Константин Скроботов служит в Храме Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище, а иеродиакон Серафим Сёмкин — насельник русского афонского Пантелеимонова монастыря.

[181] Смазные сапоги — кожаные сапоги с высоким голенищем.

[182] Исполняемая при православном погребении стихира Дамаскина: «Плачу и рыдаю, едва о смерти вспомню, едва во гробе увижу прекрасный лик человека…».

Сура «Ясин» читается по покойнику, но если человек ещё не умер, а над ним читается Коран, то это ни коим образом не кощунство — это очень хорошо. Вообще, идея ислама и идея христианства, иудаизма и всего остального прямо противоположны. Евреи стараются не произносить имя Бога: вычеркивают букву, запрещают произносить всуе. А в Коране говорится: «Поминайте Аллаха многократно».

Кто же мог подумать, что наш Володя в конечно счете реально возьмёт и умрёт? Он казался наиболее непотопляемым.

По–настоящему его отпевали в храме на улице Багрицкого. На той самой улице, где нет даже дома-музея этого замечательного поэта, — не заслужил. Там был его домик, плохонькая дача... Степанов и Головин любили раннего Багрицкого.

В течение трёх недель мы так жили. К нам приходили какие-то люди, кто-то уходил, кто-то оставался, кто-то растворялся.

Свой чин и титул Сахарный получил именно в эти дни, когда происходила эта многодневная мистерия.

В какой-то момент, когда он рассказывал не очень веселые вещи из его юной жизни, как он подвергся воздействию шокового инсулина в психушке, он упомянул, что ему давали стакан сиропа, когда он выходил из шока. И тут Сёмкин, отец Серафим, вдруг подпрыгнул на стуле и сказал: «Да ты же сахарный! Сахарный!» И все подхватили, что Володя — Сахарный, и стало ясно, что это навсегда. После этого возникли довольно прочные отношения между мною и Володей Сахарным.

Надо сказать, что у всех в этом пространстве были клички.

Например, великий столп академической науки в постсоветском мире Дугин Александр Гельевич был Пухлым. Моя кличка была Карабас-Барабас. Женя — Адмирал. Наших друзей Костю Кнопфа и Сережу Серафима называли — но только злые языки и только за глаза — «проститутка Костюня» и «еврейка Сережа».

Сережа — типичный мордвин, отношения к национальности прозвища не имели. Сережа был очень психически подвижным и хитрым, прожженым человеком.

Если он попадал в мусорскую, он тут же начинал строчить на лоскутке бумаги кляузы в министерство и сразу ставил на уши всё отделение милиции. Он же был натаскан папашей-ментом.

Позже, когда я стал преподавать частным образом французский язык, занятия начались у Серафы — это был единственный раз, когда я появился у него дома. Серафа был в подряснике, сапогах.

Тогда еще впервые появилась девушка с философского факультета — Наташа Мелентьева[183]. Там была и другая девушка — то ли из банка, то ли из музея русской литературы, — которая относилась с дикой подозрительностью к моим словам.

Потом занятия переместились ко мне, а уезжая на Памир, я наивно предоставил Серафе возможность жить в моей квартире на Болотниковской. Он туда затащил Гороховну-Даоса, и они там родили ребеночка.

Когда я об этом узнал, пришел в ярость. Надо мной смеялись, потому что я не понял, что она беременна. Это был такой мешок с капустой, чмокающее чавкающее образование, что понять было непросто.

А Костя Кнопф, отец Константин, был человеком особым.

Костю ко мне тоже привёл Степанов. Костя втерся ко мне под покровом своего визита в Дагестан. Он проехался по Дагестану и явился оттуда, шатаясь от культурного шока. Рассказывал, что видел пропасть, через которую перескочил имам Шамиль. О чудесах наибов, о камнях и могилах, разных тарикатских примочках. И глаза у него горели, как звезды.

Костя хипповал. У него была подруга, дочь генерал ВВС Пшеняника. Мрачная демонесса из каменноугольных русских баб. Она тоже хипповала, но мечтала стать попадьёй. И стала. Костю Степанов называл «работником церковной индустрии»,

---

[183] Наталия Мелентьева ныне супруга А. Дугина.

хотя он был всего лишь навсего чтецом. Костя очень любил изображать из себя члена Союза Русского Народа. Смазные сапоги, ряса, борода.

Он мне как-то рассказывал, что когда под Москвой сошлись вермахт и Красная Армия, то над вермахтом плавали бодхисаттвы, а над Красной Армией — Богородица простёрла свой покров. Всё это выглядело густопсовым китчем, густой «калиной-малиной».

Внешне он был очень ярок. У него были корни из Западной Украины. Борода лопатой, темные волосы, карие глаза. И походил он на униатского кардинала Слипого.

С Кнопфом Женя Головин как-то разыграл ситуацию в своем стиле.

Был такой Токарев Лев Николаевич, главный редактор международного отдела «Литературки». Он был внуком владельца магазина «Рыба» на Тверской. Головин к ним постоянно приходил в гости и издевался над Валей, женой этого Токарева. Издевался, но тонко издевался. И в конце концов в истерике Валя взяла гигантскую кастрюлю с кипящей водой и вылила на Женю. При этом вся вода оказалась на ней. На Женю не попало ни одной брызги. И она завыла страшным воплем, как сирена. Женя очень весело посмотрел на Валю и сказал:

-Ну ты даёшь...

Встал и говорит:

-Ну, извини, я не хотел.

-Ты идешь? — спросил он Костю.

И что же наш дорогой Кнопф? У него от нервного потрясения отнялись ноги, его начало мелко-мелко трясти. Женя пожал плечами и вышел. А Костя заплакал, и всю оставшуюся ночь несчастная Валя, облитая собственным кипятком, его утешала.

После смерти Жени Костя выходил на меня, но потом резко оборвал контакт. Служит в храме в Подмосковье.

В 90-е годы он мне дал кассету, где выступает с проповедью. Я эту кассету послушал, позвонил Косте и говорю:

-Костя, это потрясающе. По-моему, в тебе пропадает талант не то Задорнова, не то Галкина, потому что ты говоришь абсолютно языком Алексия.

Он говорил на той записи таким церковным характерным языком: «И мы, народ православный...». Вот именно таким — с особой интонацией. Кирилл-то говорит обычно не переигрывая. А этот специально растягивал слова. Спросил его, как он так ловко наловчился на таком языке изъясняться. Отвечает:

-Это у нас приказ, специальное распоряжение. Надо говорить именно так — мы специально даже язык отрабатываем на курсах риторики.

Думаю, что я сильно его измученную нервическую душу ранил, потому что очень жестко с ним обходился в плане испытания его на прочность.

…Когда я уже жил на Народной, в этом человеческом садке появлялся швед Петя.

Окна моего дома смотрели прямо на мост. Место очень заныристое, в нашем смысле, но очень экологически грязное: мост на уровне моих окон. Телефонный звонок. Я беру трубку, звонит Дудинский. На дворе у нас 78-й год.

Дудинский говорит в своей обычной манере:

-Ты помнишь документальные кадры, когда фюрер раздаёт железные кресты мальчикам гитлерюгенда? Ты помнишь, как он вешает железный крест дрожащими руками на мальчика?

Я говорю:

-Кто же не помнит эти великие кадры!

-Ты хочешь познакомиться с этим мальчиком?

-Да ладно! Хватит дурака валять!

-Реально, реально с этим мальчиком из гитлерюгенда, на которого Гитлер повесил крест в этом фильме!

-Конечно хочу познакомиться.

-Тогда приезжай завтра вечером ко мне на Кедрова.

Я приехал. И в какой-то момент входит человек ростом под 190 см, с абсолютно прямой выправкой, в синем клубном

пиджаке с золотыми пуговицами, лакированных ботинках с очень твёрдыми подошвами с каблуками. Он их впечатывал, как будто стремясь, чтобы в паркете оставались отметины как от подков. Вошёл он с таким грохотом.

А Дудинский уже тёплый, пошатывается, ко всем лезет целоваться.

И говорит:

-Вот это наш великий. Он русский, хотя и швед. При этом он был в гитлерюгенде.

Якобы ситуация такая. Мать этого человека была частью белогвардейской иммиграции в Германии, которая входила в светские берлинские круги райха. Благодаря своим связям, она устроила сына в гитлерюгенд, несмотря на то, что он был русский. И будто бы действительно он пережил взятие Берлина, когда там вокруг всё рушилось.

Швед сказал, что история про орден — чушь. Это Дудинский всё передёрнул. Что он к тому мальчику никакого отношения не имеет. Но при этом он утверждал, что действительно пережил падение Берлина, там был, всё это с грохотом валилось вокруг него. И потом его через паром вывезли родственники в Швецию.

Какие претензии к человеку? Оказалось, что выдумки Дудинского.

Я говорю:

-Хорошо. А чем вы занимаетесь?

-Я занимаюсь коврами. Я покупаю ковры, реставрирую их и продаю.

Он у меня дома пришёл в безумный кайф от моего ковра, спускавшегося по стене на пол. Лена как раз занималась этим бизнесом. Мать одного из наших друзей, преподавательница английского языка в каком-то институте или университете, связалась с армянской ковровой мафией и занималась реставрацией ковров и продажей.

И я Ленке говорю:

-Есть такой швед Петя. Его надо использовать как канал.

Швед Петя был надутый, застёгнутый на все пуговицы. И оказалось, что он неожиданно серьезно относится к Блинову.

Валера Блинов был мой приятель — скупщик картин и всего такого. Валера, кстати, однажды поразил меня. У него был определенный стиль, манеры, воспитание. Одно время он ездил на «Ниве». Он меня куда-то подвозил, и вот к нему подсаживаются двое, явные фарцовщики, причём представители lowlife. Валера внезапно преображается, у него исчезают его манеры, и он начинает говорить с другой тональностью, с другой интонацией. И говорит на матерной фене, причем не блатной, а именно фарцовочной. Я был в шоке. Оказывается, у Валеры несколько социальных личин, которые он легко меняет. Позже, в 90-е, он очень изменился и из белозубого американского ковбоя превратился в квадратного плотного мужика, который сказал, что он занимается в системе лужковской недвижимости.

Так вот, как-то швед вызывает меня на встречу и говорит:

-К вам есть серьезный разговор.

-А что такое?

-Я не потерплю такого отношения к себе со стороны Валеры!

-А что за отношение?

-Он считает меня каким-то агентом! Что я, шпион, что ли?! Он не имеет права так думать обо мне.

-Да? Мне ничего об этом не известно. А как это проявляется?

-Да это видно невооруженным глазом! Он не имеет права!

В скобках замечу, что до этого Валера мне рассказывал, как его Петя пригласил в ресторан. Они там шикарно посидели, брали всё самое дорогое. Потом Петя аккуратно сложил счёт и спрятал его в кармашек: вроде как для отчёта в бухгалтерии.

-Так, а моя какая роль в этом? – спрашиваю я.

-Вы ему скажите, что я никакой не агент.

-Извините, но как я ему скажу? У него какие-то свои идеи. Разве я могу его переубедить?

Тогда он мне говорит:

-Отойдите сюда, вот за эту колонну.

А мы стояли возле здания «Известий» на Пушкинской. На нем серо-зелёная дубленка с коротким мехом, мне она очень нравилась.

Он приоткрывает полу дублёнки и показывает мне сверток. В свёртке замотан бронзовый Будда.

-Посмотрите, я лично брал в Таиланде. Дешево отдам. Всего за 300 долларов.

-Извините, но это не ко мне.

-Да? Жаль. Но вы уж скажите Валере, чтобы он дурака не валял.

…Генеральский сын Алик Медведев по прозвищу Катер обитал в стрёмной однокомнатной квартире, выглядевшей, как чистый бомжатник. На стене висели джинсы, набитые соломой и подколотые снизу, как у безногого инвалида[184].

«Катер» — по-немецки «кот». Он был похож на кота — округлый, хищный, подловатый, бесстрашный. Целый букет противоречивых качеств. Санчо Панса, но на брутально огненной стороне. Представьте огненного Санчо Панса, который обжигает. Хороший, развитый интеллект, прекрасное знание французского и английского, интересы к зотерике и философии. Хулиган и пьяница.

Катера в наш круг привел поэт Володя Достоевский.

«Достоевский» — это кличка. Настоящая фамилия его Крюков — известный переводчик. Но для нас прежде всего — поэт:

---

[184] *Комментарий Володи Рынкевича–Сахарного*: Еще там имелось множество любительских фотографий голых девок, которых он снимал вместе с Сережей Чудаковым, известным сутенером, поставлявший писателям жен и временных спутниц жизни. В итоге Сережу Чудакова убили…

«Нищий брат среди звезд ищет губы Адама...»

Позже Крюков стал ведущим переводчиком австрийской и австро-германской поэзии, переводил Роберта Музиля, Майринка. Сейчас сотрудничает с издательством «Энигма», книги в черной серии — все его. В прошлом хиппи, кликуху «Достоевский» он получил из-за того, что всех доставал. С Катером они друзья детства.

Катер интересовался мной и, разумеется, Головиным. Женя всегда приманивал таких людей — гораздо больше, чем я.

У нас складывались какие-то сложные отношения с Аликом Медведевым. В общем, гуляли мы гуляли... Стояла середина 70-х.

Я лёг спать в доме у Катера. Открываю глаза, и у меня рот открывается тоже, и остается в открытом положении. Потому что надо мной сидит девка невероятной красоты, воплощение цветущей молодости, красоты, наивности, чистой нимфеточности.

Катер заплясал вокруг нас. А я её сразу ухватил и спрашиваю:

-Ты откуда взялась?

Она с совершенно потусторонней улыбочкой отвечает: «А я девочка Рая». Это шутка такая[185].

---

[185] *Здесь анекдот от Джемаля:*

«Странствующий хипарь заходит в избу, и там такая страшная бабка с одним зубом сидит. И она его спрашивает:

-Ну что, милый, есть-то будешь?

-Конечно буду, чего ж не буду, бабка.

Она ему наварила борща, он поел. И тогда она его спрашивает:

-Ну, а спать-то ты где будешь? Тут со мной или в сарай пойдешь?

Он посмотрел на неё и говорит:

-Лучше в сарай пойду.

Утром его будит скрип двери, он открывает глаза и видит потрясающую красавицу в лучах утреннего солнца.

И он её спрашивает:

-Ты кто?

И вот прекрасная Оля сидит напротив. Катер быстро забегал вокруг нас и говорит:

-Знаешь, эта девушка пришла ко мне, и я тебя прошу оставить нас вдвоём.

Дело было ранним утром.

-Да, конечно.

Девушка оказалась невесткой советского писателя Дмитрия Нагишкина, автора «Сердца Бонивура». Официальной женой его сына Димы, который работал в Елоховском соборе чтецом и занимался сбором кедровых орехов в Сибири. Замужем за другим сыном этого писателя Нагишкина была Хигушка.

Я ушел от Катера, прихожу домой и говорю Лене:

-Лена, я видел сегодня у Катера настоящую нимфетку.

Сказал и сказал. Прошло время. Прихожу в Очаково, Лена встречает меня с особой улыбочкой, проводит на кухню, а там сидит эта красотка.

Вскоре в Очаково появляется Дима Нагишкин. Огромный мужик, очень красивый, с прямым носом, с сияющими безумно голубыми глазами, с золотой бородой. Он входит, берет её за руку, глядя на неё восторженным взглядом, низко нам кланяется и говорит:

-Спасибо, что вы сохранили мою жену.

Имелось ввиду — взяли, пригрели, не съели её заживо... Про Очаково же ходили ужасные слухи, что там чуть ли не едят младенцев с горчицей, что там сатанинские оргии, какие-то странные вещи. Все боялись этой квартиры, особенно местные.

Дима вскоре пропал с горизонта, а она вступила в круг «посвященных» и просто поселилась в Очаково. Лена обращалась с ней как с милым заблудшим ребенком — очень нежно, мягко…

---

-Я девочка Рая, а ты кто?

-А я мудак из сарая».

## Вадик Попов

Чтобы картина была полной, нужно вбросить образ, который кто-то, наверное, считает периферийным, но я думаю, что он важен. Без него нужные акценты были бы не расставлены.

Это Вадик Попов, он же Вячеслав. Он предпочитал, чтобы его называли Вадимом. Вадим, Вячеслав, Вадик по кличке Кобальт — кличку дал я. Это был потрясающий человек.

Нас с ним связывала одна из моих частных школьных преподавательниц английского языка Людмила Георгиевна, а на самом деле — Гамаяковна, его супруга. Замечательной красоты полуармянка-полуукраинка. Улучшенный вариант начинающей Кардашьян. Я был в нее конечно влюблен. Приходила она к нам через день. А работала она в советско-канадском банке переводчицей. Язык знала бесподобно. Когда я поступил в ИВЯ, я внезапно ее там встретил уже преподавательницей: она перешла в университет из банка. Но, к сожалению, она вела не в моей группе.

Году в 1967, когда я пришел из армии уже с «поражением в правах» — ни в какой институт не поступить, — то в основном проводил время в библиотеке иностранной литературы, которая к тому времени была уже там, где и сейчас, — на Яузской.

Я приходил, заказывал книги, читал что-то, на меня накатывали мысли, и я убегал в курилку от невозможности сидеть на месте. Эти мысли надо было выносить подальше от всего.

Вхожу в курилку и вдруг вижу там свою Людмилу Георгиевну. Мы страшно обрадовались друг другу.

Я её спрашиваю:

-И как ваша жизнь?

-Я вся в муже. Целиком и полностью погружена в мужа. Вся внутри. Живу его интересами.

-А что у него за интересы?

-Культурные интересы. Он, вообще-то, лингвист. Закончил питерский институт иностранных языков.

Людмила Георгиевна пригласила меня к себе в гости, они с мужем жили у метро Пролетарская. Мы сидели — вечер, торшер… В какой-то момент в двери поворачивается ключ, входит он, муж, очень прямо держащийся, в плаще с жестко поднятым воротником и шляпе-борсалино, — один к одному Трентиньян в фильме «Конформист», но в жёстком издании. Он пронзительно смотрит на меня, разжимает пальцы, и его огромный портфель со стуком падает на пол. Я поднялся, она нас представила друг другу.

И через некоторое время мы уже болтали душа в душу, всё было дико по кайфу, и я уже забыл про Людмилу Георгиевну, потому что парень оказался действительно интересным. Я сначала с долей сарказма отнесся к её словам, что она живёт культурной жизнью своего мужа, но потом понял, что она, возможно, уже дотянула до того уровня, когда можно начинать жить культурной жизнью мужа.

Муж — Вадим Попов. Из Питера, маленький человек с черными глазами, невероятно энергетичный, заводной, пьяница, бабник, танцевавший фламенко, говоривший без акцента на пяти романских языках и на американском английском. Дико напряженный и ориентированный на схватывание того, что перешагивает тусклую мерзкую совдеповскую жизнь. Он просто впился в меня.

В Людмиле Георгиевне наш Вадик Попов души не чаял и очень гордился, что у него жена такая красавица. Он был помешан на сексе и на комплексах гендерных отношений, обожал Миллера, читал его в оригинале.

Все переплелось. Людмила Георгиевна, преподававшая мне в 8 классе английский, становится женой Вадима. Вадим знакомится с Козловским, который меня изгоняет из университета. Потом он знакомится с Женей Головиным, и Женя делается частым гостем в их маленькой квартирке на Пролетарской.

В 1968 Вадик пришёл к нам с Леной на Гагаринский и сказал, что расстался с ней: она от него ушла. Как армянка в

хорошем смысле слова, она была заточена на комфорт, извиняюсь, тела.

Я его спрашиваю:

-А в чём причина этого?

Есть такие абхазские писатели, которые пишут про Древнюю Грецию, про Рим, про Афины, там главные герои говорят:

-Почему вино горчит, о Кратий?

-Потому что такова природа вина, о Флубий.

Так и я его спросил, почему она от него ушла.

И Вадик мне ответил:

-Она сказала, что не хочет тереться жопами всю свою жизнь в однокомнатной квартирке. И она права. Она права. Такая женщина... Такая женщина имеет право!

Ушла к более серьезному человеку, у которого было метров пятьдесят, семьдесят, а может быть и все сто. Вадим лег в сдвинутые кресла и заплакал. Наши отношения с ним вышли на новое измерение. С тех пор я Людмилу Георгиевну не видел, но поддерживал Вадима, впавшего в полный «даун».

Он приезжал к нам с Ленкой на Гагаринский, оставался у нас ночевать. Мы с ним сидели, беседовали, Лена его тоже поддерживала. Мы сблизились и сдружились с тех замечательных пор. Редкий человек, беспокойное сердце.

Вадик открылся немного передо мной. Открылся в том смысле, что он был потрясающим испанистом, португалистом, глубочайшим образом понимал испанскую, португальскую, итальянскую, американскую, французскую поэзию.

У него был Вячек — относительно молодой парень, красномордый, в красной рубахе. Он работал диктором с французским языком на радио. Его постоянно сажали за избиение жены, а он выходил, и его снова брали на работу, потому что он был великий гениальный галлицист.

Вадик был последнем представителем бузящей исступленной питерской интеллигенции особого покроя. Есть такой феномен — интеллигентная питерская гопота.

В 76-м году та культурная жизнь, которой Вадик жил, приобрела чудовищные формы. Его квартира, с одной стороны, была достаточно роскошной и украшенной разными историческими штуками, а с другой — ужасно грязной.

Он носил с собой в портфеле цепочку от унитаза, потому что любил драться со шпаной, с пьяницами. Он так же ходил в шляпе, в безупречном костюме, — он тогда преподавал в школе ЦК, — но с этой цепочкой с гирькой, которую он раскручивал над головой. Всё время у него были разбиты костяшки пальцев.

Сахарный ходил к нему на уроки португальского языка. Читают они какое-нибудь стихотворение, и Вадик вдруг как даст в стену кулаком — и стена гудит.

Всё время вокруг Вадика крутились какие-то бабы — очень странные порой. Одно время он жил с двумя. Одна — крупная толстуха-еврейка в два раза его выше, с совиной физиономией, в очках с линзами. Вторая — разбитная русская деваха лет 17-18, тоже выше его.

Они совместно варили борщ на кухне, он его ел хмуро, делая замечания типа:

- Опять без соли! Овощ должен быть проварен с солью!

И опять уходил в поэзию, в пьянство.

Вадим блестяще переводил кино. Хорошее кино тогда было большой редкостью. И он приглашал нас в какие-то институты на закрытые просмотры в малюсеньких зальчиках мест на тридцать. Вадик переводил фильмы с французского или итальянского, а фильмов этих не было нигде: в прокат они не выходили.

Он был гением синхронного перевода. Мог, не знакомясь с фильмом, сразу переводить. Если в фильме был мат, он переводил с матом. Тогда сидящие в зале партийные сволочи добродушно кряхтели.

Мы смотрели какой-то итальянский фильм, и там муж жене выбирал позу для любви. Вадик этот момент перевёл так: «Да ладно уже, давай по-простому, по-нашему, по рабоче-крестьянски». Зал взорвался аплодисментами, — маленький зальчик «посвященных».

Вадик любил меня за какие-то недосягаемые горизонты смысла, которые он потенциально где-то предчувствовал в моём присутствии. Он мне как-то сказал:

-О, если бы я переводил тебя, а не всю эту сволочь, которую мне приходится переводить.

Вадик создал совершенно особое рабочее оперативное настроение, связанное со спецификой истероидного маскулинизма. Особо выделялся в этом плане Гарсия Лорка. Вадик его читал по-испански, расшифровывал тонкие смыслы, тонкие подразумевания. Они у него звучали потрясающе. Тема смерти, безумия, экстаза, тема фламенко, суицида на грани терзания себя плетью и ножом.

А потом я узнал, что он происходил из хлыстов. Его дед или прадед возглавлял один из хлыстовских «кораблей»[186] в Питере.

Про себя говорил так:

-Вадик, сын Петички.

Вадик никогда ничего не писал. Он жил только устно, в языке.

На каком-то кинофестивале он трепался с бразильскими киноведами в «Национале». Они проговорили часа полтора, прежде чем те догадались его спросить:

-Слушай, а ты откуда? Мы никак не поймем. Всё пытаемся схватить, что за штат, но никак не можем уловить.

Он говорит:

-Да я отсюда, москвич.

-В каком смысле ты москвич?

-Русский я, русский. «Заветский».

Они долго не хотели ему верить, а потом написали большую статью о нем в крупной бразильской газете, что КГБ готовит таких мастеров, таких метров языка, что мы все отдыхаем, мы — никто, звать никак, нас уже «сделали».

---

[186] Хлысты — экстатическая разновидность христиан, возникшая в середине XVII века среди православных крестьян. Наименование «хлысты» происходит от встречавшегося в их среде обряда самобичевания. Отдельные общины хлыстов называются «кораблями».

Вадим знал бразильскую историю и литературу лучше, чем они. Кто ценил Жоржи Амаду? В лучшем случае о нем слышали как о коммунисте. А Жоржи Амаду не просто коммунист-спиритуалист, оккультист, масон. Подноготную Жоржи Амаду объяснял мне Вадик. Сам бы я его читать не стал — подумал бы, что это какой-то «выползень» из Третьего мира. Вадик делал интересным всё. Если бы не Вадик, то мне этого Амаду было бы абсурдно в руки брать.

Португальское стихотворение «Последний номер». Поэт, загнанный жизнью в номер гостиницы, и это его последняя стоянка в жизни перед тем, как он покончит с собой. Исчерпана вся дорога, сколько веревочке не виться, конец будет всё равно. Последний номер... Он перебирает взглядом предметы в этом номере, очки, ручку, бумагу, кляксы на полу, всполохи феноменологического мира перед тем как навсегда уйти отсюда.

У Вадика был знакомый — Юра Кононенко. Между ними установились очень сложные отношения. Этот Юра Кононенко тоже был переводчиком, но по пути гопничества он зашёл гораздо дальше. По тем временам это был настоящий бандеровец. Уголовник с большими связями в воровском мире...

Зима 1973, я жил в Даевом переулке у Риммы. Звонок в дверь во втором часу ночи. Я открываю — на пороге стоит Вадик в белой рубашке, залитой кровью, словно в фартуке, в туфлях для фламенко, с «борсалино», спущенной на нос. И, пошатываясь, он говорит:

- Я только что был почти убит. Я выжил благодаря этим ботинкам!

И он выбил чечетку.

-Я выжил благодаря этим ботинкам, потому что у нас было столкновение на пределе экзистенциальных границ с Кононенко. Кононенко достал финку и начал наносить мне смертельные удары, но я выбил такое фламенко, что у него финка вылетела из рук. И после этого я ушёл, оставляя за собой кровавый след.

Мы его ввели, дали ему напиться, сполоснули, вытерли ему грудь обрывками его белой рубашки. А дело было в какой-то девке, но Вадик очень гламурно повышал социальный статус любых приключений.

Он говорил:

-Но это же бандеровец, связанный с криминалом западной Украины. Очень серьезный и опасный человек. Это была рубка не на жизнь, а на смерть. Кононенко — человек, который прошёл серьезное антисоветское подполье, и на нем сходится всё. Тут и страсть, и уголовщина.

Вадим всё превращал в культурный артефакт.

Но потом его зависть к Жене Головину разрушила наши отношения. Женя был бард, пел, великолепно играл на гитаре. А у Вадима мало-помалу стал созревать комплекс творческой малоценности. Знает он языки — ну и что? А что он с ними может делать? Может каких-то португальских поэтов читать, комментировать в определенном антураже, очень богемно, с алкоголем, при свечах, с драйвом. Ну и что? Это же чужие поэты, чужая ситуация.

И он стал делать следующую вещь. У него был приятель, гитарист Коля Осипов, ученик Крамского[187], но круче своего учителя, — гитаристов такого уровня я никогда не встречал. Виртуоз, делавший с гитарой что хотел. Очень женственный, не заточенный ни на что человек, обыватель, типичный «человек из оркестра», который бывает в сопровождении Вари Паниной или Ляли Черной: яркая звезда, и при ней виртуоз, который никто, звать никак, — просто ориентированный на то, чтобы получать в конце гонорар. Но чем-то он был обязан Вадиму. И Вадим заставил его участвовать в своем проекте. Он брал стихи русских поэтов — Белого или Гумилёва, — придумывал мелодический ход, и Осипов должен был импровизировать музыку, а Вадим пел эти стихи под аккомпанемент Осипова. Как правило, в основе был довольно банальный музыкальный ход, к тому же у кого-то украденный.

---

[187] Николай Осипов — ныне известный гитарист и композитор.

Они с Колей записывали такое выступление, а когда к нему приходили гости, он включал эту запись и требовал слушать и высказывать свое одобрение. Не сам пел, не сам играл, и даже Колю не приводил, чтобы тот играл. Он консервировал вторичный продукт, делал его третичным, и потом предлагал его потреблять. Но всем было очевидно, что человек просто сходит с ума от неполноценности. Он начинает петь:

Голубая речка на холодном дне
Теплое местечко обещает мне.

Или:

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...

А бедный Коля вынужден наяривать. А ты даже не смеешь и возразить, что тебе это не по кайфу, а уж, не дай Бог, прокомментировать. Надо было не просто похвалить, а с вывертом. «Ты знаешь, здесь, конечно, ты эти нюансы очень точно отметил, но вот тут немного недотянул, более жестко надо было...»

Мы начали ссориться. У него стал обостряться негатив к Головину. В 1985 году мы порвали отношения при неприятных обстоятельствах. И Попов выпал из моей жизни.

У меня есть ощущение, что он жив, куда-то уехал за границу, в Латинскую Америку. Если он бросил пить, то его энергетический потенциал мог бы взорваться удивительной радугой[188]. Он легко мог бы стать тайным посредником между США, Бразилией и Аргентиной: ведь все три языка — его.

Последние лет 25-30 я пытаюсь выйти на его след. Когда кто-то попадается из общих знакомых, спрашиваю, видел ли он Вадика или слышал ли что-то о нём. Но никто его не видел и ничего не слышал.

---

[188] *Комментарий Володи Рынкевича–Сахарного*: Не думаю… Вадик очень устал. Он к середине 80-х был очень уставшим. И он давно уже умер.

# Наш круг

В принципе, если исследовать схемы и культурные паттерны, которые жили в нашей среде, я бы сказал, что это энциклопедия пост-постмодерна. Смысл всего, о чём мы говорим, в том, что в определенное время, в определенном месте имела место предельная концентрация человеческой драмы, диалектики человеческой драмы.

Я для себя в своё время это сформулировал так.

Кризис человека идёт очень давно. Есть три аспекта этого кризиса: кризис человека, кризис разума как кризис описания, и кризис общества.

Кризис человека — наиболее важный и наиболее интересный, потому что человек выстроен на системе безусловного противоречия, внутреннего конфликта. Он является носителем языка, который необходимо содержит в себе финалистские прозрения, финалистские смыслы. Человек обладает некой частицей в себе, которая делает его виртуальным оппозиционером всему сущему. При этом он является куском этого сущего. Не в том смысле, как Достоевский говорит — «Здесь Дьявол с Богом борется», — потому что у человека нет никакого Бога, его «бог» — Бытие, а Бытие на деле и есть Дьявол.

Страшная ложь человека заключается в том, что это внутренние, оппозиционные конфликты одного и того же. Представьте себе воду, которая имеет три агрегатных состояния: лёд, вода и пар. Условно будем считать, что лёд — вещество, материя, пар — дух, а жидкое состояние — диалектическая связь феноменологии, в которой прокручиваются разные состояния. Но все это одно и тоже. Человек не может вырваться за пределы этого треугольника, потому что если он обращается к духу, то он по необходимости обращается к третьему агрегатному состоянию — условно говоря, к пару. Значит, ситуация тупиковая — либо лёд, либо пар.

Если треугольник поднести перпендикулярно к зеркалу, его отражение дополняет наш треугольник до квадрата. Вот

так же берем три состояния воды — пар, лёд и воду — и подносим его к зеркалу. У нас получается новое состояние. Это состояние не активное, но виртуальное, иллюзорное. Это иллюзорная оппозиция всему целому, но человек понимает, что что-то есть. Точнее, человек чувствует, что он погружен в чистый фальсификат. Он кружится в трех состояниях, но не может схватить четвертое, потому что четвертое состояние выводит его на другую плоскость, на другой уровень.

Кризис человека заключается в том, что он становится заложником абсолютной лжи. Он думает, что это дух, или что это вещество, или что это разум, но всё — субстанция, некая протяженность. Объемлющая субстанция. Материя — это субстанция, множество — это субстанция.

Не субстанция — это эссенция, точка, которая противолежит гомогенной бесконечности. Он не может её схватить, не может её контролировать. Он может «подозревать» о ней. При этом его борьба с «подозрениями» или зависимость от этих «подозрений» составляет борьбу на ровном месте.

Сизиф постоянно толкает вверх камень. Он возгоняет воду из состояния льда до состояния пара. Потом всё опять скатывается до состояния льда. Это идёт и идёт, и не имеет шансов на прорыв. Это кризис — кризис человека.

Дальше ещё интереснее. Нам удалось ввести максимальную концентрацию метафизического кризиса в реальном пространстве вокруг себя, в нас самих. Мы создали это пространство как лабораторию исследования кризиса человека. Это пространство — суперконцентрация кризиса как главной проблемы человеческой реальности.

В чем состоит сам кризис? В фундаментальной взрывной неадекватности: «дважды два — пять», или «дважды два — три». Человек не равен самому себе. Но это была бы пошлая и банальная мысль, если бы она произносилась с «позитивным» акцентом в том смысле, что «человек — это то, что перешагивает через себя, человек — это то, что преодолевает себя, человек — это то, что звучит гордо», и так

далее. Но суть кризиса в том, что имеется в виду смерть человека, — «палец, повернутый к земле».

Я вижу эту диалектику как трехходовку.

Вот Федор Михайлович Достоевский создаёт пространство, в котором Кириллов говорит, что «умрём и будем как боги». Ницше говорит «Бог умер» — и это ответ Достоевскому. А мы говорим: «Человек умер. Там, где умирает человек, там начинается Бог». Смерть человека, реальная смерть человека — это очевидное полагание божественного как божественного вне контекста Встречи.

Любой мистик исходит из того, что божественное — результат встречи совершенного с несовершенным. Но в данном случае нам не нужна эта ситуация, не нужна встреча, не нужна главная программа искупления.

Сущность религиозной мистики заключается в том, что совершенное, которое ни в чем не нуждается, которое безусловно включает в себя всё, завершает всё, является равновесием всех смыслов, всех направлений. Казалось бы, это и есть божественное, — но это не так. Божественным является то, что несовершенство принято совершенством как равноправная пара. Иными словами, Бог невозможен без «брачного союза» совершенства и несовершенства. Несовершенство принято в этот союз.

Надо понять, что религиозный мистицизм, основанный на этих «объятиях» совершенного и несовершенного, на создании «брачного союза» — ложь, абсолютная ложь. То, что религиозные мистики называют «богом», «возникновением божественного», — это мельтешение в отхожей яме Бытия, это анти-Дух, анти-Мысль, анти-Провидение. Вот именно поэтому все эти аятоллы и прочие мэтры говорят: «Если Друг сделает так, как я хочу, то мы пожелаем жаркое пламя и соломенную циновку».

Идея замыкания до полного цикла, замыкания до полноты, последняя тайна заключается в том, что совершенство становится *истинным* совершенством только тогда, когда оно дополняется несовершенством как отдельной реальностью, без которой совершенство бессмысленно. Это

краеугольный камень, отброшенный строителями за ненадобностью, но именно он ложится в основание купола, ключом, замыкающим купол. Эта та форма, благодаря которой купол стоит.

Вся суть религиозного мистицизма состоит в том, что несовершенство является необходимым дополнением для совершенного. Совершенное без несовершенного — ничто. «Бог» — это нераздельный союз совершенного и несовершенного. В этом суть христианства, суть обожения, суть всего.

А мы говорим, что всё это — ложь. Потому что сама идея совершенного и несовершенного, их диалектика, их глорификация через возгонку того и другого, — полная фальшь.

Человек должен умереть. Но не в смысле Ницше — не для того, чтобы родился сверхчеловек. Он должен умереть для того, чтобы освободить своё сознание как точку оппозиции всему.

Когда человек умирает, с этого начинается Бог. Но не в смысле религиозных мистиков, которые мыслят в категориях «совершенной полноты», «несовершенства». А Бог, понятый как Тот, Кто творит для того, чтобы показать, что всё, что есть, что всё, что сотворено, является выражением Его сокрытости. Это противоположная идея тому, что всё вокруг нас свидетельствует о Боге. Что птички чирикают и возносят Ему хвалу, змеи шелестят раздвоенным язычком и возносят Ему хвалу и тому подобное.

Этот «триптих» — Смерть, Сознание, Невозможность, — вот антитеза Бытию. Смерть, Сознание, Невозможность — одно и то же, просто разные аспекты.

Смерть — та бездна Невозможного, которая находится за пределами возможности постановки вопроса о ней.

Искра этой смерти, которую человек носит, пока жив, есть сознание как точка оппозиции всему, точка несовпадения ни с чем. Благодаря сознанию человек может свидетельствовать. Свидетельствование и есть несовпадение оппозиций, чистое несовпадение. Martiris — это мученик,

шахид — это свидетель и в то же время мученик, свидетель и мученик одновременно.  Почему? Потому что сознание — это рана, источник боли для Бытия, травма. И Бытие непрерывно стремится травму залечить, залить бальзамом.

Это происходит на всех уровнях — начиная от простого ханыги в среднерусском городке и кончая золотой молодёжью потерянных поколений. Всё построено на эскапизме, люди хотят бежать от травмы сознания.

А мы создали абсолютную концентрацию противоположного: идти в травму сознания, раскрыть тайну сознания как предельное состояние. Сознание как травма, как невероятный источник боли.

«Там, где мы, там всегда центр Ада», — говорил Головин.

Именно этот акцент делал всё таким значимым и важным, и Нимфетку, и Попова, кого угодно. Все становились участниками мистерии. Все принадлежали к очень специальному кругу. Например, ты смотришь на Нимфетку[189] и видишь, что девушка пошла по плохой дорожке. Красивая, нежная, но гопница. А ведь она — невестка крупного советского писателя, писавшего о сопротивлении японцам на Дальнем Востоке, «Сердце Бонивура». Довольно мистическая вещь, кстати говоря.  Кого ни возьми — все участники были на уровне, кто-то на высоком.

Несколько человек составляли ядро, эксклюзив — Мамлеев, Головин, я и в какой-то мере Степанов. Но дальше шли уже десятки людей. Они появлялись и исчезали как тени, но у каждого из них была своя миссия и своя роль. Арлекин, Панталоне, Коломбина.  Кое-кто конформистски понял, что стать наследником Южинского, — беспроигрышный вариант, золотая монета, что надо сесть на это наследие, объявить его своим, и быть просто его директором-распорядителем.

---

[189] Здесь речь об Оле («Нимфетке»), которая жила у Джемалей в квартире на Очаковской. О ней перед началом этого монолога вспоминал Рынкевич-Сахарный.

Главное, что следует понять: мы превратили концепцию кризиса в непосредственный источник энергии. Мы «топили» этим кризисом наши энергетические механизмы.

Мамлеев, который создал максимально деструктивное, инфернальное пространство, побывав в Штатах, превратился в китчевого, карикатурного своего персонажа. Он стал Куротрупом и на себе замкнул взаимоисключающие вещи. Мамлеев не справился с этой задачей в Штатах, потому что рационализм и прагматизм Штатов оказался сильнее, чем «борьба за кризис». Борьба за кризис во имя кризиса. Находиться в процессе, в потоке некоего делания, и взорвать это можно, только если ты реально знаешь всё про кризис и стремишься к тому, чтобы это взорвать. А Мамлеев был пассивным инструментом кризиса. Кризис его использовал. Он не мог им владеть, не мог интернировать ситуацию. И поэтому он почувствовал, что весь его набор ценностей… Вообще, «набор ценностей» — глубоко фальшивая идея и ничего не стоит перед Америкой. Там он оказался никому не нужен.

Если ему сказать: «Юрий Витальевич, так вы же никому не нужны!», он разведет руками, споткнётся: «Как никому не нужен?!» Он думал, что на нём свет клином сошёлся, а ему говорят, что он никому не нужен, что всё это полная ерунда.

Тупик.

Юра инстинктивно творил, как медиумичный творец, и он хотел за это получить. С определенного момента он хотел быть бенефициаром собственного таланта. Но он же мне сам говорил: «Мне уже 40, а где перспективы?! Я пишу, пишу, и всё в стол. Перспектив нет, здесь реализоваться я не могу». Он хотел получать социальную отдачу.

Если всё свести к вульгарному эквиваленту, то — да, он хотел, чтобы ему платили, и даже не столько деньги, потому что он воспитан в советской аскезе. Мамлеев не тот человек, который искал навар. Он хотел славы и влияния. Он хотел быть мэтром. Его «я» должно было стать краеугольным камнем действительности не для одного него, а вообще на этом камне должна была воздвигаться церковь. А когда он приехал в

Америку, все эти идеи обнаружили свою смешную, неадекватную сторону.

Он не справился с ситуацией. Он даже не мог её описать, не мог дать адекватный расклад. Не мог объяснить, с какими картами он сел играть. Он садится за карточный стол — идёт раздача карт, и ему что-то раздают, но он не знает, в какую игру сейчас будут играть. Может, подкидной, может, покер…

# Кризис

Банальные люди хотят семью, детей, ответственности, работать. Мне все это было не нужно. Я быстро расплевался с социумом. Когда меня выгнали из армии, я уже ни в какой институт поступить не мог. Было понятно, что работать я точно не буду.

После моего небольшого опыта корректора в издательстве «Медицина», необходимый мне для того, чтобы познакомиться с Ильей Москвиным, а Илья Москвин познакомил меня с Мамлеевым, — всё, дальше мне уже не нужно было работать.

Я работал только два раза после издательства «Медицина».

Несколько месяцев сторожем в гараже ипподрома, где я писал стихи, и это был попросту мой «офис» и место уединения. В мою обязанность там входило открывать ворота машинам.

Это кончилось жестко — пришли проверяющие, а у меня дым коромыслом, человек шесть-семь гостей сидело. А коморка была метра два с половиной на четыре.

Второй раз я работал очень смешно — в охране, в вохре министерства автоматизации мясомолочной промышленности где-то на Лесной улице. Мне выдали фуражку, черную шинель, пахнущую козлом, дурацкие ботинки из кожзама, какие-то брюки из непонятной ткани. И я с огромной бородой — всегда носил бороду, — с локонами на плечах, сверху фуражечка, черная шинель с зелеными петлицами. В таком виде я стоял на проходной и проверял пропуска.

Мне запомнилось это потому, что я, работая там, читал «Утро Магов» Павеля, и в этот момент армяне взорвали метро: по радио передали о взрыве. 1977 год[190]. Затикяна, кстати,

---

[190] 8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов в виде трёх взрывов в общественных местах. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Они были приговорены к смертной казни и

лично знал Арам Карапетян, встречавшийся со мной спустя тридцать лет.

1978 год для меня стал годом сурового кризиса.

Мне исполнился 31 год. Поиски и пути, которые меня поддерживали в моей внутренней работе, исчерпались.

Тогда я ещё не был практикующим мусульманином, которым стал после того, как поехал в Таджикистан и там уже сошёлся с носителями ислама. Но я всегда был мусульманином, всегда считал себя мусульманином, всегда внутренне был укоренен в исламе, но по образу жизни принадлежал к правой богеме, что выражалось в неких эксцессах, которые сопровождали мою повседневную жизнь.

Внешне я вёл достаточно богемный образ жизни, но к 1978 году я понял, что все «угольные пласты», все «месторождения» я уже выработал, и за этим брезжила совершенно новая конструкция, новый визион.

Но я ещё был разъединен с этим смыслом в непосредственной экзистенции. Меня не оставляло чувство, что теряю время. У меня возникала явная лакуна, явный перепад в самоощущении. Я всё время размышлял — умственная работа никогда у меня не прекращалась.

Но на внешнем плане я понял, что я буксую.

Моё тело, моё присутствие были на одной стороне, а некоторое интеллектуальное видение — на другой. Я приближался к новому видению, и его абрис проступал сквозь туман.

Подобным образом мы видим причальные конструкции, какие-то краны и трубы, когда подплываем на барже к пристани ранним утром, но ты туда ещё не приплыл, не сошёл на эту землю. И эта земля вызывает у тебя надежду, а возможно, даже некоторый страх.

В этот период я вел сложный, тяжелый образ жизни с людьми, погруженными в достаточно бессмысленное

---

расстреляны по приговору суда 30 января 1979 года. Несмотря на это, советскими диссидентами высказывались сомнения в их виновности и альтернативные версии случившегося.

существование. Впервые в моём физиологическом механизме произошел сбой, у меня неожиданно проявились признаки болезней, о которых я никогда не думал, что они могут иметь ко мне какое-то отношение. Вдруг я почувствовал себя физически очень уязвимым.

После этого сразу началась смена декораций…

Как я уже говорил, мы с Леной развелись, и в результате сложных многоходовок я оказался на Народной улице.

Дом, в котором я тогда жил, существует и поныне. Он сейчас покрылся штукатуркой и краской, а тогда был просто зеленовато-облезлый кирпичный дом в центре на набережной рядом с Таганкой, совершенно барачного типа. Пригламуренный барак.

Там жили очень любопытные люди.

Моими соседями оказались московские пролетарии — семья, состоявшая из толстого плотного мужика в годах, отца семейства, лет под 60, где-то неплохо по тем временам работавшего, квадратной красномордой его жены и их монстроидального сынка. Сын модно подворачивал джинсы почти до середины голени, не просыхал, тупо женился на «лимитчице», они тут же заделали ребёночка, которого назвали Денисом. Во дворе стояла их «Победа», никуда не ездившая. Отец с сыном её катали на руках по двору.

«Победа» была настоящей женой этого мужика. Он приходил с работы, быстро на кухне хлебал варево, приготовленное его кубышистой женой, надевал стоячий от мазута и масла комбинезон и шёл лежать под эту «Победу». Возвращался он во втором часу ночи. Каких-либо результатов лежание совершенно не давало, я только один раз видел, чтобы место, на котором эта «Победа» стояла, пустовало.

Как-то раз вечно пьяный сын попросил отца:

-Батя, давай продадим эту «Победу» и купим хоть какие-то нормальные «Жигули».

Отец его чуть ли не избил со словами:

-На этой «Победе» ещё в 1952 году мой начальник ездил, у которого я эту «Победу» купил. А ты смеешь говорить, чтобы я её продал.

Мне был любопытен конструкт этих сущностей — я бы не рискнул причислить их к человеческому уровню. Существа субчеловеческого уровня. Любопытные джинны болотного образца.

Соседи мне не мешали. Разве что большая и похожая на сарай ванная использовалась ими как склад запчастей для этой «Победы». В принципе, это тоже не мешало, потому что запчасти лежали не в самой ванной, а рядом.

Там я жил, и там происходило много интересного.

Я постелил ковёр, путешествовавший со мной ещё с Мансуровского. Этот ковёр я помню с раннего детства, он лежал у моего деда в кабинете. И когда дед меня туда пускал, я на нем играл. Ковёр спускался с 4-х метровой стены и далее раскатывался по полу, метров 8 в длину, метра 3 в ширину.

Я его как-то приспособил у себя. Ещё привёз с собой тяжелую мебель — частью с Мансуровского, а частью с Гагаринского. Места спать там не было. У меня была тонкая поролоновая подстилочка-матрасик, днём она стояла, прислонённая к стене, а ночью я раздвигал мебель, клал её на пол и ложился спать.

В этот период я встретился после долгого перерыва с отцом. У меня с ним, после моей женитьбы на Лене, сильно ухудшились отношения, и мы немножко разбежались.

Он был против этой женитьбы: считал это мезальянсом. Он хотел найти мне азербайджанку — при этом сам отец не женился на азербайджанках. Обещал найти прекрасную азербайджанку из прекрасной семьи, которая будет опорой. Я как раз по этой причине не хотел жениться на азербайджанке. Потому что в Азербайджане женятся не на женщине, а на её семье.

Он говорил о Лене все время неприятные оскорбительные вещи, и мы с ним разошлись.

И тут отец прорезался, позвонил мне, пришёл в гости. Это была осень 1978 года. Мне было 31, а ему,

соответственно, 50. Он был свеж, очень красив. Каштановая борода, джинсы, голубая монгольская рубашка из китайского шёлка, перстень с золотым львом. Очень стильный — настоящий художник.

Он вошёл в мою комнату на Народной, оглядываясь, с таким внимательным прищуром, — как к бедному родственнику заходит занимающийся благотворительностью богач. Посокрушался, что нет места для спанья. А у меня все было совершенно занято. У окна стоял огромный дубовый стол, дальше кресло с резными львами спиной к двери, с одной стороны книжный шкаф тоже массивный и дубовый, а с другой — бывший книжный шкаф, переделанный в одёжный. В пространство, покрытое ковром, между креслом и одёжным шкафом ничего невозможно было бы поставить, там можно было только кинуть матрас, когда ложишься.

Он посмотрел внимательно на мою потертую стильную кожаную куртку Bono, кем-то мне подаренную. Она висела на резных львах. Отец сказал, что куртка хорошая, только грязная, такие вещи надо носить чистыми.

Уже первые жесты и слова ввели меня в некоторый предварительный негатив по отношению к перспективам дальнейшей беседы. Тут отец увидел немецкую каску, красовавшуюся на кувшине, замотанном в бархат. Сказал:

- Фу, выброси эту гадость.

Я спросил почему, и он ответил, что может быть кто-то зайдет и увидит немецкую каску.

- Русские выиграли эту войну, русские всё выигрывают. Зачем тебе немецкая каска? Русские так сильны...

Я сдержался.

Потом он предложил мне спуститься вниз и пойти в ресторанчик «Поплавок», пришвартованный прямо напротив моего дома к дебаркадеру, — сейчас его давно уже нет. Я там до этого никогда не был.

Мы перешли дорогу, спустились в этот «Поплавок», он заказал себе какую-то невнятную еду, поели. Я всё время про себя отмечал, что он очень хорошо выглядит. И потом мы пошли где-то посидеть на скамейке.

Отец сказал мне:

- Нужно завязывать все эти глупости с фрондой... Особенно художнику... Художник всегда работал на хана, всегда работал на государство. У меня вот Давид Кугультинов заказал свой портрет, и я его написал. И что? Он отказался его брать и платить за него деньги. А МОСХ этот портрет взял, и я деньги получил. Поэтому всегда надо на хана работать. Фронда, «оппозиционное» творчество — это ерунда.

Я говорю ему:

-Папа, в своё время я полюбил тебя именно за то, что ты был фрондёр, оппозиционер, ты в принципе очень негативно отзывался о всей реальности вокруг тебя.

Он ничего мне не ответил.

Мы вернулись ко мне, и он сказал:

- Знаешь, у тебя критический возраст... Последний, когда ты ещё можешь что-то сделать. В твоем возрасте надо жениться и завести детей, потому что потом ты испортишься, будешь уже в постпрокреативном возрасте. И тебе надо закончить юридический и стать адвокатом. Ты будешь защищать бакинских цеховиков, мы это устроим.

Я его спрашиваю:

- Как я могу стать адвокатом, как я могу поступить в юридический?

- Ерунда. Имя деда еще влиятельно, есть связи. Мы всё устроим, тебя примут. Поучишься, получишь диплом через два года, женишься на девушке из хорошей семьи, её семья окажет тебе поддержку. Будешь защищать крупных бандитов и цеховиков. Сможешь зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц.

Это была финальная точка в нашем разговоре, после которой я понял, что дальнейшее наше общение не имеет никакого смысла. Я что-то пробубнил, и через какое-то время мой отец вежливо ушел. Не знаю, что он вынес из нашего разговора, из моей реакции на его предложения. Но после его визита я почувствовал чудовищную депрессию.

Если у меня и была когда-то депрессия, то именно тогда.

Рядом со мной не было никого.

Мамлеев находился в Штатах, и я его уже считал наполовину умершим и видел во снах. Он превращался в полумифическую фигурой.

С Головиным на тот момент мы уже разошлись из-за Лены.

Не было тех, кто возник чуть позднее. Я был совершенно один, и в какой-то момент даже мысли о самоубийстве посетили меня.

В этот момент ко мне заходит Володя Степанов. Это был, по-моему, сентябрь или ранний октябрь...

Заходит Степанов, а я вообще весь чёрный с лица. Он меня спрашивает:

-Что такое?

А он был очень чувствительный, эмпатичный. И я ему всё рассказал. Рассказал про встречу с отцом. Он постарался какими-то ироническими фразами поднять мне настроение.

И вдруг говорит:

- Знаешь, против этого есть единственный способ: нужно встать и просто идти куда глаза глядят. Если я тебя позову — пойдешь?

- Да, пойду.

- Ну тогда собирайся. Прямо сейчас и пойдем. У меня уже и билет есть, я еду. Ты поедешь со мной?

- Да, а куда?

- Это неважно. Ты же уже согласился. Вставай и идём.

Мне в моём тяжелом состоянии было всё равно, и я совершенно спокойно согласился. Других вариантов не было. Встали и поехали.

Приехал на Ленинградский вокзал. Он на свои деньги купил мне билет: я тогда был на мели. Сели в сидячий вагон. Он шутил, шутил. По-моему, он сказал «Алитет уходит в горы»[191] — применительно ко мне. Провиденциальная фраза.

Приехали мы в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград. «Мой черный ход из этой хаты» — аллюзия на тот день.

---

[191] Фильм Марка Донского 1949 года о Чукотке.

Приехали мы затемно. Я не спрашиваю, куда мы идем: идём и идём. Приехали без вещей, я в той кожаной куртке, которую мой отец обхаял как грязную.

Степанов говорит мне:

- Ну ладно, в двух словах я тебе опишу, куда мы идём. Тут есть такой круг — он, в общем-то, женский, но женщины там очень серьезные. Они обладают специальными возможностями. Очень непростые женщины, связанные с некоторыми направлениями в магии, хотя здесь, наверное, это слово будет неточным. Там, конечно, есть и мужской элемент, но он вторичен. Но это всё друзья. Мы появимся и будем в кругу друзей.

Мы оказались на Благодатной улице. Поднялись на какой-то этаж по тем временам шикарного кооператива из жёлтого кирпича, позвонили. Нам открыли дверь, и мы оказались в огромной квартире, по советским временам — номенклатурной. Даже неономенклатурной, потому что она была не то что профессорской, где огромные залы перетекают друг друга, и мебель разваливается от старости. Это была пятикомнатная квартира с хорошей планировкой и новенькой мебелью. Открыла нам женщина баскетбольного роста с челкой, абсолютно золотая блондинка с жестким волевым подбородком, прямым носом, спортивной фигурой.

Она нас радостно встретила, мы вошли. Володя говорит:

- Ну, а где Широков?

Она нахмурилась и говорит:

- У своей... Вообще не знаю, что делать. Все же было уже согласовано, мы должны были уезжать в Америку. И тут надо же было ему загулять. Нашёл какую-то бабу и всё срывает.

Сели. Чай пошёл... Я вышел в соседнюю комнату, а там на подстилке лежала женщина мелковатого плана с жиденькими волосами, но, видимо, много о себе понимающая. Потому что когда я поздоровался, она мрачно пробормотала сквозь зубы:

- Не приставай.

Я вернулся опять к чаю.

Спрашиваю:

- Кто это там такой сердитый?

- А это вот Наташа Прокуратова, известная личность.

Я понял, что это она относилась к тем непростым «магическим» женщинам, составлявшим основу кружка. Потом мне Степанов объяснил, что её шёф и покровитель Лев Нусберг[192], руководитель и создатель творческой художественной группы «Движение», уехал в США, взял с собой всех, но оставил только Франсиско Инфанте [193] и вот эту Прокуратову. И вот Сергей Жигалкин, как человек, желающий послужить делу художественной свободы, согласился свою биографию, свою жизнь принести на алтарь поддержки независимого искусства и жениться.

На следующий день я его увидел — это был лейтенант Глан[194] в чистом виде. Высокий худощавый парень с широкими плечами и узкими бёдрами. Вьющаяся блондинистая курчавая бородка, голубые глаза, смотрящие совершенно в заоблачную даль, прямые волосы, мужественное лицо. По нему было сразу видно, что это надежная опора. Говорил он скороговоркой Московской области. Был технарем, математиком-программистом.

А Прокуратова, проснувшаяся к тому времени, выползла вся заспанная, и по ней было сразу видно, что она отштампованная колерованная стерва.

Что же касается хозяйки квартиры, то звали ее Подольцева Катерина.

У неё был идиот-братец — на минуточку, врач олимпийской сборной СССР, который был в обломе по этому поводу, потому что он хотел быть просто гбшником. А гбшником ему не дала быть его жена. Оказывается, чтобы стать гбшником, надо получить разрешение жены. Жена его

---

[192] Лев Нусберг (род. в 1937 г.) — известный художник, основатель «русского кинетического искусства». В 1976 году году эмигрировал из СССР. Участвовал в «Диссидентской биеннале» в Венеции в 1977 году.

[193] Франсиско Инфанте-Арана (род. 1943г.) — известный российский художник, фотограф, теоретик искусства. Сын испанского политэмигранта.

[194] Лейтенант Глан — герой рома Кнута Гамсуна «Пан», 1894 г.

не пустила в КГБ. Он чувствовал себя неудачником, непрерывно пил, являлся к сестре и кричал, что квартира его. Напиваясь, он ходил в трусах и искал свой партбилет. Такое случалось уже после меня.

У нее была дочка Лиза. Сама Катя была математиком. Её муж, Алексей Широков, тоже математик, гениальный — он мог любому левой ногой написать диссертацию. И они уже договорились, что они «паровозиком» едут в Штаты, женившись на еврее и еврейке, чтобы потом их кормить в Штатах по гроб жизни за то, что они их вывезли.

Они были абсолютно счастливы и довольны.

Беда заключалась в одном — Широков был совершенно безумен. Взяв спичку, он спрашивал:

- Это чьё копьё? Это копьё архангела Михаила.

Или поймав осу, подносил ее к носу собеседника и спрашивал:

- А это кто?

Широков закадрил жену капитана дальнего плавания, который находился в походе. Наш математик с ней периодически спал. Катя Подольцева пребывала в расстроенных чувствах: Америка сорвалась.

Мы со Степановым жили в этой квартире, где постоянно шло такое гудение. Прошло, наверное, дня два, и вдруг…

А у Кати Подольцевой был настоящий кабинет: письменный стол с вращающимся креслом, книги сзади и стул для приёма посетителей перед столом. И вот она появилась в моей комнате, и говорит:

- Можно вас попросить зайти ко мне в кабинет?

Захожу, она сидит за столом, я сел за стол просителя и приготовился слушать. Она говорит:

-Вот, видите ли, дело в том, что я вас люблю.

Я попал в очень как-то интересную ситуацию. Как говорят азербайджанцы, «из одного сердца в тысячу сердец». Но я же никогда не отказывался от таких предложений. Подошёл к ней, встал на одно колено и сказал:

- Я постараюсь сделать вас счастливой.

А что тут скажешь в таком случае? Я же не мог ей сказать: «Я тоже вас люблю». Прозвучало бы маразматично. Разве что «Спасибо, я принимаю ваше признание».

Это была очень странная, очень несчастливая и неудачная связь, потому что мы с ней совершенно не подходили друг другу.

Вечером, когда вернулся Степанов, мы уже существовали в какой-то из бесчисленных комнат, хотя до этого мне даже в голову не приходило иметь с ней какие-то отношения. Степанов вошёл, и я почувствовал через дверь, что он дико обломался.

На следующее утро Катя, по своему обыкновению, вызывает Степанова в кабинет и говорит:

-Володя, дело в том, что тебе, видимо, придётся уехать.

Он охренел:

-Прям вот так?

-Да, вот так. Я люблю Гейдара.

К тому времени я с Широковым уже познакомился. Это был любопытный персонаж огромного роста, метра два, его физиономия с гигантской золотой бородой представляла собой копию скульптурного бюста Зевса, который рисуют в художественных школах. Его голубые глаза отличались от зевсовых — они были очень близко посажены, и в них плескалось безумное выражение остекленевшей от алкоголя пьяной крысы.

Он всё время кадрил девок. И девки сначала расцветали, когда к ним подходил такой гигант. А он к тому же был культурист с бицепсами диаметром полметра или больше, и меня подсадил на культуризм.

Подходит такой колосс, начинает с девушкой разговаривать, она вся плывет. Но через пять минут она уже не знает куда деваться. Она смотрит в его глаза и понимает, что надо бежать. Глядя в его глаза, любой понимал, что в голове у него улюлюканье и свист ветра. Но при этом он реально был гениальным математиком.

И, как у гениального безумного математика, у него имелись свои идиосинкразии: он считал, что математикой

является только матанализ, а всё остальное есть шарлатанство и чистая фикция.

Я ему как-то говорю:

-Коля, меня испортили в школе, а я хочу знать математику, она мне нужна, но не в практическом смысле, а вот я хочу освоить математическое мышление как метод.

Он говорит:

-Мы с тобой будем заниматься. Я тебе не обещаю, что ты станешь великим, но хорошим крепким математиком ты станешь.

Я получил от него один единственный урок, там же на кухне:

-Представь себе, что ты находишься в потустороннем саду на неизвестной планете. В этом саду растут удивительные и самые неожиданные растения, лианы, странные стебли, орхидеи. Так вот, это сад, в котором роль растений исполняют функции...

Это единственное, что я от него услышал в качестве урока по математике. Но это стало сильным топливом, потом я перестроил его фразу про функции и разработал на основании неё собственный подход, свою «математику». Но это не важно.

У нас пошла гульба с Катей Подольцевой. Сначала всё было невероятно бурно. Но потом мы оказались как два существа, запертых в клетку. И мы начали охреневать от всего этого. Кроме того, дело происходило в Питере, а Питер я ненавидел. Ненавидел его еще с детства — с тех пор, как я туда приезжал в гости к матери в каком-нибудь 1961. Все мои пересечения с Питером были очень несчастливыми.

Делать мне там было совершенно нечего.

Я пытался в то время писать роман «Электронный голубь». На это дело меня вдохновил Андрей Белый.

Идея была такая: мавзолей Ленина представляет собой оккультный храм, пирамиду, и там есть оживающая мумия Ленина. Мумия является центром некоего культа, в нем участвует определенное количество посвященных. Ключевой фигурой оказывается голубь, и он должен пройти

определенное преображение. Голубь представляет собой созданный в глубокой египетской древности искусственный интеллект. И не мумия должна воскреснуть, а искусственный интеллект должен стать живым, воскреснуть к реальной жизни. Голубь реально является голубем Святого Духа, но он заключен в тесный флакон искусственного интеллекта, который, с одной стороны, обладает полнотой возможных представлений, а с другой, ничем не отличается от химической реакции аспирина в стакане воды, и он должен пройти преобразование.

Сложная, запутанная конструкция, идиотский текст. Страшная муть и околесица. Но я его писал. Я никак не мог из него выпутаться, но как фанат, держащийся за последнюю соломинку, садился каждый вечер за письменный стол и писал. Я писал в общей тетради на пружинках, она пропала бесследно — туда ей и дорога.

Потом мы поехали в Москву, я показал Кате своё жилище на Народной. Она была чуть-чуть в шоке, что её избранник, которого она воздвигла на пьедестал сверхчеловека, ютится в двух комнатушках чудовищного дома, спит на подстилке. Она же была простая девка, в сущности.

Через некоторое время в наших отношениях начался кризис.

Кризис достиг апогея, когда через полгода я опять был в Москве с ней, и мы сидели у Степанова. Там был Женя Головин. Когда мы вошли в комнату, он уже был очень пьян, сидел с Владимиром Ивановичем Отрощенко, его тогдашним личардой.

Женя повернулся в нашу сторону, увидел эту 180-сантиметровую статую с золотой челкой и спросил своим особым шепотком:

- Это что за кисонька?

Как мне призналась потом Подольцева, одного голоса хватило, чтобы сразить её насмерть. Вот эта «кисонька» пробрала её, вызвала дрожь, и она поняла, что она теперь любит Головина.

Наши отношения ещё продолжались какое-то время по инерции. Я несколько неадекватно пригласил Женю в Питер отмечать мой день рождения. Он приехал, атмосфера становилась нестерпимой, и я попросил его уехать.

Летом 1979 года мы сделали с ней марш-бросок на берег Иссык-Куля из Алма-Аты. Пешком прошли через два или три перевала, покрытых лесом. По моим позднейшим представлениям — довольно лёгкий путь. Но тогда я был не в форме, и это потребовало от меня серьезных усилий, я был весь в поту.

Такова преамбула к моему последующему перемещению центра тяжести в Азию. Это был пока небольшой задел.

По возвращении из Алма-Аты на квартире одного из наших друзей — по-моему, Вадима Попова — Катя попросила меня зайти в ванную за неимением кабинета, так как это была однокомнатная квартира. Я зашел. Она закрыла за собой плотно дверь, пустила воду и сказала:

-Дело в том, что я люблю Женю.

На это я только ответил:

-Конечно-конечно, я понимаю. Женю любят все.

Я остался в Москве, а Женя уехал к ней в Питер.

Удивительно, что его пребывание в Питере продолжалось три или четыре года, причем он очень мощно проявил себя там — в отличие от меня, который там ни с кем не хотел знакомиться, ничего не хотел там делать и писал своего «Электронного голубя».

Головин там общался с людьми, играл, записал кучу кассет, которые потом непонятно куда делись. Возможно, Катя их позже увезла в Америку.

В Питере было общество, кучковавшееся вокруг племянника Ромма по имени Кит. Это был центр креативной тусовки, состоящей, как обычно, из золотой молодежи, фарцовщиков, художников, поэтов. Кит погиб то ли от передоза, то ли от чего-то ещё, память о нём зудела в Питере, какие-то люди там оставались. И Женя попал в пространство, которого я длинной палкой не касался, а Женя в нем вращался и пел.

Поработал с Катюшей хорошо. Когда я её встретил как-то в Москве на кухне у Жигалкина через пару лет после того, как она начала жить с Женей, то почувствовал себя полностью отомщенным. Ручки у неё тряслись, как при Паркинсоне, она прикуривала одну сигарету от другой, и было видно, что девка катится очень далеко со свистом, как бильярдный шар, по наклонной плоскости. На тот момент она уже прожила с ним дольше, чем со мной[195].

В конце концов Женя оставил её и вернулся в Москву к Ирине Николаевне, но в итоге — к Лене.

---

[195] Подольцева Екатерина Львовна (р. 1949), общественно-политический деятель. Окончила математико-механический факультет ЛГУ (1971). Работала в Ленинградском институте методов техники управления (до 1988). В 1986 лидер группы "Доверие" ("Группа за установление доверия между Востоком и Западом"). На квартире Подольцевой работал семинар "За демократию и гуманизм". В 1988 — инициатор создания Северо-Западного отделения партии "Демократический союз" (ДС). В 1990 эмигрировала в США. «Блестящая Катя» — назвала её Новодворская в своих воспоминаниях.

# «Ориентация — Север». Дудинский

Водоразделом в моей биографии несомненно стала «Ориентация — Север», и она появилась как раз тогда, когда я пережил очень большой и многоступенчатый кризис, связанный с исчерпанием Южинского периода, смыслов, которые были для меня актуальны с 1967 года, со знакомства с Мамлеевым, и потом в большей степени с 1969, когда я познакомился с Головиным. Все было внутренне исчерпано. Исчерпанность начиналась с того момента, как мы решили с Леной разбежаться в 1976 и разделить нашу квартиру на Большой Очаковской.

Возвращаясь к теме «Ориентации — Север».

Пока мы ещё с Катей не расстались, но отношения уже были проблемными, мы поехали на дачу к Дудинскому. Был февраль 1979 года, когда Китай напал на Вьетнам. Это произвело на меня почему-то сильнейшее впечатление.

Во-первых, я подумал, что это преамбула к большой войне.

Во-вторых, у меня было абсолютно апокалиптическое чувство. Я был совершенно выбит из колеи. Не могу объяснить, почему это произвело на меня такое действие. С тех пор мы пережили столько нападений гораздо большего масштаба и гораздо более близких мне. Некоторые воспринимают футбол более остро, чем открытие того или иного фронта, появление горячей точки. Но тогда нападение меня шокировало. Стоял февраль.

Потом мы с Катей расстались, и я вернулся к этой Народной улице, к этой комнате, и к той простой позиции, из которой Степанов вывел меня в октябре 1978 года, взяв меня вслепую на Благодатную в Питер.

Я сделал круг и оказалось, что этот круг — ложный. В этом круге не содержалось ничего, кроме потери времени.

Мы сидели у Дудинского на даче. Он сказал:

- Ты должен написать книгу. Культовую книгу, которая будет как Священное Писание. Я знаю, ты можешь. Книгу, которая станет харизматической, которая всё перевернет, и у

неё будет просто дымящееся облако фанатов, потому что ты — бездонный кладезь.

Он меня так уговаривал некоторое время, и идея внезапно захватила меня самого. Действительно, серьезная работа, нацеленная на результат, — не какой-то чудовищный макабрический электронный голубь.

Дудинский вернулся к теме чуть позже и сказал, что готов всё сделать, чтобы она была написана. Мы договорились, что я буду диктовать, а он будет записывать.

Писать я не люблю — в этом плане я лентяй.

Мне многие люди предлагали записывать мою диктовку, но часто они оказывались неадекватными для этой цели. Они хотели решить какие-то свои собственные проблемы.

Например, Вадик Попов предлагал мне написать диссертацию для его возлюбленной. Девушка по фамилии Кукаркина, дочь солидного функционера из комитета по делам кинематографии, хотела защитить то ли кандидатскую, то ли докторскую по театру абсурда. Попов намеревался сделать ей такой подарок. А мне он сказал, что заплатит за эту работу ста пятьюдесятью тушками кроликов.

Такой вот бред. Я сказал, что кролики мне не нужны.

Он мне предложил наговаривать на магнитофон и всё расшифровывать. Мы сели у него дома, но у нас не пошло, его присутствие мне мешало, — ищущее пустое присутствие мужской пусто-агрессивной единицы. Он гнал что-то своё, всё время хотел вставить свои пять копеек.

Был такой олимпийский чемпион по штанге в среднем весе ингуш Исраил Арсамаков. Сеул, 1988 год. Он возглавлял отдел штанги в олимпийском комитете РФ. Как и все спортсмены начала 90-х — при деньгах. Он купил квартиру в полукруглом доме, который смотрит на памятник Гагарину, оборудовал студию и хотел, чтобы я в лекциях изложил то, чем я сейчас занимаюсь. Но физически его присутствие всё ломало: этот человек просто блокировал мои попытки что-то изложить. Он хотел, чтобы я просто сидел и излагал, как

труба с неба. Я могу так, но при условии, если рядом со мной будет не Исраил Арсамаков.

С Русланом Айсиным у нас абсолютный симбиоз, мы с ним как братья. Он меня воспринимает полностью, как живое дыхание.

У меня ни разу не получалось работы с человеком мужского пола, кроме как с Русланом. Руслан — уникальный случай, он живет в этой теме, в этом поле.

С Дудинским такого не было. Хоть он и очень старался, но Дудинский — женственный тип. Он не агрессивен, у него нет таких «заначек», рассованных по карманам. Да и Попов был мужчиной нижней категории, просто «трахальщик». И у него в голове сидело, что Кукаркина ему даст, если перед ней на стол положить диссертацию. Это всё очень сильно лезет.

В чем трудность с мужчинами-секретарями? Мужчина сопротивляется тому, что слышит. Внутри себя он хочет сказать: «Старик, да всё не так на самом деле. Ну ладно, ты говори, но я-то знаю, что всё не так».

Орхану невозможно диктовать, он будет каждый раз кидаться к планшету и искать в Википедии, где я назвал неправильно цифру или не то слово сказал.

С мужчинами невозможно работать. Есть книга Эккермана «Разговоры с Гете», и такие казусы бывают.

Вот с женщинами работать хорошо. Не со всеми, конечно, но в целом — хорошо, потому что они тебя воспринимают как интеллектуального героя. Они пьют твои слова без размышления.

Катя Виноградова была потрясающим исполнителем, потому что это минимальное присутствие, только поглощение, только потребление.

Таня Тарасова уже хуже. Она закончила философский факультет, училась в аспирантуре, и у неё в башке огромный склад разной эрудиции, мешавшей ей, но всё-таки это лучше, чем с секретарем-мужчиной.

А вот с Русланом у нас симбиоз, которого не было ни с кем никогда.

Сам я тоже писал. Но эти тексты я осудил, я их видеть не могу. Что-то нахожу в своих архивах. Некоторые местами забавные. Но, в основном, всё треш.

Я набросал в присутствии Дудинского темы, на что он кричал:

- Гениально! Гениально!

И я стал диктовать.

Я диктовал, Дудинский писал от руки, потом он относил эти записи к себе, печатал их на машинке, приносил мне на правку, я правил и опять диктовал.

Диктофон не предполагался, диктофон — это профанация.

Мы писали долго, несколько месяцев — два или три. Жигалкин навещал нас, давал денег на еду, говорил, что вносит в это подвижничество посильный вклад. Кстати, ему зачтется.

Книжку напечатали в самиздате на базе Института системного анализа — того самого, из которого изошли Егор Гайдар и другие. На копировальной аппаратуре она была размножена, собрана и сброшюрована. Так что Институт системного анализа, возглавляемый Гвишиани, тоже приложил руку к появлению этой книжки.

Мы сделали сто экземпляров. Они разлетелись со свистом. Проданы они были по минимальной стоимости, и вся выручка пошла на оплату бумаги, ксерокса и денег сторожу. Люди приходили, чтобы её купить, реализацию взял на себя Дудинский.

Книжка неожиданно превратилась в то, что Дуда и обещал, — в культовый и харизматичный трактат. Она открывала двери в театр папы Карло из нарисованного на холсте очага.

Я написал посвящение Дудинскому на фронтисписе, что я благодарю его за помощь. С тех пор он стал моим врагом. Когда мы встречаемся на юбилеях смерти наших друзей, он старается в глаза не смотреть. Он, видимо, ожидал, что я его подниму в соавторы, но никогда этого не произносил. Да и

соавторства не предполагалось: он сидел и записывал то, что я диктовал. Его критическая роль заключалась в том, чтобы иногда говорить: «Я не понял». Тогда я переговаривал, сохраняя смысл, и Дудинский говорил: «А, теперь понял». Он выступал как семантический корректор. А так он записывал, приговаривая: «Ух ты, круто, круто, супер, давай ещё».

Таково его участие. И я поблагодарил его. Но он почувствовал себя сильно обиженным и лишенным причастности и славы[196].

Дудинский — очень талантливый парень.

На Южинском он с 1963 или 1964 года. Он с Мамлеевым познакомился, когда ему было 15 лет. Он и историк, и активный участник Южинского «гештальта». Он там в самом нутре сидит. Другое дело, что он сидит там, как кот, который ходит вокруг хозяина. Как Осип, в которого кидается сапогами Обломов. Что он может рассказать об Обломове? Что-то может, но написать этот роман — вряд ли.

Его хотели выгнать из университета, но поскольку отец был референтом ЦК, большим человеком, ограничились тем, что его выслали в Магадан, и там он стал главным редактором местного городского телевидения. В тех краях и Козин[197] в то время доживал. Дудинский был его частым гостем, они дружили.

Он человек журналистко–публицистического типа. Его книга «Двор во дворе» стала для меня неожиданным

---

[196] *И. Дудинский в беседе с Гордеем Петриком (Радио Свобода, 08.07.21):* "Ориентация – Север" целиком и полностью написана Джемалем. От первого до последнего слова. Моя заслуга в том, что без меня она не была бы написана. Я убедил его начать работу… Я не давал ему расслабляться. …Что касается моей фамилии, то я не тщеславный человек, а все кому надо, те знают, как мы работали, – ведь дело происходило на виду у наших друзей… Джемаль пытается рассказать, как проходила наша работа, но он не рассказал главного… Впрочем, я на гениев не обижаюсь.

[197] Вадим Алексеевич Козин (1903—1994) — советский эстрадный певец, композитор, поэт, автор нескольких сотен песен. Арестован в конце 50-х, после освобождения в 1961 году до конца жизни жил в Магадане, оставаясь своеобразной достопримечательностью города, человеком-легендой.

открытием. Сейчас эта идея популярна — неадекватно всемогущий герой посреди банального пошлого мира. Некий молодой человек встречается с девушкой. Она думает, что это простой парень, а он её везет в Абхазию на шашлыки частным самолётом, а потом оказывается, что он одной ногой связан с международными мафиозными структурами. Другой ногой он в КГБ, отдающем ему честь. Третьей ногой его на выезде со двора расстреливают киллеры, и над этим местом просто птички кружат. Такие вот героические мифологемы 80-х годов, которые сейчас стали общим местом.

Дудинский умный парень, но совершенно несчастный и безумный. Циник и игрок. Всегда был циником и всегда играл.

Чиганава, одна из его жен, мать Гай Германики, говорила, что когда он дома пил, то иногда приговаривал: «Я готов всё отдать, лишь бы быть хотя бы лейтенантом КГБ. Но не берут, не берут. Даже в этой роли никому не нужен».

Он пьющий человек, и пьет много, несмотря на состояние здоровья. Жизнист: у него очередная, 28-я жена, даже какой-то ребеночек сейчас появился.

До этой книги у нас было двенадцать лет дружеских отношений.

Когда мы сталкиваемся на улице, мы разговариваем. Но внутренняя коммуникация прекратилась.

# Гегель — Генон — «Ориентация – Север»

Когда-то я считал себя гегельянцем. Для меня это означало веру в панлогизм, что всё было отражено в чистом интеллекте. Не было ничего, что не имело бы своего присутствия. Всё было покрыто — никаких закоулков, никаких тёмных углов, ничего.

Меня с детства, с двенадцати лет примерно, преследовала идея зеркальной анфиладности реальности. Что универсум построен по принципу зеркал, в которых отражается, повторяясь, всё целое, что есть во всех зеркалах, и это повторяется и собирается в каждом. Идет динамический рост содержания в каждом из зеркал. А зеркала в своей способности воспринимать безграничны, они как бы «резиновые».

И я играл с этой идеей.

Например, что зеркала, находящиеся на разном расстоянии, посылают свой контент друг на друга с разной скоростью. Одно зеркало находится близко и сразу отражается в соседнем, а другое зеркало находится в двух световых годах или в световом месяце, и отражение приходит через два года или месяц. И хотя отражается одно и тоже, но за счет задержки создается впечатление, что имеет место какое-то рассогласование, впечатление пестрой толпы. Кто-то завязывает шнурок, а кто-то уже после этого встал, а кто-то и рукой помахал. Это всё этапы одного и того же, но пришедшие с разной скоростью. У меня это было параллельно с условным панлогизмом. Идея зеркальности подтачивала и размывала веру в полную закрытость, в концепцию «абсолютной Идеи»...

При этом 90% гегелевского контента мне было чуждо. Там же диалектически эти самые идеи проходят через тезис, антитезис и синтез и приходят к конкретному современному человеку. Это всё мне было чуждо и неинтересно, потому что

моё гегельянство останавливалось на концепции «чистой идеи», Идеи как синонима Бытия.

Вот чистое и абсолютное Бытие — это и есть Идея.

Есть ещё идея Ничто. При этом идея Бытия и идея Ничто абсолютно тождественны друг другу. Бытие и Ничто — две половинки одного «глобального гештальта», который и представляет собой абсолютную идею. В своей «чистоте» они ничем не наполнены, они предшествуют любому наполнению. Чистое Бытие настолько пусто и «стерильно», что равно идее Ничто.

Именно это меня интересовало, на этом я останавливался. Остальное — выход на гегелевский анализ права, истории — было уже неинтересно.

Бытие как Идея и моя идея зеркальной анфиладности жили параллельно.

С Мамлеевым были очень серьезные споры. Каждый раз, когда мы встречались, мы спорили, покрывает ли панлогизм всю реальность или есть «внелогичные» закутки, по поводу которых абсолютной Идее вообще нечего сказать.

Пока я защищал позицию панлогизма, у меня было то самое видение Великого Существа, распятого на бесконечной расходящейся паутине миров. И в дальней периферии от Существа всё становится настолько мутным, что не имеет значения, потому что форма исчезает. И вот где-то посередине между распятым Существом и дальней периферией форма ещё сохранялась, но при этом Великое Существо было достаточно далеко, — это давало шанс на зазор, на свободу, на то, чтобы сорваться с того крючка, на котором распято Великое Существо. Великое Существо — это концентрация абсолютной несвободы. Оно само по себе — абсолютная несвобода, и разносит эту несвободу повсюду.

После этого Гегель отпал как сухая корка с болячки. Здесь не было ничего, касающегося абсолютной Идеи, но она перестала быть актуальной. Это был ещё предгеноновской период.

Сначала произошло усвоение Генона в «трехмерном» объеме, то есть это не только Генон, но и другие авторы, —

тот же Эвола. Это была идея «великого тождества», которая, кстати говоря, сразу вызвала у меня внутреннее напряжение. Внутренний поиск шел у меня на самом глубоком уровне — еще до Гегеля или параллельно ему. Это пыталось как бы выразиться в этой «анфиладе», но не выразилось. Была идея трансцендентного, которая оформилась потом уже на уровне понимания Генона, — параллельно. Оформилась идея «Есть то, чего нет». То есть обратная Пармениду. То, что есть, — того нет. А вот чего нет, — то есть. В конечном счете это кристаллизовалась в глубоком убеждении, что ключевым словом ко всему является «утверждение». Это, собственно, было геноновской позицией, но в одном месте он говорит l'affirmation absolue: за пределами утверждения не может быть ничего, кроме ошибки. Есть утверждение и оно есть абсолютно всё. А вне его — только ошибка, которая не существует.

И я сказал себе: стоп! Вот эта «ошибка, которая не существует», — она и есть то, что нас интересует. Ошибка, которая не существует, — она и есть единственно подлинная. Но дальше нужно было организовать диалектический гегелевский путь к этой ошибке, а потом — к её преодолению. Что значит «за пределами утверждения есть только ошибка, которая не существует»? Есть *отсутствие.* Но значит есть *утверждение*, которое включает в себя абсолютно все (опять возвращаемся к гегелевскому панлогизму), которое вместе с тем оказывается пустой чашей.

Я не знал тогда, что существует каббалистическая доктрина чаши, точки. Ко всему этому я пришел сам и с другой стороны. У меня было много разных подходов к одному и тому же. Я не имею исторических аналогов, но обрывки своих мыслей иногда нахожу, когда заглядываю в какие-то книги. Как правило, это мне неприятно, потому что очень не люблю встречать пародию на свою мысль у каких-то чужих людей. Я тут же это закрываю и ставлю на место.

У меня был такой подход, что утверждением может быть только трансцендентное, то есть имманентное — это *всё, тождественное самому себе*. То, что является «отсутствующей

ошибкой», — это указание на трансцендентное. Трансцендентное всегда ускользает, убегает. Проблема в том, что трансцендентное, чтобы быть трансцендентным, должно перешагивать через что-то, «иметь память о том, что оно перешагнуло», а если так — оно привязано якорем к той земле, от которой хочет оторваться. А это значит, что оно не трансцендентно, потому что трансцендентное должно быть полностью на *той* стороне.

Почему Иное не годится? Потому что в Ином содержится понятие Этого. По отношению к чему оно Иное? По отношению к Этому. Это и Иное — как две половинки. А нам надо вырваться за пределы этой взаимосвязи. Вот чистое трансцендентное, которое вырвалось, — оно и есть Утверждение. Это можно сделать только через нетождество. Нетождество чему? Нетождество абсолютной ночи молчания, абсолютному негативу, нетождество злу, в котором нет Мысли.

Мне нужна была всеобъемлющая ночь, всеобъемлющая тотальная смерть, которая стала бы негативным образом утверждения, но такого утверждения, к которому нельзя было добавить «плюс икс». Ночь, к которой нельзя было бы добавить тьму. Но можно быть нетождественным этой ночи. Я представлял себе эту ночь как то великое зеркало, в которое трансцендентное смотрит и не видит себя. Это зеркало состоит из чистой негации. Если угодно — из чистого сна. Это сон, который живет втайне внутри Всего.

По-настоящему я ощутил внутренний конфликт по поводу Генона, наверное, в 1972 или 1973 году. Для меня он долгое время оставался арифметикой, я просто считал, что это то, что есть, но не то, что должно быть. Перефразируя Ницше: «Генон — это то, что должно быть преодолено».

Генон констатирует некую безусловную, самодостаточную и абсолютно аннигилирующую любые поползновения к альтернативе данность, которая должна быть преодолена. Некий дух, дух чистого негатива, он ищет преображения из негатива в солнечное перерождение через отрицание этого абсолютного *Всё*, которое косой Абсолюта

все отменяет, все снимает. Дух негатива является тем камнем, на который находит коса Абсолюта, когда проходит по лугу, снимая траву.

С 1973 года у меня сформировалась четкая идея, что человечество — циклическая повторяющая реальность, которая должна быть остановлена. Циклы должны быть остановлены. Хотя тогда для себя это так не формулировал, но я считал, что циклы должны быть остановлены для того, чтобы перейти к новой реальности, альтернативной повторяющимся человечествам.

Позднее для меня это стало как переход от циклов — скажем, от Золотого века, сходящего к затмению и повтору, — к эсхатологическому завершению Ветхого Бытия и началом Нового в авраамическом смысле.

Но в те времена я ещё не мыслил в категориях авраамизма. Я считал, что остановка циклов — это цель эзотерического фашизма.

Цель эзотерического фашизма — это остановка циклов и преображение импульса, который вращает колесо манвантар, когда один импетус идет вверх, другой вниз. Когда раскручиваешь колесо перевернутого велосипеда и потом резко нажимаешь на тормоз, колесо блокируется, и там просто видно, как один вектор идет вверх, а другой вниз. Я видел в остановке циклов необходимость вот этого абсолютного разового свершения.

Для меня с 12 лет существовала интуиция подозрения, что мы живем в некой сверхбытийной реальности, некой тотальной данности без свершений, и она чревата свершением, которое все время ускользает, не может состояться. Главная цель — чтобы раз и навсегда состоялось это свершение.

Я увидел, что христиане пытаются навязать концепцию разового свершения посреди исторического процесса в появлении Христа, раз объявленного ими Богом в бесконечной длительности, уходящей в некое прошлое от творения и в некое будущее к Концу времен, а посредине он является и делит историю пополам, — как христиане любят говорить. Это

точка такого боговоплощения, это разовое свершение, после которого история делится на *до*-спасенных и *после*-спасенных. До-спасенные соответственно тонут под бременем первородного греха, остальные же могут быть спасены, просто присоединившись и приняв Христа после его воплощения.

Я видел в этой идее некий глубокий иррационализм и неадекватность, потому что такая избирательность по спасению людей, которые случайным образом появились во временной длительности после воплощения Христа, казалась мне несколько произвольной и странной. Тебе повезло родиться после нулевого года нового времени, и тебе очень просто спастись: нужно лишь принять Христа. Формально не остается ничего другого, выбор очень простой: ты просто присоединяешься к этому отряду принявших Христа и идешь дальше.

А в исламе есть перманентный призыв, обращенный пророками, начиная с Адама, и во все времена, начиная с прихода Адама, люди могли присоединиться к «малому отряду». Этот момент был открыт, и вставшие на этот путь люди могли бороться с Бытием и с человечеством.

Есть разница.

Бог так возлюбил, по христианскому учению, человечество, что послал своего единородного сына спасти человечество, но тогда совершенно непонятно, почему, возлюбив его, он не спасает тех, кто был до этого послания.

Даже Платон и Аристотель, которых рисуют на иконах, оказываются в лимбе, они оказываются в чистилище, они не спасены, они лишь могут рассчитывать на то, что их рано или поздно выведут из Ада. А о людях попроще я и не говорю.

Тем более что если Платон и Аристотель — это «христиане до Христа», то тогда появляется много вопросов. Ведь они классические «ультраязычники». Платон и Аристотель не сказали ничего сверх того, что было уже у Лао-Цзы и Адвайта-ведантийских учителей. Если они — «христиане до Христа», тогда получается, что и Шанкарачарья, и Лао-Цзы — тоже «христиане до Христа». Чем

они хуже Платона и Аристотеля? Тем что не попали в орбиту эллинизма — только и всего?

Возникало много странных вопросов, на которые ислам давал четкий и холодный ответ. В Коране ясно дано понять, что люди не являлись целью исторического процесса. Целью исторического процесса является решение некоего уравнения в замысле Всевышнего, где человек был просто «иксом» или «игреком».

Обращение к человеку с призывом встать на путь решало вопрос об истине — значение которой было совершенно вне человеческой судьбы, в том числе и духовной судьбы. Поэтому гибель человека в духовном плане, его осуждение или неосуждение, было скорее как кастинг актера, приглашенного на некую роль, и если он не проходил кастинг, его хлопали по плечу и говорили: «Старик, ты не подойдешь. Можешь идти гулять, у нас тут серьезный театр, мы тебя не берем».

В христианстве все крутилось вокруг человека как цели, ради которого всё затевалось. Но если творение и вообще весь мировой процесс был человекоцентричен, то остаётся очень много незавязанных концов. Если же человек был исключительно функционален и инструментален, то понятно, что все это можно было повторять до тех пор, пока не появится правильное сочетание условий, и до тех пор, пока не будет решен этот момент, когда красная черта перейдена, останавливается вращение колеса, совершенно четко блокируется повтор циклов, вечное возвращение равного. И не возникает переход к совершенно другой реальности, в которой все становится правильно, черное становится белым, белое черным, а истина проявляется в том, что она обнажается, как отсутствующая в этой чаше, чаше данности, чаше данного.

Такие соображения посещали меня именно в тот период, 1972-73 годы, но они продолжали тему, которая для меня была параллельна актуальной и ранее, — эта тема шла подспудно с Гегелем. Тема подлинного содержания реальности, подлинного смысла реальности, которая

обязательно должна нести некую апористическую направленность. Реальность обязательно должна была в себе содержать некую безвыходность, тупиковость, абсолютный алогизм, который бы решался через взрыв, через некий скачок в сторону.

Апория не была моим рабочим термином в те времена, да и диалектика «испорчена» марксизмом, отвергавшимся как официальная система мысли. Но конечно и апория, и диалектика были тем, что уже тогда в какой-то степени подразумевалось. Апория как безвыходность. Я нащупывал у разных авторов подозрение, что реальность устроена по принципу апории. Сама реальность есть ловушка и безвыходность, но в ней содержится парадоксальный прорыв, слом, возможность избежания.

Даже у таких неоспиритуалистических авторов, к которым дисциплина генонизма относилась подозрительно и дистанцированно, вроде Гурджиева, даже и у таких авторов присутствовал довольно сильный намек на то, что реальность сформулирована и организована как ловушка, и побег из этой ловушки, из этой тюрьмы невозможен. Возможен побег лишь в тюрьму чуть побольше, но все-таки побег за счет некой непредусмотренной щели или случайно не запертой двери, или, скажем, случайно заснувшего пьяного солдата-караульщика.

Я всегда чувствовал момент, привлекавший меня трагическим вкусом правды и вызовом, таким, я бы сказал, «трагическим пессимистическим позитивом», — возможность победы *вопреки*. Шанс героя, у которого нет шансов. Герой не может выиграть у Рока, но есть некая точка, через которую он может ускользнуть. Это достаточно традиционное мнение, и это мои ранние соображения.

Позднее стало понятно, что все гораздо серьезнее, что все сводится не к апории и не к шансу на побег, — все это принадлежит к «высшей математике», где проблема решения уравнения абсолютно не касается человеческих судеб и даже судеб духа в плане, который инструментален и функционален.

# Метафизика «Ориентации — Север»

Я к работе всегда подхожу обстоятельно, и у меня есть такой бзик — символизм чисел. Я не могу ничего начать делать, не рассчитав математическую графику исполнения.

В данном случае должно было быть 50 глав, которые бы умещались в двух томах, по 25 глав в каждом. Каждая глава из 72 тезисов, в дальнейшем предполагалось их раскрыть в отдельных статьях на 2-3 страницы. Тогда компьютеров не было — 1979 год. Получалось, что 50 глав должны вылиться в 3600 тезисов, покрывающих все сферы описаний, все гештальты, все подходы. И если помножить 3600 на три страницы, то получится около 10 000 машинописных страниц — это, на минуточку, собрание сочинений А.Н. Толстого. Работа жизни. И тогда у меня получится гигантский опус, который будет тотальным и охватывать абсолютно всё, и взрывать это всё.

Почему 50 глав? Семью семь — 49, плюс замыкающая глава. А семью семь потому, что семь — сакральное число, дубль мужского числа. Семь — важная цифра.

Итак, я начал диктовать. И сразу слил коросту пустого времени, изжитости того, что было. Остаток выкристаллизовался и превратился в драгоценный камень, зерно моей доктрины.

Это зерно заключалось в следующем.

Я к тому времени прошёл Крым и рым[198], Генона и его школу в лаптях обутый, — в оригиналах из спецхрана. Что-то

---

[198] Выражение "пройти и Крым, и рым" - продолжение поговорки "Пройти огонь, воду и медные трубы". Полностью поговорка звучит так: "Пройти огонь, воду, медные трубы, чертовы зубы, Крым и рым".

Рым — металлическое кольцо для закрепления тросов, блоков, стопоров, швартовных концов и т. п. Сквозь рымы также продергивались в свое время цепи каторжников-галерников. Таким образом, «рым» является неким символом неволи.

Что же касается Крыма, то именно в Кафе (современной Феодосии) ориентровочно с 12 века по 1675 год был самый крупный в Причерноморье,

мне привозили и дарили. И я знал, в общем-то, всё про великую Примордиальную Традицию, наиболее наглядно представленную в адвайта-ведантизме: «это есть то», абсолютное тождество.

Преамбула, с которой я начал, так и называлась: «Абсолют». И дальше уже идея раскрывалась в разные стороны.

Какая это была идея? Она меня поразила в сердце, когда я лежал, глядя в звездное небо, и вдруг понял, что если я знаю о существовании бесконечного, то являюсь чем-то *иным* по отношению к нему, по отношению к бесконечному, потому что тождество не может разглядывать само себя, тождество равно самому себе и не может быть мыслью о самом себе. Раз оно тождество, то оно просто совпадает в некоем апофатическом *Ничто*.

Даже Гегелю потребовалось две стороны идеи — идея «Бытия» и идея «Ничто», слитые в одно, чтобы было различение Бытия и Ничто, тезиса и антитезиса, — но это уже не тождество. Если речь идет о чистом тождестве, оно не может знать про себя. Чтобы знать *нечто*, нужно быть *другим* по отношению к этому *нечто*.

И возник простой вопрос. Вот я, в своём нынешнем состоянии, которое будет стёрто, — понятно, что оно будет стёрто, но пока оно ещё не стёрто, — я знаю о том, что есть Абсолют. Если я знаю о том, что есть Абсолют, значит я не тождественен ему в этот момент, потому что я его знаю как нечто отдельное. Если я знаю о том, что есть Абсолют, будучи хотя бы теневым, виртуальным образом *не* им, то это значит, что Абсолют не абсолютен.

Но Абсолют-то должен быть. Как же тогда? Значит, раз Абсолют не абсолютен и это доказывается тем, что существую я, знающий об этом Абсолюте, тогда Абсолют есть нечто *иное*, не тождественное тому, что все воспринимают как Абсолют. Но я — *другой* по отношению к Абсолюту и не являюсь его

---

а позднее и в Европе невольничий рынок. Скорее всего выражение "Пройти Крым и рым" может буквально означать – пройти и рабство, и каторгу.

частью, которая в нем исчезает, — пусть даже потом в нем и исчезну. Но в данный момент, сию секунду, когда я о нем думаю, я не тождественен ему, и это меняет всё, потому что тогда Абсолют не абсолютен.

Раз Абсолют не абсолютен, то он не является истинной бесконечностью: я его ограничиваю. Я его ограничиваю своим знанием о нем, своим созерцанием его. А раз так, то значит Абсолют должен находиться в другом месте, а не там, где я могу его осознавать. Он должен быть там, куда я не могу посмотреть, и где я не могу его увидеть. Как глаз, который может увидеть всё, но только себя не видит. А раз он себя не видит, то этот «глаз» и есть Абсолют или, вернее, первый образ того Абсолюта, который по-настоящему не позволяет быть чему-то, кроме себя. Абсолют, «видимый глазу», — это иллюзия, а «глаз» — это реальность.

Вот эти мысли меня пронзили. Но главная мысль — что Абсолют не абсолютен, что он ложен, и что утверждение надо искать не в нем, а в другом направлении.

Если я есть, и я свидетельствую, что есть бесконечность, то я ей не тождественен. Если я ей не тождественен, то это не бесконечность, потому что я её ограничиваю своим свидетельствованием о ней.

Я считаю, что это колоссальное интеллектуальное достижение — представление о том, что *конечное возникает из того, что бесконечное «слабо»*. Потому что бесконечное направлено наружу, на «изгнание», на отрицание того, что не оно. То есть это не бесконечное, которое «содержит», а бесконечное, которое постоянно снимает саму возможность ограничения. И тем самым вводит ограничение.

Зайдем с другой стороны. Во всем, что есть, есть *присутствие*, утвердительная сила. «Ориентация — Север» была связана только с одним аспектом — «начально-очевидным»: *если я знаю про бесконечное, значит бесконечное не бесконечно*. Здесь еще и хайдеггеровское «Почему есть Нечто, а не Ничто?» подогрело.

У меня всегда вызывала улыбку всякая индийская метафизика. Как там у них… есть Брахман — как из него Атман

вдруг получился? Почему Брахман выступил из самого себя? Если он настоящий абсолютный Брахман в полном апофатическом покое и полной самотождественности, он не может выступить из самого себя. Он находится в простой черной Авидье[199].

У Генона есть выражение l’affirmation absolue — «абсолютное утверждение», которое допускает внутри себя всё, кроме ошибки. Тогда получается, что если абсолютное утверждение не абсолютно, — то есть это вообще не утверждение, — тогда именно ошибка есть то подлинное, что остаётся вне его. То, что является ошибкой с точки зрения всеобъемлющего Абсолюта и как бы не существует, — это и есть подлинная правда.

Когда я это понял, это переформатировало весь мой подход.

Эта идея стала «альфой», от которой надо было идти к «омеге». Она легла в основу первой главы. Она уже содержала в себе весь последующий контент, который являлся просто логическим выражением этого понимания.

«Абсолют не абсолютен» — содержание первой главы. И всё остальное — темы ужаса, любви, пробуждения[200] — раскрывают основной тезис.

Вторая фундаментальная идея, которая пронизывает эту книгу, состоит в том, что всё сущее — это opinion unversal, — нечто, по поводу чего может быть какое-то мнение. В последующем это перешло в тему *описания*, в понимание реальности как описания, системы описаний.

Дело в том, что мыслил я по-французски, и представление об «описании» — это перевод. Так мне работалось.

---

[199] Авидья (*санскр. букв*. «отсутствие знания», «неведение») — в индийской философии — незнание или «исходная омрачённость сознания», являющаяся корневой причиной «неподлинного восприятия мира» и противодействующая «постижению сущности бытия»

[200] Здесь под «темами» имеются в виду главы «Ориентации — Север»

Объективной, реалистической «правды по Платону», просто нет, — есть только разные мнения. Есть мнение, что вот это — стол, это — птица, есть мнение, что я — это я. Мнение вариативно. Поскольку оно вариативно, концепция строится на том, что Абсолют не является утверждением.

В конечном счете вся совокупность «мнений», система «мнений», есть ложь, которая образует Бытие. Тут впервые возникает идея о том, что специфика истинного Бытия является ложью. Бытие как *то, что есть*, — это ложь.

Итак, три опорные точки: «Абсолют не абсолютен», «сущее есть система мнений, которые являются ложными», «задача в том, чтобы быть *иным* по отношению к этой системе, преодолеть её».

Из этого развивается всё остальное — от «Иронии» до «Ужаса»[201]. Ужас для меня является важным, его можно добавить как четвертую опорную точку, потому что я воспринимал ужас как независящее от нас переживание, которое не принадлежит «опинионизации». Вместо мнения — разрыв с мнением, один из вариантов разрыва с мнением. Это похоже на встречу плоти с огнём.

Можно строить много описаний по поводу внешней, отдельно поставленной нам среды, но когда тебя берут за палец и этот палец опускают в газовую горелку, описания сразу кончаются, и возникает выход на «постреальность», или «внереальность».

Ужас — вариант встречи с огнем, вариант, освобожденный от грубой физикальности. Что такое ужас? Например, шок от того, что кто-то провел у тебя по спине рукой, когда ты вошёл в темную комнату, не ожидая там никого встретить. Или ты увидел в зеркале в темной комнате какое-то шевеление.

Это ужас от встречи с *другим*. *Другой* является концентрацией и сосредоточием *неведения* или *отсутствия*. *Другой* есть неведение, есть отсутствующее, есть то, что не существует, но при этом является главным, центральным,

---

[201] «Ирония», «Ужас» — названия глав «Ориентации – Север».

абсолютно конкретным здесь и теперь. Это уже четвертый момент.

…Тогда это разрабатывалось совсем не так, как мы сейчас это разрабатываем. Сейчас я вхожу в тему, накидываю для себя концепт, размечаю реперные точки, «ввинчиваюсь» в вопрос интеллектуальной «дрелью». Тогда я делал это интуитивистски.

Вот глава «Любовь»: «Любовь как экстатическая агрессия» — и так далее. Почему это экстатическая агрессия? Потому что я тогда так чувствовал. Я чувствовал, что любовь — это жертвенность, жажда выплеснуться, но выплеснуться в насилии и в сжигании, которое убивает тебя самого. Поэтому любовь не направлена к объекту, судьба объекта абсолютно иррелевантна. Или, можно сказать, что это такая любовь к объекту, которая рассматривают судьбу любимого как абсолютно иррелевантную. Ты стремишься к смерти, к тому, чтобы задушить в своём внутреннем огне то, что ты любишь.

Дальше идет техника *пробуждения*. Внутри нас есть внутренний мертвец. Это тоже открывшийся мне визион. Внутри нас есть внутренний мертвец, которого надо оживить. Вся посвятительная цель, посвятительная практика в моём контексте — это оживление внутреннего мертвеца. Внутри нас не должно остаться ничего мертвого, ничего спящего.

Но как оживить внутреннего мертвеца? С помощью боли или с помощью секса. Женщина есть внутренний мертвец, выведенный наружу, которого ты встречаешь как объективированную икону твоей смерти. Ты носишь её внутри себя как свою смерть. Даже не как смерть, а как гибель, потому что смерть — это сознание. Смерть — это сознание, заключенное в тебя, пока ещё твое тело не распалось, как зеркальце, спрятанное в карман, перестает давать блик. Пока оно даёт блик, это та же смерть, которая наступит, но она ограничена проекцией зеркальца, она даёт блик. Сознание работает как отражение, как оппозиция. На темной шершавой стене, покрытой цементной шубой, появляется блик, оппозиция. Это и есть сознание.

А женщина — это гибель. Ты носишь эту гибель внутри себя, и её надо оживить. Надо оживить либо внутреннего мертвеца без женщины, либо оживить женщину, которая является твоим внутренним мертвецом. И это особая форма секса. Ты спишь с женщиной как с мертвецом, как с трупом таким образом, что это становится магическим вызыванием её к жизни, она должна проснуться к жизни. Но это, конечно, освобождено от таких сопутствующий вещей, как зачатие, рождение.

На меня оказали влияние три больших автора.

Юлиус Эвола с его книгой «Метафизика секса», которую я прочёл по-французски. Потом эта книга, к моему раздражению, появилась в переводе Ванюшкиной, полусумасшедшей пивной нацистки, которая знала итальянский и французский и напереводила очень много сакральных европейских текстов.

Вторым автором был Густав Майринк. Корпус мыслей Майринка об эзотерическом соитии, пиромагии Мириам, описанной в «Големе». Мириам как полюс чистоты еврейства. Инфернальная сторона еврейства — Вассертрум, а ангелическая сторона еврейства — рабби Гиллель. Его дочь Мириам ждет смерть в пламени.

Третьим для меня был Гёте. «Sagt es niemand, nur den Weisen...», «Всё живое я прославлю, что стремится в пламень смерти».

Когда я был сторожем при гараже на ипподроме, куда меня устроила мама в 1974 году, если не ошибаюсь, я изучал Goldene Feder, «Золотое перо» — сборник классических немецких поэтов. Мне попались эти строки, и они настолько показались мне изошедшими из моего сердца, что стали общим фоном. Эволу или Майринка я воспринимал через призму Гёте именно с позиции вот этих строк. Строк такой отчетливой чистоты у Гёте не так уж много.

Я подразумевал нечто своё, но импульсно это были блоки текстов, встреченные мною в «Големе» и в «Метафизике секса». Но это всё было изменено глубочайшим образом. Потому что в тех книгах не было пробуждения

женщины или пробуждения внутреннего мертвеца, когда никакой сырости, никакой внутренней тьмы, ничего, что является абсолютно пассивным и абсолютным отрицанием фундаментального утверждения, в тебе не остаётся. Ты становишься черным светом. И тот черный мрак, бывший ночью гибели, становится черным сиянием.

Я разрабатывал этот эзотерический путь посвящения, и в «Ориентации — Север» он, в принципе, прописан. Но там это не сказано явно, книжка действует подразумеваниями.

На этих нескольких подразумеваниях стоят все тысяча восемьсот тезисов. Не все они хороши стилистически. Некоторые, может быть, слишком громоздки, некоторые искусственно делятся надвое. Есть один тезис, но чтобы выдержать графический и математический ритм, его приходилось делить надвое и менять чуть-чуть синтаксис. Шла такая работа.

В «Ориентации» я изложил суть моей метафизики в том виде, как она отложилась на тот момент во внутреннем восстании против всех тех систем, с которыми я имел дело в течение своей жизни: против немецкой классической философии, против школы традиционализма в лице Генона. Против имманентизма, пантеизма, космизма, против целостного классического мировоззрения, составляющего сущность европейской мысли от Сократа до наших дней во всех её версиях и приложениях.

Конечно, на тот момент в книге было много экзистенциально субъективистского. Например, такие темы, как «Ярость», — то есть какие-то моменты, связанные с состояниями существа.

Но главные темы — есть Абсолют, и он ложный, и есть финальное *Мнение всего обо всем*, и это мнение ничего не стоит.

Абсолюту противостоит *Иное*, выражающееся в том, что оно не является сущим, оно не причастно сущему, оно таково, что, с точки зрения сущего, его абсолютно нет. И именно это является модусом его утвердительности, его безусловности, его сверхценности.

За неким универсальным вселенским Мнением, или Описанием, не стоит никакой безусловной независимой утвердительности и никакой истины, никакой подлинности. Это есть не более чем мнение. Универсальное «соборное» мнение, сумма всех мнений, *Мнение всего обо всем*, всего о самом себе, которое следует взорвать: это мнение ничего не стоит.

Мой близкий в последующие годы друг Ахмад-кади Ахтаев[202], амир Исламской партии возрождения, которому я дал почитать эту книгу, сказал, что это совершенно мусульманская книга, написанная немусульманским языком.

Забавно, что такие персонажи, как Силантьев, очень любят обращать внимание на такие главы как «Фаллос», «Вагина», и полагают, что это скандал, это оплеуха, вызов всем нормам этическим… Эти люди просто не знают, что в фикхе есть гораздо более «нелицеприятные», с точки зрения пуританского «чувства приличия», детальные описания, касающиеся полового акта, потому что там всё имеет правовой характер, и физиология полового акта описана в деталях. Так что мусульманина, знакомого с шариатом, выросшего в исламском правовом пространстве, физиологические моменты не могут шокировать.

Ахтаев даже не заметил, что в моей книге что-то такое есть. Это деталь, говорящая о некой несовместимости ментальных установок у так называемых «исламоведов» и у реальных мусульман. Конечно, есть мусульмане, ничего не знающие об исламе, но воспитаны под покровительством христианской матрицы с её чувством греха, чувствами «приличия», и, возможно, для них тут существуют какие-то проблемы. Но когда я познакомился с корпусом шариатского права, на некоторых главах мне икалось. Да, есть там от чего покраснеть матёрому, «испытанному в боях» мужчине. Но

---

[202] Ахмад-Кади Ахтаев (1942 — 1998) — один из духовных лидеров северокавказских салафитов и амир «Исламского движения Кавказа», Председатель Исламской партии возрождения.

такая религия, как ислам, не имеет чувства стыда. В этом отношении она подобна медицине.

Суммируя, как я сейчас вижу, «Ориентация — Север» явилась моим разрывом с генонизмом и Гегелем. Номинально я порвал с ними в 1968 году, но реально это произошло через 11 лет в 1979.

«Ориентация — Север» была манифестом выхода из постмодернизма.

Почему она так сильно действует на людей, что её помнят до сих пор? Дугин верит, что вся моя идея и всё мое мировоззрения до сих пор без единой добавочки укладывается в главу «Абсолют» «Ориентации Север». Когда говорят, что вот есть «джемалевская доктрина метафизики», он отвечает:

-Да, да, я помню, глава «Абсолют», я читал.

Многие даже не знают, что я делал что-то, кроме этого, многие думают, что моя жизнь — только я и «Ориентация — Север». А дело в том, что она действует подразумеваниями, а не дискурсивным раскрытием.

Это был шаг по ту сторону постмодернизма как уничтожения нарратива и ликвидации неких «великих тем».

Это было утверждение того, что нет ничего, кроме трансцендентного, но парадоксальным образом. Трансцендентное бралось здесь как абсолютно *Иное*, и задача только состояла в том, чтобы снять дуализм между *Этим* и *Тем*.

Потому что *То* должно оставаться необремененное *Этим*, оно не должно определяться как *иное*.

*Иное* несёт на себе печать как *иное* по отношению к чему-то. Оно должно быть *иным* par excellence, *иным* в независимости от того, что есть нечто, от чего оно отталкивается.

Это идея абсолютно *иного*, необусловленного *Иного*. Я шёл именно к этому. Там решалось много попутных проблем.

Надо сказать, что всё же это были тезисы. Предполагалось, что каждый тезис я разовью в небольшую колонку или статью, эссе. И вторая книга предполагалась. Но после первой меня арестовали.

# Арест. Дугин

Мы закончили эту книгу, и я собирался поехать в Таджикистан с Жигалкиным. Мы даже купили билеты. 1980 год, лето перед Олимпиадой. Но я был арестован, и Жигалкины поехали без меня.

Меня задерживали глубокой ночью, под утро. Я лежал на своём поролоновом тюфячке и читал взятую у Юрасовского книжку на английском языке некоего Леонарда Шапиро — «Totalitarianism». Тонкая, но большого формата — А4. Я читал её с огромным интересом. Во введении автор рассуждал, что тоталитаризм изобретен Муссолини, который первый сказал, что мы создали тоталитарное государство. Далее следовали дистинкции между тоталитарным и авторитарным государствами.

И вдруг дверь слетела с петель — просто, без предупреждения. Они подкрались, входную дверь им открыл сосед, а когда оказались напротив моей комнаты, они вышибли дверь страшным ударом, как мы видим в фильмах про спецназ.

Они сразу навалились на меня, а я и так лежал на животе носом в книгу. И когда меня взяли и утащили, моей единственной мыслью было, что же станет с книгой. Надо помнить, что это был 80-й год. Такие книжки были дороги и редки. Это был дефицит, привезенный из Штатов каким-нибудь дипломатом. Где его возьмёшь? Что с этой книжкой стало, я не помню. Не исключаю, что она пропала.

И пока Жигалкины были в Таджикистане, я сидел в тюремном отделе «Кащенко», где гебня меня мучила и допрашивала на темы «фашистской организации», «Чёрного ордена СС», связи с заграницей, планы использовать Олимпиаду для установления каких-то контактов или каких-то провокаций. «Ориентацию — Север» они еще не прочитали. Она тогда находилась в состоянии подготовки.

В общем, меня выпустили дней через 40-45. Но существенно помучили.

До этого я подвергался четырем или пяти арестам. В каждый арест меня пытали сульфазином: персиковое масло с серой — придумано в Райхе.

Мне говорили:

- Вот вы фанат Райха. Мы будем знакомить вас с некой эссенцией, которая составляет суть вашей любви, вашей связи, вашей ностальгии. Это персиковое масло с серой. Сера здесь — инфернальный аспект, а персиковое масло — для юмора.

Если кому покажется, что дискурс для гебни слишком сложный, то я напомню, что это были гебешные психиатры, — у них юмор был.

Надо сказать, это невероятно мучительно, когда тебе вкалывают в одну точку сульфазин. Ты просто лезешь на стенку, у тебя затвердевает это место, и ты не можешь никак лечь: как бы ты ни лег, страшно больно. Боль как от удара ломом — тупая звериная боль. Мне вкалывали в четыре точки — под лопатки и в задницу. А это означает, что ты находишься в полном аду. И еще, чтобы не вертелся и не пытался облегчить своё положение, тебя прикрепляют вязками к кровати.

Там я испытал на себе ощущение боли, что мне помогает сегодня, потому что трудно сказать, что круче — самые острые моменты за последние три года[203] похожи на те, только там 12-18 часов и проходит, а здесь это длится и не проходит.

Но я вышел и поехал на дачу в Клязьму к Сереже с Наташей Жигалкиным, которые уже вернулись со своих кайфов. Там, как всегда, самовар. И сидит юный Дугин, пришедший знакомиться со мной. Это был сюрприз.

Он, оказывается, уже года три слышал обо мне и Головине, мечтал с нами познакомиться. Тогда ему было 18 лет.

Незадолго до нашего расставания мы совершили с Катей Подольцевой переход из Алма-Аты на берег Иссык-Куля и ещё две недельки жили на берегу, и с нами была небольшая

---

[203] Джемаль последние годы страдал от раковых опухолей.

компания — Рокамболь Сергей, его тогдашняя жена Марина и её отец, Митя Шехватов, Лена по кличке Зеленая, тогда 18-летняя хиппушка.

Митя Шехватов дружил с Жигалкиным. У Мити была дача рядом с дачей дяди Дугина, где Дугин отдыхал. Митя был его старшим товарищем, который «строил» его. Митя учил юного Дугина с 15-ти лет, что есть большие люди: есть Головин и есть Джемаль. Они — огромные. И если ты будешь себя хорошо вести, то, может быть, тебя с ними познакомлю.

Я вхожу и вижу, что на лавке, в предбанничке, сидит молодой человек, очень толстый, сравнительно высокого роста, килограммов 120 - 125 весу, в майке, с бритой головой. Голубые безумные глаза, как у палача в «Епифанских шлюзах». И одет он кроме майки в солдатские шаровары и шлёпанцы на босу ногу, а шаровары подвязаны завязками. Я понял, что это такой хипстерский прикол, что человек как бы бросает вызов общепринятому.

Он обратился ко мне:

-Я — фашист, я верю в вас. Верю в вас, фюрер. Я хочу следовать за вами. Мы будем всех вешать.

Потом мы вышли с крыльца во двор — весь в зелени, с клейкими листочками. И он говорит:

-Что вы мне посоветуете? Что мне делать?

И я ему ответил:

-Учить языки.

-А с какого языка начать?

-С французского, только с французского. И надо читать Генона. Это непревзойденная школа мысли. Ну и к тому же это ключ ко всем мировым метафизикам, ко всем мировым традициям и цивилизациям.

И он взялся за это дело так рьяно, что через несколько лет знал языков пять или семь. Дико способный парень Он начал учить французский и буквально через год он стал мне присылать письма на французском. У меня глаза полезли на лоб. Единственное, что у него все мужские артикли были с женскими словами, а женские артикли с мужскими.

Вскоре уже писал статьи по-французски, «Молния не заставит себя ждать»[204], что-то такое. Статьи он писал в стол. Мне присылал. Я их читал, потом мы созванивались по телефону и их обсуждали.

Это был 1980-й год, мне 32 года, а ему 18.

Это перечеркивает домыслы, что Дугин был частью Южинского пространства. Только виртуально. То же самое и с «Черным орденом СС»: Саша был разве что виртуальной ячейкой этого ордена.

С Дугиным началось новое интеллектуальное общение.

Кажется, он год проучился в МАИ, закончил первый курс и бросил. Потом опять поступил туда же и опять бросил.

Я учил его, развивал. Раскрывал перед ним картину, мы разговаривали. Саша выучил французский язык, начал на нём читать книги. Он проштудировал всего Генона за год и стал иступленным фанатом Генона, не подвергающим сомнению ничего. Но он был не слепым фанатиком, а человеком, который въедливо хотел раскрыть внутренний смысл каждой фразы и каждого указания. И мы находились в постоянном режиме дискуссии.

Но это уже всё потом, а пока что после вот этой встречи я собрался, и, несмотря на позднее время, несмотря на начало осени, взял и злобно поехал туда, где только что побывали Жигалкин с Наташей.

Жигалкины в Таджикистане встретились с человеком, сыгравшим в последующем некоторую роль, — с неким Каландаром. Встретились они с ним в Фанских горах. Взяли у него адрес в Душанбе и дали этот адрес мне.

С этого начинается совершенно новая эпоха, новая глава в моей жизни. Водоразделом становятся четыре элемента: расставание с Подольцевой как окончательное закрытие предыдущей жизни, из которой меня вывел за руку Степанов, а потом Женя Головин закрыл эту тему вместе с

---

[204] «Молния не заставит себя ждать» написана Дугиным позже, в 1986 году. И похоже, что на русском языке. А в начале 80-х он перевел с французского «L'erreur spirite» («Заблуждения спиритов») Генона.

собой, уведя Подольцеву из моей жизни; написание «Ориентации — Север» при «секретарской» поддержке Дудинского; арест и пребывание в пятом корпусе Кащенко; встреча с Дугиным как с юным учеником.

Эти четыре момента, отнюдь не равноценных, но перекликающихся, собрали кватернер, образовавший ступеньку, с которой я перешёл к следующей главе моей жизни, называющейся «вхождение в исламское пространство», и путь внутри практического суфизма, путь внутри исламского движения Сопротивления Абдулло Нури.

Тамам[205].

[205] «Хорошо» по-турецки.

# Таджикистан

Из «Кащенко» я направился в Таджикистан. Отправился один, без моих тогдашних друзей, что стало провиденциальным, правильным поворотом событий, а если бы поехал в компании, я бы никогда не пережил моментов, предопределивших мою дальнейшую судьбу.

Ехал я на поезде с дешевым билетом, наблюдая за страной, разворачивающейся по обе стороны от железнодорожного полотна, покупая вяленую и солёную рыбу на станциях.

Как всегда, проезд по стране и взгляд на её пейзажи и на население не внушали особой эйфории. Я не чувствовал никакой симпатии к этому пространству, пока не доехал до среднеазиатских территорий. Там я ощутил свою глубокую сродственность с этим пространством.

Это был первый раз, когда я поехал в Таджикистан, — 1980 год. До этого я уже побывал в Алма-Ате, совершил переход сквозь заросли лесов на склонах Тань-Шаня, восьмидесятикилометровый переход на берег Иссык-Куля. Но это всё было не то. В тот раз со мной были посторонние люди. К тому же Кыргызстан не обладает тем сакральным вкусом, как Таджикистан, Памир. Хотя Иссык-Куль я очень люблю.

В Душанбе я направился по адресу на улице Клары Цеткин за известным всему Душанбе гастрономом «Гулистон». Город маленький: можно проехать на автобусе или на троллейбусе за полчаса или минут за сорок от поворота на аэропорт до вот этого «Гулистона». Там я прошел пешком вглубь дворов, отходящих от центральной магистрали, за цирком. Четырехэтажные многоквартирные советские блочные дома, от которых исходило бы мрачное уныние, если бы они находились не в Душанбе. Но Душанбе искупал абсолютно всё.

Перед подъездами сидели местные пенсионеры, внимательно оглядывавшие всякого входящего. Уже шла война в Афганистане, куда был введён «ограниченный контингент», и Таджикистан считался прифронтовой полосой.

Я как-то это особенно не брал в расчёт, у меня тогда преобладало наивно-прекраснодушное, я бы даже сказал, расслабленное отношение к ситуации.

Я поднялся на второй или третий этаж, и мне открыл дверь полуголый человек с огромной бородой по середину груди, с правильными чертами лица, которые портил немножко безумный вид и совершенно сумасшедшие глаза.

Даже в его сумасшествии от него шла такая фальшь, как будто он играет сумасшедшего в провинциальном театре или на каком-то утреннике в любительской постановке. Меня, как человека опытного в вопросах сумасшествия, прошедшего большой путь, изучая сумасшедших непосредственно с 1967 года, можно сказать, работавшего неформальным психиатром, его поведение не обмануло.

Я понял, что этот человек является законченным, сложным и хитрым психопатом. Я представился другом Жигалкина. Тот, замявшись и поломавшись несколько секунд, сделал вид, что вспомнил, и пропустил меня внутрь.

Это была совершенно бомжовая люмпенская квартира с крайне бедной обстановкой и следами маргинального существования. Но у него оказалась очень интересная, очень приличная и яркая жена, которую звали, кажется, Надя.

Каландар[206] — это кличка, а так его звали Володя Иващенко. Он родился в Таджикистане, из казаков. Он был местным уже в третьем поколении: его прадед пришёл в Таджикистан со своей семьей году в 1890, и его родители родились в Таджикистане. Он принципиально отличался в своей модели отношения к таджикам. Таджикское пространство он любил — в отличие от всех остальных русских. Он был или пытался быть частью этого пространства. Он очень любил традиционный аспект вроде всяких дедушек. Меня он сразу назвал «дядя шейх».

С самого начала наши отношения сложились очень странно. Он стал пробовать на мне свои психопатические заходы. Надо сказать, что он был художником. Каландар

---

[206] Каландар – странствующий дервиш.

закончил, или не закончил, художественное училище в Душанбе.

Его жену все называли Кая. Вновь приезжие считали, что это её корейское имя. Но у советских корейцев корейских имён не бывает, зато у них встречаются экзотические русские имена, — особенно у женщин. Можно, например, встретить Марфу, Пелагею — они все крещеные. И поскольку у них нет ощущения доминирующего паттерна, ощущения родины, они все называются странно. Если вы попадаете на корейское кладбище, то вы встречаетесь с Фёклами и Пелагеями, которых больше нигде не найдете.

Красивая, тоже выпускница художественного училища в Душанбе, со студенческих пор любила Каландара. У них было двое детей, второй только что родился. До этого у него была предыдущая жена, якобы выбросившаяся с балкона той же квартиры. Причем мне это все подробно рассказал в лицах сам Каландар: как он шел от «Гулистона», от остановки, этим двором, а там проход к подъездам расположен так, что балконы выходят на ту сторону, которая со двора не видна. И вот что-то заставило его заглянуть на ту сторону. Он подбежал, потом поднял крик, но она уже умерла. Он вывел меня на балкон, показал, откуда она кидалась.

Вся квартира была завешана его картинами. Я бы не назвал это мазней — скажем, провинциальное подражание Рериху, но со своими тараканами. В основном изображения гор со светотенями, намекавшими на проступающие физиономии, на игру пятен, образовавших какие-то лики. Его картины оставляли тяжелое впечатление. Он полагался больше на яркие контрастные цвета, скалы и снега.

Каландар был большой ходок в горы. Поскольку он являлся психопатом, усидчивостью не отличался. Пока он находился у себя в квартире, он изнывал и безумствовал от того, что ему хотелось в горы. Он собирался и быстро бежал туда. А когда оказывался в горах, то начинал сразу думать о жене и детях...

Когда я там появился, был октябрь. А октябрь — уже «не горное» время. И я Каландару говорю:

-Вообще-то я приехал, чтобы пойти в горы.

А Каландар долго мне показывал свои картины, внимательно следил за моей реакцией. Безумие его проявлялось в том, что он начал приставать к мне, что я являюсь колдуном и оказываю на него психическое воздействие. Я понял, что спорить бессмысленно, потому что ему нужно, чтобы я был колдун. Ну, колдун так колдун.

Я ему говорю:

-Давай, едем скорее.

Мы решили отправиться в зиярат[207]. Каландар спросил:

-Ты знаешь о Хазрати Бурхе[208], о его мазоре? Это одно из самых святых мест для суфиев Таджикистана.

В советское время ходила такая байка, что, если сходить семь раз в зиярат к Хазрати Бурху, это будет равно одному хаджу.

И мы вышли на дорогу…

Если ты хочешь в горы, то выбираешься на восточную окраину Душанбе, на трассу, которая ведет в сторону Хорога, Памира, Бадахшана. Большая трасса, по ней гоняли дальнобойщики. И ты там стоишь у обочины, голосуешь.

Мы вышли с рюкзачками. Кто-то нас игнорирует, проезжает мимо, кто-то говорит, что едет только до Обигарма. Но как-то удалось доехать.

По дороге Каландар нёс агрессивно-депрессивную хрень. В какой-то момент пришлось сойти и пересесть на «уазик» или «газик» и двигаться дальше, мимо

---

[207] Зия́рат, зия́ра, зийа́ра — паломничество к «святым» местам (могилы святых, шейхов, имамов), а также само обозначение этих святых мест. В Таджикистане предпочитают слово «мазор» — Джемаль дальше его использует. «Мазор» — то же, что и «мазар».

[208] Согласно легенде, Хазрати Бурх (хазрат Бурх Сармаставали) был современником Моисея и происходил из страны Джазира Сарандева, с которой отождествляют Индонезию. Впрочем, возможно, это Индия или Цейлон. После многочисленных путешествий по миру Бурх обосновался в долине Оби-Хингоу и научил местное население ковроткачеству.

Комсомолабада[209] в сторону села Тавилдара, от которого начиналось ущелье Вахиё, где находился мазор.

Там со мной произошло удивительное событие, которое изменило мою жизнь, стало совершенно необычайным фактором, повлиявший на меня радикальным образом. С этого для меня началось новое время.

Я впервые увидел гигантские объемы Памира. Это ещё была трасса. Справа простирались бездонные пропасти, ревел Варзоб. Мы ехали, слева шла сплошная каменная горная стена, вдоль нее плечо с шоссе, по которому мы двигались, далее обрыв вниз — и Варзоб. На другой стороне тоже плоскость и стена гор.

И вдруг слева горы расступились: я увидел расселину, от нее шла долинка, и эта долина была как будто другое пространство. Мы быстро ехали, но тем не менее у меня запечатлелся этот образ. По долине тек ручей, извилисто сверху вниз, и над ним стояло дерево с кроной. Возле него сидел мальчик, он набирал воду в кувшин. Когда я это увидел, внезапно мою душу охватило такое ощущение благодати и счастья, покоя, как будто я вошел в райское пространство. Я даже не успел понять в чем дело — мы уже проехали.

Забегая вперед скажу, что я потом много раз проезжал этим путём, и проходил раз за разом пешком это место — я примерно запомнил где это было. Там, дальше в стене, имелась ванночка, куда выходила труба с краником, из нее в небольшой бассейн капала вода. Можно было напиться, сделать омовение. Я отметил это. Я прошёл вдоль этой стены, просто щупая её, ведя по ней рукой, — никакой расщелины. Сплошная стена, причём даже подозрения не возникало на возможность расщелины: просто каменный скальный массив.

И я, конечно, вспомнил и «Зеленую дверь» Уэллса, где герой единственный раз очутился в саду за зеленой дверью, и его охватило неземное блаженство. А потом он ушел, потому что ему надо было куда-то, и всю жизнь он искал эту зеленую

---

[209] Ныне Нурobод.

дверь, ходил мимо стены, и никогда эту зеленую дверь больше не встретил.

И вот я увидел эту расщелину, и потом много раз я проходил, ведя рукой по этой стене, и не нашёл даже малейшей трещинки.

Там, где этот мальчик набирал воду в кувшин, сидя под кроной дерева, был другой свет, свет другого измерения.

Потом я понял, что я увидел Махди, потому что Махди является некоторым, чтобы оказать им помощь. Как правило, это 12-14-летний юноша, реже 16-летний. Он является человеку, засыпающему в мечети: тот просыпается и видит юношу, выглядывающего из-за колонны или проходящего мимо.

Но я увидел его в таком обличии.

Мы поехали дальше, и я, конечно, сохранил в тайне это впечатление, но моя душа наполнилась неизъяснимой силой, неизъяснимой благодатью и чувством посвященности. Я понял, что прошёл какой-то порог, перешел на другой уровень духовной реальности.

Мы доехали до Тавилдары, спустились и пошли пешком вверх по долине Вахиё. Дошли до моста напротив Сангвори Боло, «верхнего» Сангвори. Сангвори означает «Каменное», то есть сельцо «Верхне-Каменное».

Там жил Олим Назри, странноприимец. Его, конечно, поставила советская власть не просто следить за водой: официально он мерил уровень воды в реке Киргизоб, кстати. Непыльная работенка, но думаю, он был связан с КГБ. Просто это понятно. Ему было за 40[210]. Семейный, с несколькими детьми. Ходил он в рваном халате. Но его неформальная функция — почему я говорю, что он был кгбешник, — состояла в том, чтобы принимать паломников, давать им переночевать перед тем, как перейти мост в Сангвори Було.

---

[210] На Джемаля он произвел впечатление человека «за 40». Но Назри Олимов замерял уровень воды в этом месте уже более сорока лет: он прибыл туда в 1939 году после окончания техникума. Киргизоб — правый приток Оби-Хингоу.

А там какие мосты? С помощью трактора через пропасть натягивались стальные тросы, и они закреплялись за валуны. Мощно, под валун вбивались ломы, державшие этот трос натянутым в предельном состоянии. Он, конечно, всё равно прогибался, идти по нему было далеко.

Так вот, два троса, на них кладутся дощечки, закрепляются проволочкой, ну и третий трос брошен сверху как перила. И длиной это всё будет метров 50 или 70. Ступаешь на эти два троса, они под тобой ходят ходуном, а внизу метров 30-40, как хороший многоэтажный дом. Внизу ревет вода Киргизоба, играющая булыжниками величиной с «Жигули» — они подскакивают, как бильярдные шары.

Когда я родился, у меня было кровоизлияние в мозжечок. И поэтому с момента рождения у меня были большие проблемы с высотой. Я испытывал головокружение от высоты и физиологический страх. У меня был такой эпизод, когда мой соседский друг Саша Козьменко заманил меня в разрушенный многоэтажный дом, где не было полов, — только перекрытия и обваленные лестницы, — и там он предлагал пройтись по перекрытию сантиметров 30 ширины. Сам он перешёл, и говорит: «Иди сюда». А меня просто парализовало. Но я же не буду ему объяснять почему. Нам тогда было по 10-12 лет. Да я и сам тогда не знал толком, почему я так переживаю высоту.

И вот в горах я победил этот страх. Даже два страха. Ещё у меня был страх глубины. Я смертельно боялся отплывать на глубину, превышавшую мой рост.

Я прошёл по этому мосту. Впоследствии я легко ходил по таким мостам, и более длинным и хлипким, да ещё с тяжелым рюкзаком. Ходил даже по канату, держась за другой канат и передвигаясь боком, как рак. В горах это обычное дело.

Позднее, в одну из наших вылазок Валера Блинов на месте, которое нам казалось совершенно ровным, падает на четвереньки и с круглыми глазами начинает ползти. А там просто склон и тропка едва заметная, но вполне достаточная, чтобы идти.

Мы остановились с Сережей Жигалкиным и спрашиваем его:

- Валера, что с тобой?

А он даже слова сказать не может, потому что то, что для нас просто тропка, для него космическая бездна, как если бы он вышел в открытый космос с «Аполлона» и с круглыми глазами смотрит на сияющие светила. Такое бывает с людьми.

Кстати, Валера как-то привез с собой из Парижа складную палатку, умещавшуюся в зелененькую колбаску, и ледоруб. Вся его парижская горная экипировка досталась мне. Этот ледоруб спас жизнь Гюле.

Мы поднимались по почти вертикальной стенке, я шёл за Гюлей. Она соскользнула и стала падать вдоль стены прямо мне на голову. Я выставил вперед ледоруб…

За секунду до этого я не знал, куда делать следующий шаг, держался как муха. И вдруг она летит на меня, и я стал как бы частью этой стены — как каменный. Она со страшной силой обрушилась ногами в подставленный мной кетмень. У неё от удара посинели ноги: она же пролетела метров пятнадцать. У неё погас свет и отключился звук, её полчаса колотил озноб. У меня был такой выброс адреналина, что не заметил удара. Вот этот ледоруб спас её. Он висит в углу нашей прихожей, у него сейчас истерлась резина с рукоятки, и вообще он погнулся.

А тогда, в 1980, я переломил себя и перешёл через первый свой мост. Он упирался в площадку, от которой шла тропка, и по ней надо было забраться на довольно высокий берег. Мы поднялись, и нашему взору открылись поля, засеянные ячменем, и сакли, саманные домики.

Олим Назри дал нам возможность отдохнуть и поесть и вкратце рассказал какие-то байки про этот мазар.

Мне так и не удалось выяснить, что это за фигура Хазрати Бурх, к чему он относится, когда он жил. Но местное население было погружено в гештальт, в котором этот Хазрати Бурх был современником Моисея, но как бы вне времени. И он был любимцем Всевышнего.

Одна из сильнейших запомнившихся баек — о споре Хазрати Бурха и Аллаха. Спор был по поводу того, что не должно быть Ада. Хазрати Бурх говорил:

- О, Аллах, Ты создал совершенное творение, но в нём есть Ад и мучения, — и это огромный изъян, это язва. Раз есть Ад, то лучше бы Ты вообще его не создавал. Оно стало бессмысленным. Ты должен Ад закрыть.

-Нельзя, — отвечал ему Аллах. — Потому что это наказание для грешников, для неправедных.

-Нет, этого не может быть, потому что именно наличие наказания создаёт неправедных. Не наказание существует для неправедных, которые сначала грешат, а потом подвергаются наказанию, а сам принцип наказания порождает тех, кто потом под это дело подходят. Закрой — и тогда не будет грешащих.

Всевышний отказался выполнить просьбу Хазрати Бурха. И тогда Хазрати Бурх обиделся, повернулся и ушёл. Сказал, что больше разговаривать со Всевышним не будет. Но Всевышний так любил Хазрати Бурха, что отправил за ним вдогонку Хазрати Мусу, поручив ему вернуть Хазрати Бурха.

Муса догнал его и говорит:

-Ну нельзя же так. Ты же всё-таки с Богом говоришь. Ты чего вообще?!

-Нет, если внутри творения будет Ад, то я не разговариваю с Творцом. Не должно такого быть.

Муса его уговаривал и убеждал — не мог же он вернуться, не исполнив повеления Всевышнего. Умолял-умолял… Тогда Хазрати Бурх вернулся к Творцу и опять спрашивает:

-Ну что, не закроешь?

-Давай договоримся так, — Отвечает ему Всевышний. — Я буду его закрывать один раз в …

И дальше назвал какой-то день, в пятницу, допустим, какого-то месяца. Тогда Ад будет закрываться и творение будет становиться абсолютно совершенным, без Ада, все будут выпускаться, но только, допустим, раз в году. Или раз в

10 лет. И Хазрати Бурх был вынужден согласиться — нашли компромисс.

Эти люди, всё это рассказывавшие, не знали, когда жил Моисей. При этом они говорили «послал Моисея». Они не знали, что Муса (мир ему) жил за 1300 лет до рождества Христова. Для них всё было вневременно: события с Хазрати Бурхом происходили в виртуальной вневременности, как мифы Древней Греции. Вечная коллизия между архетипическими фигурами.

Про то, как этот мазар открылся, также ничего конкретного узнать было нельзя. По другой легенде, якобы 100 или 150 лет до этого охотник заснул, потом его змея укусила, он нашёл кувшин и так далее. Я не очень хорошо помню.

Но концов нельзя найти в принципе. Есть только мазар, который любил весь Таджикистан, и туда шло паломничество. В летние дни до 70 паломников проходили через Олима Назри, и каждого он как-то привечал, кормил, оставлял ночевать. Каждый ему оставлял какие-то деньги.

Олим Назри, возделывавший к тому же свои поля с ячменём, был, наверное, рублёвым миллионером. А тогда рубль стоил дороже доллара. Но ходил он в рваных халатах. Когда его бритоголовые дети приносили нам чай с сахаром, они смотрели голодными безумными глазами на этот сахар, как на высшее лакомство, не смея до него дотронуться. Они были одеты в старые рваные сержантские мундиры Советской армии со споротыми погонами, совершенно заношенные, нищенские. Питались они черствой лепешкой, чургот (типа мацони), сахар для них был супер лакомством. Мы им потихоньку давали этот сахар, чтобы отец не видел.

Мы переночевали у Олима Назри и пошли дальше. Сначала по лугу с высокой травой, мешавшей идти. Луг сокращался-сокращался, образовалась тропа между пропастью и каменной стеной. Сомневаюсь, что там прошёл бы ослик — хотя, говорят, некоторые проходили.

Мы шли, я держался за стеночку, и вдруг эта тропка привела нас в удивительное пространство. Это был второй удар после видения мальчика с кувшином.

Я напомню, что стоял поздний октябрь. Уже шли дожди. Где не было камня, там краснозём уже плыл.

И вот — гигантская береза, а вся площадка под ней усыпана желтыми листьями. Местная горная береза по-таджикски называется «тъуси». Эта береза была такой, что на её срезе могла бы разместиться небольшая комната метра три-четыре в диаметре. Она, конечно, была высокой, но по сравнению с чудовищностью её толщины это было не особо заметно. Высотой она была метров 20, может быть 30. Самым замечательным была её крона, потому что от неё исходили стволы по полметра, по метру в диаметре. И эта крона накрывала всю поляну сверху[211]. А поляна была приблизительно сотку или две. И на этой поляне сбоку стоял маленький глинобитный мазар — прямо на самом краю пропасти.

Край уже осыпался, глинобитный мазар был стянут с помощью каких-то невероятных ухищрений стальным канатом, удерживавшим его от того, чтобы не рассыпаться. Купол у мазара из листового железа, из жести, ослепительно сверкал белым серебряным светом. Мазар длиной метров пять, шириной метра три, с маленьким условным минаретом, поднимавшимся башенкой. Он тоже был перевит канатами. Рядом хибарка, сарайчик, внутри которого хранились керосиновые лампы, соль, спички, чуть-чуть керосина, мука и замшелые черные казаны.

Ощущение было совершенно потрясающим от этого дерева, от этого стянутого канатами глинобитного сооружения.

Я там помолился, что для салафитов было бы просто предельным вызовом, шоком и оплеухой — молитва на мазаре. Но для меня мазар играл совершенно специфическую роль. Это был визит к тайной, внутренней сущности смерти.

---

[211] Там два дерева: впечатленный березой, Джемаль забыл в своём рассказе про таких же размеров тополь.

Это не был визит к «святому» — тем более какому-то «вечному» святому, — не к тому образу, центру, «излучающему баракат» и могущему чем-то помочь.

Это был визит к центру, в котором концентрируется смерть как здесь-присутствие чёрной ночи, присутствие чистого негатива, находящегося по ту сторону всяких сравнений, аналогов. Смерть как знак Бога — вот здесь она концентрируется, на мазаре, который не является простой могилой. В простой могиле лежит человек погибший, а не умерший.

В «Ориентации — Север» я написал, что есть абсолютная разница между гибелью и смертью. Гибель — это разрушение феномена извне, а смерть — это то, что приходит изнутри, обнаруживает себя изнутри, потому что смерть — это сознание, в отложенном виде являющееся смертью, пока ещё человек не умер, смерть — это его сознание, его *здесь-присутствие*. Смерть — это *неподобие* ничему. Она работает как сознание, будучи помещенной в пока ещё действующее тело.

Этот мазар был для меня центром смерти, но при устранении человека, когда смерть обнаруживала себя в своём чистом виде, безотносительно к тому, кто умер.

Я был настроен и воспринимал эти места вне того контекста, в котором ваххабиты или суфии их воспринимают.

Мы помолились, хотя я не знаю, молился ли Каландар на самом деле. Он делал вид, что тоже молится, у него была какая-то нью-эйджевская идея подключения к каким-то энергиям.

Потом нам захотелось есть, мы развели костерок, поставили казан и стали готовить атолу.

Атола — мучная похлебка, главная еда таджикских дехкан. В раскаленный казан ты сыпешь муку, начинаешь растирать ее по горячей поверхности без соли и масла. Мука становится коричневой, и ты чуть-чуть подливаешь воды. Когда эта штука превращается в клейкую липкую массу ты опять подливаешь немного воды, опять мешаешь. В конце концов ты доводишь это всё до похлебки и ешь. Ни соли, ни

масла — просто мука, обжаренная в казане и разведенная с водой. Скажу честно — это посвятительная еда. Это еда, вкуса которой я не помню, но я знаю, что это был вкус неба, вкус рая, потусторонний вкус.

Но самым мощным ударом было то, что я вдруг осознал, что нахожусь на поляне, усыпанной в несколько слоёв золотыми листьями.

Дело в том, что я прошёл большую школу герметизма, и знал, что такое Terra Foliata, «земля, усыпанная листьями», — тема, присутствующая у определенной школы герметиков. Это попадание в другое пространство, характерной чертой которого являются золотые листья, покрывающие землю. Есть такое изречение, встречающееся, кажется, у Роберта Фладда: «Тот, кто знает Terra Foliata, может забросить все книги, а тот, кто не знает Terra Foliata, никогда не научится читать»[212].

И вдруг я осознал, что нахожусь на этой Terra Foliata, которая для меня всегда была метафорой. Вот она, реальная Terra Foliata, — рядом с этим мазаром, под этим невероятным фантастическим деревом, ничего подобного чему я не видел.

Вот эти два момента соединились.

Когда я увидел мальчика в расселине, я ещё не знал, что эту расселину не найду, что её нет. И вот эта поляна с деревом и с этим мазаром...

Я зашёл внутрь. Там была гробница около шести метров длиной и двух шириной. Она была покрыта белой тканью. Я прочитал Фатиху, на коленях произнёс дуа.

Когда мы шли назад, меня так переполняли чувства, что я скандировал Фатиху. Я как будто летел по этой тропинке, по которой незадолго до того едва мог ступить, держась за стеночку. Каландар корчился, его это вгоняло в чудовищную ломку. Он шёл впереди меня, и его ломало. Мы возвращались в город, и остальное уже было неважно. Поймали попутки, на перекладных кое как добрались.

[212] Строка из стихотворения Головина «Terra foliata». Возможно, вдохновитель или источник — Роберт Фладд и его Cosmosophia, упомянутые в стихотворении.

Меня переполняла внутренняя тайна, которую я никому не рассказывал, — ощущения от мазара и ощущения от просвета в каменной стене, где мне открылось совершенно иное пространство.

Когда я встречаюсь с концептуальностью mundus imaginalis[213], я знаю о чем идет речь — я пережил встречу с ним. И когда это завершилось приходом на мазор Хазрати Бурха, я понял, что я получил посвящение.

Через некоторое время был мой день рождения. День рождения я отмечал на квартире Каландара. Были я, он, Кая и приехавшая из Кургана бабушка Каландара — тихая старушка с большой бородавкой на щеке.

Каландар сделал шикарный плов.

Кроме художественной школы Каландар ещё учился в мореходке где-то в Ростове — причём он учился там на кока. И он действительно обладал большим талантом. Насколько он был плохим художником, настолько он был совершенно гениальным поваром.

Мы сидели на полу, разложив достархан, бабушка — поодаль в некоем подобии кресла, стоял полумрак, нашу скромную трапезу освещала скромная лампа. Было очень тихо, и даже Каландар вел себя спокойно, хотя он был демоном во плоти. И вдруг я подумал: да ведь мне исполнилось сейчас 33 года. Шестого ноября 1980 года.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу![214]

Некоторое время я ещё пробыл там, а потом, заряженный этим ощущением, уехал в Москву. Но прежде чем

---

[213] Воображаемый мир. — *лат.*

[214] Данте Алигьери. Божественная комедия. «Ад», Песнь первая.

уехать, я должен был взять с собой «аманаты» — некие залоги. И что это было?

Во-первых, я побывал на странном базарчике через остановку от «Гулистона». Базарчик располагался на пустыре за домами, за невнятной забороподобной преградой. Там продавалось вообще непонятно что.

Я купил там отрез полусинтетического брезента на штаны — зеленого с золотом цвета. Когда этот брезент намокал, он стоял колом. Но мне он понравился из-за своей плотности. И я решил, что буду носить штаны из этого брезента.

Вторым аманатом стали касы[215] из грубой керамики. Я купил 12, а может быть, даже 24. Достаточно хрупкая, плохо пропеченная керамика, раскрашенная традиционными узорами. Белый и черный узор по бежевому фону. Тащить это с собой было мукой мученической, но я всё-таки утащил этот пудовый отрез и касы, каждая в полкило. Всё это предстояло провезти в поезде, и я провез.

Из отреза несколько позднее мне сшил штаны Гулливер — известный хипповский мастер. Потом Гулливер погиб в горах. Лена Зеленая, которая была с нами на Иссык-Куле, стала после смерти Гулливера подругой Мити.

Лена Зеленая и сейчас есть, она подруга моей жены Гюли. Через Лену я отрез сдал Гулливеру, он снял с меня мерку, сшил штаны, я их носил долго — может быть, пару лет. Летом была проблема: когда я потел, синтетический брезент становился подобным жестяному доспеху. Штаны плотно охватывали ноги вверху. Но ничего, мне нравилось. Носил их только в Москве, в Душанбе не брал.

Я очень долго пользовался этими чашами, но потом они мало-помалу побились. Последняя дожила до конца советской власти, а может даже и перешагнула за 91-й год, хотя они были очень хрупкими.

Это были два аманата моего первого путешествия в Таджикистан.

---

[215] Касы — глубокие тарелки для супа или бульона (*таджик.*).

# Второе путешествие в Таджикистан[216]

Когда я вернулся в Москву, я понял со всей очевидностью, что дальше моя жизнь должна быть связана с Таджикистаном. В этот период многое происходило. Я довольно негативно переживал, что на моём месте в Питере оказался Женя Головин. Это было для меня сильным и болезненным ударом по самым разным причинам. Повторения одного и того же в фарсовом исполнении подрывали ценность нашего прошлого. Я испытывал острое болезненное чувство в связи с этим.

В 1981 году я уже более или менее преодолел все эти моменты, тем более что за мной уже стоял духовный опыт, полученный на мазоре Хазрати Бурха. И я понял, что нужно делать, как дальше работать. И начал к этому готовиться.

Моё внимание целиком переключилось на таджикское пространство, таджикскую тему. Москву я теперь рассматривал как некий дополнительный фон, как нечто, что ещё по инерции существует, но мои интересы теперь были сосредоточены там. Я уехал в Таджикистан во второй раз, уже не ориентируясь ни на кого, ни по каким адресам.

Перед тем как зависнуть в Душанбе, не зная, где мне приклонить голову, я ушёл в горы, как Заратустра.

В Фанских горах, совершив несколько переходов, я попал в очень интересное место. Моренное озеро[217] на высоте более 3000 метров. Там вообще не было ничего живого, но происходили всякие паранормальные явления.

Я был там не один. Со мной были Сергей Жигалкин, Митя Шехватов и Дугин. Митя — тот молодой человек, в своё время рассказавший Дугину о Головине и обо мне, и через него Дугин вышел на Жигалкина и на меня. Кроме того там со мной была девушка по имени Лина с потрясающими волосами

[216] Очень интересно и подробно эта таджикистанская эпопея описана в книге Владимира Видеманна «Запрещенный союз-2».

[217] Озеро, занимающее впадину между древними моренными грядами — ледниковыми отложениями

пепельного цвета — роскошная шевелюра, спускающаяся до крестца. Такие волосы можно увидеть только в кино, когда смотришь фильм про аристократов XVIII века, но у них парики, а тут всё натуральное. Вот там, на этом озере, мы были свидетелями паранормальных явлений, и стресс достиг такого уровня, что ребята сорвались.

Мы столкнулись с тем, что вокруг наших палаток кто-то ходит, хотя мы знали, что на десятки километров нет и не может быть ни души. Мы выходили и видели появляющиеся тропинки, которых раньше не было. Эти тропинки бежали, петляя среди камней, чтобы упереться в скалу и исчезнуть в ней. Кто-то дергал за верёвки палаток, мы слышали скрип шагов.

Жигалкин, на взводе, заявил:

- Если кто-то так шутит, то я очень не рекомендую. Кто будет елозить по стенке палатки, я буду бить ножом сквозь палатку, не взирая ни на кого и ни на что.

Но это тоже была истерика, потому что было понятно, что никто так шутить не будет.

В какой-то момент нервы сдали. Митя и Дугин были в одной палатке. Их крики меня разбудили. Выглянул... А мы же все были вооружены: у нас были качественные кованные ножи под 30 см каждый.

И вот среди ночи раздались крики. Я встал, хотя очень не хотелось, потому что только провалился в сон, а было холодно, изморось, дождь. Очень хотелось оставаться в состоянии забытья, но пришлось выбираться из теплого спальника. Я взял нож, выглянул и увидел Митю и Дугина на коленях. С дикими криками они шарили перед собой фонарями, сжимая ножи. Звали они меня, а не Сережу.

Утром мы сказали Дугину, что на следующую ночь он берет спальник и идёт ночевать на кладбище диких животных. Для испытания храбрости он должен был уйти примерно за километр от нашей стоянки и провести ночь под открытым небом. Там была огромная поляна среди скал с несколькими сотнями самых разных скелетов и черепов с рогами. Животные приходили туда умирать. Это было странное жуткое

место, покрытое белыми костяками. Иногда вспархивал одинокий стервятник, доклёвывавший давно иссохшие мумифицированные обрывки мяса. Точно, как в фильме «Рукопись, найденная в Сарагосе».

Почему-то Митю мы оставили в покое, хотя он тоже орал как резаный. Дугин пошёл, провел там ночь, вернулся под утро злой как черт, сел, не разговаривая ни с кем.

Трещина в его отношении ко мне и Жигалкину тогда появилась впервые. Дугину с самого начала сильно не понравился Таджикистан. Ни атмосфера, ни настрой, — ничего. Любое лыко шло в строку. Когда, поймав попутку, мы ехали на грузовичке с какой-то полукриминальной командой установщиков столбов линий электропередач, у нас возникли напряженные отношения.

Мы выскочили из этого грузовичка унося ноги, и Дугин возопил:

- Вот это Азия! Вот это Таджикистан!

Хотя это была команда шабашников из разных мест России. Я постарался объяснить Саше, что это просто гопники, причем из России, что среди них таджиков нет. Но переубедить Дугина не получилось — ему в Таджикистане не нравилось.

Через некоторое время мы покинули озеро, ушли вниз.

Товарищи мои улетели, а я остался — и дальше начались уже мои проблемы. Мне было нужно там остаться. Я знал, что здесь буду разрабатывать свое новое политическое пространство. В конце концов, разве я не был членом Ордена? Разве у меня не было миссии?

Пришел я в известное мне в Душанбе место на Клары Цеткин, к Каландару, и обнаружил, что он временно уехал к бабушке в Курган. И я оказался в довольно странном положении.

Напомню, в Афганистане шла война — Таджикистан стал прифронтовой территорией. Советские спецслужбы всегда были параноидально настроены, они считали, что вошли в Афганистан с тем, чтобы туда не вошли американцы, которые просто развели наших, как детей, убедив их, что они туда

войдут. У советских спецслужб существовала такая идея, что всё должно кишеть американской или моджахедовской агентурой.

Не могу сказать, что там на каждом шагу чувствовалось назойливое давление «кровавой гебни». Они тогда работали качественно. Я даже забывал, что всё реально находится под колпаком, но под колпаком оно было. И мой второй визит туда — человека, широко известного в узких кругах, — надо думать, не остался без внимания, тем более после моего ареста и содержания в пятом корпусе «Кащенко». Я поехал в Таджикистан первый раз, потом второй. Дважды два было сложено и получилось четыре, и я почувствовал неприятное присутствие у меня за плечами.

Я бродил по городу, заходя в книжные магазины. В те времена я всегда заходил в книжные, когда бывал в чужих городах. И я думал, как же мне выйти из положения и где же мне найти пристанище. На тот момент я считался, в общем-то, бомжом, и в этом плане оставался беззащитен и подставлен. В ту пору я еще не знал, как с этим делом работать.

И как-то в центре, в одном книжном, ко мне подходит невысокий лысеющий черноватый человек, похожий на Молотова или на Жжёнова, или на соединение Жжёнова с Молотовым.  Кошачье лицо с усиками.

И между нами происходит такой разговор:

-Я вижу, у вас проблемы.

- Да, видите совершенно точно... Прямо как астроном.

-Я вижу, что ваша главная проблема в том, где жить.

-И опять вы попали в точку.

-Я вам могу помочь.

-Я вам буду благодарен.

- Пойдемте.

Мне терять-то нечего, потому что знал, что меня могут взять в любой момент: достаточно одного звонка в Москву или звонка из Москвы. Страна воюет. За внешним фасадом расслабленного Востока тикают часы адских машинок. Поэтому я согласился.

Мы с ним поехали. Троллейбус, автобус, на каких-то перекладных. И мы оказались возле Бозори колхози, Колхозный базар, или просто Путовский, потому что он располагался на углу проспекта Ленина и улицы Путовского. Путовский — комиссар, расстреливавший таджиков пачками[218]. В советское время в Таджикистане, и не только там, улицы назывались именами палачей, в данном случае палачей таджикского народа. Одно только таджикское имя было или два: переулок имени писателя Бехбуди и улочка Абдуллы, красного командира. Некий Абдулла, красный командир, также удостоился, а так в основном комиссары, уничтожавшие мусульман. Все улицы Душанбе были названы их именами.

Приехали на Путовского, перешли от рынка на другую сторону, где магазин «Майда-чуйда» («Тысяча мелочей»). Перешли, зашли за него, и оказались в районе большой соборной мечети, где позднее сидел Тураджонзода (Ходжи Акбар Тураджонзода) и где был козиет[219]. Но это все ещё впереди...

Маленькие дворики, домики — что называется «частный сектор» за заборами. По дороге мы познакомились, и оказалось, что это армянин по фамилии Петросян. Кажется, его звали Володя. Родом из Москвы. Более того, мать у него была русская.

Он привел меня к себе домой. Там нас встретила его жена, чистая армянка без всяких примесей. Она была из породы худых армянок. Женщина с жестким уродливым лицом, с худыми, поросшими шерстью козлиными ногами. Одета она была в легкое ситцевое платье, висевшее на ней как на вешалке. Работала она парикмахером в салоне, в двух шагах от дома, тоже на улице Ленина. Кстати говоря, она

---

[218] Чеслав Антонович Путовский (1887—1925) — российский революционер. Первый председатель ОГПУ в Таджикистане. Участник Первой мировой и Гражданской войн, борьбы с басмачеством. Поляк по происхождению. В марте 1925 в бою с басмачами был ранен. Умер от ран.

[219] То же, что казият — подразделение муфтията.

выполняла парикмахерские работы и для меня — в частности, поменяла мне внешность. Она брила мне волосы, сохраняла со мной рабочий контакт.

Петросян говорит:

-Ты понимаешь, я не могу тебя держать даром и кормить. У тебя есть деньги?

-Нету.

-Тогда у меня есть к тебе предложение. Ты месяц будешь работать на меня, а потом я дам тебе заработанное, куплю билет в Москву, если захочешь. Но ты мне будешь помогать.

-Да, проблем не вижу, а что мне надо делать?

Он рассказал свою историю.

-Я вообще-то по жизни скульптор. Родившись в Москве у русской матери, я всегда был армянским националистом. Я бредил Арменией, мечтал уехать в Армению, прикоснуться к армянской земле и стать там великим скульптором, потому что армянский народ — это нация скульпторов. Но я не понимал, что это означает, пока не попал в Ереван. Там действительно скульпторов как нерезаных собак. Я приезжаю туда — не знающий армянского языка полукровка из Москвы — с претензией на то, что я скульптор. Это вызвало ко мне негативное отношение. Некоторое время я, конечно, перебивался, работал на подхвате, тесал камни. Но я понял, что так жить нельзя, никаких перспектив в Ереване у меня нет. Но мне удалось найти там себе армянскую женщину. Я женился на армянке, чтобы продолжить свой род уже с чистыми армянскими генами, преодолеть это родимое пятно со стороны матери, восстановить полноту генетического рисунка.

У него действительно там квакали двое маленьких носителей генетической чистоты.

-Вот это я оттуда вывез. В Москву я возвращаться не хотел, она была мне противна, и я поехал в Душанбе, потому что таджики — наиболее близкий нам, армянам, народ.

Эту странную идею я не раз замечал, как у некоторых интеллигентных либерастических таджиков, так и у таких же армян. Видимо, не случайно, что Армения и Иран

поддерживают друг друга в политическом плане. Что-то здесь есть.

-Короче, — говорит он, — я работаю на кладбище...

Тут у меня ухо поднялось.

-Я делаю надгробья. Работа тяжелая. Я делаю заливку из цемента, и когда она остывает и затвердевает, я шарашкой её полирую под мрамор, а потом бормашиной вывожу соответствующую надпись, крашу специальной краской, снимаю опалубку, и у меня получается прекрасная плита, но как её доставить к могиле? Ты же видишь, что я хилый, а ты, я вижу, ничего себе. И вот твоя помощь будет заключаться в том, что ты будешь эту плиту относить к могиле.

-Относить? Она же весит килограммов сто, наверное.

-Ну, сто двадцать, сто пятьдесят... Когда как. Но у меня есть тачка. Правда, она с одним колесом, но глядя на тебя, вижу, ты справишься. Но Южное кладбище, оно у нас холмистое, придется иногда плиту и вверх по склону везти.

И я вспомнил! 1978 году в Питере меня тоже пытались трудоустроить. Меня отвели к Володе Дубинину, предложившему мне работать на кладбище, — по-моему, оно тоже называлось Южное. И тоже мне там надо было носить плиты. Володя меня сразу предупредил, что от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти кг. Володя Дубинин был другого порядка оператор, и у него всё было покрупнее. Причем он говорил, что надгробия надо носить на кончиках пальцев с напарником. Если уронишь и разобьёшь, то плита стоит до трёхсот рублей, которые будут взысканы.

Видимо, я не ушел от этой работки на кладбище. Куда бы ни направлялся, кладбище тянулось за мной. Выходит, всё-таки надо отдать дань и отпахать, иначе дела не двинутся.

Со следующего дня я приступил к работе.

Мы поехали на кладбище, оказавшееся интереснейшим местом. Я фактически там занимался этнографическими исследованиями. Не мусульманское кладбище, оно делилось на три части: условно русская, с православными и

сектантскими штундистскими[220] могилами, очень большая еврейская и корейская.

В еврейской части было интересно: надгробные камни с массой надписей, со специфическим местным колоритом. Я заинтересовался необычайным богатством росписи на еврейских могилах. Они были разукрашены невероятными биографиями и совершенно безумными именами. Попадались такие имена, которых в жизни никогда не встречал: библейские талмудические, где Забулон или Наомия самые простые. Потрясающие фотографии евреев в меховых шапках. Вот с этого я начал знакомство с сефардами[221]. Потом оно стало более углубленным.

Корейский участок тоже примечательный. Оказывается, корейцев хоронят ногами к камню, а головой к тому, кто к этой могиле пришёл, — не как обычно, когда ты приходишь к усопшему, и стоишь у него в ногах.

Я начал возить плиты на тачке, кувыркавшейся по кочкам. Петросян шёл рядом и поддерживал плиту. Он боялся, что та может улететь и разбиться.

Долго мы не работали — часов до двух. На обратном пути останавливались в кафе недалеко от его обиталища и съедали цыплят табака.

Ночевал я у него во дворе на куче досок, накрытых брезентом. На этот брезент кидал сложенный вдвое спальник. И когда шел дождь, накрывался своей палаткой и смотрел на звезды.

---

[220] Штундизм (шту́нда (от нем. Stunde — час, подразумевается: для чтения и толкования Библии), — христианское религиозное движение, получившее распространение в XIX веке сначала в южных (Херсонской, Екатеринославской, Киевской) губерниях, а затем и других регионах Российской империи. В публицистике и в официальном делопроизводстве конца XIX — начала XX века термин «штундисты» иногда применялся расширительно — к русским баптистам и евангельским христианам-пашковцам.

[221] Евреи Таджикистана являются потомками расселившихся здесь бухарских евреев — в основном, конечно. Они практикуют богослужение испанского (сефардского) канона.

И, естественно, я изучал таджикский язык. Я начал этим заниматься ещё в горах и продолжил уже с полным погружением. Шел в народ, активно его практиковал, запасся учебником для русских, изданный в сталинские времена. Там были обязательные «колхозы», «трактора». Я его штудировал и практиковался в основном на базарах. Их было два — Зеленый и Путовский.

Путовский более цивильный, а потому более скучный. А Зеленый базар, Бозори сабз или Бозори Шохмансур — отрада сердца, густое средоточие жизни.

Вот там, на Зеленом базаре, практикуя в народе таджикский язык, я и познакомился с теми людьми, которые потом определили мою биографию на всю последующую жизнь. Впервые это произошло на Зеленом Базаре.

Бозори Шохмансур был в Душанбе центральным местом народной фольклорной жизни. Там я впервые увидел настоящих нищих с повязанными тюрбанами, в рваных халатах сидевших на земле, просивших милостыню и распевающих дуа. Там присутствовали потрясающие представители сельских пространств Таджикистана, туда привозили продукты из самых разных мест: из Кулоба, долины Каротегин, Хучанда. Очень пестрые люди. Торговцы насваем, тайно подторговывавшие анашой.

Насвай был разрешён. Это просто табак, который под язык кладёшь, и всё. Но поскольку он является веществом, входящим напрямую в контакт со слизистой оболочкой, то действует он гораздо сильнее. Табак вообще очень сильнодействующее средство, он гораздо тяжелее, чем некоторые лёгкие наркотики. К тому же он дает сильное привыкание, и тоже наркотик. Толерантное отношение к табаку говорит о полном иррационале современного социума, потому что преследовать анашу и торговать табаком и алкоголем, — на мой взгляд, просто верх идиотизма и непоследовательности.

Я с огромным кайфом, с огромным наслаждением бродил по закоулкам Зеленого Базара. Большое место, кишащее народом, с массой прилавков и маленьких магазинчиков

вокруг. Там продавалась множество интересных вещей. Например, чорух и калуш — национальные сапоги, деревянные гребни для расчёсывания бороды, разные тюбетейки. Всё это было острым и не теряло притягательности в последующие годы, потому что носило концентрированно символический духовный характер. Если я сейчас увижу шона — деревянный гребень для бороды, выточенный вручную, — я просто умру от ностальгического удара. Особые специальные вещи, заряженные некоторой энергией.

Таджики — совершенно особый народ, и их эстетическую парадигму лучше всего можно было бы выразить через сочетание черного и красного цвета в самом простом и элементарном дизайне. Скудный сельский эстетизм, основанный на минимализме, аскезе...

Я же рассказывал, как ел атолу на мазаре Хазрати Бурха, когда мы перетирали в казане муку, подливая туда понемногу воды. В это блюдо не полагается добавлять ни масла, ни приправ. Хорошо, если есть соль. И это — настоящая национальная похлебка. Скуднее и аскетичнее трудно себе что-то представить — разве что мох с валунов, которым питались подвижники в египетской пустыне. Если на этот уровень не выходить, то атола — самое аскетичное.

В своих блужданиях и встречах я постоянно упражнял таджикский язык, который интенсивно учил.

Недалеко от Зеленого Базара был «Олами китобо», «Книжный мир», куда я постоянно заходил. Парадный магазин, где ничего особо интересного не было. Но тем не менее у меня начинала складываться первая таджикская библиотека. Я её штудировал. Я прислушивался к уличным говорам, наречиям, к тому, как, например, просят передать деньги в троллейбусе, или как компостируют билеты, учил разговорные выражения. Всё это впитывал. По прошествии времени я начал уже замечать новые фразы, идиомы, появлявшиеся в речи.

Так, изучая язык, я встретился с людьми, которые мною заинтересовались. Они увидели, что перед ними приезжий, из Москвы, но при этом мусульманин, с акцентом говорящий по-

таджикски, интересующийся им. Я не походил на других русскоязычных, появлявшихся в таджикском пространстве.

И они сказали, что мне необходимо встретиться в горах, в долине Вахиё, с большим шейхом Накшбандия Эшони Халифа. Эшони Халифа это не имя, а титул, но все звали его только так. Эшон — это «они» на таджикском фарси, и это обращение адресуется только духовным учителям, о которых говорят «они». Причем это «они» превратилось в самостоятельный титул. Эшонами называют орденских мэтров, мастеров Накшбандийя.

Я с детства знал это слово из советской пропаганды, из атеистических брошюрок, с ненавистью утверждавших, что вот-де «таджики — тёмный народ, который подчиняется своим эшонам». Потом я узнал, что «эшон» в переводе значит «они», — как, допустим, раньше в России говорили простые люди о барине «они не велели принимать». А «халифа» — помимо того, что это просто «халиф», «наместник», оно ещё означает «учитель». В медресе в начальных классах «халифа» — это «учитель». Сочетание «Эшони Халифа» было титулом исключительно этого шейха. Его отец был шейхом, и его дед был шейхом. И нить эта шла довольно далеко. Причем прапрадед его уходил в Пакистан, дед возвратился в Таджикистан ещё до революции. Заметный род с большими, в том числе и зарубежными, связями.

Люди, которых я встретил, сказали, что мне нужно отправиться туда.

Путь в те места лежал мимо Сангвори Було, но дальше, не переходя на ту сторону через речку Киргизоб, а по той же стороне, что вела от Сангвори Було. По горной тропе нужно было продолжать путь пока не выйдешь на кишлаки Арзынг, Рог, Пашимгар.

В Пашимгаре была ставка. Это очень далекое место в глубине долины Вахиё. Оттуда уже переход на Ванч. А Ванч был уже закрытой территорией, куда без печати погранцов официально никак попасть было нельзя, только явочным путём. Но Пашимгар был ещё на доступной стадии. Я это намотал на ус.

Тем временем — это уже было следующее лето после Петросяна — из своего замечательного Кургана появился Каландар. Лучше он за это время не становился, он «прогрессировал». Дело в том, что когда я с ним познакомился, он бросил пить и курить, у него была исключительно вегетарианская диета. И очень напрягал тех таджиков, к которым мы вместе попадали в гости.

Гостям же что предлагают: шурпу, манты или что-то в этом роде. А когда человек начинает объяснять, что он ничего не ест... Тем более он объяснял это таким образом, что его воспринимали как тяжело больного. Он говорил: «Я не ем ничего, что ходит, летает, ползает», — и на него смотрели, печально покачивая головой в недоумении. Мне это тоже не было приятно, потому что это бросало тень на меня.

В общем он ничего не пил и не ел, и от воздержания его всё время колбасило.

Я успел застать его картины в духе дегенерировавшего псевдо-Рериха, но без фигур, без гуру, без летающих персонажей. Просто скалы с тенями, образующими какие-то физиономии. Потом я понял, что он имеет ввиду, потому что этого в горах очень много. Ты постоянно ходишь среди демонических ликов, проступающих в светотенях на камнях, на снегах.

Но он всё это сжег. Он собрал все свои работы, а их в его прибомжованной квартирке было не менее 60. И сжег. В принципе, туда им и дорога, но жест был отчаянный.

И вот он появился. Но начал пить, есть мясо, приобрел новую размашистость и навязчивую удаль, стал ещё более агрессивен и неадекватен и норовил придумать всё новые и новые обвинения против меня.

Я понял загадку русского человека — русский человек постоянно измышляет обвинения против себя, адресуясь к тем, кто ему ничего плохого не делает.

Его идея была в том, что я магически на него воздействую.

Бабушка его жила в Кургане, но она туда переселилась — сама она была русская из Таджикистана. Древняя бабушка,

родившаяся ещё в дореволюционные времена. Не из тех, кто попал в Таджикистан, чтобы рыть там каналы в 30-е годы, не мразь всякая.

Надо сказать, что когда людей при совке выпускали из зоны, то у них было поражение по месту проживания. Например, «минус 12» означало, что запрещено жить в столицах союзных республик и еще где-то, но где-то разрешалось, — по-моему, в Прибалтике.

Были другие «минусы» — до 112 или до 120. Но среди этих городов никогда не фигурировали среднеазиатские. Выйдя после отсидки за любое преступление с любым поражением в правах, человек имел право поехать в Среднюю Азию. Поэтому в Средней Азии концентрировался специфический контингент русских. Не борцы с царизмом, не борцы со сталинизмом, а разномастные уголовники. К ним добавлялись те, кому уже нечего было делать на остальной территории, — например, золотозубые бродяги, подрядившиеся ставить столбы для высоковольтных передач. Они тоже оседали в Средней Азии, смешивались с уголовниками, и сами они были полукриминалом. Но это были не настоящие блатные, а те, которые работают, как-то выживают. То, что называется «мужики». И всё это там воспроизводилось. Надо сказать, что среди них было мало евреев. К тому же там имелись свои евреи — сильно отличавшиеся.

Каландар–Иващенко вывел меня на так называемую «русскую элиту» Душанбе. Это был интересный богемный круг с повышенной концентрацией ашкеназийской крови.

Многие переехали из центральной России, они чувствовали себя более комфортно в азиатском пространстве. Эти люди были заинтересованы в ньюэйджевском эзотеризме, в буддизме, индуизме. Им в голову не приходило интересоваться исламом и даже суфизмом. Для них таджикское поле было вообще вынесено за скобки, оно даже не обсуждалось — за исключением каких-то комедийных моментов.

Для начала Каландар предложил мне пойти в салон к жене местного прокурора. Да, у Каландара были такие выходы, потому что русскоязычное азиатское общество в столицах республик в те архаичные советские времена было не так уж жестко стратифицировано. В Москве Иващенко-Каландар, конечно, не попал бы ни в какой салон к прокурорше, но в Душанбе он считался хорошим, интересным фриком, который заслуживал того, чтобы его приглашать для украшения общества. К тому же в этом обществе прослышали про моё появление и с большим интересом хотели со мной встретиться. А повод был такой: в Душанбе должен был приехать с лекцией некий то ли Раппопорт, то ли Фридман из Киева.

Мы с Иващенко пришли на квартиру к прокурорше. Обычная совдеповская квартира, обставленная советской мебелью, соответствующей статусу прокурора: лакированные столы и стулья, фарфор и хрусталь. В большую гостиную набилась куча народа, все хорошо знали друг друга. Через некоторое время появился докладчик в сером костюме — мелкий проходимистый человечек мышистого, но нагловатого вида, и начал лекцию.

Я слушал его, лежа на ковре, и это было нормально: какие-то азиатские обычаи всё-таки проникали. Прямо на полу стояли блюда с фруктами. Я лежал на подушках как главный гость среди слушателей. В ту пору я сильно отличался от моего нынешнего состояния. У меня были локоны до плеч, густые и черные, и огромная черная борода. Я немного походил на известные зороастрийские иконки Заратустры. Некоторая экзотичность в моем облике была. У тамошних людишек я возбуждал живой интерес, неподдельное любопытство.

И вот наш Раппопорт–Фридман понёс метель о том, что в Киеве жил некий злой гений физик Гальперин, которого он, Рапопорт, хорошо знал. И физик Гальперин разработал формулу и утверждал, что, если ее досчитать до конца, она приведет к тому, что вся вселенная сворачивалась в ничто. И этот Гальперин работал при зеленой лампе, тоже игравшей

роль в этой ахинее. И тогда Рапопорт бросил Гальперину вызов, потому что он хотел спасти мир.

Я посматривал на окружающих во время повествования, чтобы понять их реакцию. Но все слушали с напряженным вниманием. А он, разливаясь соловьем, нес дурдомовскую, кондово «диагнозовую» околесицу про физика Гальперина, про себя, бросившего вызов. Он пришел к этому Гальперину, и они сидели по обе стороны зеленой лампы и смотрели друг на друга. Рапопорт говорил: «Ты этого не сделаешь», а Гальперин ему отвечал: «Сделаю». И в конце концов Гальперин проиграл, он отступил, потух, поник, и мир был спасен. Потому что если бы Гальперин выиграл, то нас бы уже не было, мир бы свернулся. Рапопорт закончил свой рассказ словами вроде того что: «Я, Рапопорт, спас мир».

Никто не смеялся.

Я очень внимательно смотрел на этого субъекта с бегающими глазами. Потом поднялся и вышел на балкон, когда уже было очевидно, что доклад спасителя мира о том, как два еврея решали судьбы вселенной вокруг зеленой лампы, закончился.

Через некоторое время он присоединился ко мне на балконе и осторожно, бочком, подполз и остановился возле моего локтя. После этого он спросил:

-Можно поинтересоваться, чем вы занимаетесь?

-Да в основном я занимаюсь гематрией.

Гематрия — это кабалистические упражнения, связанные с числовыми значениями еврейских букв. Их перестановки дают разные комбинации. Например, Адам и Ева вместе дают числовое значение 66. Есть еще арабский вариант гематрии — абджад. Он слегка подпрыгнул, ушки у него стали торчком.

-А можно спросить как вас зовут?

И тут я пустился во все тяжкие. Я начал намекать на то, что я еврей очень высокого, знатного рода, «высокого посвящения». Я сказал, что моё имя Хайдор.

-А фамилия?

-Ну так уж я сразу вам и сказал свою фамилию.

Потом разом вокруг меня образовалась толпа из гостей прокурорши, они мяукали, как кошки, и спрашивали, какая у меня фамилия.

Каким-то образом я от них отбился и ушел, оставив их сильно разочарованными.

Но через это я проложил дорогу в более узкий круг, который собирался вокруг художника Серебровского[222]. Он работал на каком-то хлебном месте, у него была хорошая квартира на высоком первом этаже. И вокруг него кучковался народ, где центром были актеры и актрисы местного русского драматического театра.

Серебровский был ньюэйджевский буддист, неоспиритуалист и индуист — как обычно с русскими такого рода. Он рисовал в особой, как бы пуантилистской, манере всякого рода индийские танцующие фигуры в шароварах. Там присутствовала некая Нина Иванова, влюбленная в Серебровского, и весь этот круг был заряжен на обсуждение безумной любви Ивановой к Серебровскому. Она была актриса русского драматического театра Душанбе, причем примой. У нее из-за рака была отрезана грудь, а может быть даже не только грудь. Эффектная брюнетка, очень стильная. Она меня пригласила к себе и пыталась понять, кто я такой.

Позиционировала она себя как женщина большой судьбы с эзотерическими выходами, много понимающая, играющая полу цыганку, полу женскую гуру. Но с трудной судьбой русской интеллигентной актрисы.

Мы морочили друг другу голову, но при этом я собрал интересную информацию по русскому кругу. Через это я попал к матери известного одно время писателя

---

[222] Владимир Глебович Серебровский (1937–2016) — советский и российский театральный художник, народный художник РФ, главный художник МХАТ им. Горького. В описываемый период — главный художник Таджикского государственного академического театра оперы и балета им. Садриддина Айни.

Зульфикарова[223]. Фамилия ее — Успенская[224]. Иранистка, окончившая ленинградский востфак в университете и направленная на работу в Таджикистан по комсомольской путевке. Там она встретила настоящего перса — не таджика, а потомка украденных туркменами персов, которых использовали как рабов.

В Бухаре, остававшейся независимым эмиратом, шла работорговля до 1910 года, потом ее запретили. И в качестве рабов там фигурировали украденные персы. Вот их потомки образовали персидский анклав. Садриддин Айни написал про них роман «Рабы». Муж Успенской был из рабов, родившийся свободным, но у рабских родителей, похищенных из Персии.

Людмила Владимировна Успенская — очень известная женщина, старый академический полюс русской науки, она совместно с Рахими и академиком Мирзоевым написала большой таджикско-русский словарь на 50 тысяч слов — первый большой академический таджикско-русский словарь советского времени.

И вот меня привели к ней в дом.

Я тогда, можно сказать, только начинал овладевать таджикским языком. Но она очень прониклась ко мне, у нас состоялся интересный разговор. Она сказала, что не понимает литературу своего сына, но всё равно им гордится. Зульфикаров тогда был популярен, получал премии, его издавали за границей. Она мне показала какие-то его книжечки. А я его тогда ещё не знал, познакомился с ним какое-то время спустя. Он был потрясён тем, что я знаю его мать.

Эти три пункта дают полное представление о русскоязычной элите Душанбе: салон той прокурорши, салон

---

[223] Тимур Касымович Зульфикаров (род. 1936) — известный русский (пишет только на русском) поэт, прозаик и драматург, сценарист. Фильм по его сценарию получил главный приз Московского кинофестиваля в 1980 году.

[224] Людмила Владимировна Успенская (1909—2000) — известная учёный-иранист и таджиковед, ученый секретарь Академии наук Таджикистана. По её учебникам и сейчас тысячи таджиков учат русский язык. Дочь князя Успенского.

Серебровского с кругами, идущими от местного русского театра, и Успенская как старый полюс русской науки

Из разговора с ней я понял, что в части имперского высокомерия и пренебрежительного отношения к местному населению, среди которого они жили, академическая наука со старыми интеллигентскими корнями ничуть не уступала новодельным невежам, занимавшимся своим буддизмом, сидя в центре иранской исламской цивилизации. И тех и других связывало и объединяло барское высокомерие «белых сахибов». Причём если у Серебровского это высокомерие было просто дурацким, то у Успенской оно было весьма раздражающим и проявлялось в странных деталях.

Например, она интерпретировала какие-то обороты таджикского языка таким образом, как будто таджикский язык является простонародной деградировавшей формой персидского, и якобы персы часто из-за этого над таджиками смеются. Хотя на деле, если брать по времени, по генезису, по известным писателям, то таджикский язык является более нормативным, а современный персидский — просто новодел. Все или почти все известные миру писавшие на фарси литераторы по своим корням были таджиками. И в Таджикистане до сих пор в некоторым местах помнят Македонского.

Я описал русскоязычный круг Душанбе начала восьмидесятых. Но не коснулся фигуры, не совпадавшей с этим кругом, хотя она и принадлежала русскоязычному пространству. Эта фигура служила медиатором между всеми пространствами, и все, кто приезжали в Душанбе, проходили через него. Это был Шихали Усейнов. С ним я тоже познакомился через Каландара.

Каландар в 1982 году перебрался на новую квартиру. Не ту, за «Гулистоном», в которую я в первый раз попал, а на квартиру буквально через дом, в соседнем четырехэтажном барачном домике, тоже ужасном, но там было пусто, и Каландар делал какой-то ремонт. И туда внезапно запросто в гости зашёл человек невысокого роста с бородой на порядок больше и гуще моей: черная борода до середины груди. Такой

бы сегодня позавидовал любой салафит в Сирии — просто крутейшая борода. Волосы у него росли прямо от бровей[225], и из-за своей густоты они стояли почти вертикально. Шапка черных волос, густейшие черные брови и очень милое, очень восточное породистое интеллигентное лицо. Звали его Шихали Усейнов.

Вдруг оказывается, что он — азербайджанец. В Баку даже есть проспект, названный в честь его деда: проспект Усейнова. Находясь в таджикском пространстве, встретиться с азербайджанцем было для меня просто подарком. Мы тут же заговорили по-азербайджански.

Каландар сразу начал ему хамить, провоцировать, и мы вышли, отъединились от Каландара. Я понял, что этот человек заинтересован во мне, крайне внимателен. Спросил, как он попал в Таджикистан.

У него была потрясающая история.

Дед его — известный нефтепромышленник[226]. Отец — крупный багировский чекист, причем идейный, как это обычно бывает в миллионерских семьях, абсолютно фанатичный.

Сам он пошел по стопам отца, окончил юридический факультет Бакинского университета, куда меня мой папа тоже хотел определить, чтобы стал адвокатом и защищал цеховиков. Но Шихали реально закончил этот факультет, а

---

[225] *Комментарий Джемаля:* Низкий лоб указывает на витальность. У меня низкий лоб, у моего деда с материнской стороны был низкий лоб. Низкий лоб — показатель витальных сил, и он не обязательно свидетельствует о слабости умственных способностей. А высокие лбы, как правило, говорят об истощении витальных сил, о том, что человек находится в фазе вырождения. Например, у дегенеративных героинь голландской живописи высокие лбы. Интеллигентный высокий лоб свидетельствует, что человек худосочный — хорошее, подходящее слово, потому что соки в нём худые.

[226] Род Усейновых — известные судовладельцы на Каспии, занимались судоходством с конца 18-го века. С началом роста добычи нефти на Бакинских промыслах Усейновы осуществляли ее перевозку на собственных танкерах.

когда он там учился, проходил практику в бакинской Баиловской тюрьме, в которой в 1911 сидел Сталин. Мощная, с именем, царская и советская тюрьма, где расстреливали. А он там в звании сержанта дежурил в качестве вертухая — вертухай-практикант, переживший массу интересных историй.

Кстати, он мне подробно описал, как приводится в исполнение смертный приговор.

Человек сидит в камере смертников, очень взволнован, и вот его конвоируют в кабинет к начальнику тюрьмы. Это круто — почти что как к Анубису на судилище. Тот встаёт и читает ему официальный отказ Верховного совета в просьбе о помиловании — все изложено канцеляритом. Ему читают отказ. И он сначала не может понять, не может вникнуть, но потом до него доходит, что в просьбе о помиловании ему отказано.

В этот момент почти каждый человек открывает рот, чтобы сказать «а», и ожидающий этого и стоящий сзади наготове старшина забивает ему в открывшийся рот резиновую грушу. Груша острым концом входит в рот, человек уже не может кричать. Следующим движением — поверх рта повязка, и надеваются наручники. Потом его ведут через двор, и в этот момент все заключенные, которые понимают в чем дело, начинают бить мисками, кричать, а он ничего сказать уже не может. Его ведут в специальную расстрельную камеру, и там дежурный, очередной сержант, берет из сейфа специальный «расстрельный» наган, потому что у нагана ослабленная мощность, он не разносит башку вдребезги.

В камере его ставят к стенке, а в стенке есть специальная дырка, и затылок его приходится напротив этой дырки. Сержант вставляет пистолет в эту дырку и стреляет в тот момент, когда свет там перекрывается, — он не видит, в кого стреляет. Пуля попадает в башку, и смерть наступает мгновенно, после чего приходит специальный служащий, замывает кровь, а труп утаскивают. Такой процесс.

Я его спрашиваю:

-А как же ты попал сюда?

-Я понял, что не хочу служить в системе МВД, не хочу быть ментом. Но мне, как человеку, который учился на красный диплом, предлагали сразу по выходе с факультета серьезное карьерное место — заместитель начальника уголовного розыска Карабахской автономной области и сразу капитанские погоны, в перспективе быстро превращавшиеся в майорские. Но я понял, что не буду ментом. Освободиться от МВД очень тяжело. Пришлось напрячь моих друзей, друзей отца в МВД в Москве, чтобы соскочить с крючка. В итоге мне сказали, что меня отпустят, но с условием, что я уеду из Баку. И я уехал в Душанбе, а куда ещё мне было ехать?

В советское время существовала такая система, что ты не мог просто приехать в другой город и прописаться там только потому, что тебе так захотелось. Собственно говоря, вся жилплощадь принадлежала государству, и ничего свободного нет. Чтобы где-то прописаться, ты должен там работать, — а чтобы работать, надо иметь прописку. Порочный замкнутый круг. Поэтому единственный способ остаться в избранном городе — там жениться.

Но в Душанбе это тоже не так просто, потому что Шихали был азербайджанцем. На ком он там может жениться? На русской он жениться не хотел, потому что все девушки там происходили в основном из семей алкашей-уголовников. Таджичку никто не отдаст, потому что кто он такой? И единственное, на ком ему оставалось жениться, — на кореянке.

Так он совершил самый страшный и самый ошибочный шаг в жизни.

Его кореянка служила юристом стройбанка республики. Она тоже окончила юридический факультет, только таджикский. Её звали Ульяна, она работала в стройбанке республики и устроила Шихали туда, и он тоже был юристом стройбанка республики. Но одновременно он стал работать тренером в молодежной шахматно-шашечной секции в горсаду. Он преподавал международные шашки, в которых он был мастер. По шахматам он был кандидатом в мастера.

У Шихали подобралась своя команда, и он приобрел известность на весь Душанбе, особенно потому что он набирал в свою группу только мусульман. Все остальные преподаватели шахмат и шашек были евреи и брали к себе своих. А он принимал исключительно мусульман — таджиков и узбеков. По-моему, у него даже там был казах или казашка.

Он был человеком, ориентированным на ислам. Но как? Интеллигент, не молящийся, но с искренней ориентацией на ислам как на «наше». Вот это — «наше». «Мы — мусульмане». И негативизм против всего, что было антиисламским. Он был за ислам во всем.  Мы с ним душевно сблизились. Я его очень жалел по поводу этой Ульяны.  Бывал у него дома.

Как-то у Шихали выдался отпуск, и целый месяц он был свободен. Его напрягли строить халупу в саду родителей Ульяны. У её родителей был сад с халупой, и они хотели, чтобы там появилась ещё одна техническая халупа. И конечно её должен был строить зять.

Я пришёл к ним в гости. Посреди высокой травы, деревьев, которые росли прямо в центре города за высоким забором, Шихали меня встретил, заказал мне чай. И только мы сели к столу, как из высокой травы выскочил человек, похожий на ефрейтора японской армии из антияпонских военных фильмов, с короткой стрижкой и желтооливковым лицом. Он выпрыгнул, как заяц из окопа, и что-то прогавкал: видимо он говорил по-русски, но это напоминало японское гавканье. Смысл был таков, что мы тут расселись, а работа стоит, надо строить, кирпичи класть. Сказав это, он куда-то провалился. Потом появилась сестра жены, работавшая в Академкниге, — это считалось очень здорово: через неё можно было достать редкие академические книжки. Красивая кореянка — они в молодости все красивые. Она ходила злобно, как пантера, через эту траву, шелестя платьем. А мы сидели за сбитыми скамейками и столиком, а она мимо нас ходила в чернильном облаке негатива, как каракатица. Бедный Шихали жмурился и говорил мне по-азербайджански:

- Счастлив будет тот, кому она в жены достанется.

Да, бедняга… Через некоторое время ему пришлось возвращаться и продолжать класть камень на камень, а я пошел дальше по своим делам.

Я ему очень сочувствовал. Эта Ульяна его даже один раз довела до слёз. Но деваться Шихали уже было некуда: у него тогда уже было двое детей — дочка и сын.

Этот человек играл ключевую роль в том пространстве — в «оперативно-политическом» смысле. Я напомню, что дело происходило в прифронтовой республике, прифронтовой полосе, которая пользовалась, по мнению тогдашних силовых структур, особым вниманием со стороны недоброжелателей Советского союза и противников операции в Афганистане.

Таким образом, все русскоязычные приезжие замыкались на две фигуры. Одной фигурой был Каландар, на которого в своё время в Фанах[227] чудесным образом вышел Жигалкин.

А вторая фигура — Шихали, через руки которого проходили все приезжие, потому что он был связан с Каландаром и приходил к нему всегда, когда хотел. Как бы Каландар ни бухтел, ни шипел, ни хамил — Шихали приходил и разглядывал, кто приехал. Меня он сразу взял в оборот, мы с ним говорили только по-азербайджански. Много говорили про Баку. Он очень ностальгировал, потому что вся его семья была там — сестра, мать...

В Душанбе валом приезжали самые разные люди с рюкзачками: искатели приключений, чудес, пещер, встреч с «шейхами», туристы, нью-эйджевские спиритуалисты.

Были еще русскоязычные люди, достаточно специфические, — не сводились к Серебровскому и прокурорше.

Например, некий Мерзляков, прошедший Крым и рым, лагеря, войну, дезертирство. Он походил на актёра, игравшего Котовского в фильме «Однажды в Одессе»:

---

[227] Фанские горы (в просторечии Фаны) расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов

длинное лошадиное лицо и усики по моде 30-х годов. Любопытный человек, постоянно бывал в горсаду.

Но так или иначе вся публика замыкалась на престижных прокурорше и Серебровских, а те, кто кучковался в горсаду, тяготели к Шиху. Сад примыкал к стене шахматно-шашечной школы, где он был одним из тренеров.

В этом же саду была мантышная, где готовили манты. В этой мантышной время от времени работал Сангак Сафаров, когда он выходил с зоны. Спустя некоторое время он стал лидером Народного фронта. До этого оставалось ещё лет десять. А пока он был убийцей и время от времени попадал на зону.

Когда мы покупали и ели эти манты, мы не интересовались, кто их готовит. Он там был не один — не факт, что каждый наш манту был изготовлен Сафаровым. Но всё же интересно, что он работал в том самом горсаду, в 20 шагах от лавок, где мы пили чай и ели самсу и манты.

В горсаду образовался особый круг. У Шихали было два приятеля — коллеги по этой шахматно-шашечной школе. Один — почти стопроцентная копия Ельцина: двухметровый еврей Сенхот, что по-еврейски значит «радость». Он был настолько похож на будущего Ельцина, о котором ещё речи в 1982-ом году не шло, что его можно было бы использовать как двойника. Дикий русофоб — когда кончилась советская власть, мгновенно уехал в Израиль.

Вторым был Рафик, Рафаель, тоже местный еврей.

Евреи говорили на родном языке — некоем диалекте таджикского языка[228]. То есть они все говорили по-таджикски, но с особым завыванием, которое я принимал за еврейский акцент. Пока не попал позднее в Иран: оказалось, что в Иране все уважающие себя люди завывают еще больше.

---

[228] Еврейско-таджикский диалект, также бухори и еврейско-бухарский — литературный и разговорный язык бухарских (среднеазиатских) евреев, один из еврейско-иранских языков. Фактически является одним из говоров северного диалекта таджикского языка, в частности самаркандского диалекта. Близок еврейско-персидскому языку.

Рафик говорил так:

- Гейдар, вот когда я обеспечу семью, построю себе дом, я займусь обязательно духом. Буду заниматься духовной темой. Но сначала нужно обеспечить семью. На тот момент у него был колоссальный домина, где столовая была расписана фресками в духе «китч»: с летающими ангелочками, эротами, обстреливавшими из луков кита, выпускавшего фонтан воды. Столовая метров 30. Но он хотел ещё какой-то дом строить, прежде чем начать заниматься духом уже основательно.

Все эти люди знали иврит. Все они неофициально кончали хедер[229], могли читать Тору.

Я рассмотрел это пространство изнутри.

Семхот прошёл тенью и растворился, двухметровый «Ельцин». А с Рафиком мы сошлись близко. Рафик добывал себе деньги не шахматами, Рафик пел на таджикских свадьбах. У него были «жигули–четверка» темно-красного цвета, на которой мы иногда ездили на Варзоб, в разные места, но это уже другая тема...

Надо сказать, среднеазиатские евреи прочно оседлали бизнес музыкального сопровождения национальных народных таджикских гулянок: той, обрезание, свадьба. Они музыкальны, они имитаторы, они говорят на версии таджикского языка, и они поют народные песни. Но вы всегда услышите, что поёт чужак. Они портят народную культуру, искажают ее.

Еврей, исполняющий по-таджикски народную таджикскую песню, делает это слащаво. Понятно, что он имитирует, понятно, что это не его. К сожалению, это было оседлано ими так, что таджикскому народному исполнителю не просочиться. Камни пригнаны так плотно, что между ними нельзя просунуться никому. Они стали влиять на музыкальную культуру, на музыкальный фон — и разрушали его. Шихали подробно исследовал музыкальную деятельность такого рода.

---

[229] Начальная еврейская школа. Джемаль использует термин, который относится к традиционной ашкеназской системе образования.

Итак, русскоязычный «элитный» круг шел вокруг Серебровского и прокурорши, а «неэлитный» — вокруг Мерзлякова. В центре между ними находился Шихали. Ему на прокуроршу и Серебровского было наплевать, но не наплевать было на приезжающих.

И Каландар — на первый взгляд просто опасный психопат, бегающий с ножом и в тапочках по горам, а по возвращении исполнявший заказы на ремонт и расписывание кафе, что, как правило, не мог довести до конца. У человека была дикая неусидчивость, просто диагноз. Кстати, он успел посидеть на зоне — был с уголовным прошлым. Его пытались убить: ранили, по-моему, в Элисте. В общем, сложный человек. Сейчас он жив: монах в одном из подмосковных монастырей. С ним поддерживает отношения Жигалкин. Не знаю, насколько часто, но некоторое время назад он говорил, что видел его. Я его не встречал после 1985 или 86-го года.

Прежде чем закончить этот рассказ, надо сказать несколько слов о другой знаковой фигуре, не относящейся к русскоязычному пространству, но важной для понимания масонско-элитных советских связей того времени.

Фарух Арабов жил недалеко от института истории партии на улице Орджоникидзе, недалеко от улицы Ленина, напротив ЦУМа.

Тихая цветочная зеленая улица, тихий двор, высокий этаж, большая трехкомнатная квартира с верандой. Родной внук Арабова, который привёз «золотой поезд» к Ленину, будучи личным банкиром эмира бухарского. Этот золотой поезд эмир бухарский послал Ленину в 1920 году, чтобы тот оставил Бухару в покое и не распространял там Советскую власть. Есть фотография: Ленина в золотом бухарском халате, и Джурабек Арабов, дед Фаруха, обнимает Ленина за плечи. Эта историческая фотография стояла у Фаруха в спальне.

Фарух закончил что-то очень крутое гуманитарное. Он знал арабский и фарси. Он писался таджиком, хотя его родственники Арабовы из Узбекистана — все министры и замминистры, числом не меньше трёхсот.

Вальяжный плейбой, слегка щурящийся, любивший пожить, работал он преподавателем философии в сельхозинституте. И когда я к нему пришел, он принимал у себя председателей колхозов, которые должны были сдавать философию, учась на вечернем отделении. Они с собой привезли баранов, пачки денег. Он их принимал и там был какой-то невероятный плов.

Я тогда носил войлочный остроконечный колпак — только вернулся с гор. И Арабов начал подшучивать надо мной. Типа, что это у меня за «кулох». Но он понял, что ему имеет смысл поменять тональность, и мы с ним сблизились.

Он рассказывал мне огромное количество важных инсайдерских вещей о таджикском менталитете, о таджикском народе, о таджикском сексе, о таджикской семье, об отношении к счастливой и несчастливой жизни, о том, как соседи относятся к счастливой супружеской паре. К счастливой супружеской паре соседи относятся очень плохо, потому что таджики будут её изводить. Таджикское пространство не любит счастье. Когда люди живут счастливо и всё у них хорошо, и они полностью ублажены, самое главное, в сексуальном смысле, это ни в коем случае нельзя показывать. Надо причитать, подвывать, жаловаться друг на друга и на жизнь. Тогда соседи будут сочувствовать, обсуждать, давать советы и расслаблено относиться. Это фундаментальная национальная черта. В Таджикистане не любят счастливые пары.

Я же рассказывал про Олима Назри, который имел миллионы, но ходил в рваных залатанных халатах, а дети у него носили старые мундиры советской армии со споротыми погонами на голое тело и смотрели на сахар голодными безумными глазами. Традиционный принцип таджикского народа — ориентация на поскуливание, на похныкивание, рассуждение о том, что жизнь — тяжкое прохождение полосы препятствий, тяжкая ноша, скудость. Если человек показывает, что для него жизнь — Диснейленд, он вызывает к себе сильную неприязнь. Особенно если он показывает, что

он счастлив со своей женой. Сексуальное счастье вызывает резкий негатив.

Арабов рассказывал интересно.

Что такое «кимоб»? «Кимоб» — некое событие, причинившее психическую травму, и слово, связанное с этим событием, становиться сигналом, вызывающим сильнейшее отторжение и сильнейший стресс. Такое существует у многих среднеазиатских народов, но сильнее всего развито у таджиков.

Например, мотоциклист ехал по мосту, под ним мост обломался и рухнул, и он сильно изувечился, сломал ноги. После этого если ему скажешь «мост», то у него начнется рвота и колики. Другой проснулся ночью чтобы попить, не заметил спросонок и хватил стакан со сцеженным молоком жены. Его тут же вырвало и с тех пор, когда он слышит слово «молоко», у него начинаются судороги, колики. У большинства людей физиологическое отвращение к женскому молоку, и оно сразу ими опознается.

Этот синдром называется «кимоб» — таджики тщательнейшим образом скрывают эту черту своей национальной психофизиологии как некий закрытый для чужих элемент.

Я приходил к нему пить чай и слушать.

Он выходил на меня в 1990-е годы, когда пытался уйти из Таджикистана в Москву. Его тогда преследовали. Он провалил какой-то бизнес-проект и остался должен большую сумму денег. Он спасал свою дочку, удивительную красавицу, которую поймали на перевозке наркотиков, по-моему, в Москве, но это уже поздние дела.

Но тогда, в 1986 году, он был на коне. В 1988 году, уже под занавес, он был приглашен референтом в ЦК таджикской компартии. Плюс к этому он занимался переводами Мухйиддина ибн Араби вместе с Шарифом Шукуровым, его дружком в Москве. Этот Шариф Шукуров, побитый оспой сын академика, суфийствуйщий проходимец, занимался «суфийским» искусствоведением. Они на пару переводили Мухйиддина ибн Араби.

Как-то Фарух мне показывал привезенную книжечку на арабском языке, изданную в ГДР в востоковедческом издании. Она называлась Kleinere Schriften.

Я его тогда спросил:

-Почему ты всё-таки решил переводить? Какая у тебя сверхзадача?

Ответ был его интересен:

-Жизнь проходит. Могила всё ближе. А мы ничего не сделали. Пока есть возможность по крайней мере сесть на хвост великому человеку.

В чем тут интерес? На столе у Фаруха стояла фотография из домашнего архива. Дед и Ленин. Дед в халате сидит, и имеет довольно-таки дикий вид. Кривая беззубая улыбка.

Садриддин Айни пишет, что хотя Джурабек Арабов надувал щеки и утверждал, что происходит от праведных халифов, и он — «Арабов», потому что он от арабов, но злые языки, пишет он черным по белому, говорят, что он никакой не араб, а еврей.

Это был my first intimation[230] относительно того, что с этими ребятами, — «шейхами, ведущими свой род» и прочее и прочее, — не все так просто. Меня во всём этом интересует рабочий сюжет для «следственного дела»: как «сшить дело» по тем или иным категориям населения? Я вижу, что тут есть правда, физическая правда. Вижу, что здесь схвачен нерв некой тайны. Мне доказательства поначалу не нужны, я их потом получу. Когда будет у нас возможность, мы возьмем пару проб на анализ...

Тот Таджикистан — бесконечно более сложный, чем нынешний. Если представить красивую только нарисованную картину и прижать к ней лист бумаги, то на нем отпечатаются кляксы. Нынешний Таджикистан — такой листок по отношению к Таджикистану прошлому.

[230] Первый намек.

# Сергей Алферов

Впервые о Сергее Алферове[231] я услышал в году 1980 от Пакиты, жены широко известного в узких кругах деятеля Валеры Блинова. Валера Блинов, плейбой и фарцовщик, весьма уважаемый в своем деле, а Пакита — прекрасная девчонка, секретарь-переводчица во французском посольстве. Она была с юга Франции, немножко испанского типа. Девушка очень активная, с милым акцентом, она интересовалась феноменами культурного мира. И вот у нее были два пристрастия, о которых она постоянно говорила: художник Сергей Алферов и Мамонов из «Звуки Му». «Ах, Звуки Му, Звуки Му, Звуки Му» — я помню, как она это все время повторяла.

Алферова очень охотно покупали иностранные дипломаты для своих детских, потому что это был необычайно светлый импрессионист со специфическим почерком.

Я не придавал до поры всему этому значения, просто удержал это имя в голове, что есть такой преуспевающий художник. Художников в свое время я повидал больше чем достаточно, поэтому очередное имя успешного художника меня особо не цепляло.

Наши пути пересеклись в Таджикистане.

Алферов происходил из серьезной семьи. Его прадед или прапрадед [232] участвовал вместе с Воронихиным в проектировании Казанского собора в Питере.

Сергей Алферов был человек очень своеобразный. Радикальный аутсайдер, причем аутсайдер экзистенциальный. Он принципиально не въезжал в реальность и не хотел в нее въезжать. Брутально черный брюнет — с черной бородой, черными глазами, весь такой

---

[231] Сергей Александрович Алферов (1951–2004) – советский российский художник, участник нонконформистского движения. Участник «бульдозерной» выставки в 1974 году.

[232] Николай Фёдорович Алфёров (1777—1842) — русский архитектор и гравёр.

угольный, очень азиатского вида. Когда он повязывал поясной таджикский платок вокруг головы, как делают дехкане, и заходил в какой-нибудь дукан или небольшой магазин, в первый момент все относились к нему с большим почтением, как если бы зашел серьезный бобо. Но потом, когда они вглядывались в его безумные блуждающие глаза, полуоткрытый рот, у всех вытягивались лица.

Он любил ходить в таком азиатском прикиде.

Когда мы с ним встретились, он бежал из Куляба, где его арестовали, потому что он учился в исламской подпольной школе и выполнял разные поручения: бегал с листовками, с брошюрками, туда–сюда бродил. В конце концов его в Кулябе повязали.

Он смешно рассказывал, как таджикский капитан госбезопасности спрашивал его:

-Ты что здесь делаешь? Что здесь делаешь?

-Ну, я изучаю таджикскую культуру.

-Ты иди к себе Пушкин учи, Лермонтов учи! Нечего здесь таджикский культур учить. Пушкин иди учи!

Алферов как-то там выжил — наверное, прежде всего в силу того, что он с открытым ртом безумно водил глазами, его отпустили. И он переехал. Появился на явочной квартире, где я отсиживался. И я вспомнил рассказы Пакиты о нем. Так мы познакомились. Год, наверное, 1982 или 1983.

Я сидел на улице Клары Цеткин в районе магазина «Гулистон». За ним во дворах четырехэтажки. В одной из них располагалась стрёмная квартирка, где я залегал. На эту квартиру его привели, но он хотел улететь в Москву. У него были какие-то деньги, на которые он пошел покупать себе аэрофлотовский билет. Через некоторое время он является и говорит:

-У меня отобрали деньги. Я подошел к кассе, там цыганки меня остановили, зазомбировали, и я им отдал деньги. Что делать?

Тогда я ему дал еще денег и сказал:

-Вернешь картинами.

Он говорит:

-Да, а как, что конкретно?

-Ты мне дашь двадцать листов гуаши по пять рублей каждая, двадцать листов.

Он согласился, набрал нужное количество, наскреб по сусекам. Что-то потом на даче висело. Кое-какие интересные листы мы кому-то подарили. Потрясающие черепаха и птицы — наивный импрессионизм, берущий за душу.

В Таджикистан он приезжал зарабатывать и жить. Зарабатывал он в Таджикистане тем, что расписывал дома. Ходил по дворам и предлагал свои услуги. Вроде того:

-Давайте я вам гостевую комнату распишу. Я могу вам расписать вот такую гостевую комнату — куза-муза.

Куза — это кувшин. Значит кувшинами, деревьями с гранатами.

Как-то зашли мы с ним в один дом, где он должен был еще какие-то деньги получить за старую работу. И там сидел народ, хозяева с гостями. Они благодушно его подняли на смех, потому что он разрисовал все гранатовыми деревьями, кувшинами, цветами. Но гранаты нарисовал хвостиками вверх. В результате чего получилось, что на дереве висят мешочки с деньгами или с конфетами. Человек просто не видел, как гранат растет. Но люди добродушно посмеялись, денег дали: сказали, что, может, к счастью, что они так висят.

Мы вместе с ним как-то попали в Гиссар. Потрясающее место — вариант «Белого солнца пустыни»: совершенно белый, пустынный, выжженный солнцем, странный город, с одной стороны маленький монолитный, а с другой — широкий, просторный и потусторонний. Идешь по нему и ни души — только белые стены домов, площади, мосты через высохшие речки.

Там мы ловко отловили одного узбека, инженера на молокозаводе. Молодой 30-летний амбициозный узбек из тех, что нацелены на членство в партии.

А мне нужно было снова где-то залечь, пересидеть, и я к Алферову прибился.

Когда нам попался этот узбек, Алферов начал, как обычно, своё «куза-муза… все распишем».

А узбек попался деловой. Он сухо сказал:

- Мне куза-муза не нужно. Никаких надписей, не дай Аллах, не нужно. Вы мне шотландкой все стены распишите в современном таком стиле.

Шотландка — это клетка, а помещение было, наверно, метров 30. Как его клеткой расписать? По линейке что ли?

Мы пришли, посмотрели и решили выйти из положения так: бочка с насосом и фукающий распылитель, разные краски заливать и делать фигню в стиле молодежных кафе в эпоху Гагарина, в 60-е годы: навороты в духе космоса, спиральные галактики. И вот так, в наложение, решили пустить ему ряд спиралей.

Узбек нам дал бочку с распылителем, краски. Мы оттуда не выходили. Утром и вечером приносили еду, причем вечером — мощный плов, необычайно вкусный, утром — чургот [233] и лепешки. Мы работали. Я немножко помогал, конечно, фукал в основном этой штукой, распылителем.

Мы много беседовали. Лежали на курпачах [234] , разговаривали о жизни. Я начал понимать этого человека в его удивительной отрешенности. Алферов тепло и добродушно относился ко всему. Говорил, что входит в положение таджикской женщины. Идет такая апа, мать пятнадцати детей, — какие у нее проблемы, как он ощущает ее сложные заботливые мысли о благополучии всего семейства, как он уважает её за это.

Спрашиваю его:

-Слушай, а почему ты таджикский язык толком не знаешь? Ты же в исламской школе учился, где здесь тебя только не носило. А вот язык так и не выучил.

-Ты знаешь, мне так кайфово их слушать, когда я не понимаю. Но когда среди всей этой речи врываются слова типа «трактор» или «управделами», или что-нибудь еще в этом роде, я понимаю, что лучше не знать, о чем они говорят,

---

[233] Чургот — кисломочный продукт, приготовленный путем заквашивания.

[234] Курпача — легкий стеганый матрас, который используется для разных целей.

и не понимать. Когда не понимаешь — состояние совершенно эйфорическое. Буду понимать — тайна, романтика уйдут.

У нашего узбека в то время отец умирал от рака, и кричал он так, что было слышно. Мы же работали в фасадной комнате, которая на улицу выходила, перед палисадником, а дом уходил анфиладой вглубь — комнат, наверное, десять. Дом еще метров на 50 уходил в сад. И он лежал в дальней, и сквозь все эти десять комнат было слышно, как он кричит. Эти крики, сопровождавшие нас в течение тех 10 или 14 дней, что мы там провели, были острой приправой к нашему существованию.

Когда мы с Сергеем уезжали, нас пригласили на прощальный обед — рассчитаться и попрощаться — как раз в глубь сада. В беседке лежал тот старик. Пришел мулла читать Коран над ним, старик был уже в агонии. Я своими глазами видел, как этот умирающий в муках старик перестал кричать, и у него на лице появилась блаженная улыбка, как у младенца, как будто его укололи морфием. От чтения Корана. А до этого, сквозь агонию, он ничего не воспринимал. Очень острый момент.

Потом, когда мы все закончили, вышли, и вокруг нас ярко засиял враждебный чужой город, лучи солнца отражались от белых стен. И ни души. Мы вдвоем посреди картины Верещагина.

Сергей мне говорит:

-Ты возьми что-нибудь под руку, чтобы вид был деловой, и я тоже что-нибудь возьму.

Он взял метровую деревянную линейку, а я — рулон бумаги. И он мне еще показал, как ходить: ходить надо насупленно, ни на кого не глядя, типа по делу идешь. Это очень хорошо действует на местных стражников.

-Ты пойми, здешние силовики — это классические средневековые стражники по психологии. Они не трогают работящих людей, которые идут по своим делам. А вот если ты будешь идти задумчиво, пялиться по сторонам, — тут же остановят и уже не отобьешься. Просто бумага, какая-нибудь линейка, мастерок, ведро с инструментами — это все

железное алиби. Только идти надо таким шагом, как будто ты знаешь, куда идешь, а не прогуливаешься.

Сам он именно так, с приоткрытым ртом, обычно и ходил.

Мы пошли по городу искать новую работу. Мы ее так и не нашли, кажется. Я слинял из Гиссара в Душанбе, и наши пути разошлись.

Потом, уже после конца советской власти, я узнал о нем. У меня пошли политические события, гражданская война, тут Ельцин появился. Я узнал, что Сережа уехал в Лондон. И в Лондоне он сидел очень долго. Так же, как мы в этом Гиссаре, но в подвале, — и постоянно рисовал. Потом вернулся. Я его встречал в Битцевском парке, где он картины продавал.

А потом его убили.

Убили неизвестные люди, по официальной версии — из хулиганских побуждений. Разбили голову на автобусной остановке. Он очень долго умирал, ему никто не помог. Он полз весь в крови среди прохожих, среди людей, ожидающих автобус. И кто-то сказал его жене: у тебя там, вроде, муж умирает. Но это было уже через несколько часов. Сергей среди бела дня лежал на земле с разбитой головой, и его все переступали, обходили. Как говорят, он был в сознании. Просто не мог говорить, только стонал.

Жуткой смертью умер.

Я его вспоминаю — как мы были вместе… Странно завершились его странствия по миру — страшной смертью на московском асфальте.

# Москва, 1984

Тем временем московская жизнь стремительно деградировала. Происходило затягивание болота ряской. Живой дух из Москвы уходил.

Пиком омертвления неформальной жизни стал 1984 год. В 1981 одним из признаков тяжелейшего кризиса и разложения нашего пространства стало то, что Дудинский, неожиданно бросив статус журналиста и даже вроде бы какого-то редактора, ушёл в метрдотели в кабаке на Столешниковом переулке под названием «У дяди Гиляя». Я был потрясен таким поступком, но видел, что это тенденция. Потому что, еще будучи в Питере, обратил внимание, что многие люди, считающиеся интеллигентными, шли в официанты в тот период — 1978-79 годы. Об этом мне как раз рассказала Катя Подольцева. Кто-то из её друзей уходили работать в рестораны, хотя считали себя протюканными фрондерами и интеллектуалами. Объясняли они это со всей полнотой цинизма тем, что надо «браться за ум», «делать бабки» и нечего страдать ерундой.

Примерно в таком же духе высказывался Игорь Дудинский — казалось, антибуржуазный отвязный человек, который находился вне всего, вне житейских пошлостей. И тут он говорит:

- Чёрт побери, надо делать бабки.

Для него это плохо кончилось, никакие бабки он делать не умел, поил всех друзей, приходивших к нему, быстро разорил кабак и остался должен огромную сумму денег. Он же никому не отказывал, позволял приносить выпивку с собой, что было строжайше запрещено.

Один раз я заходил в этот кабак. Он располагался в полуподвальном мрачном помещении, выложенном камнем с претензией на то, что всё это некая пещера. Дудинский там ходил с небывалой новой важностью, которую я никогда у него раньше не видел. Он чувствовал себя при деле.

Я понял, что огромная трещина пробежала по стене нашего дома, потому что Дудинский, при всей своей

интеллектуальной маргинальности, был показателем. Он являлся одним из наиболее ярких выразителей тусовки. Дудинский служил перемычкой между «шизоидными» кругами и художниками, диссидентами, поэтами. На него замыкалось много разных компаний. Он был небесталанным комментатором и неплохим писателем. И вдруг всё поползло, стало разрушаться.

Он, кстати, женился на Чаганаве — тоже характерный шаг. Чаганава, окончив театральное училище по части макияжа, сознательно пошла работать в баню парикмахершей. Правда, свою дочку Гай Германику, сейчас известного режиссера, она отдала в театр «Ромэн».

Степанов в этот период был рабочим сцены ансамбля «Арсенал» у своего ученика Козлова, который его возил по заграницам, а работали за него его ученики Костя и Гурам. Сейчас, кстати, они пишут романы — какой-то провокационный треш.

Атмосфера стала тяжелая. Ещё совсем недавно она была легкой.

Скажем, в 1979-80 году мы жили созданием «Ориентации — Север», в пространстве, где мне помогали писать, — тот же Дудинский. Но в 81-м году всё погрузилось в полный свинизм и шло от плохого к худшему. Москва опустела. Головин, с которым я рассорился, жил в Питере, Мамлеев — в Штатах. Только что появившийся Дугин был 20-летний пацан, активно изучал французский язык, но еще было совершенно непонятно, что с ним станет в ближайшее время.

Не было никого… И на этом фоне я уехал в Таджикистан во второй раз.

Это был последний год брежневизма, но мы об этом ещё не знали. Казалось, что это время никогда не закончится. Совок засыпал, впадал в анабиоз, при том что шла афганская война. Всякая диссидентская деятельность, всякая работа в литературе, в живописи, полностью прекратилась. Москва в пространстве вокруг нас скатывалась вниз и умирала. В нашем очень узком кругу было не так, но некое безлюдье

было, хотя пришли новые фигуры — например, Сергей Жигалкин, человек с большим запасом энергии и энтузиазма.

После того, как в самиздате вышла «Ориентация — Север», возникла идея, что необходимо издать «Шатуны».

«Шатуны» в самиздате изданы полностью, и это уникальное издание сейчас, — оно неповторимо, потому что впоследствии подверглась мощной цензуре со стороны жены Мамлеева Машеньки. Став христианкой, она превратилась в невероятную ханжу, «Сниткину номер два»[235]: она выбрасывала всё, что ей казалось дискредитирующим, наносящим ущерб христианству или лично Мамлееву, которого она стала переделывать и лепить в своём ханжеском ключе. Глава о Куротрупе и его ученике Алёше была изъята в последствии.

Мы тогда издали книгу целиком, не предполагая, что кто-то когда-нибудь осмелится посягнуть на этот текст. Предисловие написал Дудинский — как письмо молодому интеллектуалу, и адресовалось оно Александру Дугину. Послесловие было метафизическим, литературоведческим комментарием, — его написал я.

И «Ориентацию — Север», и «Шатуны» мы издали в сотне экземпляров. Для самиздатского издания большой тираж. Книги расходились, люди перепечатывали.

Годы спустя в возобновившейся в 1990-2000-х «Волшебной горе» решили напечатать моё послесловие к тому самиздатскому выпуску «Шатунов». И чтобы я дал добро, они переслали мне электронную копию нашего первого издания, из которого Машенька выбросила не менее двадцати процентов текста и до сих пор не даёт разрешение публиковать его целиком.

Выход в самиздате этих двух книг стал значительным явлением в шизоидном подполье в 1981-82 годах. Думаю, что «Шатуны» были изданы в 1982 году[236]. В определенном

[235] Последняя жена Достоевского, издавшая его наследие и отцензурировавшая их переписку.
[236] Первые версии романа «Шатуны» появились в самиздате еще в 1966 году. Джемаль имеет в виду повторное издание — и тоже в самиздате.

смысле это было освежение пространства. Правда, наших скромных сил было недостаточно, чтобы серьезно повлиять на большую Москву, но расходящиеся круги от этих камней имели место.

Если 60-е — годы пульсирующей, упругой таинственной жизни, какого-то обещания встречи за углом, грядущей новизны, то начало 80-х — бессмысленное пустое время, когда известные журналисты уходили в метрдотели и парикмахеры, когда заработать 500 рублей считалось высшей доблестью. Наступила полная деинтеллектуализация, полная смерть заживо. В некотором роде начало 80-х и вообще 80-е годы предвосхитили постперестроечное время бессмысленных бритых затылков, широкоспинных ЧОПов в кожаных куртках.

Но у меня уже была параллельная реальность: я уже четыре года был интегрирован в таджикскую жизнь.

1984 год стал пиком унылости, мертвой точкой. Помню это ощущение пустоты, тяжести, бессмысленности, которая грузилась извне в выдвигающиеся и задвигающиеся ящички. Всё было свинцовое. Было ощущение удушья, полной утраты живого нерва. Диссиденты, какая-то активность — все было «схлопнуто». Можно сказать, пошло на нет еще в конце 70-х — с 1978 года. 1984 год — это был пиковый год, когда ресурс шестидесятников, богемы того времени, полностью исчерпался. Эсхатологические чаяния и ожидания публики от 1984 года были достаточно банальны.

Я этот год хорошо помню, потому что в тот год преподавал французский язык частным образом. У меня было две группы. В одной группе Жигалкин с Наташей, Митя, еще человек пять. Гюля была в одной из них.

Одним из учебных текстов, который я заставил своих учеников изучать, это была статья Энтони Бёрджеса во французском журнале[237] о том, что тот самый «1984 год» — Большой Брат и всё такое — уже наступил, о том, что Оруэлл

[237] Статью Берджеса опубликовал в январе 1984 года французский журнал «L'Express» (в переводе с английского, видимо).

состоялся. Бёрджес доказывал это, и почему-то у него одним из основных примеров была Швеция: Швеция — образцовая страна Большого брата, полный контроль. И вообще Бёрджес полагал, что фантазии Оруэлла уже «перекрыты» технологически: телевизор, который за тобой шпионит и все такое.

Я заставил изучать эту статью, и у меня было ощущение, что Большой Брат в Совке не работает. Совок настолько мертвый, что здесь и Оруэлла нет. Оруэлл всегда был здесь привычен как угроза, антиутопия, как перспектива западной демократии, — а для Совка какой Оруэлл? Здесь постоянный контроль, здесь постоянно парткомы прорабатывают, разбирают. Здесь постоянное самопокаяние. Но в 1984 году и это умерло.  Мертвая точка. Есть такая позиция в движении поршня, когда он поднимается вверх, выпрямляется шатун, и вывести из этой позиции его можно только с помощью движения маховика, который связан с этим шатуном. Сам поршень уже не может выйти из этой позиции, он застывает. Вот в этой мертвой точке вся советская жизнь остановилась. Но шатун всё-таки вывели.

В тот год тема «1984» вообще была очень распространена. Была еще популярна работа Амальрика «Доживет ли СССР до 1984 года?»[238]

Позже, когда стали старых и оккультно проигравших диссидентов вытаскивать и сажать на щит, в 1989 году у Коротича в «Огоньке» стали назойливо доказывать, что Амальрик был пророком, что все случилось по его прогнозу, хотя какие-то детали отличались: с Китаем, например, не воевали. Но все будто бы получилось, как он говорит в своем «Доживет ли СССР до 84 года?»

Но, на мой взгляд, СССР пережил 1984 год. Нет, говорят они, он не пережил 1984 год, и на самом деле 1984 год был

---

[238] Именно так называлась вышедшая в 1969 году в самиздате историко-публицистическая работа советского диссидента Андрея Амальрика, написанная в форме эссе. Но в историю она вошла под названием «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».

реальной датой, а кончился он раньше. Стали назойливо играть с этой датой и что Амальрик сбылся.

Амальрик — человек любопытный, его было интересно читать в 70-х. Или раньше он написал? Но все же эта работа была банальной реакцией на Даманский: произошло столкновение с китайцами, вот он и написал, что дальше будет большая война. Особой свежести, выдумки у него не нашлось.

В 1984 году Жигалкин за мной записывал, и Саша Дугин тоже записывал. В какой-то момент кто-то из них вышел, а кто-то продолжил. В итоге появилась небольшая работа, небольшой манифест, где было несколько полных глав, и одна глава была тезисная. Эту главу я считал самой главной и интересной, она называлась «Всемирная гражданская война».

Главная идея там была такая: конец истории должен обязательно проходить в конвульсиях и агонии тотальной гражданской войны, которая должна пройти через все семьи, кланы, этносы и так далее. Это будет борьба за то, кто останется наследником реальности в качестве человека. Потому что те, кто проигрывают, физиологически перерождаются, меняются и отпадают от человеческого состояния.

Андропов явился уже пародийным. Когда он пришел, и начались рейды по кинотеатрам и баням, все стало ясно: власть спятила окончательно.

Народ стебался над рейдами по баням. Это раздражало, но вызывало и пожатие плечами. Все тянулось недолго. Пошли разговоры, что Андропов ест детей, питается детской кровью, что КГБ возит детишек на пересадку органов, всякие зловещие легенды, которые еще больше усиливали ощущение, что мы живем в сказке Шварца про Дракона. Но это не воспринималось как серьезная фундаментальная вещь.

Но именно Андропов заложил основы для будущей трансформации. Горбачёв и Ельцин оба были его людьми.

Гебня всегда была настроена космистски. Те же правонационалистические круги типа «Памяти», Васильев, разделял все гэбэшные приколы и примочки.

«Человек создан для полета в буквальном смысле. Мы не летаем, потому что не хотим. Вот посмотри на руку — это же несостоявшееся крыло. Но мы должны стремиться к тому, чтобы пройти преображение и полететь. Мозг работает на пять копеек своей мощности, хотя он по сравнению с этими пятью копейками мозг — небоскреб Нью-Йорка, Empire state building. Если активизировать все клетки, то человек усилием мозга может менять законы природы».

Таков чисто гебэшный «полив», толстожопый гебэшный оккультизм, который работает, начиная с майора и вверх. Можно взять практически любого из тех, кто с портфелями из Лубянки выходит, — и у него в башке будет именно это: космизм, осколки Вернадского, Чижевского, ноосфера. Такой левый красный космизм, национал-большевизм фашистско-языческой закваски. Все это вертелось в этих кругах. Но никто не выпускал это все на прессу, на большую публичную дискуссию, потому что еще существовала Академия наук. Никаких РАЕН, только АН СССР.

Центр мысли был не в академических кругах, а у нас, но когда появляются отмороженные Фоменко и Носовский, то поневоле вспомнишь об АН СССР с её определенными стандартами. Даже тот же Чижевский и Вернадский — все-таки некое качество. Это не то, что прошло через чудовищную девальвацию, маразм и банал.

Тогда это было единичным, но после 1991 года стало тотальным. После 1991 года «третий глаз», «битва экстрасенсов», весь мусор мощно выплеснулся наружу. Маргинальное стало мейнстримом, точнее мейнстрим перестал существовать.

Это конкретно выразилось в том, что начали плодиться политические организации и различного рода академии. Наряду с Академией наук СССР, превратившейся в РАН, появилась РАЕН, потом появилась так называемая Петровская академия, членом которой я являюсь. Мне даже дали титул «почетного петровского академика» — причем эти люди серьезно всё воспринимали. Когда я с ними встретился и пообщался, это оказалась мохнатая и совершенно отстойная

окологэбня, организовавшаяся во всякие академии, куда сама же себя записала.

В башке у них продолжали вертеться все те же самые ноосферы, воскрешение мертвых, полеты во сне и наяву, «фантазии Фарятьева» и прочая чушь.

Я понимал, что это развитие событий мы, люди, с которыми у меня было общее политическое поле и подразумевание, не планировали, не участвовали там, и мы не будем бенефициарами этого развития событий. Что игра идет мимо нас, что играют враждебные нам люди. Не вырисовывалось такой четкой картины, потому что закулисье не было на тот момент известно. Не прояснилось еще, к примеру, что КГБ специально создает «демократическую платформу» КПСС, создает ЛДПР из полублатных проходимцев и мошенников.

Точных деталей тогда не было известно, но уже было понятно, что играют люди, с которыми нет диалога или пересечения. Нельзя было подойти, по-свойски похлопать по плечу и спросить: «Ребята, что это вы за тему тут запускаете? Может быть, у нас тоже будет некий интерес в этой теме». Вот это полностью исключалось.

Это были люди, говорившие на другом языке. Все их «разоблачения» оказались пыльными в том смысле, что ничего Коротич и «Огонек» не печатали, кроме того что уже знала богемная и диссидентская публика из самиздата, из ИМКА-Пресс[239] и подобных изданий. Это было популярно и на слуху, но представляло собой введение обывателя-полуинтеллигента, который жил газетами «Правда», «Известия» и в лучшем случае «Литературной газетой», в круг чтения от Солженицына до Абрама Терца. Или ему предлагалась информация из воспоминаний Деникина, о которых рядовой обыватель даже не слышал. Но все это уже

---

[239] YMCA-Press или ИМКА-Пресс (полное название YMCA Press publishing house) — издательство русской книги под эгидой международной христианской ассоциации молодёжи YMCA. Основано в 1921 году в Праге. В 1944 году воссоздано в Париже усилиями русских эмигрантов.

сто раз прокрутили и пережевали на кухнях в узких кругах, а оно стало достоянием большой печати. Возникло ощущение, что, став достоянием большой печати, оно сделалось неинтересным и чужим.

А в 1984 году все было пристойно пока еще, но безнадежно уныло, беспонтово, бессмысленно, без всякой живой искры. Человек задыхался. Я задыхался. В 1984 году дошло до предела. Такая интересная дата.

# И вновь Таджикистан

Но у меня была параллельная реальность. К тому моменту я уже четыре года как был интегрирован в таджикскую жизнь. Я был знаком с Абдулло Нури и Химматзода[240]. Я тогда ещё не был в ближнем круге, но уже принимал участие во всякого рода контактах. Оставалось уже очень недолго до того, как я вошёл и в ближний круг.

Там уже Туроджонзода[241] начал проявляться с 1987 года. Туроджонзода был Кази-калон, то есть «Великий Судья».

Кази-калон и казият выписали мне справочку с печатью о «реабилитации», что мне обязаны помогать имам-хатыбы всех мечетей. А подписал эту справочку Давлат Усмон[242], тогда молодой юрист, работавший в этом казияте, проходивший практику после диплома. Потом он стал одной из ключевых фигур ИПВ и возглавил штаб объединенной оппозиции.

---

[240] Саид Абдулло Нури (1947 —2006) — таджикский политический деятель, лидер Партии исламского возрождения Таджикистана (1993—2006). Во время Гражданской войны в Таджикистане возглавлял Объединенную таджикскую оппозицию. В 1997 году он, как лидер оппозиции, подписал мирное соглашение с президентом Эмомали Рахмоновым, что послужило окончанию гражданской войны.

Мохаммадшариф Химматзода (1951 —2010) — бывший председатель (эмир) Исламской партии возрождения Таджикистана. Во время гражданской войны занимался формированием военной структуры партии.

[241] Ходжи Акбар Тураджонзода (род. 1954)— духовный и политический деятель Таджикистана, лидер таджикских исламистов времён Гражданской войны, летом и осенью 1992 года обладал большой властью и был де-факто первым лицом государства.

[242] Давлат Усмон (род. 1957) — таджикский политический деятель, заместитель председателя Исламской партии возрождения (ИПВ) Таджикистана, министр экономики и внешнеполитических связей Таджикистана. В юношеском возрасте обучался Корану у неофициальных мулл. С конца семидесятых годов участвовал в подпольной исламской деятельности в Душанбе. В 90-е годы дважды выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Таджикистана.

Но это уже много позднее. Мы сейчас говорим о 80-х. Там была масса приключений. Ещё кое-кто жив с тех времен.

Некий эпизод, «психожест» судьбы, который я испытал однажды в горах.

Я шёл по дороге к Арзынгу, к Пашимгару. Лес поднимался по склону под острым углом — ложишься на землю и сползаешь. Если упёрся ногами в ствол, то тормозишь. И я увидел, что там скачут кузнечики, но не простые кузнечики, а просто огромные, величиной с мои очки. Я никогда ничего подобного не видел. Я поймал двух этих кузнечиков. У меня была большая коробка, я их туда поместил, закрыл, сделал дырочки для воздуха.

Когда я приехал в Москву несколько месяцев спустя, открыл эту коробку и обнаружил следующее: один кузнец сожрал большую часть другого, при этом у него у самого задница и часть туловища была как бы в гангрене, почернела. А тот, кого он жрал, был ещё жив, он немного шевелился, но у него оставалась только верхняя секция — голова и грудь. Это было чудовищно жутко.

Я вообще большой ценитель жути.

В своё время Степанов сказал:

-Ты удивительный человек в плане того, как ты чувствуешь деструктивные флюиды Луны, деструктивные флюиды ужаса.

Я действительно всё это ценю, чувствую, но бывает иногда и для меня многовато. Этот эпизод стал для меня встречей с тайной своего пути на этом жизненном отрезке — пребывание в Таджикистане, встречи со многими людьми. Я там находился в глубокой эйфории — и без всякой анаши. Глубокая эйфория и глубокое счастье. Я там всё высматривал себе место под могилу. Несколько раз в горах встречался с трупами, объеденными стервятниками.

И вот когда я этих кузнецов посадил в коробку, а потом увидел, как один из них сожрал другого, а потом и сам почернел от гангрены, у меня сердце сжалось, потому что я как бы вышел на некий иероглиф тщеты.

Тщета как ужас. Вы представьте себе: я же посадил их в зиндан, черный беспросветный зиндан, и один из них жрал другого. В принципе они были для меня как люди, которых я кинул в зиндан, и один из них убил другого и ел уже полусгнившего.

Для меня это стало большим сигналом. Многие вещи связались.

Я, например, очень любил ходить по мазарам. Я же был связан с Эшони Халифа, с тарикатом. Тарикаты стояли тогда за ИПВ, за оппозицию, — в отличие от Северного Кавказа.

Я любил ходить по мазарам, потому что искал реальной встречи со смертью. Мазар был для меня черной дырой, — человек, который там лежал, сконцентрировал свою смерть до такого сгущения, до такого ядра, что это стало некой точкой притяжения, неким смыслом. «Он» как отсутствие. И я пытался всё время войти с этим в контакт.

И вдруг, пока я плясал и прыгал с этими деревянными шашечками и сабельками, — как будто дядька подошел ко мне сзади, пока я скакал по песочнице, и страшным ударом биты выбил у меня сабельку, а потом дал мне такой подзатыльник, что у меня вылетела половина зубов.

Эти кузнечики меня встряхнули, и очень многие вещи соединились.

Много в Таджкистане было всего, прежде чем начался реальный процесс и меня «взяли на рыбалку».

Сначала же создалась Исламская партия возрождения, и ещё никто не пикал на счёт отдельной таджикской партии. Мы были Всесоюзной партией. В ней было 130 тысяч человек. Самое смешное то, что из этих 130 тысяч 100 тысяч — в Таджикистане, а 30 тыс. — на весь остальной Союз. Мы провели учредительный съезд в 1991 году в Астрахани. Я вошёл в Центральный совет.

А тут распад Союза.

Я, кстати, был приглашён Горбачёвым на третье сентября в Верховный Совет СССР после его освобождения из

Фороса. Я был «гостевым депутатом», сидел в первом ряду, а передо мной сидели все двенадцать президентов.

Давлат тоже туда приехал.  Мы с ним столкнулись в кулуарах.

Он мне говорит:

-Ну всё. Наше дело в шляпе, в чалме. Мы уже обо всем договорились. В Таджикистане мы берем власть, нам её отдают. И на всех парах несёмся в светлое будущее. Только мы должны взять с собой «на рыбалку» Демократическую партию Таджикистана.

Я же был очень искренний человек и думал, что вот, это — братья.

Я им говорю:

-Вы что?! Какая ещё Демократическую партию Таджикистана?! Кто это такие? Это же исмаилиты!

-Ну а какие тебе ещё тут могут быть демократы? Только такие, только исмаилиты.

-Вы что! Их пятьсот человек в лучшем случае, а нас 100 тысяч членов партии. Как это их «брать на рыбалку», когда они вообще никто, звать никак, но при этом являются агентурой и пятой колонной Запада.

А таджики из ИПВ, между прочим, воспринимали всё под углом проигравшего ГКЧП и победившего «нового мышления». Они даже «белым домом» называли жёлтый дом правительства в Душанбе.

И говорили:

-Пойдём делать ГКЧП.

Они под «делать ГКЧП» имели ввиду свержение коммунистов. Где-то они в этом смысле попадали в десятку.

-Мне сказали, что вопрос уже решён. Нам сказали: вы получите власть и суверенитет в свой большой исламский карман при условии, что в другой карман вы сажаете демократов.

Ну а что я мог сделать? Убить Давлата?  Он встречался с Ельциным. И мне он донёс уже постфактум.

Прошло 3 сентября, и я поскакал с дикой скоростью к Ахмад-Кади Ахтаеву. Он уже приехал и остановился у меня на Болотниковской. Приехал и Абдулло Нури.

Мы приходим с Ахмад-Кади к Абдулло Нури, он сидит на кровати, поджав ноги.

Нехорошо вспоминать о мёртвых непочтительно, но терпеть не могу стиль мусульманских мужиков, которые встречают тебя дома в кальсонах, белых рубашках, с огромными черными бородами. А кальсоны с пуговками, это вообще какой-то ужас. Я как-то Гюлю к Давлату Усмону послал за какими-то документами, и она приезжает домой в шоке и говорит:

-Он встретил меня в кальсонах!

Говорю:

-Ну это обычное дело.

Ахтаев с Нури начали разговор.

Они говорили между собой по-арабски, потому что Абдулло Нури, как все образованные мусульмане, всю жизнь прожил в Совке, но по-русски говорил очень плохо. Он говорил по-таджикски и по-арабски, а по-английски и по-русски примерно одинаково плохо.

Оказалось, в Душанбе была идея, что Тураджонзода будет президентом.

Ахмад-Кади Ахтаев говорит:

-Ну как же так — это же гэбешник, у него же вся семья гэбешники.

А Абдулло Нури отвечает, что вопрос уже решенный.

Три часа они тёрли с огромной интенсивностью.

Я помалкивал, потому что по-арабски так говорить тогда не мог, но всё понимал. Я понял, что за кулисами нашего ИПВ стоят масонские либеральные силы, «новый Кремль», который рулит в полный рост.

Когда мы вышли от него, Ахмад-Кади мне говорит:

-Там будет сепаратистский съезд таджикского крыла ИПВ, и я посылаю тебя туда как моего личного представителя, своего зама и специального уполномоченного. Пригляди за процессом.

Ахмад-Кади был амиром партии.

Я поехал. Сидел в президиуме. Давлат Усмон вёл дело к тому, что Давлатназар Худоназаров должен стать президентом.

Дело в том, что Тураджонзода уже кончился к тому моменту. Тураджонзода выступил по телевидению и сказал, что он не собирается идти в политику, потому что он человек глубоко верующий в светское демократическое государство. И если он как религиозный деятель пойдёт в политику и станет кем-то, то это будет уже не светское и не демократическое государство.

Тогда-то они и выдвинули Давлатназара Худоназарова, кинорежиссера и первого секретаря союза кинематографистов Таджикской ССР, — очень довольные, что нашёлся вот такой вариант.

Я обратился к Давлату и сказал, что хочу выступить.

Давлат меня спрашивает:

-О чём вы будете говорить?

-В принципе, это моё дело, о чём буду говорить. Я представитель всесоюзной партии, лично уполномочен амиром. За моей спиной 150 тысяч человек. И мне есть, что сказать.

-Хорошо. У вас есть семь минут.

Я выхожу и говорю:

-Это что же делается. В нашей исламской республике, где 99% мусульман-суннитов, берут Давлатназара Худоназарова, представителя исмаилитской шпаны, которая живет с подачек Ага-хана. Ага-хан играет с Бушем-старшим и Бушем-младшим в гольф. Это масонерия высшего типа, связанная с Даджалом напрямую. Наш Таджикистан, связанный с Памиром, с выходом на такие духовные поля, о которых никто из здесь присутствующих даже и понятия не имеет, — вы хотите это сакральное пространство, эту «мечеть под открытым небом» превратить в площадку проявления Даджала. А авангардом этого проявления, «комитетом» по его встрече является банда исмаилитов.

Ропот пошел сильный. Возвратился я на место.

Давлат сидит красный и говорит мне зловещим рыком:

-Вы нарушили регламент.

Я ему отвечаю:

-Ничего подобного. Точно семь минут.

Он тут же взял слово и объявил о выдвижении Худоназарова.

Давлат, видимо, так испугался, что я сейчас этого Худоназарова уничтожу, что пошел его рекламировать: «великий кинематографист, признанный мировой общественностью, будет выдвигаться в президенты Таджикистана».

Тупые бородачи в тюбетейках заорали «Аллаху Акбар». Очень хотелось их всех пострелять. Они же тарикатчики — подчинялись абсолютной дисциплине. А за Абдулло Нури, за Химматзода стояли устазы, стояли шейхи. Перед ними обычная публика — мелочь, никто.

Уже в закрытом офисе, в штабе партии, пошли рыдания.

К Химматзода ползли и вопили:

-Тахкир[243]! Это позор! Нельзя Худоназарова избирать в президенты. Одумайтесь!

Тот отвечал:

-Да, надо подумать... Всё-таки надо избрать.

Короче говоря, решили избрать Худоназарова. Думаю: «Ну ладно, я до вас, гады, ещё доберусь! Всех постреляю!»

Когда я вышел обедать в чайхану через улицу, на обратном пути на меня напала группа исмаилитской молодёжи с железными палками. Это было неожиданно, и я бы, наверное, далеко не ушёл. Но поблизости оказалась группа суннитских охранников съезда, которые обслуживали именно съезд. И меня отбили. Драка произошла сильная, но ран на мне не было. Я слинял в гостиницу ЦК, где останавливался. Думаю, да — надо быть поосмотрительнее.

И тут ко мне утром заваливаются три араба — египетские ихваны, гости съезда, египетские журналисты. И говорят:

---

[243] «Позор» по-таджикски.

-Ахи Хайдар, мы знаем о твоей репутации. Мы наблюдаем очень внимательно. На тебя одного надежда. Сразу видно, что тут все схвачено. Муртады и враги ислама держат в руках все нити. Мы знаем, что ты член Хартумского совета. У нас есть интервью с этой собакой-исмаилитом Худоназаровым. Наша партия купила газету «Аш-Шааб» — это социалистическая газета. Мы сделали такой хитрый финт. От имени этой газеты «Аш-Шааб» мы приходим к Давлату Худоназарову...

А на дворе у нас 1991 год. Уже разбомбили Саддама, идет вовсю «Буря в пустыне». Я только вернулся из Германии. Ездил по ней туда-сюда автостопом и встречался с фашистами и с крайне правыми турками.

Они продолжают:

-... Когда мы пришли к нему, он нас спросил, какого мы духа, из какой газеты. Мы ответили, что газета называется «Аш-Шааб», что это газета в духе Миттерана. Он отвечает, что Миттерана знает, сразу раскрепостился, развязал узел на галстуке, и стал излагать своё видение. Мы взяли у него интервью, и это что-то вообще запредельное. Он говорил там, что США — это полицейский и что так и должно быть, что США — это охранители цивилизации, «общей, универсальной цивилизации». Правильно, что рвут Саддама на части. Что америкосы — это такие замечательные мальчики с Луны. В общем, у нас это интервью есть.

Я прихожу к Химматзода в штаб и говорю:

-Давлат Худоназаров должен снять свою кандидатуру.

Он онемел от удивления. Химматзода сидел в камуфляже. Это был настоящий деревенский устаз, за ним ходил какой-то деревенский тракторист с автоматом в качестве охранника.

Я говорю:

-Он должен снять свою кандидатуру, потому что он разоблачился.

-Как разоблачился?

-Он дал интервью.

-Ах, он сволочь! Кто ему позволил! Почему не согласовано! Где это интервью?

-Оно есть в надежном месте. Я распечатаю вам самые злачные места и по всей улице вокруг штаба расклею прокламации.

-Мы, конечно, его снимем, раз такие дела. Ты подожди, он сейчас в Москве. Через три дня он вернётся, и мы поставим вопрос. Он будет снят.

На следующий день Давлат уже был в Душанбе и объяснял по телевидению, что «да, я там высказался резко, что США — жандарм, который защищает цивилизацию». Он заболтал тему, а все они были заодно.

Позже инициатива из их лапок целиком ушла, поднялся так называемый «народный фронт», «юрчики». Началась гражданская война.

Я стал советником Давлата Усмона по политическим вопросам, ездил на фронт пару раз.

И тут является кгбшник, полковник Саидов. Полковник КГБ с Лубянки.

-Совесть чекиста, таджика и мусульманина не позволила мне спать спокойно. Письмо позвало в дорогу. Я приехал помогать в налаживании здесь, у братьев-мусульман, службы безопасности, разведки и т.д.

Его грохнули в двух шагах от места этого разговора из РПГ-7.

А день спустя я узнал, что это был родной племянник Тураджонзода.

Так с максимальной иллюстративностью проявилось, что Таджикской ИПВ руководила советская гэбня. Племянника убили свои — те, кто не хотел Туроджоназоду. Какие-то внутренние разборки. В газете «Завтра», или тогда еще «День», на две полосы вышла гигантская статья Шамиля Султанова «Кто убил Заурбека Саидова».

Дальше что бы я там ни делал, меня блокировали.

Мне говорили:

-Ты не таджик, тебе нашей крови не жалко. Мы должны принимать предложения к миру.

А я тем временем вышел на одного российского полковника, который командовал механизированным мотострелковым полком. Он говорит:

-За 100 тысяч долларов я раздавлю этот «народный фронт», как бог черепаху.

Я говорю:

-Вот ты-то мне и нужен.

Прихожу в ставку и говорю:

-Есть ещё честные русские офицеры. За 100 тысяч долларов он замочит кого хочешь. Предлагает замочить наших противников.

100 тысяч долларов было для нас просто ничто — там 40 миллионов в сейфе лежало. Они говорят — нет. Почему? Он обманет, возьмет деньги и ничего не сделает — что тогда делать?

Я скандалил так долго и убедительно, что меня вызвал Абдулладжанов, и.о. премьер-министра, и говорит:

-Республиканское правительство назначает тебя специальным уполномоченным в Баку, чтобы ты там для нас добыл нефтепродукты от 100 тысяч тонн и более.

Я говорю:

-Так нужны же деньги.

-Деньги есть.

-Но банковская система в масштабах СНГ же не работает.

-Есть нал. Зачем тебе банковская система?

-Но я же чемодан не повезу.

-Тебе и не надо чемодан везти. Ты езжай и договорись, а деньги тебе привезут.

Я же честный, а ведь мог взять миллион на «раскрутку» — дали бы спокойно. Я согласился и поехал в Баку. Дали бумагу, что я — «полномочный представитель».

Приезжаю в Баку. Прихожу в Совмин. Там гражданской войны нет, всё цивилизовано, всё жирное, толстозадое. Прихожу к Аббасу Аббасову, который занимался нефтянкой, и говорю:

-Я приехал из Таджикистана как представитель Исламского коалиционного демократического правительства.

-Подожди, так ты же азербайджанец.

-Ну да.

-А какое отношение ты имеешь к Таджикистану?

-Я имею отношение, потому что являюсь одним из руководителей всесоюзной партии ИПВ. Я занят работой. Я советник вице-премьера.

-Ну, и что ты хотел?

-Нужно 100 тысяч тонн нефтепродуктов. Деньги есть.

-Да это вообще не вопрос. Только мы не знаем, что там есть какое-то исламское демократическое правительство. Мы думали, что там есть «Народный фронт» с Сангаком Сафаровым, и что это и есть правильное правительство.

-Да вы что, — возмутился я, — это же бандиты. Это Московия подняла и науськала, грушники всякие. Мы — правильные.

-Ух ты. Вот ничего даже близко не слышал. Но мы и так должны в Бишкек лететь с делегацией. Обязательно сядем там у вас, осмотримся. А вопрос про 100 тысяч тонн нефтепродуктов считайте решенным.

Вечером я звоню в Москву Гюле. И она говорит:

-Слушай, там вроде всех ваших свергли уже.

-Как это свергли?

-Ну так. По «Вестям» сказали, что вас свергли. Больше нет никакого исламодемократического правительства.

-Да ладно. Я только оттуда уехал, и там все нормально было.

-Ну не знаю. «Вести» так сказали.

У меня кошки заскребли на сердце. Утром прихожу как на работу в Совмин, к Аббасу Аббасову. И он мне говорит:

-С кем дело-то теперь иметь? Свергли вас.

-Это какая-то ерунда, чушь. Не может этого быть.

-Вот «вертушка», звони своему Давлату, выясняй в чем дело.

По этой «вертушке» я набираю номер, и там какой-то голос очень ернически, как какой-нибудь балтийский матрос, меня спрашивает:

- Чё надо? Это кто?

Я понял, что происходит что-то страшное. Ничего не было понятно, но чувствовалось, что всё неправильно. Я положил трубку.

Аббас Аббасов мне говорит:

-Вот когда решишь вопрос о том, кто там власть, тогда и приходи. Будет тебе 100 тысяч тонн, и больше будет. А пока нам ничего не понятно.

Оказалось, что спикер парламента[244], сидевший, всеми забытый, в горах со своей группировкой, внезапно спустился с гор, атаковал и захватил Душанбе на три дня. Потом его выбили, и режим продолжался около месяца, пока не наступил полный крах.

Но пока еще ясности нет. Что же делать?

Я провалил задание, никаких 100 тысяч тонн не добыл. И я уехал из Баку в Хартум. Прилетел в Хартум к доктору Тураби и изложил ему ситуацию. Он, как обычно сидел, оскалившись, и смотрел на небо.

Вернулся в Москву. И тут приезжает Давлат Усмон, в кожаном красивом пальто. Говорит мне:

-Не возражаешь, если я пересижу у тебя на даче?

Я говорю:

-Не возражаю.

-Потом я улечу в Тегеран. Просто хочу где-то пересидеть, чтобы по городу не светиться.

Он несколько дней у меня сидел.

Я говорю:

-Дай денег. Я собираюсь здесь заниматься делом, бабки нужны.

---

[244] Видимо, речь об Акбаршо Искандарове, исполняющем обязанности президента Таджикистана с октября по декабрь 1991 года и с сентября по ноябрь 1992 года, председатель Верховного Совета Таджикистана в августе-ноябре 1992 года.

У него брат бизнесмен занимался хлопком.

Они дали мне 20 млн. рублей. Это были небольшие деньги — тогда около 10 тысяч долларов. И я их отдал Эльшаду с наказом заняться бизнесом. Эльшад занялся: он на все накупил детских велосипедов с идеей, что детский велосипед нужен всегда. А потом начал их продавать по цене дешевле, чем купил. Я в тонкости не входил, чем он занят, иногда к нему приходил и брал, сколько мне нужно денег.

В какой-то момент он мне говорит:

-А денег больше нет.

-Как нет?

-Все велосипеды уже проданы.

-Проданы, и что? Где прибыль?

-Какая прибыль? Прибыли нет — главное бизнес, движуха.

Получился смешной вариант. При этом Эльшад обиделся на меня и ушел, хлопнув дверью и топнув ногой. Обвинил меня, что я сломал ему жизнь.

Давлат отказался от всех видов политической активности, ликвидировал свой аналитический центр, свернул всё, что у него было. По-моему, у него был какой-то амбар или склад.

Никаких сомнений, что он был связан с гебней, принимая во внимание его послужной список. Он же здесь учился в Дипломатической академии, которая возле Парка Культуры, приезжал сюда защищаться, постоянно ездил, что-то мне рассказывал такое.

Кстати, смешно я с ним встретился позже на очередной конференции в Хартуме. Конференция проходила в Хилтоне, и там же мы жили. Выхожу вниз в холл, а там сидит Давлат Усмон в своём любимом кожаном пальто и смотрит через просторное окошко на пыльную немощеную улицу. Я его спрашиваю:

-Ты что тут делаешь?

Он говорит:

-Краудфандингом занимаюсь.

-Это в каком смысле?

-Ну как же. Я же начальник штаба вооруженной оппозиции. Бабки-то нам нужны.

-Когда я уезжал, в сейфе было 40 млн. долларов. Ты же сам меня успокаивал, что деньги есть, если что. Где мой «стечкин»?

Когда я уезжал в Баку, я ему своей «стечкин» сдал, и он его на моих глазах положил в тот сейф.

-«Стечкин»... Ты думаешь, что деньги сохранились? Мы с такой скоростью бежали, что всё-всё бросили.

Эти люди провалили и сдали все.

И вот появляется Андрей Писарев[245] и говорит:

-Я ещё два года назад хотел на вас выйти и начать с вами делать религиозную программу. Но меня перехватил Дугин и заставил меня делать религиозную программу с ним. А про вас он сказал, что вы русофоб и едите с квасом русских детей.

-Да? Есть вещи повкуснее.

-Я тоже так думаю. Давайте сочиним хорошую программу.

И мы сочинили программу «Ныне». После нескольких передач я стал всенародно известен. После нее проблема денег на мою деятельность не стояла.

Каждому богатею, кто приходил, я говорил:

-Мы создали телевизионное окно для ислама на Первом канале. Сейчас есть возможность получать эфирное время за деньги — завтра, скорее всего, такой возможности уже не будет. Бабки на стол.

Мы всюду ездили, что-то удавалось, что-то нет. Много чего сделали. Были в Иране, Судане, были во Флоренции.

В 1993 году во Флоренции мы сняли замечательный фильм. Назывался он «Съезд мусульманских организаций Италии во Флоренции». Я в президиуме с Клаудио Мутти. Для этих людей я лидер такого уровня, который им не снился, —

[245] В те годы старший редактор на Общественном Российском Телевидении (ОРТ).

друг Тураби, участник гражданской войны, советник Давлата Усмона, близок с Ахмадом Хомейни.

Я им сказал:

-Теперь я приехал сюда, чтобы помочь вам провести съезд мусульманских организаций Италии. Но чтобы это было не просто «ля-ля», во-первых, я выдвигаю повестку дня, а во-вторых, я привёз с собой команду с Первого канала России, бывшего всесоюзного канала, который сморят от Владивостока до Кёнигсберга. Я их привез и буду делать передачу. Деньги на стол.

Они собрали, кряхтя и охая, но собрали.

Потрясающие были там встречи — начиналась война в Югославии, муфтий Боснии Церич, хороший парень, боснийские ребята как на подбор.

Потом пошла рутина.

Писарев — фигура своего века, своего поколения. Он мне сказал, что «наше поколение будет поколением победителей, мы можем всё». Сколько ему было тогда? Он 1967 года. Разговор наш был зимой 94-го года у меня на даче в Валентиновке, и ему было тогда 27 лет. Через год он отказался от всех идей, посчитав, что его собственная машина передавила ему ноги в назидание за его фильм о природе золота. Больше он идеями не интересовался.

Он, конечно, проиграл, потому что он задач никаких не ставил. Его задачей были бабки. Какие-то бабки, наверное, у него есть, но не те, каких он хотел[246].

История Исламского комитета началась с участием Тураби.

В 1995 году я через Баку поехал в Хартум на встречу с Тураби, и Тураби мне сказал:

---

[246] Сейчас Писарев — заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», руководитель политического департамента; член генерального совета партии.

-Лоббистской структуры нет вообще. Раньше хоть худо-бедно Совок играл на противостоянии. Нужна хоть какая-то структура, которая могла бы хоть что-то вякать.

А я же всё-таки был на телевидении — что-то такое он себе представлял. И велел создать Исламский Комитет в России.

Я создал Исламский Комитет, куда вошли учредителями Абдурашид Дудаев, Бибарсов, ещё кто-то. Исламский Комитет бесперебойно функционировал до 2001 года, когда я выступил с заявлением, что американцы сами взорвали свои башни-близнецы. Тьерри Мейсан[247] и прочие европейские и американские левые выступили позже.

Спустя неделю или две ко мне пришла налоговая инспекция.

Я говорю:

-Да шли бы вы отсюда! Вы знаете, кто у меня учредители? Вот, читайте!

А Дудаев Абдурашид был членом российского Совбеза и главой Совбеза Чечни. Да и вообще он был как бы «выпускающий редактор» старшего Ахмад-Хаджи.

Говорю им:

-Тут такие люди у меня — так что до свиданья.

Весь разговор проходил на Мансуровском. После него налоговая инспекция провалилась бесследно в тартарары. И с тех пор никто не появляется, а сколько лет прошло.

---

[247] Джемаль о Мейсане: «…я сам к Тьери Мейсану хорошо относился. Но дальше наши отношения стали всё больше напрягаться, и я понял масштаб того, какой Тьери Мейсан гадёныш многомерный, многопластовый, сложный. Стало ясно, что Тьери Мейсан просто завербован рашкой в самом конкретном смысле, потому что он гонит то, что говорит Russia Today, и даже корректирует Russia Today, даёт ей материал, чтобы она просто не наступала на шнурки, поправляет её».

# Германия. Радио Свобода[248]

Я поехал Германию при Горбачеве, в 1990 году, побывал на «Радио Свобода», где меня водил итальянский полковник НАТО, разведчик.

Я там много выступал, заработал в марках кучу денег. Выступал на таджикской редакции, башкирской, русской — на всех, но в азербайджанскую меня не пустили.

Ею верховодил некто Хазри, либерал, который заявил:

-Ноги Джемаля в моей редакции не будет.

В остальные студии меня звали очень охотно: вещать на всю Среднюю Азию. В сопровождающие мне отрядили казаха, которому поручили показать «Радио Свобода». Сам он был перебежчиком из коммунистической делегации, посетившей Мюнхен. Стал невозвращенцем. Он пил и ненавидел ситуацию, в которой оказался крайним. Он был из казахов-эмигрантов второй волны: родился уже в Турции. Большинство этих казахов уже не говорили по-русски: только по-казахски, по-турецки и по-английски. А на «Радио Свобода» для работы на Советский Союз как раз требовались функционеры, говорящие на национальном языке и на русском, потому что русский язык являлся рабочим во всех республиках. Им нужен был хотя бы один казах с русским языком, а этот ещё и был какой-то видной шишкой в аппарате партии, раз он был членом делегации. Его взяли на работу. А у него уже лицо запьянцовское, нос красный.

Начал казах меня водить по коридорам, показывал студии, демонстрировал, как там всё работает. И тут в одной из студий к нам подошёл полноватый человечек в синем обтрепанном костюмчике. Я даже не понял, что это итальянец, — это был человек, который стоя в московской очереди за картошкой, спокойно мог бы разговаривать с бабулькой, а та

---

248 Визиты Джемаля в Германию, Эстонию и, кстати, пребывание в Таджикистане интересно описаны в книгах Владимира Видеманна «Запрещенный Союз» и «Запрещенный союз-2». В Германии и Эстонии Гейдар был именно по его приглашению.

будет думать, что перед ней инженер из ЖЭКа. С видом обычного управдома из хрущевского времени он говорит мне совершенно свободно по-русски:

-Не хотите посмотреть кое-что интересное? У нас есть тут архив.

Это оказалось гигантское помещение, заполненное шкафами с делами, папками формата, наверное, «а-три».

Я ему говорю:

-Ух ты, а я у вас есть?

-Конечно вы у нас есть. Пойдемте посмотрим, это интересно.

Мы с ним пошли по буквам, нашли меня, он достал мою папку, открыл её, и я там вижу всё, что я делал за всю свою короткую жизнь в СССР, включая газету «Ȕmid», которая выглядела вдвое новее, чем те экземпляры, что мы возили в Баку из типографии. Там была и книжка, выпущенная на основе моих статей. Ее позже перевели на итальянский язык, у меня она где-то есть. Клаудио Мутти издал её в своем издательстве «У гончей собаки». Там были «Кровавый азан» и другие наиболее жесткие статьи.

-Надо же, я даже забыл, что когда-то это писал!

На 1990-й год наборчик довольно тощий, но все равно много там чего лежало. Спросил:

-И это у вас на всех?

-Да, на каждого.

Рассмотрел я интересную студию. Большая комната, завешанная сверху до низу мониторами на 30 или 40 дюймов, и на каждом шла местная программа. Например, программа Орловского телевидения, Краснодарского, Красноярского, и они вещали в настоящем времени. Все региональные передачи автоматически писались на пленку. Потом они прорабатывались экспертами, которые просто оттуда снимали информацию. Эту информацию анализировали люди, делавшие военно-стратегические выводы. Например, информация о посевной: если посевная передвинута, то, возможно, в это время в том районе будут проходить военные

учения. Или анализ загрузки предприятий новыми технологиями. Низовые экспертные наработки, а потом этот сырой материал шел аналитикам более высокого уровня в ЦРУ или АНБ. Гигантская машина по сбору информации со всей территории советского лагеря. В других комнатах такая же работа велась по чехам, по венграм. Всё серьезно: в белых халатах люди сидят при вращающихся бобинах, снимают данные, сразу идет автоматическая распечатка. Хорошая техника — не то, на чем наши «энтузиасты занимаются». Уже тогда существовали машины для этих целей — у советских дикторов голос был поставлен, все слышно четко.

Не просто передачки с Севой Новгородцевым, который про рок рассказывает на Би-Би-Си, а огромный пылесос, высасывавший данные со всей территории советского лагеря, но всё шло в никуда, потому что кому в итоге это всё нужно? Кто будет это изучать? Ну ладно, каким-нибудь генералам, может, попадутся какие-то камушки из этих экскрементов. Но практического применения это все не имело.

Поэтому лавочку и прикрыли.

Сильное впечатление получил.

Я всю жизнь считал, что Совок населению врёт. Я в детстве читал «Правду» и хохотал, что вот-де ребята завирают. В «Правде» публиковались всякие поехавшие туда и в итоге разочаровавшиеся и вернувшиеся. Они рассказывали, что на Западе люди живут, как пауки в банке, — в атмосфере человеческой подлости и кусания друг друга за задницу. Человек должен был всё время папкой прикрывать ягодицы, чтобы его не куснули и не дали под зад.

Но всё оказалось правдой. Я обалдел, когда при мне, не стесняясь, на «Свободе» троллили друг друга. Причем всё очень нагло — не коллеги, а пауки в банке. Но уровень профессионализма впечатлил, система работала как часы. За каждый доллар пахали. А ушло все в отвал, потому что кремлевские не хотели никакого противостояния и искали пути, как все сдать.

Германия. Зима 1991 года. «Буря в пустыне» уже началась, когда я уезжал. Германию я всю пешком прошёл, попутками проехал. Проехал и по турецким центрам, и по неонацистским.

Правые меня принимали очень хорошо, на ура. Слух обо мне пошёл по всей земле германской. Они заранее приготовились, что к ним приедет «ревизор» из Rusland´a, собирали на меня людей. Не много, конечно, но собирали. Они же знали, что в СССР за реальное наследие Райха, его структуры, сидят в лагерях. Они посвятили людей, которые вышли и создали ячейку. Эта орденская ячейка имела отношение не к Райху, а к Балтийскому Ордену Серебряного Креста и Розы.

Меня принимал буршеншафт. Буршеншафт — студенческий союз, как правило, крайне правого толка, но восходящий к концу восемнадцатого века. Они расцвели на волне патриотического подъема во время завоевания Наполеоном немецких земель. Штапс с кинжалом кидался на Наполеона или Занд на Коцебу[249], Фихте с его «Речами к немецкой нации». В студенческих союзах юноши обязательно получали шрамы, сражаясь на дуэлях. Такой шрам был знаком принадлежности к мужскому союзу. С мужских союзов начиналось рыцарство после падения Римской Империи.

В 1945 году американцы запретили буршеншафты как рассадник нацизма. Но в 1964 запрещение сняли. Видимо, у них щелкнуло, что движение к нацизму никакого отношения не имеет.

Я не нацист. Я — член Ордена.

Штандартенфюрер Зиверс[250] посвятил египтолога Максимова в орденские мистерии тяжелого воздуха. Максимов

---

[249] Штапс — сын эрфуртского пастыря, покушавшийся на Наполеона. Занд — немецкий студент, убивший консерватиного писателя Августа фон Коцебу

[250] Вольфрам Зиверс (нем. Wolfram Sievers, 1905 —1948) — один из руководителей расовой политики Третьего рейха, генеральный секретарь

вышел из лагеря и создал группу, ячейку. Эта орденская ячейка имела отношение не к Райху, а к балтийскому Ордену Серебряного креста и Розы. Тевтоны после разгрома в Грюнвальдском лесу пережили распад и часть восстановилась как Балтийский Орден. Балтийский Орден стал антитезой иллюминатов. Иллюминаты — это левые радикалы наших дней.

В чем идея иллюминатов? Объясняю коротко. Третье сословие захотело через структуру посвятительной масонской организации взять под контроль аристократию. Чем ты дальше от аристократии и ближе к третьему сословию — к проклятым аптекарям, бухгалтерам и всякой разночинной шпане, тем выше ты мог подняться по ступеням иллюминатского ордена.

И тогда рыцарская знать, связанная с корнями Тевтонского ордена, бросила вызов иллюминатам.

«Орден СС» — политическая «крыша», которую они получили уже в XX веке. Причем она многократно зашифрована[251]. По легенде, это были охранные войска на митингах партии. Но в основе лежала такая идея: есть левая масонерия, — мы, «дворянство меча», открываем по ним огонь, наносим удар с позиции правой масонерии. Это очень далеко от профанного представления о нацизме и фашизме.

Когда Муссолини предложил Юлиусу Эволе возглавить редакцию одного из фашистских журналов, Юлиус Эвола исчерпывающе ему ответил:

- Я же не фашист, дуче.

И, возможно, почесал его за ухом. Для Юлиуса Эволы фашизм был просто социалистическим популизмом, возней с рабочими, мусорной ямой. А сам Эвола ездил читать закрытые лекции в узкие круги СС. Кстати, первое, что сделал в своей

---

Аненербе (с 1935), заместитель председателя управляющего совета директоров Научно-исследовательского совета Рейха. Повешен в 1948 году.

[251] Во время Второй мировой войны Тевтонский орден фактически свернул свою деятельность из-за нацистских гонений.

творческой жизни Дугин — перевел на русский «Языческий империализм» Эволы. По-моему, даже с немецкого языка.

Я был гостем буршеншафта «Danubium». «Danubium» — «Дунай» по латыни — один из старейших. Членом этого союза был Гофман наш Амадей[252]. Этот буршеншафт находился в замке на берегу реки Изар в Мюнхене.

Меня там приняли, выделили место. Всё очень аскетично. Там я впервые увидел трехъярусные кровати. В армии в карантинной роте я спал на двухъярусной, здесь же я увидел трехъярусные. Подниматься на третью полку в трех метрах от пола надо было по лестнице.

Единственный телефон на весь замок стоял в холле возле зеркала. Каждый вечер приглашали на собрание. Молодые немцы смотрели на меня восторженно блестящими глазами, потому что я принадлежал к линии, которая для них священна: я «эзотерик» из линии «знающих». Они понимали, что я состою в некой структуре, оставленной людьми, находившимися в лагерях по 15, 20, 25 лет после войны. Информация у них имелась по многим каналам.

В частности, я знал Михкеля Тамма[253], человека, который получил посвящение в индуизм от неких «эзотерических» индусов, живших колонией в Берлине. Там жили тибетцы и индусы.

Михкель Тамм — эстонец. В 1928 году он свалил из буржуазной Эстонии в широкий мир, стал юнгой на корабле, получил германское гражданство, жил там, делал деньги. А потом он встретился с этой колонией индусов и тибетцев. Они ввели его на английском языке в некие темы. Он у них изучил санскрит. Стал человеком, известным Джавахарлалу Неру.

---

[252] Эрнст Теодор Вильгельм Гофман (1776 — 1822) — немецкий писатель - романист, сказочник, композитор, художник, юрист.

[253]Михкель Тамм (1911 – 2002) — философ и мистик, автор Нуль-Гипотезы-Теории. Родился в Эстонии, в 1940–1956 проживал в Германии, с 1956 до 1981 находился в Эстонии (ЭССР) как интернированное лицо без гражданства, с 1982 по 2002 жил в Бостоне (США).

У меня стоит переведенный труд Радхакришнана, вице-президента и президента времён Неру, после освобождения Индии в 1947 году. Он написал двухтомник индийской философии. Радхакришнан направил Тамму личное приглашение. Проблема была только в том, что перед тем как всё завертелось, наш Микхель Тамм вступил в орден СС. Он не воевал на фронте, он принадлежал к вспомогательным войскам, которые занимались медициной, типа Opus Dei, — некие медицинско-восстановительные работы. Но тем не менее форму он носил. Союзники его не тронули, он никакого отношения ни к чему не имел.

И тут приходит приглашение, лично подписанное вице-президентом Индии Радхакришнаном. И вместо того чтобы задрав штаны ехать в Индию, где он был бы членом высокой брахманской номенклатуры, идет в советское посольство и говорит:

-Вот, вы знаете, я уехал из буржуазной Эстонии в 1928 году, оставил там папу и маму. Они уже давно умерли, но я хотел бы побывать на их могиле. Дело в том, что я еду в Индию, но по пути хотел бы заехать в Эстонию.

Ему говорят:

-О чем речь-то, господи, такая малость. Да мы вообще на всё для вас готовы.

Он приезжает в Эстонию, его там закрывают, объявляют интернированной персоной. Селят его на мызе с указанием не отлучаться оттуда более чем на 30 км ни для каких целей. А в пределах 30 км только магазин, где хлеб продают — можешь туда ходить.

Там он просидел с 1956 по 1980 год, когда он уже уехал в Штаты. Так просто он взял на себя 35 лет сидения на мызе. Но к нему ехали со всего Союза. Он непрерывно писал, это всё распечатывалось. Я держал в руках эти толстые, как диссертации, распечатки на ломаном английском языке. Всё хранилось у него, потому что издать это в самиздате было невозможно: он же писал на нечитабельном английском языке, которому индусы его научили.

Я что-то читал — потому что я понимал, о чем идет речь.

Потом нашлась еврейская семья, которая всё перевела на настоящий английский. Они его вытащили в Бостон и издали на хорошем английском языке. Но там он довольно быстро умер. Жил-жил в мызе, оказался в Бостоне и сразу умер.

Интересный старикан, внешне походивший на Раджниша: с большой бородой, в шапочке с помпоном — все они однотипные ребята. Но с большим прошлым.

Мы дружили. Я у него гостил по несколько дней. Мы говорили о Канте, обсасывали его со всех сторон, искали масонскую подоплёку. И я его зондировал: насколько хорошо он представляет себе, что такое «мистерии тяжелого воздуха», эзотерическая сторона Ордена. Тамм понтил, говорил, что очень хорошо себе всё представляет. Но было понятно, что реально у него знаний нет. Он сидел в авдвайта-ведантизме — очень деформированном, который он пропустил через себя. Адвайта-ведантизм не предполагает творческой индивидуализации, отсебятины — достаточно математически жесткая метафизика.

Но читать на индо-английском языке его гигантские сброшюрованные «талмуды» — задача потусторонняя. У него имелась интересная подборка статей, посвященная тому, что современная наука является некой филиацией магии, неким отростком, ведущим от Агриппы Неттесгеймского, Джордано Бруно, Тихо Браге. Он доказывал, что концепты Да Винчи переходят в современные разработки через посредство либеральной наукообразной масонерии, к которой принадлежал Жюль Верн. Любопытно, но не тот уровень профессионализма, какой встречаешь у французских исследователей вопроса типа Бержье.

# Август 1991

В августе 1991 года я не только был в Москве.

19 августа я приехал с дачи в Валентиновке. На Мансуровский вошел около 12 часов. Я не знал про ГКЧП, ничего не слышал: на даче не было телевизора, радио. Просто приехал и всё.

И вдруг звонок. Звонит Наташа Мелентьева и говорит:

-Ну что, поздравляю, теперь вам крышка!

-Не понял, — говорю я, — вы о чем?!

-Все наши друзья теперь под колпаком. Это конец!

-Так что происходит — вы можете объяснить?

-А вы что, не знаете?

-Не знаю, — говорю.

-Сейчас ГКЧП, комитет по чрезвычайному положению, спасая советскую власть, взял на себя полноту полномочий. Всё, теперь не поиграешь! Всех к ногтю!

Я обалдел. С ее слов я понял, что произошел переворот. Звоню своей тогдашней помощнице Тане Титовой — была такая очень хорошая девушка — и говорю:

-Таня, вы в курсе?

-Да, вот что-то такое происходит.

-Давайте, встречаемся там-то и идем смотреть, что происходит.

Мы встретились, и я с ней пошел в азербайджанское представительство на улице Станиславского, теперь Леонтьевский переулок, за Телеграфом. Я туда довольно часто заходил. В этот период оно уже было практически реальным посольством. Там базировались движение за освобождение Карабаха[254] и главная редакция газеты «Ȕmid» («Надежда»), в которой я принимал участие.

---

[254] К сожалению, в предыдущее издание вкралась ошибка: там движение, в котором участвовал Джемаль, названо «Комитетом Карабах». «Комитет Карабах» — это экстремистская армянская организация.

Прихожу, а люди уже собираются жечь бумаги, документы и ожидают штурма. Все на ушах. Здание огромное, в центре зал, как бы гостиная, и там все собрались — вроде, надо срочно уничтожать документы, диппочту.

Я говорю:

-Подождите-подождите, давайте сделаем так: я выйду в город, посмотрю, что происходит, и потом вернусь и вам скажу. Надо понять.

-Ну иди, — мне говорят.

Мы с Таней вышли, пошли по Тверской и увидели людей, которые с мегафонами собирали толпу для протеста против ГКЧП. Уже было около часа дня.

Собирался марш. Смотрю, а менты не вмешиваются.

Я говорю Тане:

-Таня, это какая-то хрень. Чтобы совковые менты не вмешивались, когда тут против ГКЧП, который позиционировал себя как официальная власть, собиралась демонстрация? Это очень подозрительно.

Мы решили встать в строй и пойти вместе с демонстрацией. Встали и пошли.

Набирающая силу громадная колонна дошла до Белого дома, и мы вместе с ней. Было два часа. Начали собирать материал для баррикад — остовы железных кроватей, мусор. Я ничего не собирал, конечно, просто следил за всем. Где-то Зюганов появлялся, где-то Глеб Якунин, Бабурин. Люди общались, делились впечатлениями.

Смотрю, на мосту показался бронетранспортер. Толпа сразу заволновалась: что вот, де, танки. Но бронетранспортер как появился, так и назад уехал. Я посмотрел на баррикады, на бронетранспортер, который показал носик, и говорю Тане:

-Таня, ну вы поняли, да? Это полная хрень, провокация. ГКЧП — это чистая разводка: всех, кто поддержит ГКЧП, заметут. Это переворот. После ГКЧП — всё, Совку хана.

К семи часам, когда уже слегка стемнело, я пошел к автомату, позвонил Мелентьевой и говорю:

-Наташа, вы знаете, я как раз нахожусь там, где все происходит, все видел своими глазами, и советую вам Сашу[255] не пускать ни в какие авантюры, потому что кто высунется — тому по башке.

-Саша, между прочим, с утра на улице агитирует войска, раздает листовки солдатам.

-Срочно отзовите его каким-то образом, потому что это может для него очень хреново кончиться. Это все лажа, никакого ГКЧП нет. Те, кто вылезут, — получат по мозгам.

Я все сказал, что хотел, и положил трубку.

-Ну, Таня, — говорю, — давайте по домам, уже всё ясно. Суду все ясно: это чистая провокация, за ней последует расправа над осколками недобитого Совка.

На следующий день, 20 августа, я позвонил Саше Дугину. Он взял трубку.

-Ну, Саша, ты что-то понял? Какое твое мнение?

Он начал проклинать матерно русский народ: это быдло, просто твари и так далее. Ну, понятно, эмоции ясны, ладно.

Насколько я знаю, были какие-то обыски: у Проханова что-то искали, но ничего серьезного — по крайней мере на известном мне уровне.

21 августа уже было понятно, что все кончилось, началось прославление Комаря и двух других, кого раздавил бронетранспортер. И все закончилось. ГКЧП поехали в какой-то момент в Форос к Горбачеву, который якобы там был пленен. Горбачев сказал что-то вроде: «Ах, вы гады такие, пленять меня!» Ну, они, перемигиваясь и переминаясь, сняли шляпы, потом их всех арестовали, когда приехал Горбачев. Было понятно, что он просто поставил их на хозяйство, чтобы они совершили без него переворот, а потом он планировал их всех посадить как «антидемократов». А он хотел, чтобы они в ходе своего ГКЧП замочили Ельцина и всех демократов, потом бы он вернулся, всех посадил и начал быть уже хорошим президентом СССР без всяких Ельциных. Но, видимо, он был

[255] Александр Гельевич Дугин, супруг Наталии.

совсем тяжелый дурачок, ничего не понимающий. «Гкчписты» понимали, что им просто навязали идиотскую ситуацию, в которой они не получали ничего, потому что в конце их по любому сажали. Если бы они взялись за дело круто, Горбачев бы их все равно посадил, чтобы остаться в глазах мирового сообщества белым и пушистым. Они это осознавали, поэтому у них тряслись руки, дрожали голоса, падали очки на пол, и все это выглядело жалко.

Но Саша Дугин был такой простой, наивный, раздавал какие-то прокламации… Ничто настоящим не было. Люди, пришедшие к Белому дому, были там всю ночь и верили свято, что своими грудями могут закрыть подход к Белому дому. Это смешно: не то что реальный танк, а просто легкая бронемашина прошла бы через них, не заметив.

Демократы, которые в Москве жгли костры, испытывали, конечно, искренние чувства, но они испытывали их по поводу фиктивной, постановочной ситуации. Это все равно что зритель испытывает в театре чувства по поводу короля Лира: чувства-то настоящие. В феврале и октябре 1917 разные люди делали революцию, но всё было настоящее. А тут задействовали массовку.

В 1993 году была настоящая улица. А вот что касается Верховного совета... Наверное, там были идиоты, игравшие всерьез, но вся верхушка Верховного совета — предатели. Ведь у Верховного совета были козыри на руках: по конституции Верховный совет стоял чуть ли не над президентом. Вся система советов поддержала Верховный Совет — от него по областям, по городам шла вниз елка власти. А это депутаты, общественность, гражданское общество, последний совет, последняя связь с народной традицией.

Ленин в 1917 был настоящим, а Хасбулатов с Руцким в 1993 — не были.

Ликвидация памятника Дзержинскому стала символическим ходом. Ельцин пришел к власти — партия победила органы. Вот она и сняла эту статую как символ своей победы. Но пьяная массовка не могла понять, что схлёстка

шла на совершенно другом уровне. К власти пришли партийные референты.

Сейчас возникла новая формация. Они себя отстроили заново.

Вот Путин — считается, что он представитель органов. А он по-хитрому очень: у него же разрыв по времени в карьере, он же вышел из органов до 1991 года. А если бы он там задержался, то ничего бы ему не светило. Более того, его бы еще и прихватили на какой-нибудь «измене родине».

Новых 90-х, таких волшебных, уже не будет. Будет по-христиански — инфернально. Будет в рубищах, с язвами, в которых копошатся черви.

# Тиккун олам[256]

Эзотерический журнал «Волшебная гора» вёл Артур Медведев. Я его давно знал.

Он появлялся в фильме о «русских мальчиках» 1997 года[257] — правда, он там молчал. Еще сидел Болдырев — в то время постоянный гость в Валентиновке, философ, аспирант философского факультета. Все должны были выступать в качестве «русских мальчиков», но выступал в основном он. Сидел Максим Шевченко, мама моя и Гюля. Посреди стола невероятный чайник с позолотой, самовар. Нелли Шевченко со специальной командой заправляла всем процессом, фильм снимался для «Москвы-24».

Артур был очень больной человек с мешками под глазами. Но он являлся фанатом чистого оккультного знания, которому бескорыстно служил. И издавал журнал. Сам при этом туда он ничего не писал, да и говорить связно по смыслу он практически не мог. Но он служил.

У Медведева было слабое здоровье. Как-то мы обсуждали какой-то вопрос перед центральным входом в Парк культуры на Кольцевой, он принес мне номеров десять своего журнала. Когда мы с ним говорили, я заметил, что у него очень трясутся руки.

У него был спонсор. Этот спонсор варил асфальт и заливал этим асфальтом Москву, а от лишних денег отстёгивал что-то на «Волшебную гору».

Папаша Медведева — член Союза писателей, капитан 1-го ранга. И стихи писал соответствующие. Такие полковники и капитаны первого ранга пишут всегда о родине или псевдопушкинский треш:

Она со мной от радости парит,
Грустит порой и плачет между делом,

---

[256] «Тиккун олам» — «исправление мира» на иврите.

[257] «Чаепитие в Мытищах» на youtube. Описание: Чаепитие в Мытищах. В гостях у Гейдара Джемаля. 1997 год

Но знаю, никуда не улетит
Моя душа, обмотанная телом.

«Душа, обмотанная телом», — это хорошо. Сразу нам напоминает о том, что он был «сапог»: что-то с портянками связанное.

Артур был женат на Марии Мамыко, которая, как объяснял мне трясущийся Медведев, идеалистка, служит духу и не интересуется кастрюлями.

Мария как-то сказала, что хочет сделать со мной интервью, и пригласила. Я приехал к ним с Гюлей. Сидел Медведев, и это был как раз день потопления «Курска».

Мамыко говорит:

- Гейдар, вот вы же фундаменталист. Скажите, как в вашей жизни обстоит дело с любовью и сексом?

Её абсолютно не смущало присутствие Гюли. Посмотрел на Медведева, а тот был весь поглощён просмотром новостей — что там несли по поводу «Курска». Мамыка стала как-то ужесточать. Сначала стелила мягко, а потом всё жестче и жестче.

Проходит какое-то время, и она меня приглашает на круглый стол по теме «Красота спасёт мир» и просит выступить с ключевым докладом.

Я набросал 12 тезисов о том, что красота есть чистое проявление сатанизма. Что христианство всегда очень мощно мочило красоту. «Повапленные гробы»[258] и так далее.

И выступил.

-Послушайте, вы здесь христиане? Как вы вообще могли сформулировать подобный вопрос? Понятно, что для христиан красота является демоническим проявлением, искушением, потому что гармония Космоса противоположна гармонии духа. Дух и Космос — в противолежащих плоскостях. Они не продолжают один другой. Так бывает только у язычников. Поэтому ранее христианство чуралось всего красивого, очень

---

[258] То, что прикрывается наружным блеском, а на самом деле ничтожно, пусто, никуда не годно(*устар*.)

жестко чуралось. Красота не может спасти мир. Потому что красота — это атрибут Аполлона-Мусагета, а Аполлон-Мусагет — это Люцифер.

Меня выслушали, наступило молчание, и вдруг Мамыко завопила:

-Мужчины, это что же делается?! Что же вы молчите?! Это же атака на наше святое — на красоту! Я к вам взываю как женщина, как мать.

Почему-то вспомнили розу, не помню какую — может быть Розу Коэли, может быть просто розу, которая в саду растёт. Что вот этот человек выступает против тонких бархатистых лепестков пышной розы, символизирующей...

Там сидел Егор Холмогоров, вертел палочкой и лупал глазками. Егор включился с места в карьер, как будто ему вставили в одно место пропеллер. Он начал обвинять меня в сатанизме, понёс какую-то околесицу с аргументацией, что красота — это красиво, а красиво — это прекрасно.

А я им:

- Ребята, я потратил своё время, объяснил вам азы вашего собственного христианства, а вы тупо упираетесь и воспеваете какие-то язычества. «Эстетика» — это языческое понятие. Я исхожу из ваших же христианских тезисов. Я ничего не добавляю — никакой «эстетики даосов». Червячок, который выпал из раны, должен быть возвращен на место.

Пошел вой, скандал, крики

Потом выступил то ли Щеглов, то ли Щепкин, — бегун, изложивший о сатанизме государства. И очень сильные были тезисы — по 282-й статье спокойно можно было бы брать.

Мне его выступление понравилось. Он сказал, что государство — это тень Сатаны. Потом мы встали и ушли, оставив Мамыко заряжать мужчин своим духмяным бабским излучением. На Холмогорова это особенно действовало.

Через некоторое время я узнал, что Артур умер. Отцу и матери я послал соболезнования, а жене нет.

В конце 2011 года в офисе «Солидарности» я встретился с Марком Фейгиным[259].

Со мной была Надира Исаева, главный редактор «Черновика» при убитом основателе газеты Хаджимураде Камалове. Муж ее сидел на зоне. Позже она уехала в США на учёбу. Я её тогда двигал, хотел, чтобы она вошла во все структуры как «хиджабная» девушка, мусульманка, присутствовала в информационном поле как фактор Кавказа[260].

В президиумной части, спиной к входной двери, за столом в форме буквы «С», сидел Каспаров. Где-то рядом Баранов.

Марк зашел и сел на диване. У него было усталое и недоуменное выражения лица: «Что же, чёрт возьми, здесь происходит?!».

Марк поглядывал на Надиру с недоумением и некоторой подозрительностью. О нем тогда распускали слух, что он активный исламофоб. Я подумал: «Ну вот, как раз появился Марк, активный исламофоб. И вот он смотрит на мою протеже и думает про себя, что со всех сторон надвигаются такие фигурки, занимают пустые клеточки.»

Познакомились. И обсудили альтернативу тому, что протест сворачивался, не успев начаться. И стали вместе делать Российский Политический Комитет. Нам удалось собрать удивительным получудесным образом порядка 14-15 человек в этот Российский Политический Комитет. На наше учредительное собрание даже явились Пономарёв с Удальцовым. Но они бухтели и были недовольны: мы же хотели выстроить внесистемную структуру параллельно с

---

[259] Марк Захарович Фейгин (род. 1971) — российский политический деятель и журналист. Депутат Государственной Думы в 1994-1996 годах. Во время Первой чеченской войны участвовал в гуманитарных миссиях по спасению российских военнопленных. В апреле 2018 года был лишён статуса адвоката.

[260] В наши дни Надира Исаева сотрудничает с органами и дает показания на бывших коллег и лжесвидетельствует.

«протестным оргкомитетом», в котором бенефициарами были всякого рода эпатажные персонажи из светской тусовки.

Важным компонентом в Российском Политическом Комитете играло сетевое общественное телевидение СОТВ. Организовал СОТВ Яковенко, очень умный парень. В студии этого СОТВ происходило много всего — встречи, разговоры под камеру, собрания Российского Политического Комитета за круглым столом. Многое сохранилось в YouTube. Марк вел свою программу.

Были люди, которые сильно мешали, — типа Холмогорова. Он получил свою микростудию, приглашал каких-то гостей. У Холмогорова, когда он меня видел, возникала кисло-кривая физиономия, и он всё время против меня катил унылую бочку. Этакий вариант Романа Силантьева, только хромой. И вдруг он появляется на этом СОТВ.

До сих пор не могу понять, почему некоторые персонажи вошли в наш Российский Политический Комитет, — Крылов, Тор, кто-то ещё. Они были психологически, политически совершенно чужды всему этому. Они являлись, конечно, людьми ангажированными, под чутким руководством каких-то кураторов. Там болтался и Николай Николаевич — беспримесный и очень глупый агент. Видимо, настоящие беспримесные агенты только такие и бывают.

В конференц-зале на СОТВ бывали Немцов, Пономарев… Там собиралась куча народа. И имелась возможность сказать острые вещи. Уникальный и обреченный проект.

Я подтянул туда художника Артуро Мариано, моего друга в Испании. Русский и испанский были его родными языками. Отец его молдаванин, а мать — испанка, родившаяся от родителей-иммигрантов 1939 года. И сам он прошёл большую школу. Уехал в 90-м году в Испанию, стал фашистом, дугинистом. Потом он столкнулся с моими текстами, они его потрясли. Он начал думать, переводить. Вышел на меня в 2011 году, когда я был в Турции. Он мне написал на почту, и мы вступили в переписку.

У нас образовалась огромная переписка, целый том. Он создал испаноязычную версию сайта InterUnion, рассылал мои переводные тексты по разным испаноязычным сайтам. И в конце концов я его попросил нарисовать герб Интерсоюза. Он нарисовал букет цветов, на фоне которого перекрещивались кавказский кинжал и ключ апостола Петра. Получилось несколько вариантов, и я одобрил один из них.

В марте 2012 мы вышли на финишную прямую.

К нам в «Солидарность» пришло около 50 человек, которые все пожелали войти в Российский Политический Комитет. Там были Сивков, Бабурин. Они все что-то восторженно бубнили.

На следующий день в семь утра в мою дверь раздался звонок. Я проснулся, посмотрел на часы и сразу всё понял.

Посмотрел в глазок — а там однозначные хари, человек десять: явились проводить обыск. Я набрал Максима, потом Марка, а потом ещё Сычёва.

Максим Шевченко очень быстро пришёл, заблокировал их возле двери. Начал вешать им лапшу, рассказывать какие-то истории, байки. Стал спрашивать у следователя-ингуша, откуда у него такая дорогая машина, — выжидая, пока приедут адвокаты.

Приехал Марк, потом Сычёв. Телефон адвоката Сычёва мне дал в своё время Орхан. Он его хвалил, но я в нём быстро разочаровался, потому что он политические дела брал платно, и его задача была не уйти из-под сачка, который на тебя набрасывала гебня, а именно зарубиться с ними: «Стреляйте, сволочи!».

У следователей план менялся на ходу. Приехали они с намерением предъявить обвинение по оправданию терроризма в публикации на сайте Исламского комитета. Но информация об обыске пошла в СМИ, и они решили жестких мер сразу не принимать.

Текст они выбрали странный, написанный неким арабом ещё в 2003 году. Я спросил, почему они мне шьют дело по дурацкой чужой статье про женщин в джихаде, вместо того чтобы заняться моей прекрасной, очень сочной статьей про

Саида Бурятского в качестве новой ступени джихада на Кавказе. Они мне сказали, что нет приказа:

-Мы изучаем только вот эту статью.

Они искали подтверждений, что я должен был одобрить эту статью.

Я им говорю:

-Вы понимаете, что я не читаю, не захожу в интернет и не умею работать с этой штукой. Мне распечатывают, приносят, и тогда я читаю.

Они начали искать распечатку, но распечаток не было. Хард-диски тогда забрали и ничего не вернули.

По моему делу свидетелями прошло около 500 человек. Я, когда шёл на очередной вызов, встречал вереницу знакомых лиц, которых уже давно забыл. Я никак не мог сообразить, откуда у них персонажи, которых я уже и не помнил. Дело оказалось в том, что, когда в 2006 году я был арестован в Дагестане вместе с Абасом Кебедовым, они украли мой телефон. Остальным телефоны вернули, а мне нет. И в этом телефоне было около 1000 номеров, включая Зюганова, с которым я активно общался в какой-то период. Дальше просто по телефону косяками выдергивали народ.

Многие звонили, предупреждали, что их вызывают по моему делу. Потом я понял, что это люди, найденные по моей телефонной книге. Я в своё время требовал, чтобы мне его вернули, мне тогда привозят полный мешок — выбирай любой. В мешке моего телефона не оказалось, тогда притащили ещё мешок.

Как-то к нам с Марком на улице подошел начальник следственного управления и сказал:

- Ну что, будем признаваться? Выходим на условный срок и с чистой совестью расходимся.

После этого была ещё пара допросов. Дело сошло на нет.

Но активность РПК на этом они погасили.

Должны быть люди, готовые взять в руки что-то потяжелее пластикового совка. К этим людям и должен прийти РПК. Новый настоящий Политический комитет, без всяких крыловых и торов.

# Гуманизм и антигуманизм

С 12 лет я искал концентрации, платформы чистого антигуманизма. Для меня принципиально была важна идея оппозиции «человеческому, слишком человеческому». Антигуманизм в отношении истории, социологии, антропологии, социологии.

Гуманизм — это повестка, некий ценностный критерий.

Например, есть концепция финансов, представление о том, что такое финансы. Когда мы пытаемся понять, почему рубль зависит от доллара, а доллар поднимается повсюду, мы приходим к тому, что он был завязан на золото, потом был отвязан от золота, золото вообще улетело за облака, как заходящее солнце. Есть некий эквивалент ценности.

Мы ищем, ищем, ищем, что же у нас твердое, что у нас неразменное. В сфере современного мира, макроматрицы, гуманизм является тем «золотом», которое обеспечивает все остальные виды валют.

Это и есть «солнце гуманизма». Не вера в человека, не культ человека, не то, что «человек — это звучит гордо». Это определенное сведение взглядов к концепции, что «человек есть мера всех вещей». Вещи могут быть посчитаны, потому что они измеряются человеком…

Мы с Русланом Айсиным зашли в книжный «Ходасевич», и нам на глаза попался журнал «Логос», номер, посвященный опровержению Гуссерля. Я его открываю и читаю рассуждения автора одной из статей о современном направлении, которое выражено профессором Менским в книжке «Сознание и квантовая механика», — относительно множественности миров.

Согласно этой концепции, человек проживает свою жизнь во множестве миров, но сознание мешает ему осознать свою множественность и сводит опыт проживания всех миров к одной точке, что он в одном мире сидит.

Мальчик ест мороженое в *этом* мире. Но оказывается, что он ест мороженое во всех мирах. Просто его сознание мешает ему это увидеть, он переживает только здесь и теперь. Там

дальше выход в квантовую механику, и мальчик, который ест мороженое, является этой мерой, мерой всех вещей. И его гештальт, его опыт, коррелируемость его опыта с опытом его родителей, которые ему купили это мороженое, с опытом мороженщицы, которая ему его продала, — все в сумме является физико-математическим обоснованием макро-вселенной во всех её измерениях.

Это и есть чистый гуманизм.

Я с 12 лет искал платформы и ключи к антигуманизму — к дешифровке ценностной системы, чтобы её сломать. Потому что я понимал, что это темница для духа. Дальше идут более сложные навороты.

Когда ты покидаешь камеру, ты выбегаешь в коридор, и там тебя встречают вертухаи с резиновыми палками, дальше идут какие-то переходы, внешняя охрана, вышки с пулеметами. Это уже религия, это уже метафизика, это уже интерпретации твоего непосредственного здесь-присутствия — «я ем мороженое» — на дальних подступах, где ты заключен в представление о духе, которое является гибелью духа, антидухом.

Освобождение духа начинается с точки антигуманизма. На этом пути ты сталкиваешься с человеческими ожиданиями, чаяниями, установками. Люди же запрограммированы. Тема эйфории каждой клетки существа имеет отношение к тому самому «золоту».

Допустим, приезжает ко мне врач. Он использует абсолютно технические средства: облучает, даёт антибиотики, невероятные вещества через капельницу. Это одна половина. Закройщик режет ткань для костюма. Он зачем режет ткань? Чтобы был красивый костюм! Все эти вещи представляют эстетический выход, эстетический «костюм». В случае врача эстетический выход служит позитивному тренду на уровне клеточной биологии.

Чем отличается человек от камня?

Камень со временем разрушается, а биос с течением времени воспроизводится, потому что в нем нарушено второе начало термодинамики. Он выдаёт больше, чем потребляет.

Он съел бутерброд и выдал столько, как будто съел целый вагон еды.

Законы перевернуты.

В итоге мы понимаем, что жизнь — это восходящий магический вектор. Человек ему служит. Это «золото», которым люди расплачиваются. Бытие должно иметь в себе некий «золотой эквивалент», оно его и имеет.

Человеческий социум — тень Сатаны на земле, его непосредственная проекция. Поэтому во всех наших авраамических текстах сказано, что Всевышний попустил Сатане до Судного дня, до последней битвы действовать и соблазнять человека. Заговор Системы против обычных человеческих существ протекает на сверхчеловеческом уровне. Не три обычных человека, которые пытаются договориться, но тут же начинают наступать на шнурки, кидаться подушками, пирожными, а гораздо более высокий уровень, чем человеческий. Подразумеваются люди, организованные выше, чем средний обыватель, который ходит по улицам. Элит много. Есть один тип «избранных», другой. А есть малый отряд избранных, который противостоит мировому злу.

*Ислам антигуманистичен*. По исламу человек является противником Бога. «Мы сотворили его из капли, а он враждебен определенно». Человек называется явным оппонентом Всевышнего. Там, где кончается человек, начинается Бог, и наоборот: там, где начинается человек, кончается Бог.

Если ты верующий человек, то прежде всего ты должен вести борьбу с человеком как с неким гештальтом, как с данностью. С человеком в целом. С общечеловеческими ценностями. Ты должен вести борьбу со всем этим.

# Евреи

С чем я всегда соглашался в еврейском взгляде на мир, так это с точкой зрения по поводу гоев. Да, я считаю, что люди, не связанные духовными узами с Авраамом, представляют собой мусор.

При этом связь «по крови» — эксклюзивная связь.

Я не считаю, что есть народы, которые непосредственно происходят от Авраама. Только пророки и их родственники. Все остальные люди — обезьяны, примыкающие к посланию Авраама на виртуальном уровне. Они следуют за пророками, они усваивают дискурс, и благодаря этому в них оживает потенция получения божьей искры. Эту потенцию они могут развить, а могут и не развить.

Но если духовной линии, связанной с авраамической реальностью, нет, то эти люди являются просто страшными обезьянами, джиннами, шайтанами, которые никакой самостоятельной ценности не представляют. Более того, они враждебны Духу.

Евреи приписывают себе некую эксклюзивность, на которую они не имеют оснований, потому что большинство современных евреев не имеет отношения к авраамической традиции.

Самое интересное в евреях даже не то, что они ненавидят гоев.

«Тиккун олам», «исправлять мир» — один из главных тезисов каббалы. Как раз это имел ввиду Маркс, когда говорил, что «многие философы пытались понять мир, а дело состоит в том, чтобы его исправить».

Но гораздо более интересным, чем еврейское отношение к жизни, является ощущение глубокого инфернального падения при рождении *сюда*.

У Багрицкого есть потрясающее стихотворение под названием «Происхождение». Я считаю, что это его главное стихотворение.

Но в сумраке старея,

Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

В этом стихотворении рисуется чудовищный мир, полный негатива, полный инфернальности.

Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

Страшные строки, выражающие одну из наиболее острых черт еврейского менталитета — брезгливый негатив к миру. Отсюда проявляется интересная воля исправить его, преобразить из дерьма в золото: был сортир, выгребная яма, а мы сделаем из неё дворец.

Отсюда такая кропотливая работа. К сожалению, в 99% случаев она выражается в сосредоточении на материальном преображении — собрании ресурсов, накоплении ресурсов, чтобы вырваться из ситуации, подняться над общей ситуацией, быть независимым от нее.

Но поскольку еврей является оппозиционером внутри этого мира, он не может его контролировать и не может быть его хозяином. Поэтому еврей всегда является посредником. Он является посредником между политиками, между королями, между государствами, партиями, церквями. Всюду, куда ты ни посмотришь, ты находишь еврея, который является посредником и решает вопросы.

Как сказал Аркадий Шварцер, в какую бы лабораторию ты ни взглянул, во главе неё стоит Остап Бендер. Шварцер говорил мне: «Почему же меня не берут в мировое правительство? Ведь я же чистый еврей!» А в какой-то момент сказал: «Я понял! Меня уже взяли, просто я об этом не знал».

Это серьезная проблема, потому что она не даёт возможности еврею продуктивно осуществлять его задачу «тиккун улам».

К примеру, он революционер, он входит в клинч с установленным порядком, но через некоторое время оказывается, что он революционер какой-то не такой.

Изя Шамир[261] пересказал мне интересное наблюдение профессора из Еврейского университета в Иерусалиме.

Евреи не левые по своей сути, евреи — правые, более того — евреи близки к фашизму. Но в те времена, когда они вышли из гетто после Наполеона и началась эпоха Хаскала (еврейское Просвещение в XVIII веке), когда они начали секуляризоваться и цивилизоваться, стоять на стороне правых означало быть за церковь, короля, феодалов, то есть за то омерзительное и страшное, что враждебно и неприемлемо для евреев. У них не было другого выбора, кроме как пойти налево, — к Марксу, Гейне, Мозесу. А когда правая сторона секуляризовалась и перестала ассоциироваться с церковью и королём, евреи пошли направо. И они стали очень крутыми фашистами. Их было полно в среде крайне правых во Франции и в Германии.

Вообще, для еврея более естественно быть крайне правым, чем крайне левым, если не считать специфический тип вроде Бори Кагарлицкого, книжного начётчика-марксиста.

Есть разные типы.

Но между марксистом Борей Кагарлицким и каким-нибудь правым фашистом Авигдором Эскиным всегда будет общее взаимопонимание, потому что и тот и другой главным своим предметом будут считать их общее выживание и защиту.

---

[261] Исраэль Шамир (род. 1947) — российско-израильский писатель, переводчик и публицист антисионистской направленности. Православный христианин. Печатался также под именами Исраэль Адам Шамир и Роберт Давид. Критики Шамира обвиняют его в антисемитизме и называют «евреем-самоненавистником».

Евреи сделали огромную ошибку. В конфликте ислама и Запада они встали на сторону Запада, хотя ислам защищал евреев от Запада в течение 1000 лет. Принято считать, что выбор сделан из-за государства Израиль. Однако государство Израиль является разменной монетой в руках Запада.

Поэтому евреи не руководят своей судьбой, а являются инструментом римского, англо-саксонского мира. Сегодняшний Израиль — карикатурная копия Иерусалимского королевства, основанного герцогом Бульонским, Плантагенетами — фланг Запада на Ближнем Востоке под видом еврейства.

Всё хитро оформлено, сопряжено с холокостом, Второй мировой войной, и очень ловко подано. Следует приплюсовать к этому коллективный идиотизм западного человечка, являющегося барашком на лугу.

## Мыслить смерть!

В свое время на меня произвел огромное впечатление рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Я этого автора не люблю, но у него есть сильная и достаточно редкая черта: минимальное человеческое понимание. Немногие писатели могут отметить в себе эту черту. Это очень ясное отрефлексированное понимание того, что смерть упраздняет все ценности жизни.

Иван Ильич лежит, а смерть надвигается как упраздняющая, страшная лавина, как черная дыра, которая засасывает. Что же может быть барьером против смерти? Анненская лента? Станислав с мечами? Повышение по службе? Личная благосклонность государя императора? Перебирая последовательно целый набор каких-то «няшек», в итоге Иван Ильич понимает, что все — чушь, иллюзия. Смерть — единственная реальность. И это понимание его заполняет. Он думает о семье, о прожитых годах, супружестве, любви. Думает о детях, внуках, своем имени, и понимает, что все — чушь.

В этом рассказе рефлексия смерти выражена гениально. Потрясающая вещь, и понятно, что Лев Николаевич весь жил в этой теме. И он стоит особняком среди всех русских писателей. Его всегда сравнивают с Достоевским, но у Достоевского нет этого минимального человеческого понимания. Он избегает темы, что «смерть отменяет все». У него Иван с клейкими листочками, и никто не хочет умирать, — смерть приходит всегда неким внешним образом. Смердяков убил Федора Павловича, Раскольников убил старушку. Потом проблема Раскольникова решается через чтение Евангелия вместе с Соней по вечерам — уже на каторге.

Федор Михайлович делает все что угодно, чтобы не превратиться в Ивана Ильича и не разобрать эту тему, — до тех пор, пока простуда на открытии памятника Пушкину его самого не «прикадрила».

Мне интересно, вот когда он ясно начал понимать, что это — всё, что второго «момента славы» уже не будет? Как вот он переживал свою ситуацию, насколько он был в сознании?

Смерть Достоевского — очень интересный момент. Со смертью Льва Николаевича всё понятно. Лев Николаевич весь — в теме смерти, он посвятил всю свою жизнь смерти, борьбе с ней, бегству от неё, заклинанию смерти. Действовал неправильно. Написал какую-то альтернативу Евангелию. В общем, ерундой занимался. Потом бежал.

Это же классический пример, когда человек из Басры бежал от смерти в Багдад и встретил смерть на базаре, которая сказала: «Я как раз за тобой собиралась в Басру, а ты на встречу ко мне пришёл». Лев Николаевич полностью повторяет эту модель.

А вот как же с Достоевским?

Достоевский четко не проявлял этого минимального человеческого понимания. Напротив, он подобно умирающему Ивану Ильичу, всю жизнь выставлял какие-то «заглушки», — так, по-моему, Галковский это называет: цензурные громоотводы, стеночки между собой и правдой.

Интересно, кто реально имеет минимальное человеческое понимание из русских писателей? Лермонтов? Не очевидно. Платонов? Может быть, в поэзии это немного ярче проявляется, когда люди подступают и не перешагивают через какой-то барьер. Я думаю, что мучительно минимальное человеческое понимание имел Брюсов, потому что он постоянно возвращается к тому, что «я жил, прошел как тень, и умер». Просто он бездарный человек, и он не может это выразить так, чтобы проняло до корней, до дрожи. Постоянно «Улица мела как море, толпы проходили…» — все пафосно, красиво. Но ощущение финала у Брюсова жило.

Гумилёв — конечно особая фигура. Гумилев сказал, что «лучше слепое ничто, чем золотое вчера». Эта декларация делает его абсолютно великим человеком, который как романтик является просто несравненным поэтом. «Лучше слепое ничто, чем золотое вчера» — это контрромантизм, потому что романтизм построен на том, что «лучше золотое

вчера, чем слепое ничто». Или золотое завтра, или послезавтра, или золотое нигде. А этот человек говорит, что лучше слепое ничто.

При этом он же говорит: «Я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть»[262]. И он тем самым свидетельствует, что он не взял барьер минимального человеческого понимания, потому что тут же вопрос такой: если ты думаешь, что твоя великая мысль является защитой от смерти, что ты её носитель, что твоя мысль — «противотанковый ров» против смерти, то ты дурак. Человек страстно думал о смерти…

Да, великая мысль должна быть о смерти, но не так что вот «Я, носитель мысли великой, не могу, не могу умереть», а так, что эта великая мысль и вбирает в себя смерть. Ты должен думать смерть! Думать смерть. Смерть должна открыться как истинное существо твоего сознания. Это уже следующий момент за минимальным человеческим пониманием.

Когда человек, как Иван Ильич, уже дошел до конца и испытал полное совлечение с себя всех «цацок», которые оказались бессмысленными, он уперся в черную дыру.

И возникает вопрос: остаться с этой черной дырой как негативом, который тебя разрушил, перечеркнул, и ты капитулировал и сдох прежде смерти? Либо искать следующий шаг: а что после минимального человеческого понимания? Минимальное человеческое понимание — это что «цацки» все сожжены и выброшены в мусорное ведро. И что же дальше? Какой будет следующая ступенька — чуть-чуть побольше, чем минимальное человеческое понимание?

Тогда оказывается, что это ход к великой мысли, которая должна быть именно *мыслью не о смерти, а мышлением самой смерти*.

Надо мыслить саму смерть, рисовать смерть.

Ради чего, допустим, все художники барокко рисовали скелеты? Они пытались мыслить смерть. Они все время рисовали красивых дам с пышной грудью, которых сзади

---

[262] «Наступление» Николая Гумилева, 1914.

обнимает скелет и заглядывает ей через плечо. Рыцарь, а рядом с ним смерть с косой. Короли и епископы, а среди них скелеты.

Хочу рассказать об одном своем опыте, который меня до сих пор преследует. Когда мне было лет десять, а может девять, я читал «Дэвида Копперфильда». Очень долго читал — книжка толстая. Был дождливый день, и она как-то у меня связывается с этим днем и с последующими. Мама потянула меня в большую прогулку, где она встречалась с какой-то своей подругой. Прогулка заключалась в том, что в этот дождливый пасмурный осенний день мы почему-то пошли в ГУМ, и по этому ГУМу она меня таскала.

Мы встретили эту мамину подругу, — она была в сером плаще типа пыльника или макинтоша–дождевика, из ткани не прорезиненной, но воду не пропускающей. Ну, плащ, плащевка. И вдруг я увидел у нее на груди, в том месте, где должно быть сердце, такое красноватое пятно, как если бы на материи полежал кусок сырого мяса. Неприятное красновато-коричневатое пятно. Вот у нее на груди проступало такое пятно, и я понял, что это пятно проступает от сердца, которое тут лежало, — её сердца, которое лежало на этом макинтоше.

Когда я посмотрел вокруг, я увидел, что половина людей — в серых макинтошах, и у всех у них проступает это пятно на месте сердца.

Я испытывал дикую жуть и тоску между двумя этими женщинами — мамой и её подругой. Я смотрел на прохожих, и все, кто шли нам на встречу, имели это сырое пятно на месте сердца.

Думаю, что это было очень близко к опыту, зафиксированному художниками барокко: скелеты, проступающие сквозь тела. Видение тленности и реальной могилы, но не в отстраненном, рефлектирующем, дискурсивном виде, а непосредственное переживание того, что вокруг меня живые трупы с кляксами на плащах.

Бабушка любила меня водить в музеи. Пару лет каждое воскресение мы намыливались куда-нибудь в музей. Таким образом она хотела меня «развить». Мы обходили по

телефонной книге все мыслимые музеи, существовавшие в Москве, включая Музей пограничных войск, КГБ, Музей Дарвина, Зоологический музей, Музей палеонтологии. И конечно же Пушкинский.

И вот однажды в Пушкинском проходила выставка народного мексиканского искусства. Мы пошли, и там вообще ничего не было, кроме черепов и скелетов. Черепа величиной с собачью конуру, с хороший обеденный стол, были и крошечные черепа, которые можно было вставить в оправу кольца. Танцующие скелетики величиной в половину спички, громадные скелеты выше двух метров, скелеты, украшенные разноцветными камнями, покрытые эмалью, — самые разнообразные скелеты. Черепа с россыпью узоров, блестящих и сверкающих.

Бабушка была в шоке: она же шла на «народное искусство». Может, она ждала какие-то вышитые ацтекские рубахи. Не знаю, что она могла себе представлять. Но когда она увидела повсюду черепа и скелеты, она опешила. Только ходила из зала в зал и приговаривала: «И это народное искусство?! Ничего себе…».

А я был в полном кайфе, мне эти черепа ужасно нравились. Черепа, скелеты…

Я понял, что самое близкое, что может быть, — это народное мексиканское искусство, эта зацикленность на смерти. Она встретилась с чем-то очень глубинным во мне. Я же очень рано был направлен на созерцание смерти через освоение и усвоение ее в себе.

Я читал писателей, которые, как я знал, уже умерли, — как они остро писали о смерти. Человек пишет о смерти, осваивает эту территорию, думает о том, что чувствует в момент смерти какой-то его герой. Но не такими пустыми словами типа «пиф-паф — и он умер», а именно изнутри.

Например, как Тургенев писал о смерти Базарова: полутона, полумеры, но всё же некая попытка. А потом ведь он сам умер. И вот интересно, а как повлияло на него то, что он вступил со смертью в интеллектуальный контакт, описывая

ее. Сначала пытался ее пережить, а потом по-настоящему умер. Ведь все равно же умер.

У Майринка есть замечательный рассказ «Vivo». Герой обнаруживает могилы с надписью «Vivo» — «Я живу» по латыни — неувядающими буквами. У людей, решивших вопрос со своей смертью, написано «Vivo».

Не буду рассказывать, что там этому предшествует, как он вышел на это и как стал замечать эти могилы, разбросанные по разным кладбищам. Но меня преследовал после Майринка тезис, который Майринк не говорил, наверное. И я доставал всех этим мрачно произносимым слоганом «Кто умер, тот никогда не жил». На некоторых это произвело сильное впечатление. Я ведь говорил не в оптимистическом ключе. Кто-то понимал в оптимистическом: мол мы не умрем, поэтому мы живём. А я понимал в другом ключе: мы уже не живем, потому что мы умрем, уже умерли. Но и то и другое достаточно скромная преамбула к более серьезной постановке вопроса.

Серьезная постановка вопроса заключается в том, что человек должен пройти опыт Ивана Ильича, пока не поздно, и потом оставить все, что его мучит, — разрыв с любимым, подвели друзья, какие-то проблемы с детьми, с социальной адаптацией. Все это надо поверять могилой. Потому что люди, горевшие страстями, изменами, любовями, эгоизмом, борьбой с эгоизмом близких, скандалами, — всеми этими людьми полны кладбища, и они там лежат и очень тихо бормочут после всех этих страстей.

Нужно сконцентрироваться и подумать о том, что отменяется? Отменяется все. Тогда, собственно, что не отменяется? Не отменяется лишь усвоение себе негативной эссенции, негативной страшной эссенции Невозможного.

Ведь смерть — это не небытие. Небытие — это просто отмена вещи, которая сама по себе всегда в себе несет Возможность Не Быть.

Есть чашка. У нее есть возможность быть конкретно самой собой, и тут же параллельно для неё есть возможность не быть, и эта возможность рано или поздно реализуется. Эта

возможность реализуется с чашкой, с кошкой, с воробьем, с планетой Земля. Возможность не быть применима к объекту, к феномену, а смерть — гораздо более страшный момент. Это не небытие.

Смерть — это соединение твоего воспринимающего центра с его принципиальным источником, который называется Невозможное. Невозможное находится по ту сторону ассоциаций, описаний. Это то, что называется «страшно впасть в руки Бога живого», потому что Живой Бог в реальной мысли Всевышнего о Самом Себе, где это размышление, так сказать, занимает центральную позицию, это размышление и есть Невозможное.

Отблеск *оттуда* составляет существо нашего здесь-присутствия.

Наше воспринимающее «Я» — центр, который в момент смерти возвращается в Невозможное. Тут даже общей меры нет по сравнению с небытием, потому что в могиле нас не то что нет, как нет камня, который просто отсутствует внутри себя, как клякса, в могиле нас ждет именно Невозможное.

Именно в этом активный ужас, который люди пытаются выразить и не могут. Они говорят про ангелов, могильные мучения и пытаются каким-то образом коснуться Невозможного. Но проблема в том, что это Невозможное находится в нас при жизни, но мы его не видим, как глаз себя не видит. Чтобы глаз сам себя увидел, нужно посмотреть в зеркало.

Каждый человек испытал в своей жизни шок от неожиданности. Например, когда его кто-то в темной комнате напугал, или он дверь открывает, и там кто-то стоит. Выброс адреналина на долю секунды повергает человека в острый шок.

С чем он сталкивается? Он сталкивается с Другим. Тут вопрос неожиданности. Он сталкивается с Другим, а Другой — это именно истинный Бог, который есть Невозможное, внезапно объявившееся перед тобой. Если продлить этот шок хотя бы в два раза, человек умрет. Он и так-то после такой встряски некоторое время будет приходить в себя.

Я пришел к выводу, что эссенция ощущения шока, ужаса — та же самая, которую испытывает человек, когда он будет воскрешен и войдет в Рай. Шок адреналинового удара, после которого трясутся руки, будет в абсолютно чистом концентрированном виде питься как напиток, будет являться полнотой тотального переживания воскресшего Я. Только он будет не этим ударом ужаса, а абсолютным наркотическим переживанием эйфории, он будет преобразован из минуса в плюс.

То, что называется буддистами «сатори», и есть продленное ощущение от шока испуга, но в разбавленном виде, которое человек может выносить более чем долю секунды. Скажем, если испуг от неожиданного столкновения с кем-то взять за 100%, то сатори будет состоянием, разбавленным до 5% раствора.

Будущие наши воскресшие души — вернее, наши тела с нашими душами после Суда, если мы войдем в Рай, — будут испытывать несравненно нечто более концентрированное, чем чистый шок от испуга, — вот эссенция Невозможного, которая станет родной, которая станет нам сиять, как Черное солнце.

Уже сейчас мы можем, думая смерть, заставить ее светиться черным сиянием, чтобы она уже сейчас была для нас солнцем. И она будет нам сиять и в могиле, по ту сторону восприятия.

Это не значит, что мы будем это воспринимать. Но мы уйдем в могилу зная, что сделали это. Что в последний момент мы трансформировали ночь в черное пламя.

На мусульманах лежит печать правильного подхода, потому что черная энергия шахады действует независимо от того, понимает ли это человек или не понимает.

Вот он искренне сказал «Ля иляха илля Ллах, Ашхаду алля иляха илля-ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллахи». Вот он это сказал и вступил с этим во взаимодействие. Конечно, он не думает еще смерть, — он не думает смерть, но он высказал мысль, которая думает смерть и думает ее словами. Словами не его — словами шахады,

божественными словами. Он не думает смерть, но он к ней примкнул, и она теперь управляет в известной степени его существом, она снимет его проблемы, но у него минимальное человеческое понимание уже авансом появилось. Дальше ему скажут, что есть «ближняя жизнь» и есть «дальняя жизнь», что «мы здесь странники». Ну, это обычное дело.

Иван Ильич тоже это все понимал — и про странников, и про то, что все это ничего не стоит. Он же, наверное, и какие-то проповеди слушал, считался религиозным человеком. Но оказалось, что пока его не прихватило, он был твердо уверен, что Станислав с мечами — это ценность.

Мусульманам проще.

Через шахаду для них проблема «Станислава с мечами» или его эквивалента в мусульманском поле уже снята. Дальше уже все зависит от человека — для кого-то больше снята, для кого-то меньше. Главное, что мысль, которая думает саму себя как смерть, идеальным образом воплощена именно в шахаде.

Нет божества, но есть Аллах. Не так, как это обычно переводится: «нет бога (с маленькой буквы), кроме Бога (с большой)». А именно нет божества, но есть Аллах. «Есть» в данном случае — это тоже введенная в русском переводе часть. Если совсем уже буквально переводить, то получится — «нет божества, но — Аллах». Так будет правильнее.

Это противопоставление, что божества нет, но за пределами абсолютно всего, что может быть помыслено, спроецировано или чаяно, за пределами всего этого — Аллах, который и есть Невозможное. Но это то Невозможное, рабом и посланником которого является Мухаммад, который нам известен. У нас есть Сира и у нас есть принесенный им Коран, который и есть та часть здесь-присутствия этого Невозможного, которое сделало себя Возможным, явило себя.

В Коране Всевышний присутствует как слово Божие, как Логос, физически воплощенный среди нас. Это и есть «кусок Бога» *здесь*. Нам открыто его «Я».

А то, что осталось там, в ночи, — это сама ночь, это Он, отсутствующее третье лицо. Поэтому мусульманам в этом отношении проще.

Все люди находятся под давлением финализма, и они ходят вокруг этой проблемы, палочкой трогают, иголочкой. Получают какие-то электрические разряды.

Много лет назад, размышляя о себе, я думал, что культура — это когда на полке стоит Альберт Швейцер, «Майн Кампф», «Так говорил Заратустра», «Бесы», какая-нибудь «Наука логики». Они все стоят на одной полке. Там стоят как книжки о любви к человечеству, так и книжки, которые были запрещены как пощечина человечеству. Лотреамон и сказки братьев Гримм — все это культура.

И эта полка — это конечно ужас, потому что одно перечеркивает другое.

Ницше писал: «Заратустра не учитель их»[263], — а его берут и ставят на полку рядом с Альбертом Швейцером, с которым бы он и «на одном гектаре не сел».

И я думал, в чем же для меня планка, которую должен взять, и я думал наивно, что нужно написать такую книгу, которую никогда не поставят на полку, — по крайней мере рядом с Альбертом Швейцером. А лучше вообще никогда не поставят на полку.

Я понимаю, что это невозможно, потому что культуру только пистолетом можно победить. Известный деятель III Рейха постоянно хватался за пистолет, когда слышал слово «культура». Когда мы думаем о культуре как о гробе, в котором похоронены, как в общей могиле, души всех страждущих, то мы понимаем, почему он хватался за пистолет. И мы разделяем его возмущение.

Любая культура есть хождение вокруг да около подлинного — того, с чем культура не может справиться, вступить в реальный контакт, — поэтому она и превращает это в культуру. Культура есть уже форма отчуждения, упразднение реального, уникального и превращения всего в книжку с картинками.

---

[263] «Такая пища, конечно, не для детей и не для томных женщин, молодых и старых. Нужны иные средства, чтобы убедить их нутро; я не врач и не учитель их.» Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Ч. 4, «Пробуждение».

Культура, или субкультура каких-нибудь «готов», не решает вопрос Ивана Ильича. Как только человек добивается эстетически или каким-то ходом, что смерть исключена, упоминание о ней исключено каким-то жестом, хохотком, анекдотцем, куском селедочки с рюмкой водки, — и тут же он пошляк, и пошлость торжествует.

Что «смерти нет» — это чистая пошлость.

Пошлость в своей сути — исключение идеи смерти из экзистенциального присутствия.

Добрые дела и пахота на ниве гуманитарного возделывания ничего не меняют. Это всё форма эскапизма, форма самообмана.

Человек, к которому подступает смерть, должен это встречать и бороться с этим наедине, — вот как Кася[264], например. А когда он это выносит в коллектив, в субкультуру, — это форма эскапизма. Большинство двенадцатилетних отличается от такого образа. И в мое время двенадцатилетние не ходили в черном и не думали о смерти. В некоем мыслимом черном ходил я. С небольшими серебряными молниями. А больше я никого не знал.

Череп на письменном столе — форма эскапизма, форма самообмана, попытка приручить смерть, но не внутренним образом мыслить смерть, а экстравертным образом, внешним образом, сделав ее предметом эстетики, любования.

Уверяю вас, когда реальная смерть начнет последовательно охватывать своим холодом члены этого человека, и он как бы внезапно ощутит разверстую, притягательную бездну могилы, то он поймет, что зря он терял время, играясь в черепа, — это ему не помогает. Как Станислав с мечами. Что Станислав, что череп на письменном столе — не помогают. Все отменяется. И все эти игры говорят о том, что рубеж минимального человеческого понимания не перейден.

Когда над Достоевским ломали шпагу, он сам сломался.

---

[264] Каусар, дочь Джемаля.

Он зверски полюбил жизнь. Он же написал про клейкие листочки, и высказал свою позицию словами Ивана. Иван — его альтер-эго. Не Митя же, и не Алеша тем более. Он — Иван, и он рассказывает свой опыт из-под расстрела с завязанными глазами, когда он от имени Ивана пишет, что хотелось бы целую вечность стоять в ночи на одном квадратном метре, прикованным к скале как Прометей. Лишь бы жить. Пусть вокруг будет кромешная ночь, но только бы жить и никогда не умирать.

Мною такое желание снято и трансформировано в другое — в мысль о смерти, которая вбирает в себя абсолютную жажду жизни. Абсолютная жажда жизни без этой «соли», без мысли о смерти, настоящее «мышление смерти» не получится, как суп без соли.

Жизнелюбы-бытийщики, лехаим — абсолютно противоположный мне полюс.

Я прошел через ненависть к смерти как некое внешнее отрицание меня, которое потом преобразовалось в понимание смерти как истинную сущность меня.

Жажда бессмертия и ненависть к смерти — два маленьких писка, которые сняты и трансформированы в суть молчания, в тайну молчания…

# Не играть в чужие игры

Для меня актуальной темой, темой моей биографии и — хотя это вопрос политики и истории — моей философии является моё отношение к советскому феномену. Советский Союз был для меня абсолютно неприемлемой реальностью — сам советский дух.

Я впервые пришел к ощущению, что всё это ненавижу, в очень раннем детстве. Это было связано с тем, что я пережил советское как женское.

Хрущевское время, мне девять лет, 1956 год. По радио говорили «мир», проклятье войне», «мирное сосуществование»… Вдруг я понял, что именно здесь концентрируется моя ненависть. Я, маленький мальчик, по глубочайшему интуитивному выбору пришел к тому, что насилие — это духовно, а жажда мира — это подлая специфика раба.

Рабское состояние эксплицитно отражено в женщине, женщина — враг мужчины. Наиболее проявленное в мужчине состояние женственности — это состояние раба. Мужчина как раб — это мужчина, который повержен, принужден, кастрирован. Дискурс, который вела советская пропаганда, я воспринимал именно как «кастрационный» дискурс, женский дискурс. Для меня это сразу четко оформилось.

Я выбрал в качестве своего поводыря на тот момент Гераклита — за то что он сказал: «Вражда — отец вещей»[265]. Эта фраза стала фундаментальным слоганом, которым я руководствовался. Она привела меня, неопытного еще мальчика, к социал-дарвинизму, к поверхностному ницшеанству.

---

[265] Гераклит (родился около 544 года до н. э. — умер около 483) — древнегреческий философ, создатель первой исторической или первоначальной формы диалектики. По Гераклиту, главный закон мироздания — борьба, конфликт. «Война — отец всех, царь всех». «Вражда — обычный порядок вещей, и ... всё возникает через вражду».

Между 9 и 12 годами я исповедовал культ насилия, жестокости, войны, господства, ненависти к человеческим поискам комфорта и женскому культу безопасности. Все качества, которые мною философски отторгались, воплотились для меня в феномене советской реальности, — реальности рабской, женственной.

Я ведь поначалу принимал дискурс о мирном сосуществовании как аутентичный: то есть действительно верил, что они все там у себя искренне борются за мир. Как в одной песне Головина есть строчка — «обожал он сражаться за мир». Сегодня, правда, принято считать, что это была пропаганда, «разводка» агрессивной советской империей западного человечества.

Но я и по сей день полагаю, что мирное существование — реальная подоплека и психологии, и гештальта кремлевских старцев. Хрущев, Маленков и другие реально были «заточены» на конвергенцию, мирное существование, на всяческий позитив, на хозяйственность. Стоит вспомнить лысого Никиту Сергеевича в вышиванке с кукурузой в руках, как всё об этом человеке становится понятно. Больше всего на свете эти люди боялись реальной конфронтации, реального взятия на излом с их ситуацией, и хотели бы продолжать вот такое свое существование.

Как говорит Гегель, господин и раб отличаются тем, что господин идет навстречу смерти, а раб хочет от нее убежать.

Советский Союз страшно не любил тему финала и злился, когда Мао говорил, что ядерная война, ядерная бомба — бумажный тигр, а половина человечества — нормальная плата за коммунистическое будущее. Позднее, при Рейгане, полагали, что «есть вещи поважнее, чем мир», и это в Совке вызывало истерику.

Советские были рабами и кончили коллапсом, как рабы, вставанием на те колени, с которых они непрерывно до сих пор встают, скользят и падают на лёд, как гуси.

Советский Союз был для меня предметом абсолютного отрицания. Но он кончился в 1991 году, а с 1989 по 1993 год у меня был период переосмысления и оценки. Раньше я не

хотел разбираться в том, что в Советском Союзе есть какие-то этапы, аспекты, история, подистория. Что есть троцкизм, который ставил перед собой совершенно другие задачи. Что между Хрущевым с кукурузой и пламенным Львом Давыдовичем лежит пропасть. Я не хотел в это вникать. Отрицал полностью, хотя изучал марксизм, марксистскую диалектику, читал «Капитал» с седьмого класса. Первый том «Капитала» я прочёл в 14 лет с карандашом в руках. Не только прочел, но и понял — по крайней мере большую его часть.

Я читал и видел, что это гениальный текст, что там колоссальным образом сконцентрирована логика, метод описания действительности — очень качественный и обладающий генеративной способностью. Он порождает политику, политическую реальность. Она, конечно, может быть сниженной, может быть совершенно другой, проэволюционировавшей в иную сторону, но в ядре «Капитала» мысль восхищала своей плодотворной напряженностью и ясностью. «К критике гегелевской философии права» и «Немецкую идеологию» я тоже читал. Некоторые фразы стали моими личными мемами. Например — «Мы решили предоставить эту рукопись грызущей критике мышей», — пишут Маркс и Энгельс по поводу черновика «Немецкой идеологии».

Но это — теоретический уровень. На практическом уровне вокруг меня был Совок, и этот Совок мною отрицался.

В 1993 году произошел финал — расстрел Белого дома.

И я увидел, что в Совке наличествовал диалектический процесс, который и привел к капитуляции, к тому, что я ненавидел, — к женской жажде выживания, к женской ненависти к насилию, женскому неприятию огня, который жжёт и разрушает плоть, к женскому бегству от смерти. Это приводит к капитуляции, к рабству, к вставанию на колени, — что и закончилось поражением в холодной войне.

И мне даже совестно признаться, но мне не понравилось быть гражданином страны, которая является страной третьего сорта.

Ненавидя советскую власть, я тем не менее чувствовал себя нормально, будучи, условно говоря, гражданином сверхдержавы. Ненавидел её, отрицал её, — я был «антицезарист в Римской Империи». Наверное, такое состояние и Владимир Ильич испытывал, потому что по некоторым моментам можно понять, что Ленин болезненно относился к каким-то ущемлениям страны.

Когда оказалось, что Россия стоит на коленях, я стал думать, что есть динамика такая, которая от понтов по поводу мировой революции привела к жалкой позе на четвереньках. И вынужден был углубиться в тему. Я стал различать ленинизм и сталинизм, я увидел сталинизм, как его описывал Троцкий: как термидор, как контрреволюцию.

Тут сложный момент, потому что, с одной стороны, я ощущал себя как радикал и революционер, противостоящий status quo, а с другой стороны, внутри Совка, пока он еще не рухнул, я находился на крайне правой позиции. Но крайне правые экстремистские позиции в своем пределе лучше всего выражены Юлиусом Эволой, Геноном — той моделью, которая в конечном этапе является абсолютизацией status quo, абсолютизацией общественной пирамиды. В основе этой пирамиды — принцип иерархии, принцип господства, но диалектически это связано с тем, что подлежит отрицанию, потому что в нем абсолютно подавлен, заглушен и уничтожен момент трансцендирования.

Традиционалистский идеал — платонический абсолютизм, изощренный сложный пантеизм, абсолютная западная философия тождества.

Пантеизм ведь сложен.

Есть пантеизм Платона, но и «Диалектика природы» Энгельса — тоже пантеизм. Самое главное, что пантеизм не предполагает нечто, выходящее за пределы бесконечности, которая дана *здесь и теперь*. Эту бесконечность можно рассматривать как чисто спиритуальный Абсолют, а можно рассматривать как материю, субстанцию. И там и там в основе лежит субстанциональность, которая, как море разливанное, нигде и никогда не кончается. Спиноза был пантеист, но с

установкой, что «Бог есть Природа». А на другом конце мы находим крайне изощренные, разреженные формы. Какая разница?

Когда я для себя открыл, что диалектический материализм является скрытой формой мистицизма, многое поменялось в моей оптике.

Генон-то забивал мне башку тем, что мир идет по инволютивному пути, что мир дегенерирует от Золотого века к Железному, что от великолепной иерархии он движется к власти шудр.

А внимательное изучение этого показало, что — нет, и, хотя какие-то внешние движения идут, ничего не меняется. Бытие реализует те возможности, которые в нем заложены изначально в его Золотом Полюсе. Именно в Золотом Полюсе есть тот омерзительный негатив, который распускается пышным цветом в его конце.

И советский режим диалектически содержит в себе полюс бунта, отрицания и вопля о неприятии — и это очень глубокая традиция.

Еще на раннем этапе я познакомился с работой Каутского по истории социализма от Платона до анабаптистов и от анабаптистов до наших дней — несколько томов, переведенных на русский язык до революции[266]. Оказалось, что тема революционного вызова красной нитью проходит через всю историю на серьезном религиозном уровне.

С другой стороны, в Совке заложен глубочайший конформизм и воля к тому чтобы кушать, к тому чтобы жить, — жить здесь, жить хорошо. Это же либеральная идея. И всё это прикрыто диктатурой пролетариата.

Какой уж там пролетариат, какая диктатура? Я видел из своего окошка во дворе пролетариат. У нас во дворе был гараж, там копошились в комбинезонах работяги, шоферюги, и бабушка запугивала меня, что я буду одним из них, если я не совершу над собой «сверхусилие». Какая там диктатура

---

[266] К. Каутский. Из истории общественных течений (история социализма). 1906 г.

пролетариата? Где мой дед — и где эти шоферюги? Его шофер Пискулин носил к нам ящики с икрой и виноградом. Этого Пискулина я никогда не воспринимал как представителя пролетариата, осуществляющего диктатуру, — даже когда я узнал, что его дети или внуки на кого-то выучились, что кто-то из них, может быть, даже стал дипломатом. Для меня это было неприятным парадоксом, что кухаркины дети кем-то стали.

Я не мог принять вызов в адрес существующего, в адрес Бытия, как связанный с социально левым, с низами, как связанный с социальной несправедливостью. Несправедливость положения раба, которого лишают свободы, не дают есть, для меня не было негативным аспектом сущего, серьезным или центральным аспектом сущего. Протест против сущего связан не с тем, что человеческая жизнь плохо устроена, а с чем-то гораздо более глубоким… с фундаментальной болью. С чем он связан, предстояло еще найти.

…Уже в начале 90-х, когда я стал различать два тренда, два потока в советском феномене и пришел к выводу, что можно еще как-то рассматривать как попутчиков Савинкова, Каляева, Сазонова, Нечаева, Троцкого, IV интернационал. Они всё же оставили определенное политическое и идеологическое наследство.

Но дальше, когда Россия стала играть с советской темой, отказавшись от советского социального пакта с населением в пользу олигархической шкурности, когда она стала лицемерно муссировать своё советское прошлое до поражения в холодной войне, пришлось пересмотреть очень много и в этом направлении. Пришлось пересмотреть что-то и в отношении революционной традиции, в красной нити вызова, которая проходила через древность, Средние века, Возрождение, пришла к Робеспьеру, к якобинцам, потом перешла к Марксу.

В какой мере это не часть игры того Бытия, которое здесь генерирует, образует систему, являющуюся воплощением Бытия на уровне человечества? Ведь мы же не

имеем прямого выхода на Бытие. У нас нет контакта с Бытием. Вместо прямого Бытия нам предъявлен социум, нечто, выступающее в качестве Рока, но в человеческом обличии, — механизмы неизбежности, осуществляемые людским аппаратом. У социума много измерений — семья, социальное положение, экономика. Всё это в сумме образует ткань неизбежности, ту органику, из которой берется коллективная судьба и индивидуальные судьбы.

Но это не Бытие, это тень Бытия.

Когда человеческий фактор встречается с реальным Бытием, то оно действует крайне деструктивно. Потому что встреча с Бытием — это как встреча бензина с огнем или сухого дерева с огнем.

Бытие действует на свои отражения, на вторичные свои проекции в виде человечества, в виде общества, как удар огня.

Поэтому контакт с Бытием сложный и опосредованный — через иерархию, аппарат власти, мистику и поповскую традицию, которая всегда является понтификатом, наведением мостов между отражением и оригиналом.

В конечном счете я понял, что Советский Союз был просто инструментом системы — не самым большим и серьезным, а вторичным. Вся революция в её пафосе, романтизме, в её молодой страсти является таким инструментом. Почему? Потому что она завязана на Бытие.

Горизонт любой революции онтологичен — он связан с Бытием, это коррекция Бытия, надежда на Бытие, взывание к Бытию, вера в потенции, которые содержатся в Бытии. Это вера в то, что Бытие есть Благо, пусть это Благо сейчас скрыто, но это Благо нужно из Бытия как-то вытащить. Это очень важно.

Я на самом раннем этапе пришел к ощущению, которое сформулировал намного позже, а именно: Бытие есть зло и Бытие есть ложь. Оно проявляется маской — не самодостаточной, но вторичной маской подлинной правды, которая совершенно негативна.

В основе псевдоутверждения, которое за пределами всякого опыта, лежит дефицитность, привационность, глубокая богооставленность. Изначально в самом фундаменте Сущего есть богооставленность как безусловная данность. Эта богооставленность прикрыта позитивной маской Бытия. Бытие существует исключительно для того, чтобы заменить, компенсировать, скрыть богооставленность как бы «богоприсутствием», при этом абсолютно фальсифицируя идею истинного Бога.

Бытие подаёт себя как бог — для всех тварей Бытие и есть бог, и тем самым Бытие есть не что иное, как абсолютный враг Бога, который выступает отсутствующим субъектом в богооставленности.

Мы здесь, в этом мире, как отражения Бытия, находимся в тени, или в проекции, которую отбрасывает лже-Бог.

Мы находимся в тени Сатаны. Общество, власть — это тень Сатаны.

Вот это ощущение было для меня врожденным, но оно раскрывалось постепенно. Сначала как ненависть к женскому, потом как ненависть к советскому как к воплощению женского. Потом мои горизонты расширялись, включая в себя и Запад. Потом и Восток. Потом это уже включало в себя человечество, глобальную систему, потом включало в себя всю историю.

И наконец пришло полное понимание того, что Бытие в целом есть золотая маска на черном тлене, — тлене, который описывает подлинное, не могущее состояться в силу того, что оно слишком огромно, слишком ускользающе, чтобы состояться. Оно не может быть предъявлено, вместо него предъявлено его отсутствие, предъявлена оставленность Сущего им.

Сущее есть пустой сосуд.

Этот сосуд сделан из золота, он расписан и украшен, может быть даже эта пустота компенсирована тем, что туда налито что-то, что не имеет никакого отношения к тому, что там должно быть. Поэтому налитое туда — это всё равно, что

пустота, более того — это хуже, чем пустота. Это то, что называется «покрывание истины ложью».

И Советский Союз был просто небольшим инструментом в играх Системы, которая в свою очередь являлась стратегическим аппаратом Сатаны, работающим, в частности, с этим миром как с одним из миров.

Но этот мир очень важен, потому что в этом мире живет человек, а человек — единственное во всех мирах создание, причастное к Святому Духу. Святой Дух — это то, что должно было бы быть в этом сосуде. Но отсутствует.

В богооставленности есть два полюса: один полюс — тлен, чистая богооставленность, ужас богооставленности. А другой полюс — то, на что богооставленность указывает. Богооставленность указывает на то, *кто* оставил, *чем* это оставлено.

Вот этот сакральный полюс — это Святой Дух, та самая точка Смысла, которая является антитезой изначальному фундаментальному злу.

И вот я пришел к выводу, что только метафизическое трансцендентное Откровение, которое есть ислам, есть Откровение Святого духа, есть единственное, к чему можно обратиться и на что можно опереться в отрицании лжи Бытия.

Многие христиане в Серебряном веке были озабочены темой Третьего завета. В последующем такие деятели, как Эшлиман, Якунин, тоже об этом говорили. Что, мол, первый Завет — это завет иудеев с Богом, второй — Завет христиан, а третьего мы ждем. Мережковский об этом писал, Розанов, — да мало ли кто еще.

Какими же они были слепцами, если не видели, что третий Завет уже состоялся — и состоялся именно в исламе! Именно это и был Завет со Святым Духом, о котором они мечтали. Более того, это прямым текстом сказано в Евангелии: «…и придёт к вам утешитель, который пребудет с вами до конца времен»[267].

---

[267] Евангелие от Иоанна, гл. 14: 16-17

Для меня стало очевидным, что ислам и есть реальный Завет со Святым Духом, который конкретно в истории ислама выступает в образе Джабраила, принесшего Логос, и в этом Логосе содержится непостижимая точка, превращающая пепел и тлен вкуса богооставленности в абсолютное утверждение, в бальзам и вино трансцендентной правды, ускользающей от опыта, ускользающей от восприятия. Именно это является той вервью Всевышнего, за которую надо держаться.

Мне стало очень многое понятно. И я поставил перед собой вопрос: а можно ли использовать попутчиков? Где стратегия Духа?

Ясно, что исторический ислам — это стратегия Святого Духа в его борьбе с Бытием, в его борьбе с человечеством как с тенью Бытия. Но стратегия — это же методология борьбы. А какие можно использовать методы, если мы живем в конкретной ситуации? Мы же вброшены в мир.

Например, можно ли бороться, будучи мусульманином, радикалом, выступающим против Бытия, с конкретным проявлением системы в данном месте и в данное время, будучи национал-социалистом? Надеть чёрный мундир с серебряными молниями, сражаться за Райх, но имея в виду исламскую идею. Или, например, стать красноармейцем, махновцем, национал-социалистом, национал-сепаратистом, левым радикалом, марксистом. Радикалы же представлены очень многообразно. У нас же есть площадка для манёвра. Мы же не можем тупо дудеть в одну дуду. Это останется непонято, приведет к сектантской изоляции.

И тут я понял одну вещь.

Как только ты становишься игроком, который соглашается на предложенные игры, как только ты делаешь попутчиками своего проекта национал-социалистов или национал-сепаратистов, левых интернационалистов и прочих, — ведь все это проекты Бытия, — ты начинаешь союзничать с теми или иными диалектически оппозитными проявлениями бытия для борьбы с Бытием.

Но частный случай не может победить целое. Ты сразу занимаешь площадку, потенциально обреченную на поражение в силу своей частности.

Условно говоря, чтобы бороться с государством, ты идёшь в криминал и становишься бандитом. Это вызов государству. Но есть ли шанс у вора или бандита победить государство? Кончено нет. И в конечном счете мы видим, что преступность сходит с благородного пути «отрицалова», становится организованной преступностью, которая превращается в одно из отделений правоохранительных органов, выполняющим грязные поручения, не подходящие для носителей погон.

Так же дело обстоит и со всем остальным.

Я понял, почему салафиты так негативно относятся к ихванам, почему в исламе существует такое предубеждение к политическим играм, которые подразумевают адаптации политических методологий Запада — партии, выборы и всё подобное. За такими инициативами стоит оправдательная риторика самого позитивного свойства: а давайте, мол, где есть условия, воспользуемся возможностью и создадим партию, которая включится в политическую борьбу, ведь дальше на этой площадке мы сможем что-то такое исламское развить.

Это заведомо проигрышная позиция.

Салафиты совершенно правильно отрицают подобный подход, потому что ты просто идёшь к сатане, но вторичному, мелкому, иллюзорному, идёшь к «тени от тени». Ты начинаешь с ним сотрудничать, приобретать черты этой тени от тени, чтобы бороться с оригиналом, с могущественным сидящем на троне Люцифером. И становишься просто мелким чертёнком, который показывает кукиш, — причём показывает его тому, чьего когтя он не стоит, шерстинки с хвоста.

Понятно, что от отчаяния люди второго или третьего сорта, или, к примеру, лишенные статуса белые офицеры могут пойти в жиганы, но их путь — путь в расстрельный ров, путь в никуда.

Если мы думаем о победе, то быть попутчиком Райха, быть попутчиком ичкерийцев, басмачей, европейского сопротивления, суфийского сопротивления, консерватиного сопротивления, — это всё тупиковые пути.

Что же остаётся?

Существует веер совсем других тактик, которые не переходят на платформу приспособления к чуждым матрицам, чуждым гештальтам, на которых лежит откровенная печать онтологизма, откровенная печать Бытия.

Самым трудным уроком и самым очевидным в «педагогическом» плане является рассмотрение советского опыта, советской феноменологии в этом контексте: как быть мусульманину, который верит в Аллаха и действительно переживает ислам в его внутренней правде не как призыв ко всему хорошему против всего плохого, а именно как радикальное неприятие всего?

Что такое отрицание идолократии, отрицание идола? Если быть последовательным, то отрицание идола есть отрицание всего. Это отрицание Бытия, потому что Бытие — это Тагут, его последняя метафизическая тайна. Тагут — не каменный идол, который ссылается на олимпийского бога. Тагут — это и есть Бытие, одной из ипостасей которого является совершенно реальный олимпийский бог.

Если ты идёшь против Тагута, то можешь ли ты быть попутчиком ну хотя бы Коминтерна? Можешь, к примеру, поехать в 1936 или 1937 году в Испанию воевать с Франко? Или поддержать национально-освободительное движение? Ведь это же как бы параллельный путь, это облегчает борьбу. Совок же вкладывается, даёт деньги и оружие людям, которые противостоят Британской империи.

Если я теоретически понимаю, что это фальшивый путь, и потом внимательно смотрю на фактическую историю, на то, как это было, — я, к примеру, вижу историю партии Туде в Иране. Я вижу, как партию, которую создал троцкист Блюмкин, сдали и уничтожили, а потом создали партию Туде, которую тоже сдали и уничтожили.

И я вижу, как всё, что было создано Советским Союзом, создавалось для того, чтобы это сдать и уничтожить.

Я вижу, как закончили ихваны, которые долго-долго играли в партии, но в итоге их сдал и уничтожил сначала Насер, а потом его духовные последователи, включая Сиси. В Алжире тоже ведь ихваны выиграли выборы в 1991 году. Они постоянно выигрывают выборы, и их постоянно выводят из классной комнаты и зверски подвергают политическому геноциду.

Хорошее выражение — «политический геноцид». Не этногеноцид, а именно «политический», — уничтожить всех ихванов, уничтожить всех мусульман и других «фашистов».

Любые попытки встать на площадку, используя попутчиков в борьбе с Системой, обречены, потому что они метафизически фальшивы.

Всё, что есть в этом мире помимо чистого ислама, — это проекции Бытия, но частные, и выглядят они как критика частного против целого. А если ты солидаризируешься с частным, то ты заранее обрекаешь себя на потерю своей позиции-антитезы и на проигрыш целому.

Это, пожалуй, главное, что я вынес из анализа своего отношения к советскому феномену на протяжении почти 60 лет его изучения. Советского и постсоветского — это единый процесс. В 1991 году никакой серьёзной ломки или превращения одного в другое не произошло. Таков парадокс поражения в холодной войне. Парадокс в том, что когда страна проигрывает в горячей войне, то наступает слом, а когда в холодной, как СССР, то история продолжается, но уже в зеркальной, извращённой форме.

Бороться необходимо.

Но ислам должен создать свои специфические политические формы, которые не тождественны ни нацизму, ни коммунизму, ни западной демократии.

Это совершенно специфические формы, в которые пусть приходят и играют другие. Не мы должны прийти и играть по чужим правилам, а другие должны прийти и играть на нашей площадке.

Моя идея состоит в том, что внутри Уммы власть должны взять новые политические джамааты как ячейки партии. В таких джамаатах руководство должно формироваться из людей, обладающих высшем уровнем пассионарности.

Чем больше человек жаждет смерти, тем более он достоин власти, и тем больше на нем должна быть ответственность, чтобы вести джамаат к победе. Джамааты должны быть сетью, подобно масонским ложам, они должны управлять человеческим морем мусульманской общины. За пределами мусульманского мира тоже будет формироваться сеть джамаатов — «трансграничный халифат».

И тогда униженные и оскорбленные всего мира придут к джамаатам, придут к мусульманам, потому что за мусульманами будут стоять эти структуры, управляющие процессом.

Следующий этап — это диверсификация методов борьбы.

Где-то может быть конфронтация, как в Сирии, где-то нажим на лидеров куфра.

«Избивайте руководителей неверия, ибо может быть те, кто следуют за ними, одумаются и изменят свой путь». Хороший тезис.

Не надо играть в чужие игры. Другие пусть приходят, ищут заступничества и принимают те формы, которые мы им предложим.

Это единственный путь для нас.

**ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ**

# САДЫ И ПУСТОШИ

(НОВАЯ КНИГА)

Подготовка текста и комментарии

*Ахмед Магомедов*

При участии

*Али Магомедова*

Дизайн обложки и фотопортрет

*Адиль Астемиров*

Издательство «Перо»

Москва

Подписано к использованию 15.12.2019.

Объем 4 Мбайт.

Электрон. текстовые данные. Заказ 1157.

